



<http://www.etsy.com>

Н. Я. МИХАЙЛОВСКАГО.

СОЧИНЕНІЯ

СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО.

Томъ четвертый.

Что такое прогрессъ?

Въ перемежку.

Изданіе второе

А. Я. ПАНАФИДИНА.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, д. 39).

1888.

<http://rcin.org.pl>



24.150/5

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сергѣю Николаевичу
КРИВЕНКО.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
Что такое прогрессъ?	1
Въ перемежку	190

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Когда я задумалъ изданіе своихъ сочиненій, я упустилъ изъ виду одинъ анекдотъ и одну пословицу.

Анекдотъ состоитъ въ слѣдующемъ. Нѣкто просилъ Дидро разъяснить ему одно мѣсто въ старомъ его, Дидро, сочиненіи. Дидро подумалъ и отвѣчалъ: я конечно понималъ это мѣсто, когда писалъ его, но теперь не понимаю, потерялъ ключъ.

Таковъ анекдотъ. А упущенная изъ виду пословица гласитъ: что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ.

И не такъ много и давно пишу, чтобы потерять ключъ къ написанному нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Но, каюсь, я совершенно забылъ размѣры написаннаго. Первоначальная мысль состояла въ томъ, чтобы сдѣлать что-то цѣльное и единое изъ чисто теоретическихъ статей по предмету социологіи, печатавшихся въ разное время и по разнымъ поводамъ, но на столько связанныхъ внутреннимъ единствомъ, что казалось не будетъ большого труда придать имъ и внѣшнее единство: исключить ѣкоторые повторенія, неизбѣжныя при многолѣтней журнальной работѣ, устранить вкрапленные кое-гдѣ мелочи по части мимолетней текущей литературы и жизни, остальное перетасовать въ видахъ систематическаго порядка—вотъ и все. Сднako

это только казалось. Не говоря объ огромномъ количествѣ времени и труда, поглощаемыхъ черною, публикѣ невидною стороною журнальной работы, моя мысль оказалась неудобноисполнимою и въ силу вышеуказанной пословицы. Я пробовалъ исключать, устранять, тасовать и въ концѣ концовъ отступился: что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Можно измѣнить и устранить нѣкоторыя мелочи, но исполнить такую большую хирургическую операцію оказалось невозможнымъ.

Еще прежде, чѣмъ окончательно въ этомъ убѣдиться, я рѣшилъ, независимо отъ первоначально предположенныхъ статей, выбрать для отдѣльнаго изданія еще нѣсколько статей и ежемѣсячныхъ обзорѣній, печатавшихся въ «Отечественныхъ Запискахъ» подъ разными заглавіями. Этотъ матеріалъ казался мнѣ достойнымъ изданія вотъ почему. Изъ года въ годъ, изъ мѣсяца въ мѣсяць я бесѣдную съ читателемъ о самыхъ разнообразныхъ предметахъ міра видимаго и невидимаго, литературы и жизни, теоріи и практики, постоянно освѣщая явленія съ одной и той же точки зрѣнія. Правильна эта точка зрѣнія или нѣтъ, симпатична читателю или нѣтъ, умѣю ли я отзываться на злобу дия или не умѣю, но во всякомъ случаѣ въ этихъ ежемѣсячныхъ обзорѣніяхъ отразилась известная точка зрѣнія, перепробованная на множествѣ самыхъ разнообразныхъ явленій, и самая эти явленія, самая жизнь. Мнѣ казалось, что подобные итоги не лишены поучительности, въ особенности, если ими воспользуется критика, какъ предлогомъ для предъявленія своихъ собственныхъ взглядовъ. Но ни во времена «новыхъ вѣяній», ни во времена «народной политики», ни дружественная, ни враждебная критика не пожелала занять эту выгодную позицію. Нѣсколько лестныхъ и нелестныхъ отзывовъ лично обо мнѣ, какъ о писателѣ, — вотъ все, что я видѣлъ со стороны критики. Тѣмъ хуже для нея, я думаю. Но и для меня разумѣется не лучше. Съ теченіемъ времени я охладѣлъ къ своему плану изданія, тѣмъ болѣе, что практически позналъ значеніе анекдота о Дидро. Я предполагалъ напрямѣръ, что «Записки профана» не наполнять и одного тома, а между тѣмъ только часть ихъ

(правда, большая) заняла все тридцать листовъ третьяго тома настоящаго изданія.

Результатомъ всего этого и является четвертый томъ въ томъ видѣ, какъ онъ предлагается читателю: философская статья рядомъ съ полубеллетристическимъ фельетономъ. Не смотря на то, что объ эти вещи писаны въ разное время, не смотря далѣе на разницу формы, читатель, надѣюсь, усмотритъ ихъ внутреннее единство и слѣдовательно оправдаетъ такое на первый взглядъ странное сосѣдство. Мнѣ хочется только сказать нѣсколько словъ объ обѣихъ составныхъ частяхъ четвертаго тома въ отдѣльности.

«Что такое прогрессъ?»—одна изъ моихъ самыхъ раннихъ статей. Но міросозерцаніе, изложенное въ этой юношеской работѣ, осталось моимъ и доселѣ, не только въ общемъ, а и въ подробностяхъ. Въ дальнѣйшихъ моихъ статьяхъ по тѣмъ же вопросамъ мнѣ пришлось однако рѣзче и опредѣленнѣе мотивировать требованія субъективизма «борьбою за индивидуальность», а въ поясненіе двойственнаго характера прогреса добавить ученіе о типахъ и степеняхъ развитія. Прошу благосклоннаго читателя имѣть это въ виду.

Что касается фельетоновъ «Въ перемежку», то, во избѣжаніе разныхъ недоразумѣній, считаю нужнымъ привести здѣсь слѣдующее «Письмо къ неучамъ», напечатанное въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ 1878 году. Заглавіе это объясняется другимъ заглавіемъ. Въ то время, когда наглость нѣкоторыхъ борзописцевъ вынудила меня напечатать это «письмо къ неучамъ», мои ежемѣсячныя обозрѣнія назывались «письмами къ ученымъ людямъ».

Письмо къ неучамъ.

Господа неучи!

Я не думаю затѣвать переписку съ вами. Я ограничусь только этимъ письмомъ, имѣющимъ совершенно опредѣленную и специальную цѣль. Тѣ ваши подвиги, которые лежатъ внѣ этой специальной цѣли, да останутся подъ спудомъ, равно какъ и имена ваши.

Существуетъ преданіе, что Зевксисъ столь хорошо рисовалъ плоды, что птицы—конечно это были не очень умныя птицы—садились клевать ихъ. Существуетъ другое преданіе, что Аппеллесъ однажды столь хорошо нарисовалъ бѣгущую лошадь, что живыя лошади, глядя на эту картинку, ржали. Съ тѣхъ поръ вплоть до настоящаго времени искусство ни въ одной изъ своихъ отраслей не поднималось до такой высоты. Мнѣ, и только мнѣ суждено было повторить чудеса Зевксиса и Аппеллеса, а вамъ возобновить традиціи не очень умныхъ птицъ и ржущихъ лошадей.

Затѣвая свои полубеллетристическіе наброски «Въ перемежку», я не только не имѣлъ претензіи мѣряться съ Зевксисомъ и Аппеллесомъ, но даже ни малѣйше не сомнѣвался въ слабости своего художественнаго таланта. Но когда не очень умныя птицы разинули клювы, а лошади заржали, когда вы, господа неучи, приняли художественное произведеніе за живую дѣйствительность, я возымѣлъ о себѣ, какъ о художникѣ, чрезвычайную высокое мнѣніе. Что значили для Зевксиса всѣ похвалы умныхъ людей въ сравненіи съ тѣмъ непререкаемымъ свидѣтельствомъ его художественной силы, которое дали ему глупыя птицы! Конечно, онъ этимъ свидѣтельствомъ гордился больше всего. Гордился и я, читая, какъ вы отождествляли меня съ моимъ поэтическимъ дѣтищемъ, милымъ моему сердцу Григоріемъ Темкинымъ, отъ лица котораго ведется разсказъ «Въ перемежку», и пользовались его автобіографіей, какъ моею біографіей. Правда, вы при этомъ поступали до послѣдней степени неприлично, разоблачая мой псевдонимъ, но вѣдь на то вы и неучи! Правда, вы усвоили мнѣ преимущественно ошибки и некрасивыя поступки Григорія Темкина, воздерживаясь отъ таковаго же усвоенія его слабой, но благородной натуры. Но я охотно прощалъ эти ваши маленькія военныя хитрости въ благодарность за тотъ патентъ на званіе первокласснаго художника, который вы мнѣ безмолвно и безсознательно выдавали. Ни Левъ Толстой, ни Тургеневъ не достигали такого успѣха. Никто не считаетъ Льва Толстого маркеромъ на основаніи «Записокъ маркера». Никто изъ біографовъ Тургенева не упоминаетъ, что онъ и его отецъ были влюблены въ одну и ту же дѣвушку, что дѣвушку эту отецъ Тургенева ударилъ однажды хлыстомъ по рукѣ и проч., хотя все это разсказано въ «Первой любви». Всѣ видятъ и понимаютъ, что это «сочиненія», прекрасно нарисованныя, но все-таки только нарисованныя, а не натуральныя плоды, нарисованная, а не натуральная лошадь. И даже глупѣйшія птицы не поддаются обману. Я же совершилъ настоящее чудо искусства. Правда, и въ произведеніяхъ Толстого и Тургенева критики старались, иногда не безъ успѣха, уловить ихъ личныя, субъективныя черты, но со мной произошло нѣчто иное. Мнѣ удалось такъ художественно обставить «я» Григорія Темкина, что вы приняли его за мое «я». Только въ полумиѳической исторіи греческой живописи могу я найти параллель такому чрезвычайному успѣху. Меня

сильно подмывало сдѣлать еще слѣдующую пробу: заставить Григорія Темкина убить кого-нибудь—не потянуть ли дескать меня тогда къ уголовному суду на основаніи собственнаго сознанія? Конечно это было бы вѣнцомъ моей поэтической славы, но за другими дѣлами я не успѣлъ привести этотъ честолюбивый проектъ въ исполненіе.

Еслибы глупыя птицы аплодировали Зевксису, пѣли ему хвалебные гимны, подносили лавровые вѣнки и проч., онъ не только не нашель бы въ этомъ ничего для себя лестнаго, но былъ бы вѣроятно глубоко огорченъ, ибо глупыя птицы—глупыя пѣсни. Но когда глупыя птицы слетались клевать нарисованные плоды, Зевксисъ конечно былъ имъ благодаренъ. На этомъ же основаніи благодарилъ и я васъ, когда вы старательно клевали Григорія Темкина, полагая, что клюете меня. Господа неучи, я пожалуй и теперь благодарю васъ за прошлое, но относительно будущаго я долженъ васъ просить умѣрить ваши художественные восторги. Довольно! наклевались! Вы начинаете уже проклевывать полотно, на которомъ написана картина, и уродовать великое произведеніе.

Въ самомъ дѣлѣ, господа, я вынужденъ просить васъ искать матеріаловъ для моей біографіи гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, ибо «Въ пережку» есть сочиненіе. Не сочинено чувство, съ которымъ написано это сочиненіе, не сочинены нѣкоторые факты и личности, въ немъ изображенныя. Но я—не Григорій Темкинъ и Григорій Темкинъ—не я.

Разъяснить это вамъ я долженъ былъ по слѣдующему случаю. Одинъ изъ васъ, стремясь заклевать меня въ лицѣ Темкина, пожелалъ прихватить и моихъ родственниковъ. Но при этомъ онъ не ограничился свѣдѣніями, взятыми изъ записокъ Темкина, а навелъ еще гдѣ-то справки на сторонѣ и объявилъ печати, что моя «кузина» (представленная въ видѣ родной сестры Темкина—Сони) совершила прелюбодѣяніе!

Господа, вѣдь это уже Геркулесовы столбы! Я не обращаюсь ни къ уму вашему, ни къ сердцу, потому что знаю, что это бесполезно. Я не напоминаю вамъ, какъ отнесся Христосъ даже къ блудницѣ по ремеслу, а не то что къ человѣку въ родѣ Сони. Я вамъ сообщаю только факты, которыми вы очевидно очень интересуетесь: у меня есть сестры, есть, кажется и кузины, но, сколько мнѣ извѣстно, ни съ одною изъ нихъ не случилось того, что случилось съ Соней, и ни одна изъ нихъ не виновата въ томъ, что я—столь нелюбимый вами

Нин. Михайловскій.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРЕССЪ? *)

ГЕРБЕРТЪ СПЕНСЕРЪ. Собрание сочиненій въ 7-ми томахъ. Изданіе
Н. Л. Тиблена.

I.

Одна изъ статей Спенсера, напечатанныхъ въ первомъ томѣ русскаго изданія, «Польза и красота», начинается такимъ замѣчаніемъ Эмерсона: «то, что природа въ одно время производитъ для пользы, она обращаетъ впослѣдствіи въ предметъ украшенія». Въ доказательство этого положенія Эмерсонъ приводитъ устройство морской раковины, у которой «части, служащія одно время вмѣсто рта, въ дальнѣйшемъ періодѣ ея развитія остаются позади и принимаютъ форму красивыхъ бугорковъ». Пользуюсь случаемъ, чтобы указать на заключающійся въ положеніи и примѣрѣ Эмерсона объективно-антропоцентрической пошибъ: природа нѣчто полезное для животнаго, особенность, обеспечивающую ему счастливый исходъ изъ борьбы за существованіе, эту особенность природа обращаетъ впослѣдствіи въ нѣчто пріятное для человѣка, красивое съ человѣческой точки зрѣнія: ибо трудно предположить, чтобы Эмерсонъ говорилъ отъ лица «морской раковины», любящейся на свои «красивые бугорки и рубчики». Такимъ образомъ любезность и предупредительность природы къ человѣку доходитъ до того, что она коверкаетъ

*) 1869 г.

единственно pour ses beaux yeux животное, имѣющее, разумѣется, свои собственные, хотя и неуловимые для насъ интересы. Спенсеръ не замѣчаетъ этой странной телеологіи, или пропускаетъ ее мимо ушей, можетъ быть потому, что у Эмерсона, съ которымъ мы не знакомы, она составляетъ не болѣе, какъ случайную черпковую мысль, которой онъ самъ не придаетъ особеннаго значенія. Но Спенсеръ находитъ, что это замѣчаніе Эмерсона имѣетъ право на гораздо болѣе широкое приложеніе, и можетъ быть распространено и на развитіе человѣчества. Онъ утверждаетъ, что и въ области явленій общественной жизни происходитъ та же смѣна полезнаго и прекраснаго; что предметъ пользы для одного историческаго періода оказывается предметомъ украшенія для послѣдующихъ. Въ маленькой статейкѣ, развивающей эту мысль, Спенсеръ развертываетъ въ миниатюрѣ всѣ свойства своего соціологическаго мышленія и изложенія, съ которыми мы еще встрѣтимся ниже въ большемъ видѣ. Поставивъ положеніе, Спенсеръ начинаетъ сыпать самыми разнообразными примѣрами, подтверждающими положеніе, и затѣмъ ищетъ рациональнаго основанія для своего эмпирическаго вывода. Надо впрочемъ замѣтить, что примѣры, приводимые имъ въ статьѣ: «Польза и красота», выбраны гораздо менѣе удачно и расположены гораздо менѣе искусно, чѣмъ это имъ дѣлается обыкновенно. Желаніе втиснуть факты въ заранее поставленную рамку ужь слишкомъ очевидно, въ чемъ автору значительно помогаетъ неопредѣленность его терминологіи: рѣзко разграничивая прекрасное и полезное, онъ не проводитъ однако между ними опредѣленной демаркаціонной линіи, и читатель не знаетъ, что собственно Спенсеръ разумѣетъ подъ общимъ именемъ прекраснаго и что—подъ именемъ полезнаго. Это было бы, разумѣется, не бѣда, еслибы дѣло шло о вещахъ общепризнанныхъ, не подлежащихъ спору. Но категоріи прекраснаго и полезнаго слишкомъ часто произвольно суживались и расширялись, и точныя взаимныя отношенія ихъ установились въ сознаніи очень немногихъ. Спенсеръ, къ сожалѣнію, не принадлежитъ къ числу этихъ немногихъ, по крайней мѣрѣ въ статьѣ, о которой идетъ рѣчь.

Какъ образецъ, я приведу только одинъ изъ его примѣровъ или, лучше сказать, одну группу примѣровъ. «Глыбы камня, говоритъ опъ, которыя, какъ храмъ, въ рукахъ жрецовъ имѣли нѣкогда правительственное значеніе, стали въ настоящее время служить предметомъ антикварскихъ поисковъ, а сами жрецы сдѣлались героями оперъ. Изваянія грековъ, которыя за красоту свою сохраняются въ нашихъ художественныхъ музеяхъ и снимки съ которыхъ служатъ украшеніемъ общественныхъ мѣстъ и входовъ въ наши залы, нѣкогда считались за божества, требовавшія повиновенія; подобную же роль играли нѣкогда и тѣ чудовищные идолы, которые теперь забавляютъ посетителей нашихъ музеевъ». Вотъ одинъ изъ камней, положенныхъ Спенсеромъ въ основаніе его обобщенія: предметъ пользы для предковъ дѣлается предметомъ украшенія для потомковъ. Нетрудно видѣть, что камень этотъ находится въ положеніи неустойчиваго равновѣсія и легко можетъ способствовать провалу всего зданія. Васъ поражаетъ необыкновенная поверхностность выраженій и неизбежно возникаетъ рядъ вопросовъ: 1) Почему Спенсеръ полагаетъ, что храмы древнихъ имѣли исключительно практическое значеніе? и не были ли они въ то же время, какъ и въ наше, украшеніемъ данной мѣстности и не украшались ли они и сами, сообразно эстетическимъ взглядамъ древнихъ, во славу божества и въ поученіе молящихся? 2) Почему «антикварскіе поиски» отнесены къ категоріи красоты и не предпринимаются ли они большею частью съ полезною цѣлью изученія жизни нашихъ предковъ? 3) Не входила ли идея красоты, какъ одинъ изъ существенныхъ элементовъ, въ древнія, какъ и въ новыя религіи, а слѣдовательно и въ формы богослуженій, совершаемыхъ жрецами? и не играетъ ли нѣкоторой роли элементъ пользы въ томъ обстоятельстве, что жрецы являются героями оперъ? 4) Всѣ ли греческія статуи создавались на религіозныя тѣмы, и не цѣнили ли греки въ своихъ статуяхъ, даже изображавшихъ божества, не только ихъ религіозное значеніе, а и эстетическое? и не уясняемъ ли мы себѣ иногда по произведеніямъ греческаго искусства греческую жизнь и міросозерца-

ніе? 5) Равнымъ образомъ не изучаемъ ли мы индусовъ и египтянъ по тѣмъ чудовищнымъ идоламъ, которые стоятъ въ нашихъ музеяхъ? и не потому ли Спенсеръ употребилъ относительно ихъ выраженіе «забавляютъ», что съ областью прекраснаго съ нашей, современной точки зрѣнія, они не имѣютъ никакой связи, хотя для своего времени и мѣста необходимо представляли нѣкоторый художественно-религіозный идеалъ?—Ясно, что примѣръ Спенсера можетъ быть перевернутъ вверхъ дномъ и послужить весьма полновѣснымъ подтвержденіемъ обратнаго положенія, именно, что прекрасное для одной эпохи дѣлается полезнымъ для послѣдующихъ. И эта послѣдняя формула, прямо противоположная формулѣ Спенсера, якобы подтверждаемой приведеннымъ примѣромъ, будучи поставлена въ надлежащія границы, представляетъ не гипотезу, но несомнѣнно достоверную истину. Мы не можемъ такъ полно наслаждаться греческимъ искусствомъ, какъ наслаждались имъ сами греки, у насъ есть свое искусство, которое намъ дороже и понятнѣе. Но если наше эстетическое пониманіе греческаго искусства необходимо слабѣе таковаго же пониманія грековъ, то для насъ существуетъ историческое научное значеніе греческаго искусства, какого для грековъ не существовало. Во всякомъ случаѣ, примѣръ Спенсера не только не подтверждаетъ его положенія, но показываетъ, что порядокъ, въ которомъ чередуются въ исторіи полезное и прекрасное, подлежитъ закону, по крайней мѣрѣ гораздо болѣе сложному, нежели тотъ, который предлагаетъ англійскій мыслитель. Найдутся скептики, которые будутъ отрицать даже возможность формулированія такого закона, потому что полезное и прекрасное имѣютъ тысячи точекъ соприкосновенія, и рѣзкое противопоставленіе ихъ другъ другу возможно только при весьма поверхностномъ взглядѣ. Говорить о вещахъ, составляющихъ «исключительно предметъ пользы» или исключительно область прекраснаго, какъ говоритъ это Спенсеръ, — дѣло слишкомъ рискованное.

Какъ бы то ни было, но въ рядѣ примѣровъ въ родѣ вышеприведенныхъ, Спенсеръ находитъ индуктивное доказательство

своей формулы. Затѣмъ онъ обращается къ дедуктивному подтвержденію и находитъ его въ слѣдующемъ: «существенное, предварительное условіе всякой красоты есть контрастъ. Для того, чтобы получить художественный эффектъ, свѣтъ долженъ быть располагаемъ рядомъ съ тѣнью, яркіе цвѣта съ мрачными» и т. д. Спенсеръ опять приводитъ рядъ примѣровъ изъ различныхъ сферъ искусства. Этотъ общій принципъ контраста, какъ условія красоты, объясняетъ, по мнѣнію Спенсера, и то, почему полезное прошлаго превращается въ настоящее прекрасное. Мы видѣли, что положеніе о такомъ превращеніи по крайней мѣрѣ односторонне, и потому, стремясь доказать его, Спенсеръ очевидно долженъ былъ еще болѣе запутаться. Мы не намѣрены трактовать объ искусствѣ, о взаимномъ отношеніи полезнаго и прекраснаго; мы слѣдимъ только за логическою нитью аргументаціи Спенсера, и потому, помимо нашихъ личныхъ взглядовъ, примемъ законъ контраста, какъ основной законъ прекраснаго и искусства. Становясь такимъ образомъ на его собственную точку зрѣнія, мы, надѣемся, оказываемся достаточно безпристрастными. Куда же онъ насъ поведетъ? Онъ утверждаетъ, что задача искусства состоитъ исключительно въ воспроизведеніи жизни прошлаго. «По причинѣ своего контраста съ нашимъ настоящимъ образомъ жизни, образъ жизни прошедшаго кажется намъ интереснымъ и романтическимъ», а «вещи и происшествія, влекущія за собой сцѣпленіе идей, которыя не представляютъ значительнаго контраста съ нашими ежедневными представленіями, являются относительно невыгоднымъ сюжетомъ для искусства». Спенсеръ доказываетъ далѣе, исходя все изъ того же принципа, что живопись не должна передавать «жизнь, дѣла и стремленія своего времени», а обязана обратиться въ историческую. «То, что имѣетъ какое-нибудь практическое назначеніе въ настоящее время, говоритъ онъ, или имѣло такое значеніе въ очень недавнее время, не можетъ получить характера украшенія и слѣдовательно не будетъ приложимо къ цѣлямъ искусства». Мы уже не говоримъ о томъ странномъ взглядѣ, который обнаруживаетъ Спенсеръ, говоря объ «украшеніи», какъ о

назначеніи искусства. Но положимъ, что это можетъ показаться иному дѣломъ спорнымъ; далѣе Спенсеръ грѣшитъ уже прямо противъ логики. Онъ высказываетъ самую страшную поверхностность, утверждая, что искусство *должно* искать контрастовъ въ прошедшемъ; какъ-будто ихъ мало въ настоящемъ; какъ-будто на чердакѣ того самаго дома, гдѣ живетъ Спенсеръ, ученый и спокойный Спенсеръ, не гнѣздится невѣжество, нищета и назойливая дума о кускѣ хлѣба въ pendant думѣ философа о судьбахъ человѣчества; какъ-будто у всѣхъ сердце бьется такъ же ровно, какъ у ученаго и невозмутимаго Спенсера; какъ-будто нѣтъ въ настоящемъ умныхъ людей и дураковъ, негодяевъ и честныхъ людей, людей цивилизованныхъ и коснѣющихъ въ грубости, нѣтъ стона и улыбки, брачнаго ложа и гробовыхъ мастеровъ, свѣта и тѣни, поцѣлуя и оплеухи, звона цѣпей и колокольнаго звона, полиціи и мазуриковъ?.. Съ чего же искусству гоняться за контрастами во времени, когда подъ руками у него неисчерпаемый рудникъ контрастовъ въ пространствѣ? По крайней мѣрѣ, гдѣ основанія въ самомъ спенсеровскомъ законѣ контраста для воспрещенія искусству передавать «жизнь, дѣла и стремленія своего времени»?

Читатель видитъ, что вся аргументація Спенсера не выдерживаетъ ни малѣйшей критики, и что здѣсь не можетъ быть даже и рѣчи объ оцѣнкѣ его теоретическихъ началъ, потому что ихъ логическія подпорки подкапиваются сами собою. И еслибы въ вышедшихъ до сихъ поръ по-русски десяти выпускахъ собранія его сочиненій, кромѣ подобныхъ доказательствъ и положеній, не было ничего, то я, разумѣется, не считъ бы нужнымъ говорить объ немъ. Но я собираюсь говорить, и говорить много.

Спенсеръ—имя, не пользующееся особенно громкою извѣстностью, но весьма почтенное. Сочиненія его не переведены ни на одинъ языкъ, кромѣ русскаго; не пользуется онъ, кажется, большою популярностью и на своей родинѣ. Но вотъ мнѣнія объ немъ людей, достаточно компетентныхъ:

«Г. Гербертъ Спенсеръ (въ статьѣ, сперва напечатанной въ Leader

марта 1852, и перепечатанной въ его Essays 1858) съ большою силою и ловкостью провелъ параллель между теоріей развитія органическихъ формъ и теоріей отдѣльныхъ твореній. Онъ выводитъ изъ аналогіи съ домашними организмами, изъ *измѣненій*, которымъ подвергаются зародыши многихъ видовъ, изъ трудности отличить разновидности отъ видовъ, изъ общаго начала постепенности, что виды измѣнились, и онъ приписываетъ измѣненіе измѣненнымъ жизненнымъ условіямъ. Тотъ же авторъ (1855) разработалъ психологію на основаніи необходимой постепенности въ приобрѣтеніи каждой умственной силы и способности. (Ч. Дарвинъ: «О происхожденіи видовъ»).

«Нѣтъ надобности говорить о людяхъ, еще въ наше время придерживающихся старыхъ мнѣній. Но если одинъ изъ самыхъ мощныхъ и отважныхъ дѣятелей, какихъ только производила до сихъ поръ англійская мысль, человекъ, исполненный научнаго духа — мистеръ Гербертъ Спенсеръ, и тотъ, во главѣ своей философіи, выставляетъ ученіе, что высшій критерій истинности извѣстнаго положенія заключается въ не-постижимости его отрицанія... и т. д. (Дж.-Ст. Милль: «Огюсть Контъ и позитивизмъ»).

Выписавъ эти отзывы, мы начинаемъ трусить. До сихъ поръ читатель, слѣдуя за нами, видѣлъ, что Спенсеръ ошибается, ошибается грубо, непростительно; но блескъ мнѣній Дарвина и Милля можетъ ослѣпить его, и на насъ обрушится старый укоръ въ неуваженіи къ авторитетамъ. Но изъ дальнѣйшаго читатель, надѣмся, убѣдится, что мы воздаемъ Кесарево Кесареви и Божіе Богови. Прибавимъ еще, что русскій издатель сочиненій Спенсера, г. Тибленъ, считаетъ его «величайшимъ изъ современныхъ мыслителей» и отводитъ ему такое же мѣсто въ рациональной философіи, «какое заняли Дарвинъ въ философіи естествознанія и Бокль въ философіи исторіи». И сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что это не издательская реклама. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, насколько мнѣніе русскаго издателя преувеличено и насколько отзывъ Милля объясняется установившимися въ англійской печати обычаями этикета *), мы должны во всякомъ случаѣ сказать, что Спенсеръ—

*) Надо впрочемъ замѣтить, что слова Милля заимствованы нами изъ той части книги «Огюсть Контъ и положительная философія» (Спб. 1867) которая редактировалась издателемъ сочиненій Спенсера. Субъектив-

умъ очень крупнаго калибра; одинъ изъ тѣхъ всеобъемлющихъ синтетическихъ умовъ, которые отъ времени до времени вносятъ духъ единства и жизни въ разрозненные факты, добытые нѣсколькими поколѣніями менѣе даровитыхъ и даже совершенно бездарныхъ тружениковъ науки. О широкомъ захватѣ Спенсерской мысли можно судить уже по однимъ оглавленіямъ двухъ первыхъ томовъ русскаго изданія. Первый томъ заключаетъ въ себѣ статьи: «Прогрессъ, его законъ и причина»; «Философія слога»; «Трансцендентальная фізіологія»; «Происхожденіе и дѣятельность музыки»; «Польза и красота»; «Гипотеза развитія»; «Источники архитектурныхъ типовъ»; «Теорія слезъ и смѣха»; «Граціозность»; «Значеніе очевидности»; «Личная красота»; «Польза антропоморфизма»; «Нравственность и политика желѣзныхъ дорогъ»; «Генезисъ науки»; «Обычаи и приличія»: «Соціальный организмъ». Второй томъ: «Физиологія смѣха»; «Возбужденіе и воля»; «Торговая нравственность»; «Деньги и банки»; «Этика тюремъ» и т. д. (Второй томъ русскаго изданія еще не приведенъ къ концу). Эти большею частью мелкія статьи, въ родѣ нашихъ журнальныхъ, или «научные, политическіе и философскіе опыты» представляютъ болѣе или менѣе законченные отрывки большихъ работъ. Изъ остальныхъ вышедшихъ до сихъ поръ по-русски томовъ одинъ («Основныя начала») посвященъ разработкѣ, въ позитивномъ смыслѣ, нѣкоторыхъ собственно такъ-называемыхъ метафизическихъ вопросовъ и изложенію закона развитія; другой излагаютъ «Основанія біологіи»; третій занятъ «Нравственнымъ, умственнымъ и физическимъ воспитаніемъ» (сюда же вошли статьи «Гипотеза туманныхъ массъ» и «Нелогическая геологія»). Въ отдѣльной брошюрѣ излагается планъ «Классификаціи наукъ» и «Причины разногласія съ Контомъ». Кромѣ того наконецъ мы ждемъ

ный элементъ сказывается и въ переводѣ, переводчикъ своей личности стереть не можетъ, а потому глубокое уваженіе къ Спенсеру могло подсказать г. Тиблену немного слишкомъ сильныя эпитеты для передачи на русскій языкъ словъ Милля.

«Соціальной статистики» и «Основаній психологій». Последнее сочиненіе есть, кажется, лучший трудъ Спенсера.

Изъ этого длиннаго списка видно, что едва ли найдется какая нибудь область знанія, которую бы Спенсеръ обѣждалъ и не затронулъ хоть мимоходомъ. Вопросы о границахъ религій и науки, о конечныхъ научныхъ и религіозныхъ идеяхъ, вопросы фізіологическіе, педагогическіе, психологическіе, экономическіе, политическіе, геологическіе такъ или иначе вызываютъ его отвѣты, хотя, само собою разумѣется, отвѣты эти далеко не всегда одинаково удачны. Но вездѣ и во всемъ они имѣютъ сивтетическій, обобщающій характеръ. Мы не имѣемъ ни времени, ни мѣста и не чувствуемъ себя достаточно сильными для того, чтобы представить читателю оцѣнку всѣхъ или даже только главнѣйшихъ выводовъ Спенсера. Мы можемъ только рекомендовать чтеніе Спенсера, какъ особенно пригодное и полезное для нашей публики, весьма мало знакомой съ современною западною философскою мыслью. Спенсеръ позитивистъ, хотя и не принадлежитъ къ школѣ Конта и весьма тщательно и ревниво заявляетъ о своей самостоятельности, до такой степени тщательно и ревниво, что это производитъ даже непріятное впечатлѣніе. Основныя начала положительной философіи, — исключительно опытное происхожденіе всѣхъ нашихъ знаній, ихъ относительность, невозможность проникнуть въ сокровенныя сущности вещей, строжайшая законосообразность явленій природы, — эти положенія еще слишкомъ мало переварены даже мыслящею частью нашего общества. И еслибы мы могли и хотѣли представить читателю все плодотворное для него значеніе чтенія сочиненій Спенсера, мы, какъ выражаются на ученыхъ диспутахъ официальные оппонеты, сказали бы гораздо больше, чѣмъ собираемся сказать теперь. Уясненіе основныхъ началъ положительной философіи есть, быть можетъ, въ настоящую минуту одно изъ настоятельнѣйшихъ дѣлъ для русскаго читающаго люда. Но мы предоставляемъ ему знакомиться съ этими началами изъ первыхъ рукъ, такъ-какъ теперь есть для этого кое-какая возможность, благодаря предпріятію г.

Тиблена. Начиная съ широкихъ и смѣлыхъ обобщеній въ «Основныхъ началахъ», которыя не мѣшаютъ автору твердо помнить границу между областями «Познаваемаго» и «Непознаваемаго», до крошечной, но прелестной, какъ картинка, статейки «Граціозность» (т. I, Опыты), читатель почти въ каждой статьѣ Спенсера найдетъ что-нибудь новое и оригинальное, что-нибудь такое, надъ чѣмъ стоитъ призадуматься. Словомъ, мы совѣтуемъ всѣмъ и каждому читать и читать Спенсера, не пугаясь его сжатого и своеобразнаго языка, къ которому привыкнуть нетрудно.

А теперь обратимся опять пока все къ той же «Пользѣ и красотѣ». Еслибы какой-либо всероссійскій публицистъ торжественно провозгласилъ, что дважды-два стеариновая свѣчка, и въ доказательство привелъ бы таблицу умноженія, въ которой весьма явственно изображено, что дважды-два отнюдь не стеариновая свѣчка, а четыре; еслибы онъ далѣе заявилъ, что чай есть напитокъ пріятный и полезный, а *потому* его слѣдуетъ пить только по утрамъ, или что политическая свобода есть благо, а *потому* только высшіе классы должны ею пользоваться; еслибы всероссійскій публицистъ написалъ или произнесъ что-нибудь въ этомъ родѣ, — то такія страшныя умозаключенія допустили бы три различныя объясненія. Вопервыхъ, публицистъ могъ сболтнуть рядъ фразъ, не замѣчая, что онѣ не клеятся между собой; вовторыхъ, публицистъ могъ нагло и злонамѣренно свернуть съ логической дороги по направленію къ какому либо изъ вѣсомыхъ или невѣсомыхъ земныхъ благъ; втретьихъ, публицистъ могъ быть непроходимо тупъ. Ни одно изъ этихъ объясненій не можетъ быть приложено къ ошибкамъ Спенсера: ни въ перышливости, ни въ тенденціозной наглости и ни въ тупости его заподозрить нельзя. Онъ мыслитель несомнѣнно сильный, осторожный и безпристрастный. А между тѣмъ приведенные промахи столь же несомнѣнно грубы до послѣдней степени, такъ что ихъ замѣтилъ бы самый дюжинный умъ. Можетъ быть не всякій жалкій писака, взгляды котораго опредѣляются однѣми случайностями и не имѣютъ какого бы то ни

было общаго источника и устья, рѣшился бы подписаться подъ такой статьёй, какъ «Полезьа и красота». Потому что это не защита ложнаго принципа, не случайная ошибка въ вычисленіи, не злонамѣренное извращеніе, не небрежное отношеніе къ предмету изслѣдованія,—это просто чисто логическія ошибки, непростительно плохое наведеніе и непростительно плохой силлогизмъ. «Одинъ изъ самыхъ мощныхъ дѣятелей, какихъ до сихъ поръ производила англійская мысль, человѣкъ, исполненный научнаго духа», въ доказательство своего положенія, приводитъ примѣры, опровергающіе его; затѣмъ ставитъ другое положеніе, и изъ него дѣлаетъ логически невозможный выводъ. Надъ такимъ фактомъ стоитъ призадуматься и поискать причинъ, которыя отвели мыслителю его обыкновенно зоркіе глаза. Помимо простаго, такъ-сказать, психологическаго интереса подобнаго изслѣдованія, надо еще имѣть въ виду поучительность и даже плодотворность грубыхъ ошибокъ сильнаго ума. Намъ приходится на память афоризмъ, кажется, Бэкона: если приткій человѣкъ хоть немного уклонится отъ настоящей дороги, то въ дальнѣйшемъ слѣдованіи отойдетъ отъ цѣли своего пути гораздо дальше и заблудится гораздо скорѣе, чѣмъ человѣкъ съ черепашинымъ ходомъ. Дѣло, значитъ, возможное, что сильный умъ впадаетъ въ ошибки болѣе грубыя, чѣмъ ошибки какой-нибудь туицы. И если намъ удастся открыть причины логическаго промаха человѣка недюжиннаго, — въ нравственномъ ли его складѣ, или въ какомъ-либо изъ основныхъ его теоретическихъ положеній, то помимо тѣхъ истинъ, которыя будутъ добыты нами попутно, мы убѣдимся еще, что исходная точка мыслителя, или его пріемъ, вообще найденная фальшивая складка должна завести въ непроходимыя дебри всякаго, хоть будь онъ семи пядей во лбу. И чѣмъ болѣе рѣзкій диссонансъ представляетъ ошибка въ общей гармоніи міросозерцанія мыслителя, то-есть чѣмъ она грубѣе, тѣмъ значитъ глубже лежать ея основанія и тѣмъ поучительнѣе будетъ наше изслѣдованіе.

Нѣкоторый намекъ на искомое въ настоящемъ случаѣ объясненіе мы можемъ найти у самаго Спенсера, въ его любопытной

статья: «Значение очевидности». Спенсеръ доказываетъ въ ней, что точное наблюдение есть дѣло вовсе не такъ легкое и простое, какъ обыкновенно думаютъ; что наблюдателя одинаково сбиваютъ съ толку и присутствіе, и отсутствіе предвзятой мысли или, какъ онъ, а можетъ быть переводчикъ, не совсѣмъ вѣрно выражается, — гипотезы. Эту съ перваго взгляда парадоксальную и безъ должныхъ ограниченій дѣйствительно парадоксальную мысль онъ доказываетъ по обыкновенію примѣрами. — Лѣтъ полтораста тому назадъ въ Англіи существовало такое повѣрье: плодъ деревьевъ, растущихъ на морскомъ берегу, свѣшивается въ море и черезъ нѣсколько времени превращается въ существа, заключенныя въ раковинахъ и извѣсныя подъ именемъ «уточекъ»; эти уточки усаживаются на погруженныхъ въ море вѣтвяхъ. Но на этомъ не оканчивается метаморфоза, и изъ уточекъ съ теченіемъ времени образуются морскія птицы, такъ-называемыя «уточка-гуси» (Barnacle-goose). Эта исторія уточекъ-гусей признавалась не только простонародьемъ, а и натуралистами того времени, и притомъ у послѣднихъ вѣрованіе это «было основано на наблюденияхъ, которыя были переданы и одобрены величайшими учеными авторитетами и опубликованы съ ихъ распоряженія. Въ статью, помѣщенную въ „Philosophical Transactions“ сэръ Робертъ Морей, описывая этихъ уточекъ, говоритъ: «Въ каждой раковинѣ, которую я вскрывалъ, я находилъ совершенную морскую птицу: маленькій носъ, подобный носу гуся, обозначенные глаза, голову, шею, грудь, крылья, хвостъ и сформировавшіяся ноги, перья, вездѣ совершенно образовавшіяся и темноватаго цвѣта, и ноги, подобныя ногамъ морскихъ птицъ». Теперь эти уточки смирно сидятъ на одной изъ низшихъ ступеней зоологической лѣстницы, и Спенсеръ находитъ, что и представить себѣ нельзя, что такое Морей могъ принять въ ихъ организациі за голову, крылья и т. д. морской птицы; нѣтъ даже намекъ на самое отдаленное сходство. А между тѣмъ Морей наблюдалъ и видѣлъ все это своими собственными глазами. Въ 1662 г., въ Мильдбургѣ была издана книга „Metamorphosis naturalis“ особенно любопытная потому, что въ ней впервые была сдѣлана

попытка подробно описать метаморфозы насекомыхъ. Къ книгѣ приложены таблицы съ изображеніемъ послѣдовательныхъ степеней развитія насекомыхъ, то-есть личинокъ, куколокъ и окончательно развитыхъ насекомыхъ. Куколки нашихъ бабочекъ имѣютъ обыкновенно на переднемъ концѣ нѣсколько острыхъ возвышеній, расположенныхъ совершенно неправильно. «Несмотря на то, говоритъ Спенсеръ, въ таблицахъ этого «*Metamorphosis naturalis*» каждая куколка имѣетъ столь измѣненныя возвышенія, что представляется смѣшная человѣческая голова, и каждому виду приданы различные профили. Вѣрилъ ли художникъ въ метемпсихозу и думалъ найти въ куколкахъ преобразившееся чело-вѣчество, или былъ увлеченъ ложной аналогіей, которую такъ усиленно проводилъ Ботлеръ между переходомъ отъ куколки къ бабочкѣ и отъ смертности къ безсмертію, и поэтому замѣчалъ въ куколкѣ типъ чело-вѣка,—неизвѣстно. Но мы видимъ здѣсь фактъ, что подъ влияніемъ того или другаго предвзятаго мнѣнія онъ сдѣлалъ свои рисунки совершенно отличными отъ дѣйствительныхъ формъ. Онъ не только думаетъ, что это сходство существуетъ, не только говоритъ, что можетъ видѣть его: предвзятое мнѣние такъ овладѣваетъ имъ, что руководить его кистью и заставляетъ воспроизводить изображенія, до крайней степени непохожія на дѣйствительныя». Далѣе Спенсеръ приводитъ тотъ фактъ, что два наблюдателя, исповѣдующіе различныя теоріи, смотря на одинъ и тотъ же предметъ, въ одинъ и тотъ же микроскопъ, описываютъ обыкновенно предметъ не одинаково.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ поразительно ложная передача фактовъ самыми изощренными органами чувствъ обуславливается присутствіемъ ложнаго предвзятаго мнѣнія. Но и отсутствіе всякаго предвзятаго мнѣнія столь же невыгодно отзывается на результатахъ наблюденія. Изъ примѣровъ заблужденій этого рода, приводимыхъ Спенсеромъ, мы остановимся только на одномъ, изъ его собственнаго опыта. На дѣтскихъ рисункахъ Спенсера тѣнь какого-нибудь предмета изображалась всегда черною. Молодой рисовальщикъ видалъ на своемъ небольшомъ вѣку, разумѣется, множество тѣней, и такъ-какъ онъ не имѣлъ на этотъ счетъ ни-

какихъ заранѣе установленныхъ мнѣній, а въ большинствѣ видѣнныхъ имъ случаевъ тѣнь приближалась къ черному цвѣту, то глазъ его неспособенъ былъ различить противоположные случаи. Такъ дѣло шло до восемнадцати лѣтъ. Тутъ Спенсеръ встрѣтился съ однимъ артистомъ-диллетантомъ, который сталъ ему доказывать, что тѣнь бываетъ не чернаго, а нейтральнаго цвѣта. Молодой человекъ спорилъ, приводилъ въ доказательство свое собственное наблюденіе, но наконецъ долженъ былъ сдаться. Тутъ только глаза его прочистились, и онъ убѣдился, что до сихъ поръ органъ зрѣнія обманывалъ его, докладывая, что тѣнь всегда черная; онъ увидѣлъ, что она бываетъ весьма часто цвѣтная. Прошло нѣсколько времени, и чтеніе популярнаго сочиненія по оптикѣ навело его на раздумье о причинахъ цвѣтныхъ тѣней. И когда, вслѣдствіе этого, у него составилось опредѣленное понятіе о тѣняхъ, глаза его стали очень явственно различать оттѣнки ихъ. Понявъ, что цвѣтъ тѣни зависитъ отъ цвѣта всѣхъ окружающихъ предметовъ, способныхъ испускать лучи и отражать свѣтъ, онъ увидѣлъ очень ясно, что напри- мѣръ въ лунную ночь, возлѣ газоваго фонаря, карандашъ, помѣщенный перпендикулярно къ листу бумаги, дастъ двѣ тѣни: пурпурно-голубую и желто-сѣрую, производимыя отдѣльно горящимъ газомъ и луной. До тѣхъ поръ, пока онъ не узналъ изъ теоріи, что такъ должно быть, и приступалъ къ наблюденію безъ всякаго предвзятаго мнѣнія, онъ не замѣчалъ подобныхъ явленій. Такимъ образомъ, относительно самаго обыденнаго явленія онъ имѣлъ послѣдовательно три убѣжденія, изъ которыхъ каждое основывалось на наблюденіи. «Безъ помощи первой гипотезы, говоритъ онъ, я вѣроятно остался бы при общемъ убѣжденіи, что тѣни черны. Безъ помощи другой я оставался бы вѣроятно при убѣжденіи, на половину истинномъ, что онѣ нейтральнаго цвѣта». Изъ этого Спенсеръ и заключаетъ, что и присутствіе, и отсутствіе предвзятаго мнѣнія невыгодно вліяютъ на точность наблюденія: въ первомъ случаѣ наблюдатель невольно поддается своей затаенной мысли и видитъ вещи не такими, каковы онѣ дѣйствительно, а во второмъ — упускаетъ

изъ виду многое, существенно важное въ наблюдаемомъ явленіи. Гдѣ же исходъ изъ этой дилеммы? «Всѣ наблюденія, исключая тѣхъ, которыя производятся подѣ влияніемъ уже установленныхъ и истинныхъ теорій, рискуютъ оказаться извращенными или неполными». Въ концѣ концовъ мы, значитъ, все-таки отброшены къ предвзятому мнѣнію, съ тѣмъ, однако, важнымъ условіемъ, чтобы мнѣніе это имѣло за себя извѣстныя, полномѣсныя гарантіи. Оно должно вытекать изъ нѣкоторой прежней, проверенной и вполне истинной оцѣнки извѣстной группы явленій. Всмотриваясь въ послѣдній изъ приведенныхъ нами примѣровъ Спенсера, не трудно видѣть, что онъ весьма мало годится въ примѣры заблужденія отъ отсутствія предвзятаго мнѣнія. Молодой Спенсеръ не замѣчалъ цвѣтныхъ тѣней очевидно не потому, чтобы онъ не имѣлъ относительно этого какихъ бы то ни было убѣжденій, а напротивъ въ силу ложнаго убѣжденія, что всѣ тѣни черны; онъ слѣдовательно все-таки приступалъ къ наблюденію съ предвзятымъ мнѣніемъ, а не безъ него. То же самое относится и ко всѣмъ приводимымъ имъ примѣрамъ этого рода. Да и едва-ли можно подыскивать примѣры заблужденія отъ отсутствія предвзятаго мнѣнія, потому что самое отсутствіе это невысказано. Человѣкъ всегда приступаетъ къ изслѣдованію съ предвзятымъ мнѣніемъ и, смотря по качеству послѣдняго, доходитъ то до гениальнаго открытія, то до невыразимой неслѣдственности. Если читатель не согласится съ этимъ, то только потому, что въ умѣ его съ выраженіемъ «предвзятое мнѣніе» ассоціировалось представленіе о чемъ-то несостоятельномъ и неизбежно ложномъ, что, разумѣется, невѣрно. Предвзятое мнѣніе обуславливается двумя элементами: во первыхъ запасомъ предъидущаго, бессознательно или сознательно приобретеннаго опыта и вовторыхъ высотой нравственнаго уровня изслѣдователя. И если этотъ нравственный уровень достаточно высокъ, а предварительная умственная работа была достаточно сильна, то нѣтъ причины опасаться за состоятельность предвзятаго мнѣнія. Бэконъ наивно-грубо и, принимая въ соображеніе его личныя качества, даже нѣсколько безсовѣстно гово-

рить: «если мужъ зрѣлаго возраста, *неподкупныхъ чувствъ*, просвѣщенной души, обратитъ свой умъ на опытъ и частности, то отъ него можно будетъ ожидать многого». (Либихъ: «Фр. Бэконъ Веруламскій и методъ естествознанія»). Вы натуралистъ. Передъ вами развертывается безконечная цѣпь явленій природы, но вы останавливаетесь на одномъ изъ звеньевъ этой цѣпи и тѣмъ самымъ задаете себѣ извѣстный частный вопросъ. Почему вы остановились именно передъ такимъ фактомъ, а не передъ другимъ, и задали себѣ именно этотъ вопросъ, а не тотъ? Потому что накопленный вами до этого момента опытъ позволяетъ вамъ предугадать отвѣтъ, и существованіе предвзятаго мнѣнія сказывается уже въ томъ простомъ обстоятельстве, что вы обратили вниманіе на явленіе. «Даже въ наукѣ чисто опытной—говоритъ Милль (Система логики)—необходимъ поводъ произвести одинъ опытъ предпочтительно передъ другимъ. Отвлеченно пожалуй всѣ произведенные опыты *могли бы* быть сдѣланы по одному побужденію узнать, что именно случится въ извѣстныхъ обстоятельствахъ, безъ всякаго предварительнаго предположенія относительно результата. Но на дѣлѣ эти неочевидные, тонкіе и часто затруднительные и скучные процессы опыта, бросившіе наибольшій свѣтъ на общій складъ природы, едва-ли были бы предприняты тѣми лицами, которыя ихъ исполнили, или въ то время, когда они ихъ исполнили, еслибы не казалось, что отъ этихъ опытовъ зависитъ то, будетъ-ли принята или нѣтъ какая-либо общая теорія, предложенная, но еще не доказанная». Человѣкъ находитъ только то, что ищетъ, и еслибы можно было предположить, что люди ничего не ищутъ, то они ничего и не нашли бы. Если человѣкъ акуратно ведетъ свою умственную прихода-расходную книгу, если онъ угадалъ, что запасъ его знаній достаточенъ для отвѣта на заданный имъ себѣ вопросъ,—онъ побѣдилъ; если его прежнія знанія ошибочны или ихъ недостаточно,—онъ побѣжденъ. Такъ побѣждены были метафизическія теоріи, гонявшіяся за невозможнымъ, задававшія себѣ такіе вопросы, на которые для человѣка нѣтъ отвѣта. Такъ побѣждены были Морей и авторъ «Metamorphosis natu-

ralis», приступавшіе къ наблюденію съ предвзятымъ мнѣніемъ, основаннымъ на недостаточномъ знаніи. Такъ изъ двухъ микро-скопистовъ, наблюдающихъ одно и то же явленіе, но придерживающихся различныхъ теорій, побѣжденъ по крайней мѣрѣ одинъ, а можетъ быть и оба. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, побѣда зависитъ не столько отъ обширности знаній, сколько отъ особенныхъ качествъ ума изслѣдователя. Что же касается до второго элемента предвзятаго мнѣнія, т.-е. до нравственнаго уровня, то, не столь очевидный въ естествознаніи, онъ даетъ себя особенно чувствовать въ социологіи. Такъ какъ здѣсь мы имѣемъ дѣло не только съ необходимымъ, но и съ желательнымъ, то въ поставляемыхъ нами себѣ цѣляхъ предвзятое мнѣніе необходимо осложняется нравственнымъ элементомъ. Кромѣ истинности, достаточной для естествоиспытателя, предвзятое мнѣніе социолога должно отразить въ себѣ его идеаль справедливости и нравственности и, смотря по высотѣ этого идеала, онъ болѣе или менѣе приблизится къ пониманію смысла являющейся общественной жизни. Едва только естествоиспытатель намѣтилъ явленіе, желая подвергнуть его наблюденію, воображеніе его уже комбинируетъ усвоенныя имъ предварительно данныя съ подлежащимъ изслѣдованію фактомъ, и онъ приступаетъ къ наблюденію съ готовымъ уже въ общихъ чертахъ рѣшеніемъ. Если предварительно усвоенныя данныя стоятъ прочно, то и рѣшеніе его вѣрно; если нѣтъ—онъ находитъ птицу въ раковинѣ и человѣческое лицо на куколкѣ бабочки. Но для социолога этого мало. Морей, добросовѣстно наблюдая «уточекъ», вслѣдствіе ложнаго предвзятаго мнѣнія, видѣлъ въ нихъ птицъ. Славянофиль, положимъ, тоже добросовѣстно изучая до-петровскую Россію, вслѣдствіе не менѣе ложнаго предвзятаго мнѣнія, не видитъ въ ней тѣневыхъ сторонъ. Морею могли бы помочь только здравыя понятія о взаимной зависимости естественныхъ фактовъ. Славянофилы могли бы спасти отъ заблужденія не только трезвые взгляды на взаимную связь историческихъ явленій, но и общественный идеаль болѣе высокій, нежели состояніе до-петровской Руси, а для выработки такого идеала требуется из-

вѣстный нравственный уровень. Объ этомъ впрочемъ еще рѣчь впереди, а здѣсь съ насъ довольно того факта, что предвзятое мнѣніе неизбѣжно играетъ весьма значительную роль въ нашихъ изслѣдованіяхъ, какъ бы мы безпристрастны ни были. Сѣтовать на это нечего впервыхъ уже потому, что это неизбѣжно, а вовторыхъ потому, что если предвзятое мнѣніе ведетъ весьма часто къ неполнымъ и ошибочнымъ наблюденіямъ и умозаключеніямъ, то имъ же обусловливается и дальнѣйшее движеніе науки впередъ. Отказаться отъ предвзятаго мнѣнія, значитъ отказаться отъ всего своего умственного и нравственного капитала, что и невозможно, и было бы невыгодно, если даже допустить возможность такого самоотреченія. Нужно только имѣть въ виду, что предвзятое мнѣніе должно, какъ говоритъ Спенсеръ, вытекать изъ установившихся и истинныхъ теорій.

Возвращаясь опять къ вышеприведеннымъ ошибкамъ Спенсера, мы видимъ, что онѣ не менѣе грубы, чѣмъ ошибки Морея и автора «*Metamorphosis naturalis*», хотя первыя касаются не непосредственныхъ наблюденій. Морей наблюдалъ усоногихъ подъ вліяніемъ народнаго повѣрья, и нашелъ вѣчто невозможное. Но народное повѣрье составляло только ближайшую причину его заблужденія, и онъ не поддался бы ему, еслибы не думалъ, что странная метаморфоза усоногаго въ птицу возможна; доступный ему кругъ фактовъ не опровергалъ этой возможности, и онъ поддался вліянію народнаго предразсудка. Точно также и Спенсеръ. Онъ разсуждаетъ о полезномъ и прекрасномъ и о задачахъ искусства съ заранѣе готовымъ рѣшеніемъ, что въ историческомъ порядкѣ прекрасное слѣдуетъ за полезнымъ, и что искусство не должно изображать жизнь и стремленія настоящаго времени. Если онъ при этомъ видитъ въ усоногомъ птицу, то, принимая въ соображеніе обычную силу его мысли, мы должны придти къ заключенію, что два указанная предвзятыя мнѣнія примыкаютъ къ нѣкоторому болѣе основному заблужденію, лежащему въ самомъ корнѣ его міросозерцанія. Обстричь вѣтви дерева—штука нехитрая, и ужъ во всякомъ случаѣ отъ Спенсера мы могли бы этого ожидать. Другое дѣло срубить

самое дерево. Поэтому, какъ въ заблужденіи Морея насъ въ особенности долженъ интересовать вопросъ: какимъ образомъ ученый могъ поддаться вліянію народнаго предразсудка?—такъ и относительно ошибокъ Спенсера главнымъ образомъ любопытно знать: почему въ умѣ его установилось мнѣніе о томъ, что искусство должно передавать только жизнь прошлаго, и установилось до такой степени прочно, что мѣшаетъ ему отличить птицу отъ усонагого. Словомъ, мы должны предположить, что карточный домикъ «Полезы и красоты» есть только пристройка къ нѣкоторому не менѣе карточному, но болѣе обширному домику.

Этотъ обширный карточный домикъ есть соціологическая теорія Спенсера, и на ней-то мы и остановимся. Мы займемся собственно только однимъ обобщеніемъ Спенсера, но обобщеніемъ весьма широкимъ, захватывающимъ наиболѣе дорогія для человѣка вѣрованія и убѣжденія,—подведеніемъ подъ одинъ и тотъ же масштабъ законовъ явленій природы и общественной жизни. Надо впрочемъ замѣтить, что аналогія между организмомъ естественнымъ и соціальнымъ, между развитіемъ органическимъ и общественнымъ прогрессомъ составляетъ одинъ изъ пунктовъ, наиболѣе интересующихъ Спенсера. Онъ возвращается къ ней при всякомъ удобномъ случаѣ не только почти во всѣхъ своихъ мелкихъ статьяхъ, но и въ «Основныхъ началахъ» и въ «Основаніяхъ біологіи» и въ опытѣ о воспитаніи, и на этой же идеѣ построена, безъ всякаго сомнѣнія, его «Соціальная статика», въ русскомъ переводѣ еще не существующая. Законы соціального прогресса составляютъ для него не болѣе, какъ частный случай общихъ, трансцендентныхъ законовъ развитія вообще, а потому читатель можетъ получить изъ нашей статьи понятіе не только о воззрѣніяхъ Спенсера на частный вопросъ первостепенной важности, но и объ одной изъ самыхъ любимыхъ общихъ идей его. Считаемъ однако нужнымъ замѣтить, что соціологическая теорія Спенсера есть Ахиллесова пятка его философіи, и каковъ бы ни былъ результатъ, къ которому мы придемъ, онъ отнюдь не долженъ быть распространенъ на всѣ выводы Спенсера. Ахил-

лесова же пятка эта требуетъ въ настоящемъ случаѣ весьма тщательнаго обслѣдованія, потому что нѣкоторыя особенности мышленія и изложенія Спенсера могутъ скрыть отъ читателя несостоятельность его воззрѣній на задачи соціологіи и его способовъ рѣшенія ихъ.

Спенсеръ излагаетъ свои мысли въ высшей степени спокойно и безстрастно, обставляетъ ихъ множествомъ примѣровъ изъ самыхъ разнообразныхъ отраслей науки и жизни, причемъ обнаруживаетъ огромныя свѣдѣнія и располагаетъ свои примѣры чрезвычайно искусно. Эти-то свойства его аргументаціи дѣлаютъ ее чрезвычайно опасною, и въ особенности для насъ, русскихъ. Спенсеръ трактуетъ объ общественныхъ вопросахъ совершенно такъ же безстрастно, какъ о гипотезѣ туманныхъ массъ или о фазахъ развитія гидры. Мы къ этому не привыкли. Мы, къ счастью или къ несчастію, не доросли до объективнаго отношенія къ фактамъ общественной жизни, и субъективная точка зрѣнія сквозитъ въ каждой строкѣ, какъ нашихъ собственныхъ политическихъ писателей, такъ и большей части тѣхъ иностранныхъ авторовъ, съ которыми мы до сихъ поръ познакомились. Поэтому, встрѣчаясь съ спокойнымъ мыслителемъ, ищущимъ одной только голой и объективной истины, очевидно неподкальвающимся подъ чьи бы то ни было интересы, мы можемъ либо просто отвернуться отъ добытыхъ ихъ, неприятныхъ для насъ истинъ, или же слѣпо увлечься ихъ истинностью. И то, и другое, разумѣется, прискорбно. Мы и безъ того играемъ относительно Западной Европы роль кухарки, получающей отъ барыни по наслѣдству старомодныя шляпки. Въ то время, какъ мы еще дѣлимся на матеріалистовъ и спиритуалистовъ, передовая западная мысль, въ лицѣ Конта, Спенсера и проч., отрицаетъ и ту, и другую систему. Въ то время, какъ въ нашемъ обществѣ то и дѣло раздаются упреки передовымъ людямъ въ атеизмъ,—позитивизмъ называетъ атеистовъ «самыми нелогическими теологами» (выраженіе Конта и—совершенно независимо отъ него—одного изъ крайнихъ лѣвыхъ гегелианцевъ). Легко можетъ быть, что нѣкоторые принципы позитивной соціологіи перейдутъ къ

намъ тогда, когда они уже падуть въ Западной Европѣ. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что на примѣрѣ въ социологическихъ выводахъ Спенсера одна часть нашего мыслящаго общества можетъ увлечься грандіознымъ захватомъ явленій природы и общественной жизни въ руки одного великаго принципа; а другая — той научной санкціей, которую, повидимому, даетъ Спенсеръ существующему порядку. Притомъ же онъ обладаетъ такими знаніями и такъ ловко пускаетъ ихъ въ ходъ, что читатель невольно поддается ему и видитъ въ его выводахъ только непроборимую истину. Аргументація Спенсера обыкновенно располагается по тому же плану, какой мы видѣли въ статьѣ «Польза и красота». Онъ ставитъ положеніе, затѣмъ приводитъ возможно большее количество примѣровъ, подтверждающихъ его, и наконецъ выдвигаетъ раціональное основаніе своему выводу. Слѣдуя этому плану изложенія, Спенсеръ подавляетъ читателя массою пояснительныхъ примѣровъ, взятыхъ изъ самыхъ разнообразныхъ сферъ. Мысль его оказывается чрезвычайно широкою, и читатель, поддавшись обаянію этой ширины, не замѣчаетъ проскальзывающаго кое-гдѣ недостатка глубины. Онъ едва успѣваетъ слѣдить за авторомъ, легко и свободно переносящимся изъ одной области въ другую, и **вездѣ** оказывающимся у себя дома. А между тѣмъ, авторъ только самымъ поверхностнымъ образомъ захватываетъ эти области и, самъ увлеченный стройностью своей формулы, стремится главнымъ образомъ доказать ея всеобъемлемость. Поэтому, когда онъ въ концѣ концовъ обращается къ дедукціи для подтвержденія индуктивнымъ путемъ добытой формулы, старается связать ее причинно съ нѣкоторымъ болѣе общимъ фактомъ, ему приходится только перефразировать свой первоначальный выводъ, еще требующій по крайней мѣрѣ подтвержденія, если не доказательства, или же установить его на крайне шаткихъ основаніяхъ. Получается карточный домикъ, непрочности котораго читатель, находясь уже во власти мыслителя, легко можетъ не замѣтить.

II.

Что такое прогрессъ?

Выставивъ этотъ вопросъ, Спенсеръ замѣчаетъ, что слово «прогрессъ» крайне неопредѣленно, потому что имъ обозначаются предметы чрезвычайно различные. Главное же неудобство этого слова состоитъ, по его мнѣнію, въ томъ, что съ нимъ связано телеологическое понятіе: «всея явленія разсматриваются съ точки зрѣнія человѣческаго счастья; только тѣ измѣненія считаются прогрессомъ, которыя прямо или косвенно стремятся упрочить счастье человѣка, и считаются они прогрессомъ только потому, что способствуютъ этому счастью». Телеологическій смыслъ слова «прогрессъ» суживаетъ его значеніе, а потому «наша задача, говоритъ Спенсеръ, состоитъ въ томъ, чтобы проанализировать различные классы измѣненій, обыкновенно называемыхъ прогрессомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и другіе классы, которые сходны съ ними, но прогрессомъ не считаются; при этомъ, мы хотимъ разсмотрѣть, въ чемъ состоитъ ихъ существенная природа, независимо отъ отношеній къ нашему благоденствію». (Основныя начала, 159). Такъ Спенсеръ и дѣлаетъ въ своемъ опытѣ «Прогрессъ, его законъ и причина», а, перенеся послѣдній почти цѣликомъ въ «Основныя начала», во избѣжаніе сбивчивости, даже замѣняетъ слово «прогрессъ» словомъ «развитіе» (evolution).

Итакъ, что такое развитіе? не развитіе человѣка или общества, животнаго или солнечной системы, дерева или человѣческаго языка, а развитіе вообще; каковы его трансцендентные законы? Для отвѣта на этотъ вопросъ Спенсеръ обращается прежде всего къ частному случаю,—къ развитію органическому. Открытія и изслѣдованія физиологовъ показали, что процессъ, которому подвергается яйцо при преобразованіи его въ животное, и сѣмя при переходѣ въ взрослое растеніе, состоитъ въ постепенномъ усложненіи. Бэръ формулировалъ законъ органическаго прогресса, какъ переходъ отъ простаго къ сложному, отъ

однороднаго къ разнородному, путемъ послѣдовательныхъ расчлененій или дифференцированій. Въ первую пору своего существованія зародышъ представляется относительно однороднымъ какъ по ткани, такъ и по химическому составу. Но съ теченіемъ времени съ немъ явственно обособляются сначала двѣ части, изъ которыхъ каждая дифференцируется въ свою очередь, и т. д. Этотъ процессъ продолжается до тѣхъ поръ, пока организмъ достигнетъ наконецъ кульминаціонной точки своего развитія, т.-е. усложненія. Это широкое и вполнѣ научное обобщеніе Спенсеръ кладетъ въ основаніе обобщенія еще болѣе широкаго, хотя, какъ увидимъ, и не столь научнаго, какъ обобщеніе Бэра. «Законъ органическаго развитія—говоритъ онъ—есть законъ всякаго развитія. Касается ли дѣло развитія земли или развитія жизни на ея поверхности, развитія общества, государственнаго управленія, промышленности, торговли, языка, литературы, науки, искусства, — всюду происходитъ то же самое развитіе отъ простаго къ сложному путемъ послѣдовательныхъ дифференцированій. Начиная отъ первыхъ сколько-нибудь замѣтныхъ космическихъ измѣненій до позднѣйшихъ результатовъ цивилизаціи, мы находимъ, что превращеніе однороднаго въ разнородное есть именно то явленіе, въ которомъ заключается сущность прогресса».

Положеніе поставлено, и Спенсеръ начинаетъ, по обыкновенію, приводить многочисленныя примѣры. Отъ развитія солнечной системы, очеркъ которой строится имъ на гипотезѣ туманныхъ массъ, онъ переходитъ къ геологическому развитію земли, къ развитію земной фауны и флоры, и затѣмъ наконецъ къ развитію рода человѣческаго, въ его индивидуальныхъ формахъ, расовыхъ и національныхъ группахъ и въ «соціальной организаціи».

Нынѣ существующіе дикіе народы и нѣкоторые отрывочныя свидѣтельства исторіи рисуютъ намъ первобытную культуру достаточно удовлетворительно. Въ первобытномъ обществѣ раздѣленіе труда почти не существуетъ. Оно можетъ быть, неидетъ дальше спеціализаціи мужскаго и женскаго труда. Но затѣмъ каждый членъ общества является одновременно охотникомъ,

рыбакомъ, оружейникомъ, воиномъ—словомъ, энциклопедистомъ по всѣмъ доступнымъ первобытному человѣку отраслямъ труда и знанія. Каждое семейство само удовлетворяетъ своими собственными силами всѣмъ своимъ потребностямъ. И потому, принимая въ соображеніе однородность физическихъ условій мѣстности, занятой кучкой первобытныхъ людей, мы видимъ, что вся эта кучка въ цѣломъ представляетъ почти идеальную однородность. Между членами ея нѣтъ большого различія въ занятіяхъ, въ уровнѣ интеллектуальнаго развитія, въ физической силѣ, въ организаціи. Но съ теченіемъ времени общество дифференцируется на управляющихъ и управляемыхъ. Сначала это различіе не имѣетъ слишкомъ рѣзкаго характера. Вожди, предводители, какъ и предводимые, сами рубятъ дрова и ходятъ на охоту, сами строятъ свое жалкое жилище и готовятъ лукъ и стрѣлы. Но зерно разнородности уже залегло въ дѣвственной почвѣ первобытнаго общества и скоро власть вождей обращается въ наследственную. За вождями окончательно удерживается ихъ роль правителей, они перестаютъ работать сами, употребляя для этого рабовъ, приобретенныхъ войною или инымъ путемъ, а остающійся у нихъ такимъ образомъ досугъ идетъ на интеллектуальное развитіе. Своимъ чередомъ образуется власть духовная. Наше однородное общество распалось на управляющихъ и управляемыхъ, а управители — на управителей свѣтскихъ и духовныхъ. Общество стало разнороднѣе. На этой ступени дифференцированіе не останавливается, и въ концѣ-коицовъ образуется въ высшей степени сложная организація управленія. Мы доходимъ до нынѣшняго конституціоннаго типа, въ которомъ болѣе или менѣе строго разграничиваются власти законодательная, исполнительная, судебная со всѣми ихъ развѣтвленіями: монархъ, министры, палаты, суды, казначейства, полиція, администрація губернская и уѣздная, департаменты, отдѣленія и т. д. Духовная власть, находившаяся первоначально въ рукахъ равныхъ между собою лицъ, распределяется съ теченіемъ времени между патріархами, митрополитами, архіепископами, епископами и т. д. Нравы и обычаи, подъ вліяніемъ различія обще-

ственныхъ положеній, также утрачиваютъ свою однородность. Наука, уже дифференцировавшаяся отъ религіи и философіи, сама дробится на множество вѣтвей. Въ то же время происходитъ быстрое дифференцированіе и въ средѣ управляемыхъ. Подъ вліяніемъ экономическаго раздѣленія труда въ тѣсномъ смыслѣ, ои распадутся постепенно на множество классовъ, занятыхъ какимъ-нибудь однимъ спеціальнымъ дѣломъ; такъ что мы доходимъ наконецъ до того, что рабочій дѣлаетъ только булавочныя головки или одно изъ колесъ часоваго механизма. Въ концѣ-концовъ трудно узнать первобытное однородное общество.

Далѣе Спенсеръ слѣдитъ за этимъ же переходомъ отъ однороднаго къ разнородному въ развитіи языка, письменности, искусствъ. Напримѣръ, поэзія, музыка и танцы составляли нѣкогда одно цѣлое. Израильтяне плясали и пѣли при сооруженіи золотого тельца. Пляска и игра на цимбалахъ сопровождали пѣніе торжественнаго Моисеева гимна на побѣду надъ египтянами. Въ Греціи, въ Римѣ и даже въ позднѣйшее время въ христіанскихъ странахъ хоръ плясалъ подъ музыку. Но теперь мы видимъ, что эти три отрасли искусства совершенно дифференцировались. Мы имѣемъ молчаливый балетъ, въ которомъ музыка не имѣетъ почти никакого значенія; у насъ есть опера, въ которой мы слушаемъ только музыку и пѣніе или даже одно только пѣніе и гдѣ поэзія, въ собственномъ смыслѣ, играетъ роль болѣе чѣмъ сомнительную. И это еще такія сферы, гдѣ связь между тремя первичными элементами наиболѣе сохранилась. Кромѣ того, переходъ отъ однороднаго къ разнородному сказывается не только въ отдѣленіи этихъ трехъ искусствъ другъ отъ друга, но и въ послѣдовательныхъ дифференцированіяхъ, черезъ которыя прошло каждое изъ нихъ. Древняя поэма дифференцировалась въ эпическую и лирическую. Первобытные ударные музыкальные инструменты въ родѣ барабана послѣдовательно замѣнились множествомъ струнныхъ и духовыхъ инструментовъ. Первобытный хороводъ, развиваясь, распался на безчисленное количество различныхъ танцевъ.

Подводя всему этому итогъ, Спенсеръ видитъ полное торже-

ство своей формулы органическаго развитія, какъ прототипа всякаго развитія, какое мы себѣ только можемъ представить. Надо удивляться терпѣннѣю и искусству, съ которыми Спенсеръ, во всѣхъ возможныхъ явленіяхъ природы и общественной жизни, слѣдитъ за элементами своей индукціи. Это очень поучительныя страницы, которя мы съ удовольствіемъ выписали бы цѣликомъ, еслибы у насъ не было впереди дѣла поважнѣе.

Какъ бы ни была исполнена эта часть труда Спенсера, читатель уже изъ немногихъ приведенныхъ нами примѣровъ долженъ убѣдиться, что его обобщеніе есть обобщеніе чисто эмпирическое. Спенсеръ на этомъ не останавливается и, установивъ индуктивнымъ путемъ законъ развитія, ищетъ затѣмъ его причину. Какъ истый позитивистъ, онъ прямо отказывается уловить эту причину, какъ нуменъ, какъ «вещь въ себѣ» метафизиковъ. Онъ и здѣсь не идетъ дальше феноменальной стороны и только хочетъ свое эмпирическое обобщеніе поднять до уровня обобщенія рациональнаго. Если, рассуждаетъ онъ, переходъ отъ однороднаго къ разнородному представляетъ до такой степени общее явленіе, то онъ долженъ быть связанъ съ какимъ-нибудь рядомъ извѣстныхъ намъ фактовъ, которые, вслѣдствіе безконечнаго повторенія и ежедневнаго опыта, сами уже не требуютъ для себя доказательства, но могутъ быть признаны причиною развитія, т. е. перехода отъ однороднаго къ разнородному. Гдѣ же искать этой причины? Самое общее свойство всѣхъ видовъ развитія состоитъ въ томъ, что всѣ они представляютъ нѣкоторыя измѣненія, а слѣдовательно, причина развитія должна корениться въ нѣкоторыхъ характеристическихъ чертахъ измѣненій вообще. Эти характеристическія особенности всякихъ измѣненій, общія всѣмъ имъ, сводятся для Спенсера къ двумъ трансцендентнымъ законамъ. Первый изъ нихъ формулируется такъ: «Каждая дѣйствующая сила производитъ болѣе одного измѣненія, каждая причина производитъ болѣе одного дѣйствія», или въ болѣе отвлеченномъ видѣ: «всякое измѣненіе сопровождается болѣе нежели однимъ измѣненіемъ». Спенсеръ полагаетъ, что этотъ основной законъ измѣненій находится къ за-

кону развитія въ такомъ же отношеніи, какъ законъ тяготѣнія къ законамъ Кеплера. Аргументація Спенсера на этомъ пунктѣ понятна и безъ тѣхъ многочисленныхъ примѣровъ, которыми онъ добросовѣстно обременяетъ свое изложеніе. Дѣло-то все въ томъ, что если каждое измѣненіе сопровождается болѣе нежели однимъ измѣненіемъ, то это должно вести все къ большому и большому усложненію результатовъ. Второй законъ, заключающій въ себѣ причину развитія, есть слѣдующій: «условія однородности суть условія неустойчиваго равновѣсія». Этотъ второй законъ Спенсеръ опять подтверждаетъ примѣрами изъ міра физическаго и соціальнаго. И тѣмъ завершается все зданіе, построенное такъ тщательно и съ такимъ искусствомъ, что подъ него, кажется, иголки не подточишь. Въ исходной точкѣ отброшены элементы, могущіе оказать вредное вліяніе на ходъ изслѣдованія; фактовъ собрано множество и методы индуктивный и дедуктивный взаимно пополняютъ и повѣряютъ другъ друга. Въ цѣломъ получается работа повидимому мастерская по тщательности отдѣлки деталей и по ширинѣ обобщенія, охватывающаго весь міръ отъ явленій астрономическихъ и геологическихъ до жизни и твореній человѣка.

Но если вы поближе взгляните въ это величественное, совершенно симметрическое и украшенное всевозможными орнаментами зданія, то увидите, что, по отношенію къ занимающимъ насъ соціологическимъ вопросамъ, въ этомъ зданіи требуется сдѣлать весьма существенныя поправки, до такой степени существенныя, что послѣ нихъ дедуктивная сторона изслѣдованія окажется по крайней мѣрѣ безсодержательною, индуктивный процессъ неполнымъ и потому результаты его ошибочными, а исходная точка, тщательно охраняемая отъ вторженія телеологическаго элемента — ложною. Мы знаемъ, съ кѣмъ имѣемъ дѣло, мы не забыли, что Спенсеръ есть «одинъ изъ самыхъ мощныхъ дѣятелей, какихъ до сихъ поръ производила англійская мысль», и потому желали бы быть какъ можно сдержаннѣе и осторожнѣе. Да пошлетъ намъ судьба столько же терпѣнія и искусства, сколько она даровала Спенсеру для постройки его

грандіознаго обобщенія, которому самъ онъ придаетъ весьма важное значеніе. Мы боимся главнымъ образомъ запутаться въ *embarras de richesses* слабыхъ пунктовъ аргументаціи Спенсера.

Начнемъ съ конца, т. е. съ двухъ основныхъ законовъ, principally обуславливающихъ развитіе. Для уясненія ихъ значенія возьмемъ на удачу одинъ изъ многочисленныхъ примѣровъ, приводимыхъ Спенсеромъ для утвержденія ихъ индуктивнымъ путемъ. Вы зажигаете свѣчку, т. е. прилагаете къ фитилю ея силу нѣкоторой посторонней теплоты. Начинается рядъ разнообразныхъ химическихъ и физическихъ явленій: образуется углекислота, вода, появляется свѣтъ, химическій процессъ развиваетъ теплоту, образуется струя разгоряченныхъ газовъ, новые токи воздуха; каждый изъ этихъ результатовъ даетъ новые, все болѣе сложные: углекислота, отдѣлившаяся при горѣннн, соединяется съ какимъ-нибудь новымъ основаніемъ или вновь разлагается, чтобы выдѣлить свой углеродъ листьями растений и т. д. Такимъ образомъ, — разсуждаетъ Спенсеръ, — одна сила приложенной первоначально къ свѣчкѣ теплоты производитъ множество измѣненій, множество дѣйствій. Но она производитъ ихъ очевидно только благодаря разнородности среды и состава свѣчки и фитиля; не будь этой разнородности, и сила не произвела бы даже и одного дѣйствія. Эту послѣднюю комбинацію намъ, живущимъ, уже въ готовой разнородной средѣ, которая и миллионы лѣтъ тому назадъ была уже разнородною, трудно себѣ представить. Но, во всякомъ случаѣ, очевидно, что количество измѣненій, производимыхъ нѣкоторою силою въ нѣкоторомъ тѣлѣ, обуславливается степенью разнородности какъ этого тѣла, такъ и окружающей среды. Уменьшая постепенно, съ одной стороны, разнородность тѣла, на которое непосредственно обращено дѣйствіе силы, и разнородность среды, въ которой происходитъ это дѣйствіе, мы будемъ получать все менѣе и менѣе сложные результаты; такъ что, дойдя до полной однородности, т. е. слитія среды съ тѣломъ, мы, пуская въ ходъ все ту же силу, не получимъ ни одного измѣненія. Эту комбинацію, повторяемъ, намъ трудно себѣ представить. Но возьмемъ простое химическое тѣло,

неокисляющееся ни при какихъ извѣстныхъ намъ условіяхъ и слѣдовательно нѣкоторымъ образомъ уединенное до извѣстной степени отъ вліянія разнородности среды,—золото, и подвергнемъ его дѣйствию одной силы высокой температуры. Мы получимъ только одно измѣненіе или по крайней мѣрѣ только одинъ видъ измѣненій,—золото придетъ въ жидкое состояніе, т. е. въ немъ произойдетъ нѣкоторое перемѣщеніе частицъ. Возьмите наоборотъ тѣло разнородное, сложное химическое соединеніе—и сила высокой температуры въ обыкновенной воздушной средѣ произведетъ нѣсколько дѣйствій: тѣло можетъ быть расплавится, разложится, затѣмъ элементы его могутъ соединиться въ кислородомъ воздуха, и полученные такимъ образомъ окислы опять произведутъ какія-нибудь дѣйствія на окружающіе предметы. Но здѣсь мы имѣемъ во первыхъ разнородное вещество, а во вторыхъ не одну силу теплоты, а кромѣ того силу химическаго средства. Такимъ образомъ, законъ—одна причина производить нѣсколько дѣйствій—долженъ быть въ сущности сведенъ къ истинѣ гораздо менѣе широкой и гораздо менѣе цѣнной: нѣсколько причинъ производятъ нѣсколько дѣйствій. Съ извѣстной точки зрѣнія, вѣрна и первая формула; но такъ какъ законъ нарастанія дѣйствій обуславливается присутствіемъ уже готовой разнородности среды, то вывести изъ него законъ развитія, какъ перехода отъ однороднаго къ разнородному, нѣтъ никакой возможности. Причина производитъ болѣе одного дѣйствія только въ разнородной средѣ, а такъ какъ среда, въ которой мы живемъ и наблюдаемъ всевозможныя явленія, разнородна, то въ ней обыкловенно дѣйствительно имѣетъ мѣсто означенный законъ. Мы говоримъ «обыкловенно», потому что самая разнородность среды можетъ быть такъ подогнана, что сила произведетъ только одно дѣйствіе, или ни одного дѣйствія, или наконецъ нѣсколько силъ не произведутъ ни одного или только одно измѣненіе. Но за всѣмъ тѣмъ, законъ развитія, какъ переходъ однороднаго въ разнородное, остается такимъ же эмпирическимъ закономъ, какимъ онъ былъ и до установленія перваго основнаго закона измѣненій. Спенсеръ говоритъ: «если гипотеза туман-

ныхъ массъ будетъ когда-нибудь подтверждена, намъ станетъ яснымъ, что вся вселенная вообще, такъ же, какъ и всякій организмъ, была иѣкогда однородна» (Опыты, I, 57) Если это когда-нибудь случится, то намъ станетъ вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно неяснымъ, какимъ образомъ эта однородная вселенная распалась на существующій разнородный мѣръ. По крайней мѣрѣ Спенсеровъ законъ измѣненій не поможетъ намъ здѣсь ни на волосъ. Въ этой однородной вселенной не было, конечно, разнородной среды, иначе она не была бы однородной вселенной, а Спенсеровъ основной законъ измѣненій справедливъ только для разнородной среды. Пусть въ разнородной средѣ однородное (собственно болѣе или менѣе разнородное) переходитъ въ разнородное. Но, отправляясь отъ какого бы то ни было частнаго факта и постепенно восходя все выше и выше, мы все-таки натолкнемся на вопросъ: откуда же взялась разнородная среда? Задавая этотъ вопросъ, мы не приглашаемъ Спенсера стать на онтологическую точку зрѣнія и не становимся на нее сами. Мы не требуемъ отъ него объясненія гепезиса вещей, не просимъ рассказать намъ, какъ и почему явилась однородная вселенная. Но какимъ образомъ однородная вселенная превратилась въ разнородную—это именно поставленная имъ себѣ задача. И однако его законъ измѣненій, при помощи котораго онъ рѣшаетъ эту задачу, имѣетъ мѣсто только уже при существованіи разнороднаго міра. Мы видимъ поэтому, что законъ, по которому всякое измѣненіе сопровождается болѣе нежели однимъ измѣненіемъ, будучи условно вѣрнѣе, отнюдь не можетъ служить доказательствомъ эмпирически найденной формулы развитія, какъ перехода отъ однороднаго къ разнородному. Можетъ ли быть найдено рачіональное основаніе этой формулы, или она составляетъ для нашего ума предѣлъ, его же не преидеши,—это другой вопросъ. Но Спенсеръ такого основанія не даетъ, и та доля истины, которая заключается въ его основномъ законѣ измѣненій, ничего по этому пункту не объясняетъ и не доказываетъ.

Къ тому же результату приводитъ анализъ и другаго закона Спенсера — неустойчивости однороднаго. Свой первый основ-

ной законъ Спенсеръ доказываетъ только индуктивнымъ путемъ, признавая его такимъ образомъ выраженіемъ конечнаго факта, который не можетъ быть сведенъ къ факту болѣе общаго характера; тогда какъ законъ неустойчивости однороднаго доказывается имъ и путемъ вывода, и путемъ наведенія. Вслѣдствіе этого безсодержательность этого второго закона выступаетъ ярче.—Какъ бы хорошо ни были устроены вѣсы и какъ бы ихъ ни старались предохранить отъ грязи, пыли и ржавчины, обѣ чашки невозможно удержать въ состояніи полного равновѣсія: онѣ будутъ постоянно колебаться и слѣдовательно усвоивать разнородныя отношенія; такимъ образомъ въ этомъ случаѣ однородное оказывается механически неустойчивымъ и стремится къ разнородности. Другой примѣръ. Нагрѣйте кусокъ металла такъ, чтобы онъ былъ раскаленъ равномерно по всѣмъ своимъ частямъ; когда этотъ раскаленный кусокъ металла начнетъ охлаждаться, то его первоначальная термическая однородность окажется неустойчивою, потому что наружные слои, охлаждаясь быстрѣе внутреннихъ, будутъ отъ нихъ отличаться, и т. д. Такъ или иначе, химическимъ путемъ или электрическимъ, механическимъ или термическимъ, но равновѣсіе однороднаго нарушается. Читатель, основываясь на этихъ примѣрахъ, подобранныхъ вообще очень ловко, можетъ придать закону Спенсера слишкомъ большое значеніе, можетъ даже забѣжать впередъ и, противопоставляя однородное разнородному, можетъ признать условія разнородности условіями устойчиваго равновѣсія. Дѣйствительно, если мы на одну изъ чашекъ вѣсовъ положимъ гирю, вслѣдствіе чего отношенія чашекъ будутъ разнородны, то коромысло приметъ нѣкоторое наклонное положеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ чашки перестанутъ колебаться, т. е. равновѣсіе получится устойчивое. Но нетрудно подобрать примѣры противоположнаго свойства, сравнивая напримѣръ устойчивость стола съ четырьмя ножками съ устойчивостью того же стола, когда одна изъ его ножекъ короче или совсѣмъ выдернута. Но не въ томъ дѣло. Спенсеръ, разумѣется, очень хорошо понимаетъ, что если однородное неустойчиво, то тѣмъ неустойчивѣе въ большинствѣ

случаевъ должно быть разнородное, и разъясненіе этого обстоятельства необходимо для его собственной аргументаціи. За нѣсколько страницъ передъ установленіемъ закона устойчивости однороднаго, Спенсеръ трактуетъ о зависимости, существующей между степенью сложности химическихъ соединений и ихъ устойчивостью предъ дѣйствіемъ высокой температуры. Простыя тѣла, неразложимыя наличными средствами химіи, обладаютъ *наибольшою устойчивостью*, они же представляютъ и полную химическую *однородность*. Закиси, щелочи и земли, составъ которыхъ уже болѣе разнороденъ, менѣе устойчивы нежели элементы, но представляютъ собою самыя устойчивыя изъ сложныхъ тѣлъ. Еще болѣе разнородныя окиси, перекиси и кислоты, затѣмъ соли, двойныя соли и т. д. представляютъ и большую неустойчивость. Эта пропорціональность между степенями неустойчивости и разнородности идетъ все *crescendo*, выражается все рѣзче и оканчивается на органическихъ соединенияхъ, наиболѣе сложныхъ и наименѣе устойчивыхъ. «При равенствѣ другихъ условій, — заключаетъ Спенсеръ, — постоянство соединеній уменьшается по мѣрѣ возрастанія ихъ сложности», или наоборотъ постоянство соединеній увеличивается по мѣрѣ ихъ упрощенія. Подобные факты, число которыхъ можетъ быть значительно увеличено (напримѣръ, видъ тѣмъ устойчивѣе, чѣмъ проще и однороднѣе организація составляющихъ его недѣлимыхъ), говорятъ скорѣе въ пользу существованія закона устойчивости однороднаго. Какъ только мы достигнемъ однородности вещества въ какомъ-нибудь отношеніи, напримѣръ въ химическомъ, такъ оно оказывается наиболѣе устойчивымъ, а слѣдовательно законъ неустойчивости однороднаго долженъ быть значительно суженъ. Но посмотримъ на доказательства Спенсера. Почему однородныя чашки вѣсовъ механически неустойчивы? Почему термически неустойчивъ кусокъ раскаленнаго металла? Потому, отвѣчаетъ Спенсеръ, что «разныя части какой-нибудь однородной агрегаціи подвергаются дѣйствію различныхъ силъ, — силъ, которыя отличаются или по роду своему, или по своимъ размѣрамъ. Будучи же подвер-

гнуты дѣйствию разныхъ силъ, онѣ по необходимости будутъ и измѣняться различнымъ образомъ». Итакъ, для того, чтобы однородное оказалось неустойчивымъ, разныя части его должны быть подвергнуты дѣйствию разныхъ силъ, чего разумѣется можетъ и не быть. Но, собственно говоря, и этого мало; возможны такіе случаи, когда и при дѣйствии разныхъ силъ на разныя части однородной агрегаціи, она обнаруживаетъ замѣчательную устойчивость. Спенсеръ самъ приводитъ одинъ такой примѣръ, причѣмъ даже очень наивно сознается въ безсодержательности своего закона. Дѣло идетъ о нѣкоторыхъ простѣйшихъ животныхъ, именно о такъ - называемыхъ Амоба. Студенистое тѣло амебъ, за все время ихъ существованія, не обнаруживаетъ никакихъ дифференцированій, никакихъ признаковъ развитія или усложненія, слѣдовательно тѣло амебы представляетъ однородную агрегацію, совершенно устойчивую и неимѣющую тенденціи къ разнородности. Это, говоритъ Спенсеръ, зависитъ отъ того, что форма амебъ безпрестанно и неправильно измѣняется: «то, что впоследствии составитъ внутреннюю часть, выходитъ теперь наружу и, какъ временный членъ, прилипаетъ къ какому - нибудь предмету, котораго случайно коснулось; то, что теперь составляетъ часть поверхности, скоро будетъ втянуто, вмѣстѣ съ прилипшимъ къ ней атомомъ пищи, внутрь массы». *«Нечего ждать, — заключаетъ Спенсеръ, — какого нибудь определеннаго дифференцированія частей въ существахъ, не обнаруживающихъ никакой определенной разницы въ положеніи своихъ частей»* (Опыты, I, 116). Но что такое само дифференцированіе?—«появленіе различія между двумя частями вещества» (Основныя начала, 159). Подставивъ это опредѣленіе въ подчеркнутую нами фразу, мы получимъ слѣдующее: «нечего ждать появленія определеннаго различія частей въ существахъ, не обнаруживающихъ никакого определеннаго различія въ положеніи своихъ частей». Неужели это доводъ въ пользу общности перехода отъ однородности къ разнородности? Неужели законъ неустойчивости однороднаго дѣйствительно относится къ закону развитія такъ, какъ законъ тяготѣнія относится къ за-

конамъ Кеплера? Во всякомъ случаѣ многочленные и широкія исключенія изъ закона неустойчивости однороднаго даютъ намъ право скептически отнестись ко всѣмъ выводамъ Спенсера, вытекающимъ изъ этого принципа. Онъ говоритъ напримѣръ: «Сообщите членамъ какого-нибудь общества одинаковыя свойства, положенія и силы, и они тотчасъ же станутъ стремиться къ неравенству. Однородность, хотя бы она и продолжалась съ виду, въ дѣйствительности неминуемо исчезнетъ» (Опыты, I, 113). Можетъ быть, но Спенсеръ не доказалъ этого. Мало того, у него самого можно найти нѣкоторыя общія положенія, прямой выводъ изъ которыхъ наводитъ на діаметрально противоположныя соображенія. «Основныя начала» въ русскомъ изданіи еще не окончены, но вотъ ссылка на нихъ въ «Основаніяхъ біологіи»: «Въ Основныхъ началахъ было указано (§ 123), что при равенствѣ прочихъ условій несходныя единицы легче отдѣляются другъ отъ друга дѣйствующею на нихъ силою, нежели сходныя; что, дѣйствуя на единицы, представляющія мало различія, сила не легко разъединяетъ ихъ; но что разъединеніе совершается легко, если различіе между единицами значительно» (Основанія біологіи, 3). Это значитъ, что нѣкоторое цѣлое, состоящее изъ сходныхъ единицъ, т.-е. цѣлое однородное, устойчивѣе другихъ цѣлыхъ, состоящихъ изъ единицъ несходныхъ. Исходя изъ этого принципа, слѣдуетъ заключить, что еслибы намъ дѣйствительно удалось сообщить членамъ какого-нибудь общества одинаковыя силы, свойства и положенія, то это общество отличалось бы замѣчательною устойчивостью; входящія въ составъ его совершенно сходныя единицы могли бы разъединиться съ гораздо большимъ трудомъ, чѣмъ еслибы въ силахъ, положеніяхъ и свойствахъ ихъ была значительная разница. И если замѣчаніе Спенсера о стремленіи къ неравенству членовъ какого бы то ни было общества согласно съ существующими фактами и можетъ быть подтверждено многочисленными примѣрами изъ исторіи человѣчества, то только потому, что въ дѣйствительности мы еще не видали такого соціальнаго строя, въ которомъ индивидуальныя элементы находились бы

въ состояніи полного равновѣсія. О принципахъ такого идеальнаго строя намъ говорить не приходится, хотя далѣе и понадобится вѣроятно ихъ отчасти коснуться. Но для всякаго очевидно, что они должны тяготѣть къ однородности. И что бы ни говорилъ Спенсеръ о неустойчивости однороднаго, онъ именно въ однородности долженъ искать основаній для устойчиваго общественнаго равновѣсія. Это видно уже изъ того, что въ числѣ признаковъ научнаго развитія древней Греціи онъ считаетъ «не только возрастающую ясность въ понятіи равенства, на которомъ основана соціальная наука, но и нѣкоторое признаніе того факта, что соціальная устойчивость зависитъ отъ поддержанія справедливыхъ учреждений» (I, 341). Положимъ, что справедливость есть терминъ, въ обиходномъ употребленіи довольно двусмысленный и даже многосмысленный, получающій значеніе только по той реальной подкладкѣ, которая подъ него кладется каждымъ вѣкомъ, каждымъ народомъ и каждымъ сословіемъ; и для ближайшаго опредѣленія смысла выраженія Спенсера слѣдуетъ подождать его «Соціальной Статики». Но если мы и теперь просто подставимъ конкретные факты въ цитированную выше отвлеченную формулу (изъ «Основныхъ Началъ»), то получимъ слѣдующее: если сила стремленія къ личному благосостоянію дѣйствуетъ на вполнѣ сходныя единицы, то антагонизма между ними быть не можетъ, тогда какъ та же сила, будучи приложена къ разнородному обществу, состоящему изъ единицъ несходныхъ, необходимо произведетъ въ нихъ борьбу и дальнѣйшее стремленіе къ неравенству. Спенсеру, придающему такое значеніе аналогіи между организмомъ естественнымъ и общественнымъ, стоило бы, для пріисканія условій устойчиваго соціальнаго равновѣсія, только обратиться къ организаціи тѣхъ самыхъ амебъ, тѣло которыхъ не обнаруживаетъ никакого опредѣленнаго различія въ положеніи своихъ частей.

Въ концѣ-копцовъ къ закону неустойчивости однороднаго, какъ къ причинѣ развитія, приложимы тѣ же возраженія, какія имѣютъ мѣсто относительно перваго основнаго закона измѣненій. Положимъ, что въ существующемъ разнородномъ мірѣ одно-

родное неустойчиво. Но оно неустойчиво только потому, что впервыхъ имѣеть различнымъ образомъ опредѣленные части (что собственно исключаетъ понятіе однородности), а вовторыхъ на него дѣйствуютъ различныя силы, т.-е. разнородность среды. Чѣмъ сходнѣе положеніе частей и чѣмъ менѣе среда разнородна, тѣмъ однородное устойчивѣе. И если мы представимъ себѣ наконецъ совершенно однородную вселенную, т. е. отсутствіе какъ различія въ положеніи ея частей, такъ и разнородной среды, то найдемъ ее непреодолимо устойчивой. Но даже не поднимаясь до однородной вселенной, трудно признать философское значеніе за положеніемъ: разнородность есть причина перехода отъ однородности къ разнородности. Законъ неустойчивости однороднаго, объясненный такимъ образомъ, имѣеть свою условную цѣну, по причинно связать съ нимъ законъ развитія нельзя подъ страхомъ впасть въ *petitio principii*. Можетъ быть, повторяемъ, законъ развитія есть фактъ конечный, выше котораго мы не въ состояніи подняться; можетъ быть, для объясненія міровыхъ явленій слѣдуетъ подступить къ нимъ съ какой-либо другой стороны, допускающей болѣе общій и удовлетворительный принципъ. Но во всякомъ случаѣ, два основныя закона Спенсера недостаточны для объясненія развитія, какъ перехода отъ однороднаго къ разнородному. И слѣдовательно, первоначальное обобщеніе Спенсера не поднимается выше уровня эмпирии, не связывается съ какимъ бы то ни было болѣе общимъ и очевиднымъ фактомъ, который можно бы было принять за причину развитія. Но если такъ, если законъ развитія, какъ перехода отъ однороднаго къ разнородному, есть законъ эмпирической, справедливый только при существованіи извѣстныхъ условій, которыхъ можетъ и не быть, то можно представить себѣ цѣлый рядъ измѣненій, происходящихъ въ обратномъ порядкѣ, т. е. переходя отъ разнороднаго къ однородному. Этого и самъ Спенсеръ отрицать не можетъ, потому что въ числѣ обширныхъ поправокъ и дополненій, которыя онъ дѣлаеть къ своему первоначальному изложенію хода всякаго развитія и о которыхъ рѣчь будетъ ниже,—онъ отводитъ значительное мѣсто процессу

«интеграціи», т.-е. процессу слитія, въ противоположность раздѣлительному процессу дифференцированія.

Если такъ неудачны попытки Спенсера доказать свой законъ развитія путемъ дедукціи, то нельзя того же сказать о его индуктивныхъ доказательствахъ. Здѣсь онъ развертываетъ всю свою громадную эрудицію, и даже монотонность и однообразіе его аргументаціи не утомляютъ читателя. Въ маленькомъ опытѣ: «Граціозность» Спенсеръ чрезвычайно остроумно (впрочемъ не ново, потому что объясненіе это дано еще Адамомъ Смитомъ въ «Теоріи нравственныхъ чувствъ») объясняетъ то пріятное чувство, которое въ насъ возбуждается зрѣлищемъ граціозныхъ движеній, граціозныхъ позъ, граціозныхъ формъ. Мы невольно раздѣляемъ всѣ мышечныя ощущенія, испытываемыя окружающими насъ людьми, а такъ какъ граціозныя движенія суть тѣ, которыя совершаются съ наибольшею экономіей силъ, наиболѣе легко и свободно, то и въ насъ видъ легкихъ и свободныхъ движеній возбуждаетъ пріятное чувство. Совершенно такое же пріятное состояніе духа овладѣваетъ читателемъ сочиненій Спенсера; онъ вполне обладаетъ тѣмъ, что можно бы было назвать умственной граціозностью, что свидѣтельствуетъ какъ о силѣ его ума, такъ и объ обширности его познаній. Онъ не пріискиваетъ фактовъ для подтвержденія своихъ положеній и выводовъ: они точно сами, одинъ за другимъ, въ стройномъ порядкѣ, длинной вереницей ложатся подъ его перо: вы не найдете тутъ и слѣдовъ какихъ-нибудь усилій, какой-нибудь нравственной или умственной муки, все ясно, свѣтло, все на своемъ мѣстѣ. Тѣмъ не менѣе и въ индуктивной части изслѣдованія прогресса есть одинъ слабый пунктъ, представляющій нѣчто въ высшей степени странное и вмѣстѣ съ тѣмъ въ столь же высокой степени поучительное. Этотъ пунктъ есть очеркъ социальнаго развитія, который именно и составляетъ предметъ нашей статьи. То, что мы говорили до сихъ поръ, имѣетъ для насъ значеніе только по отношенію къ послѣдующему. Намъ нужно было расшатать нѣкоторыя основныя положенія Спенсера, служація ему орудіемъ дедуктивнаго подтвержденія его формулы прогресса,

для того, чтобы облегчить свою задачу: обнаружить основное социологическое заблуждение Спенсера и затѣмъ добраться до той исходной точки, которая его ввела въ заблужденіе.

Теперь мы можемъ обратиться къ самой формулѣ органическаго прогресса, какъ прототипа всякаго развитія, лишенной уже своего характера необходимости. Но прежде отмѣтимъ одно мелкое, но любопытное обстоятельство. Нѣсколько разъ обращаясь къ исторіи развитія общества, Спенсеръ вездѣ говоритъ просто, что первая стадія этого развитія есть дифференцированіе на управляющихъ и управляемыхъ, но не упоминаетъ о томъ, какъ и вслѣдствіе какихъ причинъ произошло это распаденіе. Это обстоятельство можетъ ввести не совсѣмъ внимательнаго читателя въ заблужденіе и послужить для него подтвержденіемъ закона неустойчивости однороднаго. Воззрѣнія Спенсера на этотъ законъ крайне смутны и трудно формулируются. Въ одномъ случаѣ онъ объясняетъ его воздѣйствіемъ различныхъ силъ на различныя части вещества и слѣдовательно разнородностью среды. Въ другомъ напротивъ, говоря о томъ, что первоначально совершенно однородная вселенная перешла къ разнородности, онъ устраняетъ присутствіе разнородной среды; и выходитъ такимъ образомъ, какъ будто бы однородное само по себѣ, независимо отъ окружающей среды, неустойчиво. Точно также и первобытное однородное общество вдругъ, безъ всякаго внѣшняго толчка, распадается на двѣ касты. Въ сущности дѣло такъ разумѣется произойти не могло, и категорія однороднаго, собственно говоря, при опредѣленіи первыхъ общественныхъ дифференцированій, должна быть оставлена совершенно въ сторонѣ. Говорить о первыхъ ступеняхъ общественнаго развитія мы можемъ только гипотетически, и какую бы гипотезу мы ни приняли, она необходимо устраняетъ понятіе однородности. Если мы остановимся на гипотезѣ завоеванія, то это будетъ столкновеніе двухъ разнородныхъ національныхъ элементовъ, изъ которыхъ одинъ обратится въ правящій классъ, а другой въ управляемый. Если мы предположимъ, что дифференцированіе управляющихъ и управляемыхъ разрослось изъ отеческой власти,—

то тѣмъ самымъ уже дана разнородность въ лицѣ болѣе опытнаго, физически сильнѣйшаго отца и менѣе опытныхъ и сильныхъ дѣтей и т. д. Это опять-таки ведетъ къ тому, что формула прогресса должна быть точнымъ образомъ выражена, какъ переходъ отъ менѣе разнороднаго къ болѣе разнородному. Для краткости и мы впрочемъ будемъ употреблять выраженіе: переходъ отъ однороднаго къ разнородному, подразумѣвая указанія выше ограниченія.

III.

Спенсеръ неоднократно цитируетъ «Исторію цивилизаціи» Гизо, почерпая изъ нея аргументы для своихъ выводовъ и сравненій. Но онъ повидимому просмотрѣлъ въ ней одно, нелишнее интереса указаніе, именно указаніе на то, что есть два вида прогресса: прогрессъ общества и личное развитіе человѣка; что эти два вида прогресса не всегда безусловно совпадаютъ и въ сумму цивилизаціи входятъ иногда неравномѣрно. Слово «прогрессъ» употребляется здѣсь въ общепринятомъ смыслѣ усовершенствованія на пути къ благу, въ смыслѣ, отъ котораго Спенсеръ отказывается, какъ отъ затрудняющаго изслѣдованіе. Какимъ бы ни были заключенія и выводы Гизо, но въ его положеніи о двойственности прогресса есть своя доля правды. И какъ бы ни избѣгалъ Спенсеръ телеологическаго смысла слова «прогрессъ», въ его обзорѣ всевозможныхъ видовъ развитія должна бы была войти либо оцѣнка и личнаго развитія, и развитія общественнаго, либо указаніе на совпаденіе этихъ двухъ видовъ прогресса. Общество, личность идеальная, какъ прекрасно и достаточно подробно показалъ Спенсеръ, развивается подобно организму: переходитъ отъ однороднаго къ разнородному, отъ простаго къ сложному, постепенно расчлениаясь и дифференцируясь. Прекрасно. Но что въ это время дѣлается съ личностію реальной, — съ членомъ общества? Испытываетъ ли онъ на себѣ тотъ же процессъ развитія по типу органическаго прогресса?

Спенсеръ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ мимоходомъ, но утвердительно. Мы постараемся отвѣтить подробно, но отвѣтимъ отрицательно.

Первобытное общество представляетъ въ цѣломъ массу почти совершенно однородную. Всѣ члены его занимаются одними и тѣми же дѣлами, обладаютъ одними и тѣми же свѣдѣніями, имѣютъ одни и тѣ же нравы и обычаи. Но каждый изъ нихъ, отдѣльно взятый, вполне разнороденъ: оиъ и рыбакъ, оиъ и охотникъ и пастухъ, оиъ и лодки умѣетъ дѣлать, и оружіе, и жилище себѣ самъ строить и т. д. Словомъ, каждый членъ первобытнаго однороднаго общества совмѣщаетъ въ себѣ всѣ силы и способности, какія только могутъ родиться при тогдашнемъ уровнѣ культуры и мѣстныхъ физическихъ условіяхъ. Но вотъ происходитъ первое дифференцированіе общества на управляющихъ и управляемыхъ. Нѣсколько личностей являются извнѣ или обособляются изъ самой однородной массы и съ теченіемъ времени усваиваютъ образъ жизни, отличный отъ образа жизни остальныхъ членовъ общества; предоставляютъ мускульный трудъ другимъ, а сами постепенно обращаются въ специалистовъ нервной дѣятельности. Общество сдѣлало шагъ отъ однородности къ разнородности, но входящія въ составъ его недѣлимья перешли напротивъ отъ разнородности къ однородности. Мускульная система у однихъ стала развиваться въ ущербъ нервной системѣ, а у другихъ наоборотъ. Прежде каждый членъ общества умѣлъ строить жилища и ловить звѣрей, а теперь одна половина ихъ отвыкла отъ этихъ занятій, но за то научилась управлять, лечить, гадать и т. д. Слѣдующій шагъ къ соціальной разнородности есть вмѣстѣ съ тѣмъ шагъ къ дальнѣйшей индивидуальной спеціализаціи, т.-е. однородности. Правящій классъ распадается на свѣтскихъ и духовныхъ правителей. Одни сосредоточиваютъ свои силы и способности главнымъ образомъ на войнѣ, а другіе на собственно интеллектуальной дѣятельности, въ предѣлахъ, допускаемыхъ уровнемъ культуры, и затѣмъ каждый изъ представителей того и другаго подкласса избираетъ себѣ все болѣе и болѣе узкія спеціальности. Это есть усложненіе, уве-

личеніе разнородности общества въ цѣломъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ спеціализація, уменьшеніе разнородности въ каждомъ недѣлимомъ. Нѣкоторыя силы и способности отъ долгаго неупотребленія въ цѣломъ ряду поколѣній какъ бы атрофируются, перестаютъ дѣйствовать, и это отзывается разумѣется и на физической организаціи. Спенсеръ и самъ въ «Опытѣ о воспитаніи» (въ главѣ «вырожденіе современныхъ поколѣній») указываетъ на это обстоятельство. Но тамъ онъ ошибается, какъ бы утверждая, что исторія сдѣлала скачекъ отъ исключительно физической дѣятельности первобытныхъ людей къ исключительно нервной дѣятельности современныхъ высшихъ классовъ. Эти двѣ фазы развитія смѣнили другъ друга постепенно, путемъ длиннаго ряда дифференцированій, совокупность которыхъ представляетъ, по мнѣнію Спенсера, социальное развитіе или социальный прогрессъ. Нельзя сказать, чтобы дѣятельность первобытныхъ людей исключительно состояла изъ физического труда. Это мнѣніе, весьма распространенное, въ сущности совершенно ложно. Если мы примемъ въ соображеніе неудовлетворительность первобытныхъ орудій для добыванія пищи, устройства жилища и т. д., тѣ опасности, среди которыхъ жилъ первобытный человѣкъ, то для насъ станетъ совершенно ясно, что мозгъ его долженъ былъ быть въ постоянномъ напряженіи, быть постоянно насторожѣнъ, постоянно придумывать весьма трудныя для него комбинаціи, которыя въ настоящее время давно уже готовы и рѣшаются простымъ приложеніемъ механической силы. Умъ и тѣло человѣка первобытнаго работали одновременно и съ одинаковымъ напряженіемъ, и если мы, современные цивилизованные люди, не признаемъ этого, то только потому, что смотримъ на первобытное общество изъ прекраснаго далека, слишкомъ отъ него отличнаго. Современный цивилизованный человѣкъ, вообще говоря, физического труда не знаетъ, и потому ему кажется громаднымъ и всепоглощающимъ физическій трудъ первобытнаго человѣка; съ другой стороны современный цивилизованный человѣкъ обладаетъ такимъ количествомъ знаній, что умственная работа дикаря представляется ему ничтожною. Придумать топоръ

штука не хитрая, а вотъ дровъ парубить такъ тяжело,—такъ разсуждаетъ современный цивилизованный человѣкъ, постоянно видящій топоры и никогда не рубящій дровъ. Естественно поэтому, что ему кажется, что мысль первобытнаго человѣка не работала вовсе и что вся жизнь его сводилась на трудъ физическій. Первобытный человѣкъ, какъ членъ однороднаго общества, до того поворотнаго пункта, на которомъ рѣзко обозначилось раздѣленіе труда, былъ личностью цѣлостною, личностью, въ которой умственная и физическая стороны находились во взаимной гармоніи. Другое дѣло кругъ его умственной дѣятельности; онъ не былъ и не могъ быть обширенъ. Каждый изъ членовъ первобытнаго общества обладалъ такими же свѣдѣніями и понятіями, какъ и всѣ остальные, но всѣ они имѣли свѣдѣнія весьма ограниченныя. Поэтому въ однородной массѣ первобытнаго общества недѣлимыя были вполнѣ разнородны, насколько это допускалось условіями мѣста и времени. Горизонтъ дѣятельности ихъ былъ небольшой, но представлялъ полный кругъ, замкнутую линію. Они были полными посетителями современной имъ культуры. Съ дифференцированіемъ общества на управляющихъ и управляемыхъ, съ дифференцированіемъ, обусловившимъ развитіе общества, т.-е. переходъ общества отъ однороднаго и простаго къ разнородному и сложному, началось нарушеніе цѣлостности отдѣльныхъ личностей и переходъ ихъ отъ разнороднаго къ однородному. Дальнѣйшія распаденія правящаго класса имѣютъ тотъ же двойственный характеръ: вызываютъ разнородность въ общественномъ строѣ и, напротивъ, однородность и односторонность въ отдѣльныхъ личностяхъ.

Сравнивая затѣмъ первобытное состояніе общества со современнымъ состояніемъ низшихъ классовъ, мы придемъ къ тому же результату. Возьмите работу дикаря съ одной стороны, и трудъ современнаго фабричнаго съ другой. Дикарь собирается построить себѣ жилище. Онъ самъ выбираетъ годныя для его цѣли деревья, самъ валить ихъ, самъ свозить на мѣсто, самъ дѣлаетъ срубъ и доканчиваетъ хижину. Хижину онъ, положимъ, навѣрное слѣшилъ очень плохо, но не въ томъ дѣло.

Во все время работы онъ жилъ полною жизнью. Въ то время, какъ онъ потѣлъ и надрывался въ лѣсу, онъ работалъ не только физически; выборъ деревьевъ, мѣста для провоза ихъ, мѣста для постройки,—все это требуетъ извѣстной умственной напряженности. Кроме того, во все время работы дикарь думаетъ о своей будущей жизни, въ той хижинѣ, надъ постройкой которой онъ бьется, о тѣхъ удобствахъ, которыми украсится его жизнь и жизнь его семьи; на эти мысли его наводитъ каждый уголокъ, каждая щель. Въ то же время онъ вноситъ въ планъ хижины свою убогую идею красоты и пускаетъ въ ходъ всѣ свои скудные физико-математическія знанія. Словомъ, дикарь живетъ во время работы всѣмъ существомъ своимъ. Совершенно противоположную картину представляетъ работа современнаго фабричнаго въ тѣхъ областяхъ труда, которыя подверглись наибольшему числу дифференцированій. Напримѣръ, производство карманныхъ часовъ, по Беббеджу, состоитъ изъ ста двухъ отдѣльныхъ операций, по числу отдѣльныхъ частей часоваго механизма; такъ что изъ сотни людей, занятыхъ этимъ дѣломъ, каждый всю жизнь сидитъ надъ одними и тѣми же колесами или винтиками или зубчиками, и только мастеръ, складывающій разрозненныя части механизма, умѣетъ дѣлать что-нибудь, кроме своего спеціальнаго дѣла. Понятное дѣло, что это однообразіе занятія исключаетъ какую бы то ни было умственную дѣятельность, или по крайней мѣрѣ низводитъ ее до возможнаго minimum'a. Какъ говорить Шиллеръ: вѣчно возясь съ какимъ-нибудь обрывкомъ цѣлага, человѣкъ и самъ превращается изъ цѣлаго въ обрывокъ. Въ тульскомъ оружейномъ заводѣ раздѣленіе труда доведено до такой степени, что мастеръ не только всю жизнь свою дѣлаетъ собачки, или курки, или сверлитъ стволы, но передаетъ свое мастерство дѣтямъ по наслѣдству. Постоянное и однообразное занятіе естественно должно выразиться не усложненіемъ, а упрощеніемъ организаціи, должно провести въ организмъ болѣе или менѣе глубокую, такъ сказать, борозду однородности, которая и безъ того, въ силу наслѣдственной передачи особенностей организма, можетъ усвоиться потомствомъ,

а въ этомъ случаѣ естественный факторъ — наследственность усиливается содѣйствіемъ соціального фактора. Понятно поэтому, что въ ряду поколѣній тульскихъ оружейниковъ мы должны встрѣчать все болѣе и болѣе переходъ отъ разнородности къ однородности. Предки ихъ дѣлали все ружье, и потому должны были принимать въ соображеніе такія данныя, которыя совершенно ненужны и непригодны потомкамъ, только сверляющимъ стволы или дѣлающимъ курки. Поэтому предки были разнороднѣе потомковъ, и въ то же время появленіе этихъ специалистовъ-потомковъ способствовало увеличенію разнородности общества, т. е. его развитію.

Дѣлая свой очеркъ соціального развитія, Спенсеръ ссылается на труды экономистовъ, въ которыхъ съ достаточною подробностью описывается переходъ промышленной организаціи отъ однородности къ разнородности при помощи раздѣленія труда. Но Спенсеръ какъ будто забываетъ при этомъ, что если не цеховые экономисты, то нѣкоторые изъ ихъ противниковъ не менѣе подробно разсматривали двойственное значеніе раздѣленія труда, именно свойство его, придерживаясь терминологіи Спенсера, увеличивать разнородность общества и вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшать разнородность рабочаго. Это двойственное значеніе раздѣленія труда было замѣчено довольно давно. Уже Ксенофонтъ утверждалъ, что нѣкоторые промыслы развиваютъ односторонность въ трудѣ, отчего притупляется умъ, теряющій способность охватывать явленіе болѣе или менѣе широко. Отрывочныя указанія этого рода можно найти и у Платона и у другихъ мыслителей древности. Въ повѣйшее же время заключающаяся въ раздѣленіи труда антиномія обращала на себя вниманіе весьма часто. Что касается до двойственнаго значенія раздѣленія труда въ области мысли, умственной дѣятельности, то въ числѣ указывающихъ на него мы можемъ напомнить такія имена, какъ Бокля, Конта, а пожалуй отчасти даже и самого Спенсера. Въ сферѣ труда физическаго та сторона раздѣленія труда, которая упускается изъ виду экономистами, съ особеннымъ тщаніемъ разбиралась социалистами. Наконецъ не было недостатка

и въ болѣе широкой точкѣ зрѣнія. Въ «Системѣ экономическихъ противорѣчій» Прудона антиномичность раздѣленія труда разработана съ обычною силою этого великаго мыслителя. Шиллеръ посвятилъ этому вопросу нѣсколько блестящихъ страницъ въ своихъ письмахъ «объ эстетическомъ развитіи человѣка». Токвиль прямо говоритъ, что «ничто болѣе раздѣленія труда не способствуетъ пониженію духовной дѣятельности человѣка». (La Democratie etc. I, 493). Въ прославившейся на святой Руси книгѣ: добродушнаго и туповатаго буржуа Смайльса (ст. 290 перваго изданія) читатель найдетъ превосходную характеристику значенія раздѣленія труда, принадлежащую впрочемъ не самому Смайльсу. Словомъ, вопросъ этотъ не только давнымъ-давно поставленъ, но съ фактической стороны уже и рѣшенъ людьми всѣхъ возможныхъ партій. Спенсеръ могъ уклониться отъ выраженія сочувствія или несочувствія къ субъективной и телеологической сторонѣ выводовъ вышеприведенныхъ изслѣдователей, по заявленный ими фактъ стоитъ твердо и непоколебимо и не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію: раздѣленіе труда ведетъ общество, агрегатъ недѣлимыхъ, отъ однородности къ разнородности, а отдѣльныхъ индивидуумовъ наоборотъ отъ разнородности къ однородности. Экономисты, на которыхъ ссылается въ этомъ случаѣ Спенсеръ, игнорируютъ этотъ фактъ, по съ ихъ спеціальной точки зрѣнія (а эта точка зрѣнія сама представляетъ результатъ раздѣленія труда въ области мысли) фактъ этотъ дѣйствительно незамѣтенъ. Спенсеръ же ставитъ вопросы такъ широко, даже такъ слишкомъ широко, что необходимо долженъ былъ пополнить этотъ недосмотръ. Добросовѣстнѣйшіе политико-экономы сами сознаются (хотя на дѣлѣ часто забываютъ это), что ихъ точка зрѣнія чисто условная, что истины, добываемыя ими, только приблизительны, что «потомъ приближеніе должно быть исправлено принятіемъ въ расчетъ дѣйствій тѣхъ побужденій другаго рода (т. е. побужденій, немогущихъ быть сведенными къ желанію богатства, на которомъ политическая экономія строитъ свои выводы), о которыхъ можетъ быть показано, что они вліяютъ на результатъ въ отдѣльномъ данномъ случаѣ»

(Милль). А такъ-какъ нельзя быть въ одно и то же время судьей, отвѣтчикомъ, прокуроромъ и адвокатомъ, то политической экономіи, усвоившей извѣстную спеціальную точку зрѣнія на явленія общественной жизни, весьма трудно дать требуемыя въ этомъ случаѣ поправки. Но если великъ недосмотръ экономистовъ, безданны и безпошлинно пропускающихъ принципъ раздѣленія труда въ томъ видѣ, какъ его поставилъ Адамъ Смитъ, то тѣмъ поразительнѣе недосмотръ Спенсера. Онъ смотритъ на весь міръ съ высоты философскаго паренія, и тѣмъ не менѣе кладетъ во главу угла не только промышленной организаціи, какъ это дѣлаютъ экономисты, а всего общественнаго и даже мірового строя принципъ раздѣленія труда въ его сыромъ и непереваренномъ видѣ. Къ ученію экономистовъ Спенсеръ находитъ нужнымъ сдѣлать только одно дополненіе, въ сущности уже отмѣченное самими экономистами. «Долго спустя послѣ того, какъ произошелъ уже значительный прогрессъ въ раздѣленіи труда между различными классами рабочихъ,—говоритъ онъ,—незамѣтно еще было почти никакого раздѣленія труда между отдѣльными частями общины: народъ продолжалъ быть сравнительно однороднымъ въ томъ отношеніи, что въ каждой мѣстности отправляются одни и тѣ же занятія. Но по мѣрѣ того, какъ дороги и другія средства перемѣщенія стаповятся многочисленнѣе и лучше, различныя мѣстности начинаютъ усвоивать себѣ различныя отправленія и становятся во взаимную зависимость. Бумагопрядильная мануфактура помѣщается въ одномъ графствѣ, суконная въ другомъ; шолоковыя матеріи производятся здѣсь, кружева тамъ; чулки въ одномъ мѣстѣ, башмаки въ другомъ; горшечное, желѣзное, ножовое производства избираютъ себѣ наконецъ отдѣльные города, и въ заключеніе каждая мѣстность становится болѣе или менѣе отличною отъ другихъ, по главному роду своего занятія». Конечно, всѣ эти дифференцированія способствуютъ переходу общества отъ однородности къ разнородности, но роковая двойственность раздѣленія труда называется и здѣсь: часть мѣстности, занимаемой обществомъ, положимъ городъ, совмѣщала въ себѣ прежде весьма разнообраз-

ные промыслы, но въ силу социальнихъ дифференцированій изъ него выдѣляются мало по-малу различныя вѣтви промышленности, и къ тому времени, когда въ немъ остается только разросшееся горшечное или ножовое производство, — городъ сталь однообразенъ, перенелъ отъ разнородности къ однородности. Возьмемъ еще одинъ примѣръ—изъ области искусства. Первобытный человѣкъ, чувствуя радость при какомъ-нибудь приятномъ для него случаѣ, совершенно такъ же, какъ современный ребенокъ, прыгаетъ, возвышаетъ голосъ и бьетъ рукой по какой-нибудь попавшейся ему вещи, способной издавать болѣе или менѣе гармоническіе звуки. Если волненіе, испытываемое при этомъ человѣкомъ, очень сильно, то тройное сочетаніе ритма въ рѣчи, въ звукѣ и въ движеніи получаетъ значительное развитіе, и человѣкъ пляшетъ, поетъ и играетъ. Умеръ у первобытнаго человѣка ребенокъ,—онъ точно также выражаетъ свое горе одновременно пуская въ ходъ свой голосъ и мѣрно раскачивая туловище или голову. Собирается онъ на войну—и его возбужденное состояніе выразится также одновременно въ воинственной музыкѣ, вопиющемъ пѣніи и въ воинственныхъ тѣлодвиженіяхъ. Такимъ образомъ, въ этомъ отношеніи первобытное общество значительно приближается къ полной однородности: всѣ члены его одинаково выражаютъ свои страсти. Но каждый изъ нихъ выражаетъ свои чувства вполне разнородно, всѣми доступными ему средствами. Съ теченіемъ времени нарушаются какъ первобытная однородность общества, такъ и первобытная разнородность недѣлимаго, и факты эти идутъ совершенно параллельно, потому что они представляютъ только двѣ различныя стороны одного и того же явленія. На какомъ-нибудь современномъ музыкально-танцевальномъ вечерѣ вы встрѣчаете весьма разнообразно составленный оркестръ музыкантовъ, неподвижно играющихъ какую-нибудь задорно веселую пьесу, множество молчаливо-кружащихся паръ, а въ соседней комнатѣ пѣвца, поющаго на языкѣ, непонятномъ для присутствующихъ. Общество стало, безъ всякаго сомнѣнія, разнороднѣе вслѣдствіе того, что въ немъ явились специалисты—музыканты, пѣвцы, танцоры и поэты, тогда какъ прежде были просто

люди, въ извѣстные моменты жизни единовременно пляшущіе, поющіе и играющіе. Сталъ разнороднѣе и языкъ страстей и душевныхъ движеній вообще, но отдѣльно взятые молчаливые танцоры и неподвижные музыканты, очевидно перешли отъ разнородности къ однородности. Одни стали однороднѣе уже потому, что выражаютъ свое возбужденное состояніе однимъ какимъ-нибудь способомъ. Далѣе, если они посвятили себя спеціальной разработкѣ этого способа и находятъ въ немъ средство существованія, то по мѣрѣ того какъ они все глубже и глубже уходятъ въ музыку или пѣніе, въ нихъ все больше и больше гложутъ способности и силы, для ихъ цѣли ненужныя и потому неразвиваемыя. Наконецъ, они стали однороднѣе еще въ одномъ отношеніи, обусловливаемомъ дифференцированіемъ труда и наслажденія, которымъ необходимо сопровождаются социальныя дифференцированія. Но эту послѣднюю сторону вопроса мы пока оставимъ подъ снудомъ, такъ-какъ она слишкомъ близко связана съ телеологическимъ смысломъ слова «прогрессъ», а этотъ элементъ заранѣе устраненъ Спенсеромъ. Какъ мы видѣли, онъ понимаетъ подъ прогрессомъ или развитіемъ не усовершенствованіе или улучшеніе, а просто послѣдовательный рядъ измѣненій, каковы бы ни были ихъ результаты по отношенію къ человѣческому счастью. Становясь опять-таки на эту его точку зрѣнія, мы все-таки встрѣчаемъ странный пробѣлъ въ его выводахъ и разсужденіяхъ, не менѣе странный, чѣмъ тотъ, который мы отмѣтили въ статьѣ «Польза и красота». Сравнивая тѣ и другіе промахи, мы найдемъ между ними значительное сходство. Мы видѣли, что Спенсеръ, указывая искусству области, откуда оно должно брать для себя темы, видѣлъ только, такъ сказать, динамическіе социальныя контрасты, контрасты во времени, и какъ будто закрывалъ глаза передъ социальными контрастами въ пространствѣ; мы видѣли также, что логически онъ не имѣлъ на это никакого права, и удивлялись его странной слѣпотѣ. Въ его теоріи социальнаго развитія забыты и недостаточно оцѣнены тѣ же контрасты въ пространствѣ, и опять-таки онъ дѣлаетъ при этомъ логическую ошибку. Дѣло идетъ о

томъ, чтобы доказать, что всякое развитіе происходитъ по типу развитія органическаго, т. е. переходитъ отъ простаго и однороднаго къ сложному и разнородному путемъ послѣдовательныхъ дифференцированій. Все идетъ какъ по маслу вплоть до очерка развитія соціальнаго. Здѣсь оказывается, что если общество и испытываетъ рядъ измѣненій, подобныхъ измѣненіямъ развивающагося организма, то входяція въ составъ его недѣлимые измѣняются по направленію, какъ разъ противоположному. Спенсеръ этого не замѣчаетъ. Онъ какъ будто не видитъ, что дифференцированіе труда физическаго, умственнаго, дифференцированіе общества на рѣзко отличные классы, дифференцированіе вознагражденія за трудъ на прибыль и заработную плату, дифференцированіе жизни на трудъ безъ наслажденія и наслажденіе безъ труда и т. д., — что всѣ эти дифференцированія, способствуя переходу общества отъ однородности къ разнородности, въ то же время способствуютъ переходу недѣлимыхъ отъ разнородности къ однородности. Невозможно предположить, чтобы Спенсеръ, такъ широко захватывающій явленія, ни разу не наткнулся во все время своего изслѣдованія на эту сторону вопроса. Она пахнетъ трудовымъ потомъ, кровью, горемъ и страданіемъ, и потому соціологическое чутье легко можетъ открыть ее. Но, даже совершенно отстраняясь отъ опіянки гнета, которымъ ложится фактъ на человечество, можно все-таки увидѣть самый фактъ. И Спенсеръ дѣйствительно видѣлъ его, подошелъ къ нему вплотную, но придалъ ему весьма второстепенное значеніе.

Рядомъ съ процессомъ дифференцированія въ актѣ развитія, по Спенсеру, имѣетъ мѣсто процессъ интеграціи, въ сущности представляющій только другую сторону перваго процесса. Напримѣръ Спенсеръ указываетъ на то, что слой жолчныхъ клѣточекъ, составляющій зачатокъ печени, «не только становится отличнымъ отъ кишечной стѣнки, на которой онъ лежитъ вначалѣ, но въ то же самое время отдѣляется отъ нея и слагается въ органъ». Въ цѣломъ это явленіе представляетъ обособленіе органа, но въ немъ можно различать двѣ части: процессъ, которымъ жолчныя клѣточки получаютъ характеръ, отличный отъ

нѣкоторыхъ свойствъ кишечной стѣнки, есть процессъ дифференцированія, перехода отъ однороднаго къ разнородному; другой процессъ состоитъ въ томъ, что жолчныя клѣточки сливаются въ одинъ органъ,—это процессъ интеграціи, перехода отъ разнородности къ однородности. Очевидно, что эти два процесса неотдѣлимы одинъ отъ другаго, что они взаимно пополняются, и что тамъ, гдѣ есть одинъ, долженъ быть непременно и другой. Словомъ, если развитіе есть переходъ отъ однороднаго къ разнородному, то развитіе цѣлой агрегаціи можетъ совершаться только насчетъ ея составныхъ частей, которыя при этомъ переходятъ отъ разнородности къ однородности. Какія же соціологическія applicаціи этого въ высшей степени важнаго принципа мы найдемъ у Спенсера? А вотъ какія: «Соединеніе младшихъ и ихъ дѣтей подъ начальствомъ старшихъ и ихъ дѣтей; установленіе различныхъ группъ вассаловъ, изъ которыхъ каждая подчинялась особому барону; подчиненіе группъ низшихъ дворянъ герцогамъ и графамъ; наконецъ еще болѣе позднее установленіе королевской власти надъ герцогами и графами», — вотъ нѣкоторые примѣры соціальной интеграціи. Мы опять-таки видимъ, что въ цѣломъ каждое изъ этихъ явленій представляетъ обособленіе функцій, но при этомъ возникновеніе, напримѣръ, королевской власти можетъ быть разсматриваемо съ одной стороны какъ результатъ дифференцированія общества, а съ другой какъ продуктъ интеграціи, такъ-какъ герцоги и графы уже тѣмъ самымъ, что повинуются одному владыкѣ и отказались отъ части своихъ правъ,—перешли отъ разнородности къ однородности. Но всѣ эти неважныя, мелкія частности совершенно блѣднѣютъ передъ роковымъ вопросомъ, на который нѣтъ отвѣта у Спенсера. Если всякое развитіе цѣлаго можетъ совершаться только насчетъ развитія частей, если во всякомъ частномъ актѣ развитія существуютъ два элемента: одинъ активный, прогрессирующій, переходящій отъ однородности къ разнородности, и другой пассивный, такъ-сказать, жертва развитія, переходящій отъ разнородности къ однородности,—то какъ отзывается развитіе общества на судьбѣ его членовъ? Отвѣтъ ясенъ: если общество переходитъ отъ одно-

родности къ разнородности, то соответствующимъ этому переходу процессомъ интеграціи граждане общества должны переходить отъ разнородности къ однородности. Словомъ, прогрессъ индивидуальной и развитіе общества (по типу органическаго развитія) взаимно исключаются, какъ взаимно исключаются развитіе органовъ и развитіе недѣлимаго. Чѣмъ проще, спеціальнѣе органы, тѣмъ вся организація недѣлимаго разпородиѣ и, такъ сказать, энциклопедичнѣе, и наоборотъ. Точно такъ, чѣмъ разпородиѣ общество, тѣмъ уже поле развитія его членовъ и тѣмъ они однороднѣе. Въ нѣкоторыхъ частныхъ областяхъ, именно въ области экономическихъ явленій, эта двойственность замѣчена давно, но Спенсеръ воспользовался только одной стороною экономического анализа и вовсе не воспользовался своимъ собственнымъ, чрезвычайно яркимъ сопоставленіемъ процессовъ дифференцированія и интеграціи. А между тѣмъ, анализируя процессъ соціального развитія, онъ необходимо долженъ былъ обратить вниманіе на это обстоятельство и придать ему такое значеніе, какого оно не имѣетъ ни въ какомъ другомъ порядкѣ фактовъ. Дѣйствительно, если органъ и представляетъ жертву развитія недѣлимаго, если онъ и интегрируется въ то время, какъ недѣлимое дифференцируется, то это дѣло вполне законное, потому что органъ, строго говоря, есть всегда часть и только путемъ отвлеченія можетъ разсматриваться какъ цѣлое. Но недѣлимое есть наоборотъ всегда цѣлое и можетъ разсматриваться какъ часть въ виду только нѣкоторымъ спеціальнымъ цѣлей. Поэтому оно не можетъ приноситься въ жертву развитію идеальнаго цѣлаго, каково общество. И если это общество развивается по типу органическаго прогресса, т.-е. переходя отъ однородности къ разнородности, т.-е. дробясь на классы, подклассы и т. д., то, непосредственно исходя изъ закона Бэра, мы должны признать такое явленіе патологическимъ, а не нормальнымъ развитіемъ, потому что недѣлимое при этомъ переходитъ отъ разнородности къ однородности, т. е. регрессируетъ. Чего хотятъ сторонники такъ-называемаго женскаго (а въ сущности въ такой же мѣрѣ и мужскаго) вопроса? Они требуютъ для женщинъ расширенія

умственного горизонта и известнаго участія въ общественных дѣлахъ, т.-е. индивидуальной разнородности, которая должна отозваться на обществѣ уменьшеніемъ его разнородности, ибо до известной степени сглаживаетъ разницу между мужчинами и женщинами. Чего хотятъ ихъ противники? удержать statu quo, т.-е. односторонность женщины и разнородность общества. Въ чемъ состоятъ реформы нынѣшняго царствованія? — въ уменьшеніи общественной разнородности и въ усиленіи разнородности индивидуальной. Чего добиваются аболиціонисты?—сглаженія различій между бѣлымъ и цвѣтнымъ населеніемъ, т.-е. соціальной однородности, и вмѣстѣ съ тѣмъ расширенія правъ цвѣтнаго народа и поднятія его нравственного и умственного уровня, т.-е. индивидуальной разнородности. Словомъ, всякій общественный вопросъ поднимается въ обѣихъ этихъ формахъ сразу, потому что всегда и вездѣ дифференцированіе общества, какъ цѣлаго, сопровождается интеграціей гражданъ, какъ частей. Спенсеръ какъ будто не замѣчаетъ этого. Сопоставляя этотъ промахъ съ запрещеніемъ искусству передавать жизнь и дѣла своего времени, мы должны придти къ заключенію, что источникъ того и другого заблужденія одинъ и тотъ же. И тамъ, и здѣсь Спенсеръ упускаетъ изъ виду одно и то же. И это нѣчто, игнорируемое имъ, такого свойства, что читатель можетъ подумать, что онъ имѣетъ дѣло съ завзятымъ поборникомъ тьмы, съ однимъ изъ тѣхъ людей, которые, подъ видомъ погони за истиной, защищаютъ сознательно и злонамѣренно все существующее, насколько оно для нихъ оказывается выгоднымъ. Еслибы дѣло было только въ этомъ, то наша задача была бы очень проста, до такой степени проста, что совѣстно бы было даже возиться съ ней такъ долго. Но ниже мы приведемъ нѣкоторыя выписки изъ Спенсера, которыя должны совершенно изгладить изъ ума читателя столь невыгодное и позорное мнѣніе объ авторѣ, если оно уже въ немъ зародилось. Если даже предположить, что корень ошибки Спенсера лежитъ въ его нравственномъ складѣ, то къ нему нельзя подступать съ грубымъ масштабомъ, на которомъ обозначены только аршинныя мѣрки безчестности, сознательной

лжи, и проч. Дѣло во всякомъ случаѣ въ болѣе тонкихъ и не-
уловимыхъ оттѣнкахъ нравственнаго и умственнаго характера.

IV.

Чтобы исчерпать промахъ Спенсера до дна, посмотримъ на устанавливаемую имъ аналогію между организмомъ и обществомъ. Параллель между организмомъ естественнымъ и социальнымъ не новость. Кромѣ Платона и Гоббза, о которыхъ говоритъ Спенсеръ, безчисленное множество всякаго рода мыслителей и писателей трактовали объ этомъ предметѣ. Мы напомнимъ только Шеллинга, Гёте, затѣмъ цѣлую нѣмецкую юридическую, такъ называемую «органическую» школу, наконецъ множество частныхъ сравненій между обществомъ и недѣлимымъ, напримѣръ избитое уподобленіе исторіи общества дѣтству, молодости, зрѣлости и смерти недѣлимаго и т. д. Какъ-то недавно намъ попался подъ руку старый номеръ «Библиотеки для Чтенія», а въ немъ статья «Идея организма», гдѣ покойникъ Эдельсонъ тоже что-то въ этомъ родѣ хотѣлъ выразить. Но всѣ эти попытки были или слишкомъ туманны и неопредѣленны, или ужъ слишкомъ нелѣпы, или наконецъ проходили совершенно безслѣдно, вслѣдствіе очевидной произвольности построенія. Теперь идея социальнаго организма начинаетъ поднимать голову въ совершенно иномъ видѣ. Прежде она систематически разрабатывалась главнымъ образомъ натуръ-философами и юристами и если попадалась гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, то большею частью только какъ болѣе или менѣе удачная метафора. Теперь же систематическое развитіе идеи социальнаго организма принимаютъ на себя такіе люди, какъ Дрэперъ, Спенсеръ, люди, обладающіе значительными знаніями въ сферѣ точныхъ наукъ, привыкшіе къ здоровому и трезвому мышленію. Вслѣдствіе этого идея социальнаго организма получаетъ особенный интересъ; притомъ же, едва ли не впервые она проводится ясно и послѣдовательно, вслѣдствіе чего становится возможнымъ уловить ея суть.

Спенсеръ начинаетъ короткимъ общимъ обзоромъ пунктовъ сходства и различія между обществами и индивидуальными организмами. Пунктовъ сходства онъ указываетъ четыре. Впервыхъ, какъ общества, такъ и организмы, начинаясь соединеніемъ небольшого числа частей, постепенно такъ увеличиваются въ объемѣ, что нѣкоторые изъ нихъ достигаютъ размѣра, въ десять тысячъ разъ болѣе первоначальнаго. Вторыхъ, и тѣ и другіе развиваются по одному типу, переходя отъ простаго къ сложному. Третьихъ, и въ тѣхъ и въ другихъ постепенно развивается взаимная зависимость частей, такъ-что наконецъ жизнь и дѣятельность каждой части обусловливается жизнью и дѣятельностью остальныхъ частей. Четвертыхъ, элементы организма и общества рождаются, развиваются, дѣйствуютъ и умираютъ каждый самъ по себѣ, между тѣмъ какъ цѣлое продолжаетъ жить и переживаетъ одно поколѣніе элементовъ за другимъ. Эти пункты сходства представляются Спенсеру весьма значительными и важными, тогда какъ наоборотъ пункты различія—гораздо менѣе рѣзкими. Ихъ тоже четыре. Впервыхъ организмы имѣютъ специфическія внѣшнія формы, тогда какъ общества ихъ не имѣютъ. Но это различіе сглаживается, по мнѣнію Спенсера, какъ неопредѣленностью формъ нѣкоторыхъ низшихъ животныхъ, такъ и тѣмъ, болѣе общимъ фактомъ, что внѣшняя форма организмовъ и обществъ «зависитъ отъ окружающихъ условій». Надо правду сказать, что это уже слишкомъ общій фактъ, потому что внѣшняя форма неорганическихъ тѣлъ точно такъ же зависитъ отъ окружающихъ условій. Гораздо остроумнѣе соображенія, противопологаемые Спенсеромъ второму и третьему пунктамъ различія. Живые элементы общества не образуютъ такой сплошной массы, какова живая ткань организма. Но это различіе, разсуждаетъ Спенсеръ, собственно не существуетъ, ибо какъ организмы развиваются изъ неорганизованнаго вещества, въ которомъ разбѣяны организованныя точки, такъ и члены политическаго тѣла физически отдѣлены другъ отъ друга промежутками не мертваго пространства, а занимаемаго фауной и флорой, т. е. жизнью низшаго

разряда; и эта низшая жизнь, отъ которой зависитъ существованіе человѣка и общества, необходимо должна быть включена въ понятіе соціального организма. Живые элементы организма большею частью неподвижны, а элементы организма соціального способны передвигаться. И это различіе неважно и только поверхностно, говоритъ Спенсеръ. Въ качествѣ общественныхъ дѣятелей, люди въ сущности неподвижны: сельскій хозяинъ, мануфактуристъ и т. д. функционируютъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, и если отлучаются на всегда или на время, то оставляютъ кого-нибудь вмѣсто себя. Четвертый пунктъ различія есть самый важный, какъ по мнѣнію Спенсера, такъ и по нашему. «Въ тѣлѣ животнаго только извѣстный родъ ткани одаренъ чувствительностью, въ обществѣ же всѣ члены одарены ею». Этотъ доводъ Спенсеръ старается ослабить въ первыхъ тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ низшихъ животныхъ, неимѣющихъ нервной системы, обладаемая ими слабая чувствительность распредѣлена одинаково на всѣ части.

«Кромѣ того, говоритъ Спенсеръ, мы должны помнить, что и общества не лишены нѣкотораго дифференцірованія въ этомъ родѣ. Единицы общины хотя и всѣ чувствительны, но чувствительны не въ равной степени. Сословія, занимающіяся земледѣліемъ и вообще тяжелыми работами, гораздо менѣ впечатлительны, какъ въ умственномъ отношеніи, такъ и въ отношеніи душевныхъ волненій, нежели другія сословія; особенно рѣзко отличаются они въ этомъ случаѣ отъ сословій, получившихъ высшее умственное образованіе. Но все-таки этотъ пунктъ представляетъ довольно рѣзкій контрастъ между политическими и индивидуальными тѣлами, котораго никогда не слѣдуетъ упускать изъ виду, потому что онъ напоминаетъ намъ, что между тѣмъ какъ въ индивидуальных тѣлахъ благосостояніе всѣхъ частей вполне подчинено благосостоянію нервной системы, въ пріятномъ или болѣзненномъ возбужденіи которой заключается все благо или зло жизни,—о политическихъ тѣлахъ нельзя сказать того же. Пусть жизнь отдѣльныхъ частей животнаго поглощается жизнью цѣлаго, оно такъ и слѣдуетъ, потому что это цѣлое имѣетъ корпоративную сознательность, способную ощущать наслажденіе или страданіе. Общество же дѣло другое: его живыя единицы не утрачиваютъ и не могутъ утратить индивидуальной сознательности, а община съ другой стороны не имѣетъ корпоративной сознательности, какъ цѣлое. Это-то и есть главная неизмѣнная причина, по которой благосостояніе

гражданъ никогда не можетъ быть справедливо жертвуето для какого-то воображаемаго блага государства, а напротивъ того государство должно существовать единственно только для блага гражданъ. *Корпоративная жизнь въ этомъ случаѣ должна подчиняться жизни отдѣльныхъ частей, а не жизнь отдѣльныхъ частей—корпоративной жизни*. (Т. I. Опыты, «Соціальный организмъ», стр. 426).

Казалось бы, послѣднее различіе до такой степени существенно и важно, что его одного было бы достаточно для уничтоженія параллели между организмомъ и обществомъ. «Не забывать» его, какъ совѣтуетъ Спенсеръ, и въ то же время настаивать на аналогіи—невозможно. Но Спенсеръ настаиваетъ и потому, какъ увидимъ, забываетъ.

Болѣе подробный разборъ фактовъ, оправдывающихъ уподобленіе общества живому тѣлу, Спенсеръ начинаетъ съ низшихъ ступеней органической жизни и съ первыхъ стадій общественнаго развитія, и затѣмъ шагъ за шагомъ слѣдитъ за дальнѣйшимъ усложненіемъ тѣхъ и другихъ. Онъ проводитъ послѣдовательно параллели: между микроскопическими растеніями и животными, обнаруживающими крайне простое строеніе, и агрегатами ихъ, состоящими изъ независимыхъ единицъ, съ одной стороны, и первобытными общинами, состоящими изъ независимыхъ и равныхъ людей, съ другой; между слѣдующими ступенями органической жизни, проявляющими уже относительно значительную степень «физиологическаго раздѣленія труда», т. е. обособленія и спеціализаціи тканей и органовъ—и тѣми фазами развитія общества, въ которыхъ экономическое раздѣленіе труда произвело первыя кастовыя дробленія; между образованіемъ животныхъ колоній изъ нѣсколькихъ нецѣлостныхъ нецѣлимыхъ и слитіемъ однородныхъ группъ въ одно племя; между почкованіемъ и раздробленіемъ племени вслѣдствіе недостатка пищи и проч. Во всѣхъ этихъ случаяхъ Спенсеръ уподобляетъ соціальный строй не столько отдѣльнымъ организмамъ, сколько агрегациямъ организмовъ и, напримѣръ, полипнякъ можетъ разсматриваться и дѣйствительно разсматривается многими какъ ассоціація полиповъ, а сравненіе общества съ обществомъ, для нашей ближайшей цѣли, особеннаго интереса не имѣетъ. Смотрѣть ли

на гидру, на полипнякъ и т. д. какъ на организмъ социальный или естественный,—этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ только послѣ окончательнаго и подробнаго разсмотрѣнія пунктовъ сходства и различія между обществомъ и недѣлимымъ. Къ этой спеціальной цѣли своего изслѣдованія Спенсеръ и обращается далѣе. Въ зародышѣ, говоритъ онъ, масса клѣточекъ отлагаетъ периферическій слой, который въ дальнѣйшемъ развитіи распадается на два: внутренней—слизистый, и внѣшній—серозный. Изъ слизистаго слоя развивается питательный аппаратъ, изъ серознаго—аппаратъ внѣшней дѣятельности. «Изъ перваго образуются тѣ органы, которыми готовится и поглощается пища, втягивается кислородъ и очищается кровь; тогда какъ изъ послѣдняго образуются нервная, мышечная и костная системы, соединеннымъ дѣйствіемъ которыхъ совершаются движенія тѣла какъ цѣлаго». Въ развитіи общества происходятъ совершенно параллельныя явленія. Общество дифференцируется на управляющихъ и управляемыхъ, которые, усвоивая себѣ различныя функціи, становятся позднѣе другъ къ другу въ отношеніе «вольныхъ людей и рабовъ, дворянства и крѣпостныхъ». Правящій классъ функціонируетъ какъ серозный слой органическаго зародыша, управляетъ внѣшними дѣйствіями общества, тогда какъ классъ управляемыхъ, подобно слизистому слою, болѣе и болѣе исключительно занимается снабженіемъ общества пищею. «Впослѣдствіи, по мѣрѣ того, какъ рабочій слой удаляется все болѣе и болѣе отъ дѣлъ общества и утрачиваетъ свою силу въ нихъ, онъ ограничивается почти исключительно процессами добыванія продовольствія, между тѣмъ какъ дворянство, переставая участвовать въ этихъ процессахъ, посвящаетъ себя управленію движеніями политическаго тѣла». Далѣе появленію въ организмѣ естественномъ промежуточнаго сосудистаго слоя, изъ котораго образуются главные кровеносные сосуды,—въ организмѣ социальномъ соотвѣтствуетъ образованіе средняго, торговаго сословія. Какъ на этой ступени развитія организма пища передается отъ слизистаго слоя къ серозному не непосредственно, а при помощи сосудистаго слоя, такъ и въ обществѣ предметы

потребленія передаются не прямо рабами господамъ, а при посредствѣ купцовъ. Кровь живого тѣла соотвѣтствуетъ массѣ продуктовъ, находящихся въ обращеніи въ политическомъ тѣлѣ; нервная система — правительственной организаціи; кровеносные сосуды — путямъ сообщенія; мозгъ — парламенту и т. д. и т. д. Спенсеръ самымъ добросовѣстнымъ образомъ исполняетъ заданную имъ себѣ работу. Нѣкоторыя изъ частныхъ аналогій, на которыя онъ при этомъ наталкивается, чрезвычайно остроумны. Такъ наприимѣръ: «кровеносные сосуды получаютъ опредѣленные стѣнки, — дороги окапываются и усыпаются щебнемъ». Или сравненіе двойнаго пути рельсовъ желѣзной дороги, разносящихъ одновременно общественные токи по двумъ противоположнымъ направленіямъ, — съ артеріями и венами. Или наконецъ сравненіе мозга съ парламентомъ. Новѣйшая психологія, говоритъ Спенсеръ, принимаетъ, что «головной мозгъ занимается не прямыми впечатлѣніями извиѣ, а представленіями этихъ впечатлѣній: вмѣсто дѣйствительныхъ ощущеній, производимыхъ въ тѣлѣ и непосредственно оцѣняемыхъ чувствительными узлами или первичными нервными центрами, головной мозгъ получаетъ только представленія этихъ ощущеній, и сознательность его называется *представительною* (representative), для отличія отъ первоначальной, непосредственно воспринимающей впечатлѣнія сознательности». «Не знаменательно ли, восклицаетъ Спенсеръ, что мы напали на то же самое слово для означенія функціи нашей палаты общины? Мы называемъ ее *представительнымъ* собраніемъ, потому что интересы, которыми она завѣдуетъ, страданія и наслажденія, о которыхъ она совѣщается, не прямо ощущаются ею, а *представляются* ей различными членами» (I, 455). Всѣ эти сближенія очень остроумны, но тѣмъ не менѣе неизбежно возникаетъ вопросъ: какая ихъ цѣль, зачѣмъ Спенсеръ положилъ на эту эквилибристику столько труда и терпѣнія? Мы не привели и четвертой доли его соображеній по этому поводу; онъ слѣдитъ за частными проявленіями своей аналогіи по всѣмъ тончайшимъ развѣтвленіямъ организмовъ естественнаго и соціальнаго. Къ чему это? Не думаетъ же онъ установить новый видъ — *societas*?

Вообще теоретическое значеніе уподобленія общества организму — вещь очень темная, по Спенсеръ имѣетъ въ виду и его практическую цѣль. Онъ полагаетъ, что аналогія эта, подводя подъ одни и тѣ же законы явленія жизни общественной и физической, можетъ способствовать развитію той и другой отрасли знанія; что фізіологія и соціологія могутъ взаимно обмѣниваться своими спеціальными истинами. Въ особенности онъ рекомендуетъ фізіологамъ употребленіе особаго метода, который онъ называетъ соціологическимъ. Методъ этотъ состоитъ въ томъ, чтобы изучать организованныя тѣла не только прямо и непосредственно, а и косвенно, изучая тѣла политическія. Отъ приложенія этого метода Спенсеръ ожидаетъ въ будущемъ значительныхъ шаговъ впередъ для фізіологіи, но до сихъ поръ можетъ указать только одинъ пунктъ, заимствованный фізіологами у соціологіи—именно понятіе фізіологическаго раздѣленія труда. Выраженіе это кажется впервые употреблено Мильпъ - Эдвардсомъ для тѣхъ процессовъ обособленія тканей и органовъ, сумма которыхъ составляетъ органическое развитіе, то-есть переходъ его отъ однороднаго къ разнородному, отъ простаго къ сложному, отъ общаго къ частному. Это въ сущности метафора, весьма удобная и обрисовывающая данное явленіе въ высшей степени рельефно; но построить на ней, какъ это дѣлаетъ Спенсеръ, идею тождественности прогресса органическаго и соціальнаго и идею соціальнаго организма невозможно. Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что фізіологи изобрѣли выраженіе «фізіологическое раздѣленіе труда» не вслѣдствіе самостоятельнаго наблюденія явленій общественной жизни, а взяли его цѣликомъ у экономистовъ. Экономисты же вплоть до Уэкфильда принимали принципъ раздѣленія труда во всей той эмпирической неполнотѣ, съ какой онъ явился въ знаменитомъ трудѣ Адама Смита «О богатствѣ народовъ» (Беккарія впрочемъ еще раньше указалъ на его значеніе). Уэкфильдъ первый изъ экономистовъ замѣтилъ, что раздѣленіе труда есть только частное проявленіе гораздо болѣе общаго факта, именно коопераціи; что сочетаніе труда или кооперація безусловно способствуетъ усиленію производи-

тельности труда, но что она не исчерпывается раздѣленіемъ труда; что есть другой типъ коопераціи, именно простое сотрудничество, и что въ этомъ вопросѣ экономисты принимали часть за цѣлое, что имѣло весьма печальныя для науки послѣдствія. Въ простомъ сотрудничествѣ нѣсколько человѣкъ одинаково помогаютъ другъ другу въ одномъ и томъ же дѣлѣ; при раздѣленіи труда напротивъ, нѣсколько человѣкъ помогаютъ другъ другу различно, раздробляя всю операцію на части и выбирая себѣ каждый отдѣльную часть. «Различіе между простымъ и сложнымъ сотрудничествомъ очень важно—говоритъ Уэкфильдъ (Милль: «Основанія пол. эк.», I, 166).—Въ простомъ человѣкъ всегда сознаетъ, что сотрудничаетъ съ другими; взаимное содѣйствіе тутъ очевидно самому невѣжественному и тупому взгляду. Въ сложномъ сотрудничествѣ только очень немногіе изъ множества занятыхъ имъ людей хотя нѣсколько сознаютъ, что содѣйствуютъ другъ другу. Причину этого различія нетрудно понять. Когда нѣсколько человѣкъ поднимаютъ одну тяжесть или тащатъ одинъ канатъ въ одно время и въ одномъ мѣстѣ, тутъ невозможно сомнѣваться, что они сотрудничаютъ другъ съ другомъ: этотъ фактъ вносится въ мысль простымъ чувствомъ зрѣнія. Но когда разные люди работаютъ въ разное время, въ разныхъ мѣстахъ, надъ разными дѣлами, ихъ сотрудничество не такъ прямо замѣчается, хотя они столь же положительнымъ образомъ содѣйствуютъ другъ другу: чтобы замѣтить этотъ фактъ, нужна сложная умственная операція». Къ этому слѣдуетъ только прибавить, что отмѣченная нами выше и незамѣченная Спенсеромъ двойственность раздѣленія труда, требуя сложныхъ умственныхъ операцій, въ то же время отнимаетъ у рабочихъ способность къ нимъ. Въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ заключается и то коренное различіе раздѣленія труда фізіологическаго и экономическаго, которое дѣлаетъ ихъ принципами несоизмѣримыми, взаимно исключаящимися, вмѣстѣ съ чѣмъ рушится зданіе соціального организма и тождественности прогресса органическаго и соціального.

Когда яйцо, изъ котораго долженъ вырасти человѣкъ или жи-

вотное, дифференцируется на слои серозный, слизистый и сосудистый, то этимъ явленіемъ обусловливаются зачатки фізіологическаго раздѣленія труда. Съ теченіемъ времени каждый изъ этихъ слоевъ дифференцируется въ ткани и органы, изъ которыхъ каждый исполняетъ какую-нибудь одну спеціальную функцію. Одни берутъ на себя трудъ переваривать пищу, другіе воспринимать впечатлѣнія, третьи передавать организму кислородъ воздуха и выдѣлять углекислоту, четвертые исполнять ви́шнія движенія по велѣніямъ центральнаго органа нервной системы и т. д. Чѣмъ ярче обозначена здѣсь спеціализація функцій, тѣмъ организмъ стоитъ выше на зоологической лѣстницѣ, тѣмъ онъ развитѣе, тѣмъ онъ сложнѣе. Въ этомъ постепенномъ усложненіи путемъ фізіологическаго раздѣленія труда между органами состоитъ великій Бэрвъ законъ органическаго развитія. Если мы видимъ, что органы недѣлимаго все болѣе спеціализируютъ свои отправленія и тѣмъ способствуютъ усложненію цѣлаго, мы говоримъ, что организмъ развивается, прогрессируетъ. Еслибы случилось, что борьба за существованіе поставила недѣлимое въ такія условія, что нѣкоторые органы его перестали дѣйствовать, вслѣдствіе чего произошло упрощеніе организаціи, мы сказали бы, что недѣлимое регрессируетъ. Глаза пещерныхъ животныхъ, вслѣдствіе долгаго неупотребленія, перестаютъ функціонировать, иногда вѣки ихъ срастаются и покрываются шерстью. Ясно, что недѣлимые стали однороднѣе своихъ зрячихъ родичей; трудъ передачи впечатлѣній отъ ви́шняго міра, распредѣлявшійся прежде между пятью органами чувствъ, распредѣляется теперь только между четырьмя. Фізіологическое раздѣленіе труда стало менѣе полнымъ и потому животное регрессируетъ. Рабочія пчелы и муравьи, какъ извѣстно, бесполоы. Съ другой стороны способные къ воспроизведенію самцы и самки неспособны къ работѣ, что, разумѣется, также коренится въ нѣкоторомъ упрощеніи организаціи. Такъ какъ бесполоые муравьи и пчелы должны были явиться очевидно позднѣе плодовитыхъ, то было, значитъ, время, когда пчелы и муравьи были одновременно способны и къ работѣ, и къ воспроизведенію новыхъ особей и когда слѣдо-

вательно физиологическое раздѣленіе труда между органами пчель и муравьевъ было полнѣе теперешняго: въ каждомъ изъ нихъ функционировали и органы работы, и органы воспроизведенія. Подъ вліяніемъ какихъ же условій произошло ослабленіе физиологическаго раздѣленія труда и слѣдовательно пониженіе организаціи, упрощеніе, регрессъ? Подъ вліяніемъ раздѣленія труда экономическаго. Когда муравьи и пчелы безсознательно подѣлили между собой свой общественный трудъ, такъ что одни стали только работать, а другіе только воспроизводить новыхъ особей, то, путемъ естественнаго подбора, это экономическое раздѣленіе труда въ ряду поколѣній атрофировало ненужныя для каждаго изъ специальныхъ трудовъ способности и силы. Итакъ, экономическое раздѣленіе труда повело къ ослабленію раздѣленія труда физиологическаго, и такимъ образомъ понизило уровень развитія муравьевъ и пчель.

Человѣческое общество устроено, разумѣется, не хуже муравейника или улья. Экономическое раздѣленіе труда играетъ въ немъ не менѣе значительную роль. И если мы не дожили еще до безполыхъ рабочихъ, то дожили по крайней мѣрѣ до теоріи «моральнаго воздержанія». А это ужь немало, это ужь идея безполага рабочаго, которую уму человѣческому, пожалуй, и удастся обратить въ плоть и кровь. Экономическое раздѣленіе труда, то-есть раздѣленіе между отдѣльными недѣлимыми, составляетъ, какъ видно изъ Спенсера очерка соціальнаго развитія, базисъ всей нашей культуры. И любопытно прослѣдить за связью его съ физиологическимъ раздѣленіемъ труда, то-есть съ раздѣленіемъ труда между органами. Связь эта та же самая, что и въ исторіи муравейниковъ и ульевъ. Когда правящій классъ окончательно дифференцировался изъ однородной массы первобытнаго общества и оставилъ за собой трудъ умственный, а трудъ физическій предоставилъ управляемымъ, то это былъ первый шагъ экономическаго раздѣленія труда. При этомъ нервная система управляемыхъ постепенно должна была упрощаться, вмѣстимость черепа и размѣръ умственныхъ способностей — уменьшаться, такъ-такъ въ послѣднихъ предстоела все

меньшая и меньшая надобность: за управляемых думали управляющие. Значитъ, предѣлы фізіологическаго раздѣленія труда сѣзузились. То же самое произошло и въ средѣ правящаго класса. По мѣрѣ того, какъ представители его все больше углублялись въ выпавшую на ихъ долю часть труда, ихъ мускульная система слабѣла, кости становились тоньше и хрупче. Дальнѣйшая спеціализація индивидуальныхъ отправленій сопровождается и дальнѣйшимъ ослабленіемъ фізіологическаго раздѣленія труда. Въ сферѣ труда физическаго мы имѣемъ на примѣръ сапожника или портнаго, который, не говоря уже объ его умственной слабости, постоянно сидя на корточкахъ и только дѣлая однообразныя движенія руки—развить въ этой рукѣ нѣкоторыя мускулы, но за то мускулы ногъ его ослабѣли. Въ предкѣ его, который дѣлалъ столько же сапоговъ, сколько изнашивалъ ихъ, трудъ одинаково распредѣлялся по всѣмъ органамъ, тогда какъ въ потомкѣ функціонуруетъ гораздо меньшее число органовъ. Въ сферѣ умственнаго труда мы имѣемъ на примѣръ замѣчательно умныхъ людей, лишенныхъ эстетическаго чувства. Число этихъ примѣровъ можетъ быть увеличено до безконечности. Но и этого достаточно, чтобы видѣть, что фізіологическое и экономическое раздѣленіе труда взаимно исключаются, что чѣмъ сильнѣе послѣднее, тѣмъ слабѣе первое. Слѣдовательно, взаимно исключаются и прогрессы органической и соціальной, какъ его понимаетъ Спенсеръ, что мы уже впрочемъ видѣли въ предыдущей главѣ. Исчезаетъ или по крайней мѣрѣ сводится на простую метафору и параллель между организмомъ и обществомъ, потому что параллель эта имѣетъ смыслъ только при сходствѣ между понятіями объ органахъ и недѣлимыхъ, а такого сходства въ дѣйствительности нѣтъ. Органъ представляетъ собою опредѣленную часть недѣлимаго, извѣстнымъ спеціальнымъ образомъ функціонирующую и немогущую жить своею собственною, отдѣльною, самостоятельною жизнью. Недѣлимое можетъ жить самостоятельно, если всѣ органы, входящіе въ составъ его, исполняютъ свои спеціальныя обязанности. Мы не можемъ себѣ представить руки, языка, ноги внѣ организма, тогда какъ безъ особеннаго напря-

женія воображенія можемъ думать о человѣкѣ внѣ общества, а тѣмъ болѣе представить себѣ несоціальное низшее животное. Въ «Основаніяхъ біологіи» Спенсеръ, перебравъ нѣсколько существующихъ опредѣленій недѣлимаго и показавъ трудность рѣшенія этого вопроса, останавливается, наконецъ, на слѣдующей формулѣ: «Біологическій индивидъ есть конкретное цѣлое, имѣющее строеніе, позволяющее ему, при извѣстныхъ условіяхъ, постоянно приспособлять свои внутреннія отношенія къ внѣшнимъ такъ, чтобы поддерживалось равновѣсіе его отправленій» (207). Это значитъ, что каждая ступень органическаго развитія, то есть каждый видъ имѣетъ извѣстную сумму отправленій, распределенныхъ между его органами такимъ образомъ, что всѣ они функціонируютъ единовременно. Членъ соціального организма очевидно не подходитъ подъ это опредѣленіе, и слѣдовательно Спенсеровъ соціальныи организмъ состоитъ не изъ индивидовъ. Но это и не органы, потому что они имѣютъ способность страдать и наслаждаться, которой органы лишены. Недѣлимое всегда будетъ искать наслажденія и бѣжать страданія, и эти стремленія, какъ положительное, такъ и отрицательное, необходимо отзовутся на всеиъ строѣ соціального организма и отзовутся болѣзненно, вслѣдствіе антагонизма между частями его: что выгодно для одной, то невыгодно для другой. И въ концѣ-концовъ соціальныи организмъ долженъ рухнуть, какъ рушится онъ уже въ теоріи отъ собственнаго безсилія.

Для выясненія значенія идеи соціального организма, мнѣ хотѣлось бы представить читателю воззрѣнія Дрэпера на соціальныи организмъ, такъ-какъ онъ выражается грубѣе и нагляднѣе. Къ несчастію, у меня нѣтъ подъ руками ни «Умственнаго развитія Европы», ни «Гражданскаго развитія Америки», ни «Физиологіи» Дрэпера, который проводитъ свою любимую идею соціального организма во всѣхъ этихъ сочиненіяхъ. Но вотъ отрывокъ изъ одной моей коротенькой старой замѣтки по поводу «Исторіи гражданскаго развитія Америки». Если читатель незнакомъ съ этой книгой, такъ увидитъ въ чемъ тутъ суть.

«Сущность взглядовъ Дрэпера на соціальныи прогрессъ состав-

ляютъ слѣдующія двѣ мысли: ходъ развитія общества и ходъ развитія недѣлимаго тождественны, такъ что каждое недѣлимое представляетъ собою образецъ общества въ маломъ видѣ; да-
лѣе—«великая цѣль природы заключается въ достиженіи гос-
подства разума». Мы не говоримъ уже о томъ, что странно
приписывать какія бы то ни было цѣли природѣ, но мы сей-
часъ увидимъ, въ чемъ собственно состоитъ то господство ра-
зума, о которомъ мечтаетъ Дрэперъ. По отношенію къ интел-
лектуальной силѣ онъ дѣлитъ всѣ послѣдовательныя ступени
проявленія органической жизни на три типа. Низшіе организмы
подобны автоматамъ и дѣйствуютъ совершенно безсознательно,
первая система ихъ совѣмъ не развита. На высшей ступени
къ автоматизму присоединяется инстинктъ, не вытѣсняя его
однако; здѣсь мы находимъ усложненіе нервной системы, обра-
зованіе нервныхъ узловъ, словомъ, обособленіе, специализацію
отправленій. Наконецъ, въ высшихъ животныхъ формахъ это
обособленіе достигаетъ высшей точки своего развитія, результа-
томъ чего является образованіе мозговой массы — «интеллек-
туального аппарата», на ряду съ которымъ продолжаютъ суще-
ствовать аппараты автоматическій и инстинктивный. Въ чело-
вѣкѣ роль автоматическаго аппарата играетъ спинной мозгъ,
дѣйствія котораго чисто механическія; нервные узлы, въ которыхъ
находятся нервы обособленныхъ чувствъ, представляютъ собою
аппаратъ инстинктивный, а головной мозгъ есть «поприще идей,
царство мысли, орудіе, посредствомъ котораго дѣйствуетъ умъ». Геологія и палеонтологія показываютъ, что появленіе организ-
мовъ, послѣдовательно населявшихъ землю, слѣдуетъ тому же
плану, т. е. въ болѣе древнихъ пластахъ мы встрѣчаемъ живот-
ныя формы съ наиболѣе простой нервной системой, которая въ
позднѣйшихъ типахъ все болѣе и болѣе усложняется, пока не
достигнетъ наконецъ послѣдней фазы своего развитія въ чело-
вѣкѣ. Наконецъ та же послѣдовательность замѣчается и въ
развитіи человѣка, начиная съ эмбрионическаго состоянія. Изъ
всего этого Дрэперъ и заключаетъ, что цѣль природы есть гос-
подство разума. Къ этому стремится каждый человѣкъ, разсма-

триваемый и какъ недѣлимое, и какъ членъ общества. Для достиженія господства разума въ обществѣ, Дрэперъ хочетъ его построить по тому же плану, по которому слагается организмъ недѣлимаго высшаго типа, т. е. обладающаго всѣми тремя ступенями развитія первой системы. Въ его обществѣ, такимъ образомъ, должны быть члены, специально посвятившіе себя первой дѣятельности—это головной мозгъ общества. Съ другой стороны, «самая многочисленная часть общества должна посвятить себя работѣ (физической), едва выучиваясь чему нибудь, неотносящемуся къ ея ежедневному труду; всякаго усовершенствованія она достигаетъ простымъ подражаніемъ. Она повинуется своимъ наследственнымъ инстинктамъ, не имѣя никакой идеи ни о прогрессѣ, ни о развитіи. Управляемая внѣшними явленіями и своими собственными побужденіями, она неспособна ни къ комбинаціямъ, ни къ обобщеніямъ. Ея движеніе вполнѣ зависитъ отъ скрытаго вліянія внѣшнихъ дѣятелей. Эта обширная масса, подобно облаку, стремится къ своей участи, по направленію невидимаго вѣтра» (ст. 269). На стр. 48-й Дрэперъ также высказываетъ мысль, что «въ членахъ каждаго общества должны быть различныя степени ума». Такой порядокъ вещей онъ почему-то называетъ господствомъ разума... Положивъ, такимъ образомъ, рѣзкую границу между трудомъ физическимъ и умственнымъ, Дрэперъ проповѣдуетъ дальнѣйшую специализацію труда и новыя его дробленія. Какъ видитъ читатель, это одинъ изъ образцовъ злоупотребленія закономъ Бэра. Бэръ выразилъ сущность органическаго прогресса формулой: «последовательный рядъ измѣненій приводитъ однородное къ разнородному». Это одно изъ плодотворнѣйшихъ обобщеній современной науки; но именно исходя изъ этого закона на которомъ Дрэперъ и другіе строятъ идею соціальнаго организма, мы и не признаемъ этой идеи. Общество есть не организмъ, а совокупность недѣлимыхъ организмовъ; оно состоитъ не изъ органовъ, специально предназначенныхъ для того или другаго отправления, а изъ недѣлимыхъ, имѣющихъ всѣ органы и потому исполняющихъ всю сумму отпращеній. Идея соціаль-

наго организма находится въ прямомъ противорѣчїи съ закономъ Бэра, и можно только удивляться близорукости ея защитниковъ, которые хотятъ опереться на этотъ законъ. Превращеніе организма (недѣлимаго) въ органъ, сопровождаемое нарушеніемъ его цѣлостности и независимости, есть развитіе разнороднаго въ однородное, общаго въ спеціальное, многосторонняго въ одностороннее, а слѣдовательно, такое превращеніе ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть подведено подъ законъ Бэра. Это развитіе патологическое, а не фізіологическое, а идея соціальнаго организма—«двойная бухгалтерія». Законъ Бэра есть законъ нормальнаго, фізіологическаго развитія. Вступая въ качествѣ спеціальнаго органа въ дрэперовскій соціальннй организмъ, стуживая свою дѣятельность, разжаловывая себя, если можно такъ выразиться, индивидуумъ тѣмъ самымъ нарушаетъ этотъ законъ, т.-е. развивается аномально. Изъ всего его существа упражняется и развивается только ничтожная часть; все остальное глохнетъ, замираетъ. Органическій прогрессъ, по закону Бэра, состоитъ въ усложненїи организаціи; здѣсь мы видимъ совершенно противное. Ясно, что защитники идеи соціальнаго организма, думая сдѣлать общество логическимъ выводомъ изъ природы, дѣлаютъ его антитезой ея. Но идея соціальнаго организма ложна не только въ принципѣ, она не можетъ и фактически осуществиться. Въ результатѣ безконечной спеціализаціи труда получаютъ не цѣлыя индивидуумы, а только, такъ сказать, извѣстныя части ихъ; но это все-таки не органы, они не теряютъ способности страдать и наслаждаться, что составляетъ существенную, характеристическую черту недѣлимаго. Эта способность есть, безъ сомнѣнія, лучшей пробный камень для провѣрки дрэперовскаго обобщенія, невѣрность котораго доказывается заключающимся въ немъ противорѣчїемъ: въ организмѣ страдаютъ и наслаждаются не части, а цѣлое, а въ обществѣ наоборотъ, и слѣдовательно нѣтъ никакого подобія между обществомъ и недѣлимымъ».

Послѣднее обстоятельство напоминаетъ намъ, что Спенсеръ, совѣтуя не забывать, по его собственному мнѣнію, важнѣйшїй

пунктъ различія между обществомъ и организмомъ, тѣмъ не менѣе забылъ его. И забвеніе это всего ярче проглядываетъ въ наиболѣе остроумной частности его аналогіи — въ параллели между парламентомъ и головнымъ мозгомъ. Если головной мозгъ недѣлимаго получаетъ не дѣйствительныя ощущенія, непосредственно опѣняемыя перввыми узлами, а представленія этихъ ощущеній, то тѣмъ не менѣе организмъ, обладая корпоративною сознательностью, страдаетъ и наслаждается весь. Вслѣдствіе этого, выражаясь метафорическимъ языкомъ Спенсеровой аналогіи, интересы мозга солидарны съ интересами цѣлаго организма, и въ немъ не найдется торіевъ и виговъ, радикаловъ и чартистовъ. Но англійскимъ рабочимъ ничуть не легче отъ того, что ихъ интересы и страданія не непосредственно ощущаются палатою общины, а «представляются» ей. Въ организмѣ все-таки страдаетъ и наслаждается цѣлое, а не части; въ обществѣ все-таки страдаютъ и наслаждаются части, а не цѣлое. И никакое остроуміе, никакая эрудиція не въ силахъ стереть этой коренной разницы, связанной съ коренною разницею между раздѣленіемъ труда физиологическимъ и социальнымъ, которая, въ свою очередь, связывается съ столь же коренной разницей между развитіемъ органическимъ и социальнымъ.

Итакъ въ третій разъ Спенсеръ проходитъ съ закрытыми глазами мимо человѣческихъ радостей и горестей, хотя всѣ три раза крылья его мысли вплотную касаются тѣхъ и другихъ, и проходитъ онъ мимо ихъ на самые разнообразныя лады. Предписывая искусству изображать только прошлую жизнь, онъ минуетъ тревоги настоящаго по простому недосмотру, такъ какъ принципъ контраста не исключаетъ изъ задачъ искусства передачи современныхъ явленій. Проводя параллель между прогрессомъ органическимъ и социальнымъ, онъ отворачивается отъ счастья человѣчества сознательно, потому что прямо заявляетъ о своемъ неуваженіи къ этой точкѣ зрѣнія. Устанавливая аналогію между организмами естественнымъ и общественнымъ, онъ обходитъ страданіе и наслажденіе человѣка по двойному недосмотру: забываетъ не только это страданіе и наслажденіе,

лю и свое собственное напоминаніе объ нихъ. Еслибы во всѣхъ этихъ трехъ случаяхъ онъ дѣйствительно дошелъ до истины—мы бы ни слова не сказали и не могли сказать противъ его объективнаго метода. Успѣхъ въ этомъ случаѣ оправдалъ бы средства, какъ бы мы на нихъ ни смотрѣли безотносительно къ результатамъ. Но мы видимъ, что этого нѣтъ; мы видимъ напротивъ, что во всѣхъ этихъ трехъ случаяхъ онъ впадаетъ въ грубыя ошибки. И такъ-какъ въ силѣ ума Спенсера сомнѣваться невозможно, то самъ собою представляется вопросъ: законно ли устраненіе телеологическаго элемента изъ соціологическихъ изслѣдованій, можетъ ли объективный методъ дать въ соціологін благіе результаты? Можетъ быть соціологъ не имѣетъ, такъ сказать, логическаго права устранить изъ своихъ работъ человѣка, какъ онъ есть, со всѣми его скорбями и желаніями; можетъ быть, грозный образъ страдающаго человѣчества, соединившись съ логикой вещей, метитъ всякому, кто его забудетъ, кто не проникнется его страданіями; можетъ быть объективная точка зрѣнія, обязательная для естествоиспытателя, совершенно непригодна для соціологін, объектъ которой — человѣкъ — тождественъ съ субъектомъ; можетъ быть, вслѣдствіе этой тождественности, мыслящій субъектъ только въ такомъ случаѣ можетъ дойти до истины, когда вполне сольется съ мыслимымъ объектомъ и ни на минуту не разлучится съ нимъ, т.-е. войдетъ въ его интересы, переживетъ его жизнь, перемыслитъ его мысль, почувствуетъ его чувство, перестрадаетъ его страданіе, проплачетъ его слезами. Есть нѣкоторыя основанія думать, что это предположеніе вѣрно, и сочиненія Спенсера представляютъ обильные намеки на то, что объективный методъ, единственно плодотворный въ естествознаніи, бесплоденъ въ соціологін.

Вопервыхъ мы видѣли, что ошибки Спенсера совпадаютъ съ устраненіемъ изъ соціологическихъ изслѣдованій телеологическаго элемента, что въ такомъ сильномъ мыслителѣ весьма характерично.

Вовторыхъ нѣкоторыя частныя изслѣдованія Спенсера, въ которыхъ онъ становится на субъективную точку зрѣнія, заклю-

чаютъ въ себѣ истины безспорныя и притомъ діаметрально противоположныя тѣмъ выводамъ, которыя вытекаютъ изъ его изслѣдованія прогресса. Мы рассмотримъ одинъ такой случай. Дѣло идетъ о причинахъ разнообразія и однообразія слога писателей. Такъ статья и называется: «Философія слога». «Отчего Джонсонъ напыщенъ, а Гольдсмитъ простъ? спрашиваетъ Спенсеръ (I, 91). Отчего одинъ авторъ отрывоченъ, другой плавленъ, третій сжатъ? Очевидно, что въ каждомъ частномъ случаѣ обычный способъ выраженія зависитъ отъ обычнаго настроенія. Преобладающія чувства, постояннымъ упражненіемъ, приучили умъ къ извѣстнымъ представленіямъ. Но между тѣмъ какъ продолжительнымъ, хотя и безознательнымъ упражненіемъ онъ достигъ того, что съ силой передаетъ эти представленія, онъ остается по недостатку упражненія неспособнымъ къ передачѣ другихъ, такъ-что когда возбуждаются эти болѣе слабыя чувства, въ обычныхъ словесныхъ формахъ происходятъ только легкія измѣненія. Но пусть сила рѣчи вполнѣ разовьется, пусть способность разсудка выражать душевныя волненія достигнетъ совершенства, тогда неподвижность стили исчезнетъ. Совершенный писатель будетъ выражаться какъ Юніусъ, когда онъ будетъ въ такомъ же расположеніи духа, какъ Юніусъ; когда онъ будетъ чувствовать, какъ чувствовалъ Ламбъ, онъ употребитъ столь же простую рѣчь; онъ впадетъ въ рѣзкость Карлейля, когда придетъ въ настроеніе Карлейля». Говоря о «совершенномъ» писателѣ, Спенсеръ тѣмъ самымъ выдвигаетъ нѣчто желательное, ставитъ нѣкоторый идеалъ, къ которому приглашаетъ стремиться, т.-е. вводитъ въ свое разсужденіе субъективный и телеологическій элементъ. Желательно, разумѣется, не то, чтобы тотъ или другой писатель обладалъ совершеннымъ слогомъ; желательно, чтобы всѣ они достигли этого совершенства. Но когда слогъ каждаго писателя можно будетъ выразить формулою: (Юніусъ+Ламбъ+Карлейль + и т. д.), то очевидно, что вся группа писателей будетъ вполнѣ однородна, именно потому, что каждый изъ нихъ вполнѣ разнороденъ: формула каждаго изъ нихъ состоитъ изъ весьма длиннаго ряда слагаемыхъ, и потому

выражает собою фактъ весьма сложный и разнородный: но такъ-какъ всѣ писатели выражаются одною и тою же формулою, то вся масса ихъ будетъ совершенно однородна, — ни у одного изъ нихъ не будетъ, въ сравненіи съ остальными, ничего лишняго и ничего недостающаго. Слѣдовательно, если мы мысленно изолируемъ всѣхъ писателей отъ остальной массы общества и представимъ себѣ группу ихъ какъ нѣчто цѣлое, то окажется, что Спенсеръ, какъ разъ наоборотъ тому, что онъ говорилъ о всемъ обществѣ, требуетъ для нашей группы писателей полной однородности въ цѣломъ и полной разнородности для каждаго отдѣльно взятаго писателя. Если мы на вопросъ о слогѣ взглянемъ нѣсколько глубже, то противорѣчіе это станетъ еще болѣе яснымъ. Разнообразіе слога обусловливается количествомъ чувствъ, волнующихъ писателя, а количество и напряженность чувствъ зависитъ отъ среды, въ которой обращается писатель. Представимъ себѣ разнородное общество, т.-е. общество, дифференцированное на опредѣленное количество слоевъ. Писателей выставятъ, разумѣется, не всѣ эти слои. Такъ въ XVII столѣтіи литература принадлежитъ во Франціи дворянству и духовенству и выражаетъ чувства, обычные для этихъ классовъ. Сообразно этому, слогъ принимаетъ извѣстный спеціальнѣйшій характеръ у Корнеля и Расина съ одной стороны, у Боссюэта и Фенелона—съ другой. Затѣмъ вырѣзывается третье сословіе, въ лицѣ такъ-называемой литературы просвѣщенія,—представитель новыхъ чувствъ и слѣдовательно новаго слога. Такъ-какъ дворянская литература и духовная еще продолжаютъ существовать бокъ-о-бокъ съ этой литературой средняго сословія, то появленіе послѣдняго увеличиваетъ разнородность общества и разнородность массы писателей: къ дворянскому слогу и слогу духовенства прибавляется еще третій. Но этотъ порядокъ вещей тянется недолго, и среднее сословіе весьма быстро превращается въ широкой нивелирующей потокъ. Чувства, волнующія вновь народившійся общественный слой, охватываютъ все общество, и революція стираетъ аристократію и духовенство. Они еще пробуютъ бороться, пробуютъ отстаивать свои спеціальныя чувства

и свой спеціальний слогъ, но безуспѣшно. Ночь 4-го августа имѣетъ въ исторіи слога свой параллельный фактъ, хотя и не столь рѣзко обозначенный. Съ точки зрѣнія ученія Спенсера о прогрессѣ вообще это явленіе регрессивное, потому что общество перешло отъ разнородности къ однородности. Не говоря уже о томъ, что это прямо вытекаетъ изъ его общей теоріи, онъ говоритъ въ этомъ смыслѣ и объ этомъ частномъ случаѣ. «Политическій взрывъ,—говоритъ онъ,—съ самаго начала стремится изгладить правительственныя и промышленныя спеціализаціи, существовавшія прежде. Недовольство, производящее такой взрывъ, само по себѣ предполагаетъ уже ослабленіе узъ, связывающихъ гражданъ въ отдѣльные классы и подклассы. Агитація, выростающая въ революціонные митинги, обнаруживаетъ рѣшительную склонность къ сліянію слоевъ, обыкновенно отдѣльных другъ отъ друга» («Основныя начала», 191). И всѣ «такія измѣненія не только не составляютъ дальнѣйшей степени развитія, но, напротивъ, представляютъ собою шаги къ разложенію» (Ibid., 189). Это совершенно послѣдовательно, что касается до прогресса соціального, т.-е. развитія идеальной, юридической личности. Но, вводя въ свое разсужденіе судьбу личности реальной, Спенсеръ долженъ придти къ заключенію совершенно противоположному. Дѣйствительно, если среднее сословіе стало выражать, въ придачу къ тѣмъ чувствамъ, которыя прежде волновали только его, также и тѣ, которыя прежде составляли монополію дворянства и духовенства; если оно такимъ образомъ не заговорило общечеловѣческимъ языкомъ только потому, что четвертое сословіе еще ждало своей очереди для внесенія своихъ чувствъ на арену исторіи и литературы, то ясно во всякомъ случаѣ, что слогъ писателей третьяго сословія сталъ разнороднѣе слога писателей дворянскихъ и духовныхъ, т.-е. писатели, по крайней мѣрѣ по отношенію къ слогу, стали совершеннѣе. Итакъ писатель тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ онъ разнороднѣе и чѣмъ общество, въ которомъ онъ дѣйствуетъ, однороднѣе, а между тѣмъ соціальній прогрессъ состоитъ въ переходѣ отъ однороднаго къ разнородному. Это противорѣчіе объясняется

во первыхъ тѣмъ, что, трактуя о совершенствѣ слога писателя, Спенсеръ становится на субъективную точку зрѣнія, которая исключается имъ изъ изслѣдованія законовъ соціальнаго прогресса; а вовторыхъ тѣмъ, что въ первомъ случаѣ онъ беретъ во вниманіе тотъ элементъ, который устраняетъ во второмъ, т.-е. прогрессъ индивидуальный. Не трудно видѣть, что совпаденіе этихъ двухъ обстоятельствъ не случайное: что всякій разъ, какъ Спенсеръ станетъ на телеологическую точку зрѣнія, онъ необходимо долженъ будетъ принять въ соображеніе судьбу не общества, а недѣлимаго, и что, наоборотъ, слѣдя за судьбой недѣлимаго, онъ необходимо станетъ на телеологическую точку зрѣнія, т.-е. выставитъ нѣкоторую цѣль, которой желательно достигнуть.

Нетрудно наконецъ видѣть и то, что только въ этомъ случаѣ онъ можетъ придти къ результатамъ, безспорно истиннымъ. Еслибы Спенсеръ рекомендовалъ не физиологамъ соціологическій методъ, а наоборотъ соціологамъ методъ физиологическій, то, исходя изъ того же закона Бэра, который составляетъ основаніе его выводовъ, онъ пришелъ бы къ совершенно инымъ результатамъ. По этому закону организмъ тѣмъ развитѣе, тѣмъ выше, чѣмъ онъ сложнѣе, чѣмъ физиологическое раздѣленіе труда между его органами обозначено рѣзче и яснѣе. Организмъ прогрессируетъ, когда онъ усложняется, т.-е. переходитъ отъ однородности къ разнородности, и регрессируетъ, когда упрощается, т. е. переходитъ отъ разнородности къ однородности. Это истина безспорная. Если индивидуальный организмъ нисходитъ до степени спеціальнаго органа въ организмѣ соціальномъ, то тѣмъ самымъ онъ переходитъ отъ разнородности къ однородности, слѣдовательно регрессируетъ. Въ то же самое время соціальный организмъ становится разнороднѣе, слѣдовательно прогрессируетъ. Какое изъ этихъ взаимно исключającychъ движеній слѣдуетъ принять за дѣйствительно прогрессивное? Объективная точка зрѣнія не даетъ руководства для выбора. Она говоритъ только, что прогрессъ есть переходъ отъ однороднаго къ разнородному. А такъ-какъ въ исторіи движеніе общества именно въ этомъ отношеніи обозначено, за весьма впро-

чемъ значительными исключеніями, весьма явственно, то для объективной точки зрѣнія этого и достаточно: общество прогрессируетъ, хотя и давить при этомъ личность, заставляя ее переходить отъ разнородности къ однородности. Не то будетъ, когда мы станемъ на противоположную точку зрѣнія; когда мы, признавъ, что общество, какъ личность идеальная, не живетъ и не умираетъ, не страдаетъ и не наслаждается, возьмемъ за центръ своего изслѣдованія мыслящую, чувствующую и желающую личность. Естественнымъ образомъ мы признаемъ при этомъ прогрессивнымъ только такое движеніе, которое увеличиваетъ массу наслажденій этой личности и уменьшаетъ массу ея страданій. Мы знаемъ далѣе, что нарушение равновѣсія органовъ, развитіе одного изъ нихъ въ ущербъ другому или другимъ, болѣзненно отзывается на личности и отнимаетъ у нея самое очевидное благо — здоровье. Кромѣ того, такое нарушение равновѣсія ставитъ одну личность или одну группу личностей въ зависимость отъ другой, которой удалось развить въ себѣ болѣе выгодную фізіологическую функцію, такъ что первая такъ или иначе становится по отношенію ко второй въ болѣе или менѣе замаскированное положеніе раба. Наконецъ, такъ какъ каждое естественное фізіологическое отправление составляетъ источникъ наслажденія, то недѣлимое тѣмъ счастливѣе, чѣмъ полнѣе и многостороннѣе идетъ въ немъ фізіологическая работа. Съ этой точки зрѣнія прогрессъ выразится усложненіемъ организма, переходомъ его отъ однородности къ разнородности, хотя бы такой переходъ обуславливался обратнымъ движеніемъ для общества; переходъ же общества отъ однородности къ разнородности будетъ признакомъ регресса. Которое изъ этихъ рѣшеній правильнѣе, которое изъ нихъ логически вытекаетъ изъ закона Бэра? Очевидно второе, потому что индивидуальный прогрессъ есть тотъ же прогрессъ органической, только въ общественной средѣ. И придти къ этому второму рѣшенію Спенсеру помѣшало тщательное устраненіе вопроса о человѣческомъ счастьи. И натолкнуть его на это рѣшеніе могъ только этотъ вопросъ. Въ этой карѣ человѣческой логики за забвеніе человѣческихъ ин-

тересовъ, есть знаменательное указаніе, преслѣдующее Спенсера во всѣхъ его ошибкахъ, придающее имъ видъ необыкновенной, странной грубости. Что можетъ быть грубѣе и очевиднѣе его ошибки относительно задачи искусства? И произошла она от того, что для него какъ бы не существуютъ социальныя контрасты, порожденные тѣмъ процессомъ дифференцированій общества, который онъ называетъ социальнымъ развитіемъ. И когда сопоставляешь эти примѣры со множествомъ свѣтлыхъ, блестящихъ мыслей того же автора, то вопросъ о законности объективнаго метода въ социологій встаетъ все назойливѣе и назойливѣе.

Для подробной оцѣнки значенія этого метода, да позволено намъ будетъ сдѣлать небольшое, а можетъ быть и довольно длинное отступленіе. Но намъ не хотѣлось бы разставаться съ читателемъ, не устранивъ одного возможнаго недоразумѣнія. Намъ не хотѣлось бы, чтобы читатель подумалъ, что для насъ золотой вѣкъ человѣчества лежитъ не впереди, а позади, не въ будущемъ, а въ прошедшемъ. Мы не признаемъ доктрины Руссо, которая однако несомнѣнно вѣрно указываетъ свойства нѣкоторыхъ сторонъ цивилизаціи. Не становимся мы и въ ряды поклонниковъ древней Греціи (весьма многочисленныхъ сравнительно очень недавно), хотя опять-таки и въ ихъ мнѣніи есть значительная доля правды. Съ одной стороны общество еще никогда не достигало и не можетъ достигнуть до состоянія организма. Съ другой стороны, на сколько цивилизація двигалась путемъ раздѣльнаго труда, она несомнѣнно имѣла указанный выше двойственный характеръ. Но раздѣленіемъ труда не исчерпывается кооперація, и на ряду съ нимъ существовало и существуетъ простое сотрудничество, т.-е. сочетаніе труда равныхъ людей, преслѣдующихъ одну и ту же цѣль. И все будущее принадлежитъ этой формѣ коопераціи.

V.

Сравнивая нѣсколько болѣе или менѣе удаленныхъ другъ отъ друга историческихъ періодовъ, мы замѣчаемъ большую или меньшую разницу въ соотвѣтствующихъ имъ состоящихъ общества. Мы видимъ различную группировку силъ политическихъ и экономическихъ, различные способы производства богатствъ, различные типы ихъ распредѣленія, различныя степени власти надъ природой, различные нравственныя уровни, различныя степени интеллектуальнаго развитія, наклонности къ войнѣ и торговлѣ и т. д. Если далѣе мы достаточно подготовлены умственной работой надъ самимъ собой и надъ окружающими насъ фактами, то мы безъ труда замѣтимъ нѣкоторую связь между взятыми нами періодами въ ихъ послѣдовательности; промежуточные фазы еще пастойчивѣе укажутъ на эту связь. Но отъ этого смутнаго сознанія существованія известной правильности въ послѣдовательной смѣнѣ историческихъ фактовъ еще далеко до отчетливаго представленія и формулированія самой этой правильности. Мы скорѣе угадываемъ, нежели сознаемъ отчетливо и ясно, что есть нѣкоторый порядокъ въ появленіи на исторической сценѣ и исчезаніи съ нея всѣхъ этихъ великихъ героевъ и пошлыхъ негодяевъ, мирно занявшихъ по три аршина земли для своего послѣдняго жилища; всѣхъ этихъ глубокихъ думъ, сильныхъ чувствъ и страстныхъ желаній, то сданныхъ нами въ архивъ, то превращенныхъ въ знамя нашей дѣятельности; всѣхъ этихъ потрясающихъ картинъ скорби и радости, въ которыхъ мы можетъ участвовать только мыслью; всѣхъ этихъ разнообразныхъ отжившихъ формъ общезжитія и міросозерцанія. Передъ нами развертывается такая необъятная перспектива прошедшаго, въ которой различные общественные элементы повидимому самымъ причудливымъ образомъ скрещиваются, переплетаются, цѣпляются другъ за друга, сходятся и расходятся на тысячахъ пунктовъ, какъ неровныя звенья множества перепутанныхъ цѣпей. И ориентироваться въ этой сложной сѣти тѣмъ труднѣе, чѣмъ далѣе мы подвигаемся въ густую чащу историческихъ

фактовъ. Но насъ гонять нужды настоящаго, насъ душить страхъ за будущее, и мы все тщательнѣе и внимательнѣе ищемъ такого пункта, съ котораго было бы всего удобнѣе осмотрѣть всю разстилающуюся за нами исторію, чтобы по ней опредѣлить наше будущее. Здѣсь мы встрѣчаемся съ очель крупными затрудненіями. Чтобы уловить законы соціальной динамики, т.-е. общественнаго прогресса, мы должны одновременно слѣдить за движеніемъ всѣхъ общественныхъ элементовъ сразу. Мы ищемъ не исторіи войны, торговли, экономическихъ отношеній, вѣрованій, нравственныхъ, эстетическихъ идеаловъ и т. д. Мы ищемъ законовъ, управляющихъ единовременнымъ движеніемъ всѣхъ этихъ элементовъ. Если мы ухватимся за одинъ какой-нибудь соціальный элементъ, почему-либо бросившійся намъ въ глаза, и по движенію этой части будемъ судить о развитіи цѣлаго, то вся исторія естественно окрасится для насъ односторооннымъ и ложнымъ свѣтомъ. Такія попытки приурочить прогрессъ общества къ движенію одного изъ соціальныхъ элементовъ бывали. Такъ Боссюэтъ, на примѣръ, принялъ за точку исхода христіанство, элементъ, безъ всякаго сомнѣнія, въ новой исторіи весьма важный, но не единственный и не всеобъемлющій. Наряду съ христіанствомъ въ новомъ обществѣ самостоятельно существуютъ болѣе или менѣе крупные обломки римскаго права, существуетъ наука, промышленныя отношенія и общественныя учрежденія, отнюдь не захватываемыя исторіей христіанства. Ошибка Боссюэта, не смотря на нѣкоторыя несомнѣнныя достоинства и важное значеніе его знаменитаго Discours, уже слишкомъ груба. Христіанство представляетъ собою факторъ, рѣзко опредѣленный во времени и пространствѣ, имѣющій свое, извѣстное намъ, относительно близкое историческое начало и извѣстное географическое распространеніе. Мы знаемъ безошибочно, что были времена, когда христіанства не было, и что есть мѣста, гдѣ христіанства нѣтъ. Поэтому принятіе его развитія за центральный факторъ соціальной динамики можетъ ввести въ заблужденіе очень немногихъ. Боссюэтъ съ своей точки зрѣнія весьма послѣдовательно разрубилъ гордіевъ узелъ.

до христіанской исторіи на манеръ Александра Македонскаго, вычеркнувъ изъ древней исторіи всѣ народы, за исключевіемъ сврейскаго, въ которомъ онъ видитъ приготовленіе, такъ сказать, задатокъ христіанства. Но многими историками весь прогрессъ человѣчества приурочивается къ факторамъ, гораздо болѣе общимъ и тѣмъ не менѣе все-таки недостаточно общимъ для освѣщенія хода развитія всего общества въ цѣломъ. Таково, напримѣръ, стремленіе къ политической свободѣ, теряющееся во мракѣ доисторическихъ временъ съ одной стороны и заявляющее себя въ сегодняшнемъ нумерѣ либеральной газеты съ другой и имѣющее заявить себя и завтра и послѣзавтра въ той или другой формѣ, существующее въ различной степени и въ Китаѣ и въ Англии, и въ Южной Америкѣ и въ Норвегіи. Не смотря однако на общность этого элемента и могучесть его, какъ соціального двигателя, мы не можемъ признать его элементомъ первенствующимъ, достаточно широкимъ для поглощенія остальныхъ. Исторія политической свободы и даже стремленія къ ней не есть исторія человѣчества; и, принявъ ее за исходный пунктъ изученія соціальной динамики, мы принуждены будемъ обойти значительную часть фактовъ совсѣмъ, а другую значительную часть представить въ совершенно невѣрномъ свѣтѣ. Мало того, игнорируя элементы равносильные и быть можетъ даже болѣе сильныя, нежели стремленіе къ политической свободѣ, мы необходимо извратимъ и частную исторію этого самаго стремленія. Общество представляетъ собою арену безчисленныхъ дѣйствій и противодѣйствій, и въ то же время всѣ его элементы находятся въ тѣснѣйшей между собою зависимости, другъ друга обуславливая. Такъ что въ этомъ случаѣ намъ представляется дилемма: или полное и всестороннее уясненіе, или никакого уясненія даже развитія частнаго факта. Немудрено поэтому, что, вслѣдствіе своей сложности, вопросы общественной жизни, остановившіе на себѣ вниманіе человѣка почти одновременно съ первыми, азбучными вопросами природы, съ точки зрѣнія научной разработки остались далеко позади послѣднихъ. Самый предметъ общественной науки — людскія отношенія —

всегда и вездѣ сосредоточиваль на себѣ особенное вниманіе. Лучшие люди, цвѣтъ и краса человѣчества, дрались и умирали за тотъ или другой общественный принципъ, всю душу свою клали въ вопросы общественной жизни. Но рядомъ съ ними работали и работаютъ и тѣ, кто составляетъ позоръ и поношеніе людскаго рода. И въ этомъ заключается вторая причина отсутствія общественной науки. Истины естествознанія или вовсе не затрогиваютъ чьихъ бы то ни было непосредственныхъ интересовъ, за которые обыкновенно человѣкъ держится крѣпче всего, — и въ такомъ случаѣ большинство относится къ нимъ безразлично, «оставляя астрономамъ доказывать, что земля обращается вокругъ солнца»; или же онѣ могутъ получить немедленное практическое приложеніе, и въ такомъ случаѣ принимаются съ распростертыми объятіями. Если какое-нибудь ученіе о природѣ и вызываетъ косые взгляды, то главнымъ образомъ потому, что изъ-за него выглядываетъ грозный образъ какого либо ученія объ обществѣ. Прошла пора отреченія Галилея предъ лицомъ католицизма, но не скоро Петръ перестанетъ быть вынужденнымъ отрекаться отъ Христа предъ лицомъ римскихъ воиновъ. Истины науки общественной, вводя въ свои формулы такія понятія, какъ справедливость, право, нравственность, должны пробиваться на свѣтъ Божій подъ гнетомъ общественнаго разстройства или неустройства, подъ градомъ ругательствъ, доносовъ, клеветъ и насмѣшекъ. Это отражается и на ищущихъ истину. Вотъ двѣ книги: одна трактуетъ о явленіяхъ природы, другая—о явленіяхъ общественной жизни. Одна написана спокойно, безстрастно нацѣпляетъ фактъ на фактъ и безпрепятственно доходитъ до обобщенія. Въ другой не то. Вы видите, что человѣкъ захлебывается тѣми ощущеніями, которыя возбуждаются въ немъ процессомъ передачи мыслей; вы можете чуть не по каждой строкѣ судить о біеніи пульса писавшей руки; человѣкъ любитъ, ненавидитъ, смѣется и плачетъ; вы можете разглядѣть слѣды жолчи и слезъ на бездушнѣй бумагѣ. Изложеніе сбивчиво, неровно, рядомъ съ чисто научной мыслью стоитъ ѣдкая полемическая выходка, вызовъ врагу, улыбка

торжества и презрѣнія; тамъ опять безспорное наблюденіе, безспорный выводъ и опять дрожь и замираніе субъективныхъ взрывовъ. Но запасъ накопленныхъ знаній все-таки растетъ и растетъ. Истина и здѣсь все та же вода, вылитая по каплѣ на камень, только камень крѣпче и въ водѣ есть постороннія, но неизбѣжныя примѣси. Нѣтъ сомнѣнія, что какъ въ наукѣ о природѣ истинѣ удалось выбить изъ позиціи *odium theologicum*, такъ одолѣетъ она соотвѣтствующій элементъ и въ наукѣ объ обществѣ. Статистики и психологи, социалисты и экономисты, политическіе теоретики и историки вносятъ свою долю въ капиталъ будущей общественной науки, и все это толкается впередъ потребностями и нуждами народовъ и обливается безстрастнымъ, холоднымъ и неотразимымъ свѣтомъ науки о природѣ. И наступить наконецъ пора, когда поблѣднѣетъ извѣстный сарказмъ Гоббза: еслибы и геометрическія аксіомы задѣвали человѣческіе интересы, такъ и онѣ вѣчно оспаривались бы. Мы имѣемъ право вѣрить, что наступитъ такая пора, потому что это вѣра съ силу человѣческаго разума и вѣра разумная.

Въ первой половинѣ цынѣннаго вѣка на Западѣ выросла новая философская школа, предположившая обойти оба коренныя затрудненія социальной науки: сложность явленій общественной жизни и вмѣнательство субъективнаго элемента. Мы говоримъ о позитивизмѣ. Представители его явились то независимо другъ отъ друга, то группируясь около одного какого нибудь крупнаго имени, то признавая себя позитивистами, то отрицая свою солидарность съ тою или другою ихъ отраслью. Исключительно опытное происхожденіе нашихъ знаній, ихъ относительность, невозможность познать сущность вещей и вслѣдствіе этого необходимость довольствоваться только опѣнкой взаимныхъ отношеній между явленіями и отсюда выводить ихъ законы, подчиненность извѣстнымъ законамъ какъ явленій физическихъ, такъ и социальныхъ, — таковы основные философскіе принципы, выставленные новыми теоріями въ болѣе или менѣе определенной формѣ и въ болѣе или менѣе широкихъ обобщеніяхъ. Само собою разумѣется, что принципы эти и въ прежнія

времена выдвигались отдѣльными мыслителями. Такъ по вопросу объ относительности знаній Спенсеръ цитируетъ по Гамильтону слѣдующій списокъ предшественниковъ позитивизма: Протагоръ, Аристотель, св. Августинъ, Боэцій, Аверроэсъ, Альбертъ Великій, Жерсонъ, Левъ Еврей, Мелахтонъ, Скалигеръ, Францискъ Пикколомини, Джордано Бруно, Кампанелла, Бэконъ, Спиноза, Ньютонъ и Кантъ. И списокъ этотъ могъ бы быть значительно увеличенъ. Но какъ историческій центръ тяжести протеста противъ католицизма выпадаетъ на XVI вѣкъ, хотя этому по преимуществу вѣку реформаціи и предшествовали альбигойцы, лолларды, гусситы, такъ и разрозненные, непроведенные до конца и растворенные въ болѣе или менѣе чуждой массѣ принципы положительной философіи, проскальзывающіе тамъ и сямъ въ предшествующіе вѣка, не мѣшаютъ считать началомъ позитивизма именно XIX вѣкъ. Это не значитъ разумѣется, что принципы положительной философіи во всѣхъ сферахъ знанія и жизни получили должное примѣненіе, или что тамъ, гдѣ были попытки приложить ихъ къ дѣлу, они вездѣ были приложены должнымъ образомъ. Положительной философіи несомнѣнно предстонтъ еще большая и тяжелая работа. И не только въ поступательномъ движеніи впередъ должна состоять эта работа, не только въ расчисткѣ новыхъ и новыхъ закоулковъ науки и жизни, но и въ исправленіи и дополненіи многихъ важнѣйшихъ уже существующихъ выводовъ отдѣльныхъ представителей новаго строя мысли.

Школа Огюета Конта, которой преимущественно присвоивается названіе позитивизма и положительной философіи, обходитъ первое существенное затрудненіе соціальной науки такимъ образомъ, что принимаетъ за центральный факторъ соціальнаго развитія интеллектуальный элементъ. При этомъ позитивисты очень хорошо понимаютъ, что умственная дѣятельность отнюдь не представляетъ наиболѣе сильнаго соціальнаго двигателя; что стремленіе къ истинѣ, къ объясненію міровыхъ явленій не захватываетъ собою другихъ гораздо болѣе могучихъ дѣятелей; что интеллектуальный элементъ самъ постоянно получаетъ толчки

отъ мѣстныхъ физическихъ условій, отъ страстей, потребностей и желаній человѣка. Позитивисты говорятъ только, что умственный элементъ имѣеть значеніе руководителя въ социальномъ движеніи, и имъ обусловливается количество и качество средствъ для удовлетворенія человѣческихъ склонностей и желаній. При такихъ оговоркахъ понятно громадное научное значеніе этого принципа. Онъ пробиваетъ широкую просѣку въ дремучемъ лѣсу исторіи и значительно упрощаетъ задачу социальной динамики. Съ такой точкой опоры глаза уже не разбѣгаются по запутаннымъ ходамъ и переходамъ историческаго лабиринта; вниманіе сосредоточивается на движеніи одного элемента, и вмѣстѣ съ тѣмъ элементъ этотъ таковъ, что, принявъ его развитіе за центральную нить, мы можемъ связать каждую ея точку съ любымъ изъ остальныхъ общественныхъ факторовъ. Высота умственнаго уровня, свойство вѣрованій и мнѣній въ данную историческую эпоху, опредѣляя нравственный, политическій и экономическій складъ общества, даютъ изслѣдователю руководящую нить, безъ которой онъ запутался бы въ массѣ фактовъ.

Найдя такую выгодную позицію, Контъ съ высоты ея раздѣлилъ исторію человѣчества на три великіе періода: теологическій, метафизическій и позитивный. Въ первомъ люди не имѣютъ понятія о законосообразности и причинной связи явленій. все совершается непосредственнымъ вмѣшательствомъ высшихъ существъ, одаренныхъ разумомъ и волею. Сначала люди антропоморфизуютъ единичные предметы, считаютъ ихъ одушевленными и принимающими участіе въ судьбѣ человѣка,—это возрастъ фетишизма; за нимъ слѣдуетъ политеистическое міросозерцаніе, уже классифицирующее явленія и отводящее въ завѣдываліе каждаго изъ высшихъ существъ цѣлые ряды фактовъ: наконецъ является идея монотеизма, стирающая своимъ величіемъ и цѣлостностью всѣ отдѣльныя божества предшествующихъ періодовъ. На метафизической ступени развитія мысль считаетъ причиною явленій и ихъ измѣненій не волю существъ, стоящихъ внѣ самыхъ явленій, а нѣкоторыя свойства, силы и способности естественныхъ конкретныхъ дѣятелей, имъ прису-

ція. Мысль отвлекаетъ отъ предмета одно изъ его свойствъ и реализируетъ свое отвлеченіе, придавая ему такимъ образомъ отдѣльное, самостоятельное существованіе, хотя и связанное съ существованіемъ конкретнаго факта. Наконецъ положительная философія, оставляя въ сторонѣ какъ сверхъестественныхъ дѣятелей, такъ и метафизическія сущности, устремляетъ вниманіе человѣка на самыя явленія въ ихъ связи съ сосѣдними по времени и по пространству. Законы послѣдовательности и сосуществованія явленій,—вотъ все, чего ищетъ отрезвившаяся мысль, усталая отъ погони за конечными причинами и абстрактными сущностями. Каждая вѣтвь знанія проходитъ черезъ эти три фазы развитія и каждая принимаетъ наконецъ положительный характеръ. Но новый слой мысли не вдругъ совершенно стираетъ прежніе слои, и есть такія отрасли науки, гдѣ можно различить всѣ три формаціи, существующія одновременно. Таково именно печальное состояніе соціологіи; въ ней бокъ-о-бокъ съ проблесками позитивнаго строя мысли существуютъ осколки теологическаго міросозерцанія, сказывающагося въ преобладаніи воображенія надъ наблюденіемъ, метафизическаго—въ лицѣ тѣхъ ученій, которыя выводятся изъ принциповъ естественнаго права и понятія о врожденныхъ идеяхъ. Наличныя политическіе принципы, какъ ретроградные, такъ и революціонные, и ходячія правила морали всѣ вытекаютъ либо изъ идеи божественнаго права, либо изъ абстракцій. Поэтому Контъ признаетъ за «революціонной метафизикой» только критическое и отрицательное значеніе, выразившееся въ борьбѣ съ католицизмомъ и феодализмомъ. Затѣмъ дальнѣйшее существованіе ея оказывается крайне вреднымъ, потому что она только «переноситъ божественное право съ королей на народы» или стремится отодвинуть общество назадъ подъ покровомъ прогрессивныхъ дѣлей. Положительная же соціологія хочетъ только уловить тѣ законы, по которымъ факты общественной жизни группируются въ данное время или слѣдуютъ одинъ за другимъ. Наличныя политическія доктрины имѣютъ въ виду или исключительно идею порядка, или столь же исключительно идею про-

гресса, вслѣдствіе чего ни тѣ, ни другія не могутъ удовлетво- рить научнымъ требованіямъ. Въ положительной же соціологін оба эти принципа получаютъ свое настоящее мѣсто, причѣмъ идея порядка составляетъ основаніе соціальной статики, а идея прогресса—корень соціальной динамики. Ищите законовъ по- слѣдовательности и сосуществованія явленій—таковъ един- ственный завѣтъ позитивизма, который, ставя соціолога на объ- ективную точку зрѣнія, тѣмъ самымъ устраняетъ повидимому и второе большое мѣсто соціологін.

Какъ ни соблазнительна мысль подольше остановиться на исторической и соціологической теоріи Конта, миѣ приходится удовольствоваться здѣсь этимъ болѣе чѣмъ голымъ остовомъ и нижеслѣдующими отрывочными замѣчаніями. Прежде всего въ контовскомъ огульномъ отрицаніи «революціонной метафи- зики» бросается въ глаза слѣдующее обстоятельство. Всѣ суще- ствующія политическія теоріи и системы дѣлятся для Конта на остатки феодально-католическаго міросозерпанія, представ- ляемые различными ретроградными партіями; затѣмъ существу- етъ промежуточная, лишенная всякой самостоятельности партія консервативная и наконецъ «революціонная метафизика», куда входятъ всѣ отгѣнки критической соціальной философіи отъ нѣкоторыхъ сторонъ протестантизма до системъ и ученій, на- родившихся во время и послѣ французской революціи. Всѣ они, говоритъ Контъ, не удовлетворяютъ принципамъ положительной философіи, потому что всѣ ищутъ чего-то, кромѣ законовъ явленія, или даже вовсе не ищутъ послѣднихъ. Здѣсь очевидно смѣшаны теоретическія послылки съ практическими заклю- ченіями. Поскольку какое-либо политическое ученіе вытекаетъ изъ принциповъ естественнаго права; поскольку этическая тео- рія строится на врожденномъ понятіи добра или справедливо- сти,—и это политическое ученіе, и эта этическая теорія пред- ставляютъ собою доктрины метафизическія. Но дѣло въ томъ, что это весьма часто бываетъ не болѣе какъ форма, и сквозь эту метафизическую оболочку, расколотую и надтреснутую, за- мѣтно ядро совершенно иного свойства. Пусть идея *souverai-*

peté populaire есть понятие метафизическое, переносящее, какъ говоритъ Контъ, божественное право съ королей на народы. Но, какъ справедливо замѣчаетъ Милль, въ этомъ принципѣ слѣдуетъ оцѣнить и другую сторону: «тутъ есть также и положительное учение, которое, безъ всякой претензіи на абсолютность, требуетъ непосредственнаго участія управляемыхъ въ ихъ собственномъ управленіи, не какъ естественнаго права, а какъ средства къ достиженію важныхъ цѣлей, подъ условіями и съ ограниченіями, какія опредѣляются этими цѣлями» («О. Контъ и положительная философія»). Эта перазборчивость Конта въ поголовномъ осужденіи всѣхъ основныхъ принциповъ революціонныхъ, демократическихъ, либеральныхъ, радикальныхъ, социалистическихъ и т. д. социологическихъ теорій и школъ заводитъ иногда его самого въ метафизическія глубины. Такъ напримѣръ, онъ считалъ вопросъ объ уничтоженіи смертной казни совершенно нелѣпнымъ. Дѣло сводилось для него къ «метафизическому приравниванію самыхъ недостойныхъ негодяевъ къ простымъ больнымъ» (*Cours de philosophie positive*, t. IV, 95), что казалось ему «опаснымъ софизмомъ». Здѣсь, какъ и почти во всѣхъ своихъ нападкахъ на «революціонную метафизику», Контъ на половину правъ, а на остальную половину не только неправъ, но и прямо грѣшитъ противъ положительной философіи. Дѣйствительно, существуетъ нѣсколько теорій, отрицающихъ смертную казнь во имя чисто-метафизическихъ положеній, но онѣ составляютъ меньшинство; большинство же теолого-метафизическихъ теорій выпадаетъ на долю защитниковъ смертной казни, которые черпаютъ свои доводы изъ метафизическаго вопроса о правѣ государства наказывать, либо изъ идеи абсолютной справедливости, либо изъ принципа talionis и проч. Совершенно не таковы, въ большинствѣ случаевъ, приемы противниковъ смертной казни. Ненавистное Конту «приравниваніе преступниковъ къ больнымъ» въ значительной степени опирается на чисто-научныя психіатрическія данныя и затѣмъ на данныя статистическія, добытыя опять-таки не метафизическимъ путемъ, а путемъ опыта и наблюденія. И тѣ, и другія

свидѣтельствуютъ въпервыхъ, что преступленіе весьма часто является результатомъ душевныхъ болѣзней; вовторыхъ, что смертная казнь производитъ на общество деморализующее вліяніе; втретьихъ наконецъ, что человѣкъ есть продуктъ окружающихъ его физическихъ и социальныхъ условій и что поэтому только соответственное измѣненіе этихъ условій можетъ оказаться въ данномъ случаѣ пригоднымъ средствомъ. Таковы строго позитивныя истины, выдвигаемыя противниками смертной казни и рѣдко распространяемыя ими на все виды наказанія. Все онѣ резюмируются въ одномъ положеніи: смертная казнь не достигаетъ предположенныхъ цѣлей, а иногда даже приводитъ къ совершенно противоположнымъ результатамъ. Контъ же, игнорируя воздѣйствіе среды на образованіе характера вообще и на направленіе дѣятельности въ томъ или другомъ частномъ случаѣ и говоря о необходимости смертной казни для «недостойныхъ негодяевъ», самъ становится на чисто метафизическую точку зрѣнія отвлеченной справедливости, хотя въ его упрекахъ есть несомѣнно нѣкоторая доля правды—нѣкоторыя теоретическія послышки нѣкоторыхъ противниковъ смертной казни дѣйствительно проникнуты метафизическимъ характеромъ. Но дѣло именно въ томъ, что Контъ въ своей безпощадной критикѣ извѣстныхъ теорій, какъ бы не въ силахъ отличить метафизической оболочки отъ позитивнаго ядра. По самому складу своего ума и согласно общему смыслу своей философіи исторіи Контъ превосходно понималъ и оцѣнилъ значеніе исходныхъ теоретическихъ точекъ нѣкоторыхъ паличныхъ политическихъ и этическихъ теорій. Но затѣмъ концы этихъ теорій—поставляемыя ими себѣ цѣли и указываемыя ими для достиженія этихъ цѣлей средства—не такъ легко поддаются его анализу. Здѣсь сказывается слабая сторона ученія Конта, потому что само оно, собственно говоря, не имѣетъ конца. Дѣйствительно, голое положеніе: все совершается по извѣстнымъ законамъ,—не даетъ руководящаго принципа. Принявъ его въ основаніе, можно показать, по какимъ побужденіямъ предки наши поступали въ такомъ-то случаѣ такъ или иначе. Точно также потомки наши,

зная, что мы дѣйствуемъ подъ напоромъ тѣхъ или другихъ космическихъ и социальныхъ условій, сдумѣють связать эти условия съ свойствами нашей дѣятельности. Словомъ, отойдя на извѣстное историческое разстояніе отъ событій, можно заручившись только однимъ принципомъ позитивизма и достаточнымъ количествомъ знаній, показать, какъ должны были дѣйствовать участники событій. Но дѣятели настоящаго времени изъ убѣжденія въ законосообразности явленій могутъ подчеркнуть правила для самыхъ противоположныхъ практическихъ примѣненій, потому что убѣжденіе это не ставитъ цѣли, а даетъ возможность добиться цѣлей самыхъ разнообразныхъ. Съ перваго раза можетъ показаться, что основной принципъ позитивизма напротивъ долженъ устранять надежды добиться цѣлей, несогласныхъ съ извѣстными законами явленій общественной жизни. Но дѣло въ томъ, что явленія эти до такой степени сложны, что управляющіе ими законы могутъ комбинироваться весьма разнообразно, и среди этой запутанной сѣти могутъ быть преслѣдуемы самымъ позитивнымъ образомъ самая разнообразныя цѣли. Поэтому всякая этико-политическая доктрина имѣетъ свой девизъ, которымъ, какъ цѣлью, суммируются практическіе мотивы; на знамени позитивизма такого девиза нѣтъ. Его принципы чисто научные, а не философскіе. Позитивизмъ гордится тѣмъ, что въ немъ философія и наука сливаются въ одно цѣлое, — и гордится совершенно справедливо. Не признавая за принципами позитивизма философскаго значенія, я разумѣю только, что онъ не захватываетъ всѣхъ сторонъ жизни. Принципъ законосообразности явленій чистъ и безупреченъ, какъ дѣва. Но какъ дѣва онъ можетъ остаться бесплоднымъ, въ немъ самомъ нѣтъ оплодотворяющаго начала; какъ за дѣву, за него нельзя поручиться — въ чьи руки она попадетъ и что дастъ человѣчеству. Контъ и самъ чувствовалъ это. «Надо тщательно стараться — говорить ошъ — чтобы научное убѣжденіе въ подчиненности социальныхъ явленій неизмѣннымъ естественнымъ законамъ не выродилось въ систематическую наклонность къ фатализму и оптимизму, одинаково безнравственнымъ (degradants) и опас-

нымъ, а потому только тѣ могутъ съ успѣхомъ заниматься соціологіей, чей нравственный уровень достаточно высокъ» (Cours de phil. pos., t. IV, 190). Глубокій смыслъ этихъ словъ я постараюсь разяснить ниже. Но почему, съ точки зрѣнія позитивизма, фатализмъ и оптимизмъ безнравственны и опасны? «Не восхищаясь политическими фактами и не осуждая ихъ— говорить Контъ, и слово въ слово повторяетъ за нимъ Льюисъ — положительная соціологія, какъ и всѣ остальные науки, видитъ въ нихъ только простые предметы наблюденія и рассматриваетъ каждое явленіе съ двоякой точки зрѣнія — его гармоніи съ сосуществующими фактами и его связи съ предшествующими и послѣдующими состояніями человѣческаго развитія» (Cours, IV, 293; русскій переводъ книги Льюиса о Контѣ, стр. 281). Спрашивается, какъ связать это чисто-объективное отношеніе къ политическимъ фактамъ во первыхъ съ неодобрительными отзывами о фатализмѣ и оптимизмѣ? Это просто политическіе факты, неподлежащіе осужденію съ точки зрѣнія позитивизма, они необходимо гармонируютъ съ фактами сосуществующими и находятся въ связи съ фактами послѣдующими и предыдущими. Если скажутъ, что выраженіями «безнравственны и опасны» именно и опредѣляется связь фатализма и оптимизма съ послѣдующими фактами, то это значить только, что программа объективнаго отношенія къ политическимъ фактамъ не исполнима; что въ области явленій общественной жизни наблюденіе неизбѣжно до такой степени связано съ нравственной оцѣнкой, что «не восхищаться политическими фактами и не осуждать ихъ» можно только не понимая ихъ значенія. Но нравственная оцѣнка есть результатъ субъективнаго процесса мысли, а между тѣмъ позитивизмъ поставляетъ себѣ въ особенную заслугу употребленіе въ соціологін метода объективнаго. Далѣе, если объективный методъ вполне соотвѣтствуетъ соціологическимъ изслѣдованіямъ, то зачѣмъ же при этомъ понадобился высокій нравственный уровень? Значить одного убѣжденія въ законосообразности явленій мало. Прекрасно. Но чѣмъ выразится участіе высокаго нравственнаго уровня въ соціологическихъ изслѣ-

дованіяхъ? Очевидно, съ высоты этого уровня человекъ можетъ разглядѣть нѣчто, не поддающееся объективному изслѣдованію, которое одно признается законнымъ въ позитивизмѣ. Такимъ образомъ оказывается, что въ системѣ Конта чего-то недостаетъ, и чего-то весьма важнаго. Я радъ, что могу указать, какъ на подтвержденіе своихъ бѣглыхъ замѣчаній, на замѣчательную статью г. П. Л. «Задачи позитивизма и ихъ рѣшеніе» («Современное Обозрѣніе», май). «Объективный элементъ въ области этики, политики и социологіи—говоритъ почтенный авторъ—ограничивается дѣйствіями личности, общественными формами, историческими событіями. Они подлежатъ объективному описанію и классифицированію. Но чтобы *понять* ихъ, надо рассмотреть *цѣли*, для которыхъ дѣйствія личности составляютъ лишь средства, *цѣли*, которыя воплощаются въ общественныхъ формахъ, *цѣли*, которыя вызвали историческое событіе. Но чтѣ такое *цѣль*? Это нѣчто желаемое, пріятное, должное. Всѣ эти категоріи чисто-субъективны и въ то же время доступны всѣмъ личностямъ. Слѣдовательно, входя въ изслѣдованіе, эти явленія принуждаютъ употреблять субъективный методъ и въ то же время позволяютъ это сдѣлать вполне научно» (137). Въ другомъ мѣстѣ г. П. Л. совершенно справедливо замѣчаетъ, что, устраняя субъективный методъ въ вопросахъ политики и этики, позитивизмъ не можетъ даже оправдать своего собственного существованія. Телеологія, въ смыслѣ ученія о *цѣляхъ*, поставляемыхъ себѣ личностью, въ позитивизмѣ не имѣетъ мѣста, вслѣдствіе отсутствія субъективнаго метода и слѣдовательно нравственной оцѣнки. Поэтому, когда Контъ или кто-либо изъ его учениковъ (послѣдователей его курса положительной философіи разумѣется, а не «позитивной политики», потому что послѣдніе состоятъ на совершенно особомъ положеніи) одобряютъ или порицаютъ какое-нибудь социальное явленіе, то, какъ бы удачна ни была эта оцѣнка, она чужда системѣ, не связана съ ней органически. Гдѣ нѣтъ телеологіи, тамъ не можетъ быть и правилъ морали и слѣдовательно ни порицанія, ни одобренія, чтѣ, какъ мы видѣли, заявляетъ и самъ Контъ.

Этимъ же отсутствіемъ телеологін и субъективнаго метода въ социологін объясняются и недостатки Контовой оцѣнки политическихъ теорій. Тамъ, гдѣ достаточно одного объективнаго метода, гдѣ фактъ не нуждается въ нравственной оцѣнкѣ, Контъ съ необыкновенною проникательностью подмѣчаетъ тончайшіе оттѣнки и особенности явленій. Таковы почти все частности его анализа трехъ способовъ мышленія. Здѣсь онъ чрезвычайно тонко и отчетливо классифицируетъ явленія, подвергая ихъ всестороннему разсмотрѣнію. Онъ очень ясно видитъ, напримѣръ, что переходъ отъ фетишизма къ политеизму (и притомъ еще чрезъ посредство періода звѣздопоклонства—*astrolâtrie*) есть не только переходъ отъ одной ступени теологическаго міросозерцанія къ другой; что здѣсь же получаетъ начало и метафизическій строй мысли и идетъ своей дорогой, въ то время, какъ теологическое мышленіе, пройдя чрезъ политеизмъ, завершается монотеизмомъ. Подобной ясности и отчетливаго разграниченія различныхъ сторонъ одного и того же факта почти и слѣдовъ нѣтъ въ его критикѣ политическихъ теорій. Здѣсь пункты сходства и различія намѣчены несравненно грубѣе и, такъ сказать, топорнѣе, именно потому, что объективная классификація оказывается уже въ этой области недостаточною. Вслѣдствіе этого позитивизмъ становится сплошь и рядомъ во враждебное отношеніе къ тому, что особенно дорого современному человечеству, въ чемъ оно видитъ залогъ своего будущаго счастья, и въ то же время обязанъ дружить съ явленіями, крайне непривлекательными въ нравственномъ отношеніи.

Вы давно уже не перечитывали Бальзака, если только перечитывали, и по всей вѣроятности забыли его. Но вы можете быть помните одну сцену изъ романа «*La recherche de l'Absolu*», сцену, въ которой пѣликомъ сказался причудливый, но громадный талантъ Бальзака. Клаэсъ, ученикъ Лавуазье, ищетъ философскаго камня. Онъ съ утра до вечера сидитъ въ лабораторіи и совершенно разорился въ виду надежды разгадать великую загадку. Его несчастная жена, которой не до «абсолюта», страдаетъ, тоскуетъ, но эти страданія и тоска не существуютъ

для Клаэса. И когда она плачетъ, онъ объясняетъ ей, что разлагалъ въ своей лабораторіи слезы, и что онѣ, тѣ самыя слезы, которыя текутъ въ эту минуту по блѣдному и исхудалому лицу жены, состоятъ изъ такихъ-то и такихъ-то элементовъ, соединенныхъ въ такой-то пропорціи... Есть что-то отвратительно-жесткое и пещеловѣческое въ этомъ химическомъ анализѣ женныхъ слезъ. А Клаэсъ человѣкъ добрый, мягкій, а Клаэсъ стремится всѣмъ существомъ своимъ къ истинѣ. И вы сразу видите, что это не фальшь, что различныя стороны характера Клаэса не насильственно и произвольно спиты бѣлыми нитками; что Бальзакъ воплотилъ въ этомъ образѣ недюжинную мысль. Вы сразу чувствуете глубокую жизненную правду этого типа. Онъ съ нами, въ переднемъ углу у насъ сидитъ. Бываютъ въ жизни народовъ тревожныя минуты, когда Клаэсы призываются къ расчету, когда, вслѣдъ за крикомъ: «республикѣ неужно химиковъ!» (быть можетъ откликъ знаменитыхъ словъ Руссо: у насъ есть физики, химики и геометры, но нѣтъ больше гражданъ), погибаютъ великіе Лавуазье. Фактъ печальный, печальный въ особенности потому, что гроза разразилась надъ головой Лавуазье, а не мелюзги какой-нибудь. Въ фактѣ этомъ можно различить не только взрывъ народныхъ страстей, насильственно и слѣдовательно по необходимости неправильно ищущихъ себѣ выхода, а и откликъ «революціонной метафизики». Пусть такъ, пусть даже вся вина падаетъ въ этомъ случаѣ на нее. Но какъ смотритъ на дѣятельность Клаэсовъ позитивизмъ, преслѣдующій «революціонную метафизику» больше чѣмъ феодально-католическую организацію? и имѣетъ ли онъ право отнестись къ ней критически? Позитивизмъ можетъ только сказать, что феноменъ слезъ подлежитъ извѣстнымъ законамъ; да-дѣе, что извѣстныя условія въ одномъ случаѣ выдвигаютъ людей, химически анализирующихъ слезы, а въ другомъ—людей, утирающихъ ихъ и слѣдовательно анализирующихъ ихъ съ общественной точки зрѣнія. Но затѣмъ, которая изъ этихъ дѣятельностей въ данномъ случаѣ, въ минуту плача, предпочтительнѣе и обязательнѣе, на это позитивизмъ не даетъ отвѣта.

Слезы, какъ продуктъ химико-физиологическаго процесса, и тѣ же слезы, какъ результатъ процесса социально-психологическаго, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ повинуюсь извѣстнымъ законамъ, одинаково требуютъ изученія съ точки зрѣнія позитивизма. Читатель не станетъ разумѣется придирается къ намъ, напирая на то, что Клаэсъ ищетъ философскаго камня, «абсолюта», а не законовъ явленій, и что поэтому, по классификаціи Конта, его мѣсто въ метафизическомъ періодѣ. Не въ томъ здѣсь дѣло. Если даже Бальзакъ не имѣлъ этого въ виду, то мастерской образъ Клаэса невольно просится на болѣе широкой пьедесталь. Онъ представитель науки для науки и специальности для специальности. Онъ глухъ къ скорби человѣческой, онъ ея не слышитъ или относится къ ней объективно, но онъ ищетъ истины, онъ стремится уловить законы, по которымъ группируется извѣстный рядъ явленій; его анализъ слезъ можетъ даже пригодиться на что-нибудь очень важное, хоть онъ этого и не сознаетъ. Клаэсъ, анализирующій человѣческія слезы въ моментъ плача, какъ химикъ, — позитивистъ. Еслибы онъ столь же строго, научно изслѣдовалъ ихъ съ социально-психологической точки зрѣнія, онъ былъ бы также позитивистъ. Но тѣмъ не менѣе, вы чувствуете, что это два совершенно различные типа, двѣ противоположности, которыя не совсѣмъ удобно помѣщать подъ одну и ту же рубрику. И я полагаю, что любая этико-политическая доктрина сумѣетъ разглядѣть яркую черту, раздѣляющую эти два міросозерцанія, и только одинъ позитивизмъ, какъ онъ существуетъ въ настоящую минуту, т. е. при объективномъ методѣ въ социологін, не увидитъ ея. Было бы весьма любопытно прослѣдить, какъ Контъ въ особенности въ шестомъ томѣ своего курса философіи, искалъ выхода изъ этого положенія. Какъ извѣстно, онъ перешелъ наконецъ открыто къ субъективному методу, но тогда этотъ могучій, но усталый и близкій къ совершенному помѣшательству умъ могъ создать только «Позитивную политику». Однако только гениальный сумасшедшій могъ выработать этотъ культъ человѣчества. Что же касается до сотрудниковъ

журнала «La philosophie positive», признающихъ своею только первую половину дѣятельности Конта и настаивающихъ на необходимости объективнаго метода въ рѣшеніи этико-политическихъ вопросовъ, то мы должны откровенно сказать, что не видимъ ничего кромѣ общихъ мѣсть въ ихъ попыткахъ создать этику и политику.

Наиболѣе низкая ступень позитивной лѣстницы прогресса, на которую можетъ быть поставленъ Клаэсъ, есть *âge de spécialité*, находящійся у преддверія самаго позитивизма, да и этого часто мало. Правда, можетъ быть никто больше самого Конта не преслѣдовалъ этого *âge de spécialité* (причемъ значительную роль играло личное раздраженіе), къ которому онъ иногда относится даже строже, чѣмъ къ «революціонной метафизикѣ». Но такое отрицательное отношеніе къ дѣятельности Клаэсовъ есть чисто личное дѣло Конта, отнюдь не обязательное для позитивизма, какъ философской системы. Впервыхъ позитивизмъ обязанъ не восхищаться фактами и не осуждать ихъ, а вовторыхъ, если Клаэсы путемъ опыта и наблюденія ищутъ законовъ явленій, то они вполне удовлетворяютъ требованіямъ позитивизма. Точно такъ же, когда Контъ говоритъ: «Эта новая социальная философія (т.-е. позитивная), по природѣ своей, до такой степени способна осуществить въ настоящее время всѣ законныя (*legitimis*) желанія, какія можетъ предъявить революціонная политика» и т. д. (*Cours*, IV, 148), когда Контъ говоритъ это, то выраженіе «законныя желанія» совершенно неопредѣленно. Мы знаемъ, какія желанія законны съ точки зрѣнія наличныхъ политическихъ теорій ретроградныхъ, консервативныхъ и революціонныхъ, съ точки зрѣнія индивидуалистовъ, социалистовъ, клерикаловъ, эклектиковъ и т. д. Какъ бы удачно или неудачно ни были построены эти системы и теоріи въ другихъ отношеніяхъ, по ихъ желанія и идеалы очевидны для всѣхъ. Съ точки же зрѣнія объективнаго метода, составляющаго характеристическую черту позитивной социологіи, выраженіе «законное» желаніе значитъ только «достижимое» желаніе. Но всѣ существующія и когда-либо существовавшія

этно-политическія доктрины признають свои желанія достигимыми. Положимъ, что позитивизмъ, такъ тѣсно связанный съ наукой, можетъ лучше другихъ философскихъ системъ и политическихъ теорій опредѣлить, какія желанія достигимы, какія нѣтъ. Но для этого надо сначала имѣть желаніе, и каждый *позитивистъ* ихъ разумѣется имѣеть, но *позитивизмъ* не ставитъ никакихъ идеаловъ, потому что идеалъ есть результатъ субъективнаго настроенія. Много пронеслось надъ человѣчествомъ недостижимыхъ и въ этомъ смыслѣ незаконныхъ желаній, и много они загубили умовъ и жизней. Можетъ быть величайшая заслуга позитивизма состоитъ именно въ указаніи человѣку тѣхъ границъ, за которыми лежитъ для него вѣчная, неодолимая тьма. Стараться пропикнуть за эти границы значитъ имѣть недостижимыя и незаконныя желанія. Такъ учитъ позитивизмъ. Мы скажемъ больше. Эти незаконныя желанія составляютъ грѣхъ предъ человѣчествомъ, служенію которому должны быть посвящены всея человѣческія силы. Мы говоримъ о чисто-теоретическихъ вопросахъ, о сущности и началѣ вещей, о конечныхъ причинахъ и проч. Но въ области практическихъ вопросовъ дѣло усложняется какъ сложностью самыхъ вопросовъ, такъ и никакими усиліями неустрашимымъ—мы надѣемся это доказать—вмѣнительствомъ субъективнаго элемента, т. е. личныхъ чувствъ и желаній. Въ каждую данную минуту по данному практическому вопросу могутъ оказаться достигимыми нѣсколько діаметрально противоположныхъ желаній, и какое рѣшеніе приметъ въ этомъ случаѣ позитивистъ—это опредѣлится личнымъ характеромъ дѣятеля. Это конечно всегда такъ бываетъ, и не съ одними позитивистами. Но разница въ томъ, что адептъ всякаго другаго ученія получаетъ въ этомъ отношеніи отъ своей доктрины болѣе или менѣе сильный непосредственный толчокъ въ ту или другую сторону. Адептъ же позитивизма не получаетъ отъ него ничего. Оставаясь позитивистомъ, онъ можетъ пойти и направо, и налево, можетъ, подобно Дюма, Нелатону и прочимъ ученымъ свѣтиламъ современной Франціи, оказаться покорнѣйшимъ слугою второй имперіи, а можетъ слѣдовать и совершенно иной

программѣ. Контъ не даромъ предостерегалъ своихъ учениковъ, чтобы они не вмѣшивались въ политическое движеніе, «которое должно для нихъ, главнымъ образомъ, служить предметомъ наблюденія» (IV, 164); что не мѣшало ему тутъ же громить политическій индифферентизмъ современныхъ представителей науки, «поистинѣ чудовищный» (IV, 158). Мы говорили, что недостатки Контовой критики существующихъ политическихъ теорій объясняются стараніемъ удержаться на объективной точкѣ зрѣнія. Съ этой точки зрѣнія ошибочность теоретическихъ посылокъ нѣкоторыхъ ученій видна до такой степени ясно, что отрицательное отношеніе къ нимъ невольно переносится и на другія стороны этихъ ученій. Однако, личныя симпатіи Конта и его учениковъ лежатъ по большей части на сторонѣ преслѣдуемой ими «революціонной метафизики». И безсиліе объективнаго метода въ социологін въ особенности сказывается въ тѣхъ случаяхъ, когда выступаютъ эти личныя симпатіи позитивистовъ. Очень знаменательны въ этомъ отношеніи слѣдующія слова Литтре: «Есть два социализма (вѣрише было бы сказать, что въ социализмѣ есть двѣ стороны): одинъ метафизическій, другой практической, экспериментальный и, въ этихъ предѣлахъ, позитивный». Далѣе идетъ рѣчь о кооперативномъ рабочемъ движеніи. «Социалисты, продолжаетъ Литтре, смѣло предпринимаютъ эти опыты, и наукѣ и философіи остается только изучать ихъ для общаго блага» (*La philosophie positive, revue dirigée par E. Littré et G. Wyrouboff. 1867 № 1. Politique*). Во-первыхъ, зачѣмъ сюда понало «общее благо»? Идея блага есть идея субъективная и потому неизмѣющаяся мѣста при объективномъ методѣ въ социологін. Имѣя ее въ виду, пришлось бы радоваться однимъ политическимъ фактамъ и печалиться о другихъ, а на это позитивизмъ не имѣетъ права: онъ обязанъ только наблюдать. Далѣе, хотя позитивизмъ и имѣетъ право одобрительно отнестись къ экспериментальной сторонѣ социализма, но онъ совершенно точно такъ же одобрительно долженъ отнестись и ко всякимъ социальнымъ опытамъ, хотя бы они производи-

лись съ цѣлью, діаметрально противоположною цѣлямъ социалистовъ.

Читатель пожелаетъ вѣроятно имѣть объясненіе того, почему въ заглавіи нашей статьи стоитъ имя Спенсера, а мы все говоримъ о Контѣ. Это объясняется такъ. Спенсеровой теоріи общественнаго прогресса, изложенной нами въ прошлой статьѣ, мы хотѣли бы противопоставить иную. А эта иная теорія, нами исповѣдуемая, представляетъ такъ много сходства съ ученіемъ Конта, что мы считали бы недобросовѣстнымъ совершенное умолчаніе о взглядахъ на прогрессъ этого великаго мыслителя. Во всякомъ случаѣ мы сочли полезнымъ для дальнѣйшаго нашего изложенія вкратцѣ указать тѣ стороны ученія Конта, которыя намъ кажутся несостоятельными и къ которымъ намъ можетъ быть еще придется вернуться. Мы не рассчитываемъ представить въ настоящей статьѣ взгляды наши на законы общественной динамики съ такою полнотою, какой заслуживаетъ важность предмета. Отъ журнальной статьи этого и требовать нельзя. Но мы будемъ вѣроятно еще не разъ имѣть случай развивать исповѣдуемые нами принципы въ приложеніи къ тѣмъ или другимъ частнымъ вопросамъ. Здѣсь мы должны будемъ ограничиться самымъ общимъ и по необходимости бѣглымъ обзоромъ; притомъ мы должны стараться идти, такъ сказать, въ ногу со Спенсеромъ. Мы постараемся намѣтить главные пункты социальнаго динамики, не пренебрегая къ удобному, но недостаточно гарантирующему отъ ошибокъ приему выдѣленія одного какого-либо общественнаго элемента. Интеллектуальный элементъ, принимаемый за точку исхода позитивизмомъ, представляетъ правда въ этомъ отношеніи наиболѣе гарантій, и онъ дѣйствительно, при извѣстной долѣ сдержанности и осторожности, можетъ быть принятъ, по выраженію Милля, за *primus agens* социальнаго движенія. Однако, если есть возможность—а мы думаемъ, что она есть—прослѣдить законы общественнаго прогресса на развитіи всего общества въ цѣломъ, не давая слишкомъ преобладающаго значенія развитію какого бы то ни было изъ его элементовъ, то отъ этого постановка

общественныхъ вопросовъ можетъ только выиграть. Поэтому мы постараемся прослѣдить историческую судьбу самой общественности, т. е. коопераціи, и связать ее съ судьбою частныхъ факторовъ.

VI.

При бѣгломъ взглядѣ на массу фактовъ, приводимыхъ въ печатающейся въ «Отечественныхъ Запискахъ» любопытной статьѣ «Цивилизація и дикія племена», читателя должны поразить главнымъ образомъ различныя частности чуждой намъ первобытной жизни, частности съ нашей точки зрѣнія просто чудовищныя. Если мы захотимъ подвести всеѣмъ этимъ фактамъ итогъ, найти въ нихъ одну наиболѣе характеристическую черту, къ которой возможно большая часть остальныхъ относилась бы какъ явленія производныя къ явленію коренному, то найдемъ эту характеристическую черту въ почти полномъ отсутствіи коопераціи. Въ человѣкѣ, только-что выбившемся, путемъ кровавой борьбы за существованіе, изъ животнаго міра, количество и качество потребностей такъ гармонируютъ съ количествомъ и качествомъ выработанныхъ имъ въ борьбѣ силъ; самъ онъ такъ индивидуаленъ и цѣленъ, что почти не нуждается въ сообществѣ другихъ людей. Скудны его средства, но просты и недалеки и его цѣли. Все нужное ему онъ добываетъ самъ, своими собственными, личными средствами. Вслѣдствіе этого, при полной индивидуальной разнородности, какая допускается мѣстными условіями, люди, занимающіе извѣстную территорию, вполне однородны, зоологически равны между собой. Таковъ первый типъ людскаго, еще не общественнаго быта. Легко видѣть, что наиболѣе характерная для него черта—отсутствіе коопераціи—находится въ самой тѣсной связи со всеѣми остальными сторонами немногосложной первобытной жизни.

Самъ-одинъ выносящій на своихъ плечахъ всю тяжесть борьбы съ природой, дикарь не можетъ смотрѣть на все яв-

ленія иначе, какъ съ точки зрѣнія своихъ личныхъ потребностей, чисто-животныхъ. Онъ относится къ своему личному я, какъ къ центру вселенной. Это жалкое, голое созданіе и думаетъ и дѣйствуетъ такъ, какъ будто бы міръ былъ для него лично устроенной огромной бойней, скотнымъ дворомъ, дровянымъ дворомъ и т. д.

Souvent alors j'ai cru que ces soleils de flamme
Dans ce monde endormi n'échauffaient que mon âme;
Qu'à les comprendre seul j'étais prédestiné;
Que j'étais, moi, vaine ombre obscure et taciturne,
Le roi mystérieux de la pompe nocturne:
Que le ciel pour moi seul s'était illuminé!

(V. Hugo, Les feuilles d'automne).

Конечно, не скоро первобытный человѣкъ призадумался надъ явленіями, неблизко стоящими къ его непосредственнымъ интересамъ. Разлитыми въ природѣ свѣтомъ и теплотою онъ долго пользуется безъ благодарности и боязливыхъ сомнѣній. Ему не приходитъ на умъ вопросъ: откуда это все взялось и не можетъ ли это все въ одинъ прекрасный день исчезнуть. Онъ полонъ собою; онъ знаетъ только себя. Себя и остальное. А въ этомъ остальномъ есть для него съѣдобное и несъѣдобное, болѣе сильное, нежели онъ самъ, и менѣе сильное, жесткое и мягкое, теплое и холодное, свѣтлое и темное и т. д. Собственно же говоря,—звѣрь, солнце, дерево, земля, человѣкъ, вода,—во всемъ этомъ для него нѣтъ большой разницы: во всемъ этомъ онъ цѣнить только то, что ему нужно и поскольку нужно. А ему нужно немного. Поэтому, если въ двухъ предметахъ совершенно различныхъ есть одно съ его личной точки зрѣнія важное общее свойство,—разница между этими предметами для него не существуетъ: онъ съѣстъ человѣка и барана, поклонится солнцу и дереву. За предѣлами своего личнаго существованія первобытный человѣкъ не видитъ ничего или, лучше сказать, вводитъ въ эти предѣлы весь міръ. Натолкнувшись на кое-какое размысленіе объ окружающихъ его вещахъ, онъ видитъ въ нихъ либо прямо свою личность, либо сколокъ съ нея въ ка-

комъ-нибудь отношеніи. Мысль его не поднимается выше аналогій между какимъ-нибудь явленіемъ природы и его собственнымъ я. Онъ живетъ, и вся природа живетъ такую же какъ и онъ жизнью. Между его желаніями и ихъ исполненіемъ, цѣлями средствами, мыслями и дѣлами существуетъ такая тѣсная связь; онъ до такой степени ровно живетъ умственною и физическою жизнью, что ему и въ голову не можетъ придти, что онъ состоитъ изъ двухъ частей, изъ тѣла и души. Духа безъ матеріи и матеріи безъ духа онъ себѣ представить не можетъ, вслѣдствіе чего одухотворяетъ мертвую природу съ одной стороны и придаетъ самую грубую тѣлесную оболочку своимъ богамъ съ другой. Онъ дѣлаетъ все съ опредѣленною цѣлью—и въ природѣ все совершается съ опредѣленною цѣлью. Но въ чемъ же состоятъ эти цѣли природы? гдѣ онѣ лежатъ? Все въ немъ же, въ этомъ жалкомъ, одиночномъ дикарѣ. Дождь ли размылъ его убогую пенцери и промочилъ его до костей, змѣя ли его ужалила, охотился ли онъ удачно, охотился ли онъ неудачно, солнце ли его слишкомъ печетъ, произошло ли солнечное затмѣніе, — все это совершается именно для него, для того, чтобы именно *его* промочить, *его* ужалить, *его* согрѣть, *его* оставить въ потемкахъ. Такова объективно-антропоцентрическая логика, представляющая прямой результатъ отсутствія коопераціи. (Мы называемъ весь этотъ періодъ исторіи *объективно-антропоцентрическимъ* потому, что человекъ считаетъ себя здѣсь объективнымъ, безусловнымъ, дѣйствительнымъ, извѣстнѣ поставленнымъ центромъ природы). Здѣсь же получаютъ начало и антропоцентрическая мораль, и религіозныя представленія. Они представляютъ отвѣты на два вопроса; во первыхъ, кто послалъ такое-то пріятное или непріятное, полезное или вредное стеченіе обстоятельствъ? во вторыхъ, за что посланы эти пріятныя или непріятныя, полезныя или вредныя явленія? Отвѣты формулируются подъ тѣмъ же давленіемъ объективнаго антропоцентризма. Дикарь такъ полонъ собой, такъ неспособенъ къ представленію чего-нибудь несходнаго съ его личнымъ существованіемъ, что непосредственно антропоморфизуетъ искомую личность, сочетавшую извѣстныя обстоятельства выгоднымъ или

невыгоднымъ для него образомъ, и антропоморфизуетъ на свой собственный, личный солтыкъ, придавая ей тѣ самыя чувства, мысли и стремленія, которыя его самого ианчаще волнуютъ. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что первобытные боги суть боги по преимуществу личные; каждый отдѣльный человѣкъ имѣетъ своихъ фетишей, которые существуютъ только для него, посылаютъ награды и наказанія только ему. Чудесъ первобытный человѣкъ не знаетъ. Понятіе чуда является уже гораздо позже, уже при существованіи нѣкоторой коопераціи и нѣкоторыхъ знаній, потому что чудо есть нѣчто удивительное, необыкновенное. Дикарь же ничему не удивляется, хотя и пугается и радуется; для него все представляется возможнымъ, если только ему лично что-нибудь пужно. Онъ такъ свыкается съ мыслью, что весь окружающій міръ спитъ и видитъ, какъ бы ему лично насолить или ему же лично доставить пользу и наслажденіе; вмѣшательство божествъ во всѣ мельчайшія обстоятельства его жизни съ его точки зрѣнія до такой степени естественно и неизбежно, что чудо для него не существуетъ. Только уже при существованіи извѣстной доли коопераціи, когда нѣсколько человѣкъ соединяются для одного и того же дѣла, все еще полный своимъ личнымъ существованіемъ, дикарь можетъ признать данное явленіе чудомъ. Направленное къ благополучію или вреду его единичнаго существованія онъ призналъ бы совершенно естественнымъ, какъ бы оно ни было необычайно.

Дикарь замѣчаетъ, что, сдѣлавъ какой-нибудь поступокъ, онъ получаетъ какую-нибудь пріятность или непріятность, и совпаденіе это случайно повторяется два-три раза. Вслѣдствіе его увѣренности въ своемъ центральномъ положеніи, это *propter hoc* непремѣнно обращается для него въ *propter hoc*. Положимъ онъ выкупался въ незнакомой рѣкѣ и едва успѣлъ убѣжать отъ аллигатора; въ другой разъ на его глазахъ въ той же рѣкѣ аллигаторъ пожираетъ какое-нибудь животное или человѣка. Ясно, что или рѣка эта не терпитъ, чтобы въ ней купались, или аллигаторы ее охраняютъ, и т. п. Такимъ путемъ можетъ создаться убѣжденіе въ священномъ, вышнемъ характерѣ

самыхъ обыкновенныхъ явленій природы. Но нѣтъ нужды, чтобы само явленіе заступилось за себя. Человѣкъ убилъ змѣю, и въ ту же минуту раздался страшный громовой ударъ и небо избороздилось молніей. Дикарь не можетъ себя представить, чтобы какой-нибудь обратившій на себя его вниманіе фактъ не имѣлъ къ нему никакого отношенія. Громъ и молнія составляютъ очевидно угрозу, обращенную къ нему лично. За что? Ближайшій фактъ есть убійство змѣи, значитъ именно за это убійство. Слѣдовательно убивать змѣю нельзя. Въ сосѣднемъ лѣсу другой дикарь точно такимъ же путемъ добирается до убѣжденія, что эту самую змѣю слѣдуетъ непременно убивать. Всѣ эти убѣжденія, опредѣляя отношенія человѣка къ богамъ и окружающей природѣ, относятся къ области религіи. Иначе не могутъ слагаться и отношенія человѣка къ человѣку. Дикарь замѣчаетъ, что вслѣдъ за убійствомъ человѣка ему не удастся охота, въ другой разъ опять, въ третій онъ проваливается въ трясины и т. д. Этотъ маленькій рядъ опытовъ убѣждаетъ его, что и впредь за убійствомъ человѣка послѣдуетъ для него та или другая непріятность. Если боязнь этой непріятности перевѣшиваетъ его страстные порывы, въ немъ рождается убѣжденіе, что убивать человѣка нельзя. Все это мы говоримъ конечно гипотетически, потому что не имѣемъ и не можемъ имѣть прямыхъ историческихъ указаній на то, какъ складывались и какимъ образомъ развивались нравственныя убѣжденія въ первобытныхъ людяхъ. Однако, если отказаться отъ мысли о супранатуральномъ происхожденіи правилъ морали и о врожденныхъ идеяхъ, то остается именно только этотъ путь опытнаго происхожденія понятій о добрѣ и злѣ. Тѣмъ болѣе, что такимъ же путемъ, можно сказать, на нашихъ глазахъ, складываются различныя примѣты и т. п., иногда обращающіяся въ нравственныя правила. Накопецъ иначе и объяснить нельзя происхожденія многихъ, съ современной европейской точки зрѣнія совершенно чуждыхъ и безнравственныхъ правилъ первобытной морали. Если нравственный кодексъ полученъ человѣкомъ супранатуральнымъ путемъ, то почему же у какихънибудь

фиджіійскихъ людодѣдовъ милосердіе считается преступленіемъ, а жестокость добродѣтелю, что намъ, европейцамъ, даже и переварить невозможно? Правда, для супранатуралистовъ остается то возраженіе, что фиджіійскіе людодѣды именно за свою безправственность и обдѣлены свѣтомъ нравственной истины. Но для сторонниковъ теоріи врожденныхъ идей иѣтъ и этого остроумнаго возраженія. Если идеи нравственности и справедливости врожденны, присущи человѣку, то какъ объяснить это поразительное разнообразіе нравственныхъ идеаловъ? Тогда какъ съ точки зрѣнія опытнаго происхожденія фактъ этотъ совершенно ясенъ. Понятное дѣло, что, опредѣляясь самыми разнообразными случайностями, на которыя можетъ натолкнуться объективно антропоцентрическое настроеніе, при совершенномъ отсутствіи коопераціи и знакомства съ законами природы, первобытная мораль можетъ принимать очень разнообразныя и до послѣдняго нельзя причудливыя формы. Убіенство и людодѣство легко могутъ оказаться дѣяніями не только безразличными, а и одобрительными; и въ то же время можетъ считаться безнравственнымъ, богопротивнымъ и преступнымъ произносить свое собственное имя, какъ у абиноновъ, или ѣсть въ обществѣ, какъ у таитянъ. Однако, тѣмъ же путемъ могутъ выработаться частности весьма высокаго нравственнаго кодекса, если дѣятельный или фиктивный опытъ наведетъ на убѣжденіе въ невыгодѣ вредить сосѣдямъ. Понятное дѣло, что послѣднее можетъ имѣть мѣсто только при болѣе или менѣе частыхъ и продолжительныхъ сближеніяхъ между людьми, т.-е. уже при нѣкоторой коопераціи. Отсутствію же коопераціи и единства интересовъ въ практической жизни соотвѣтствуетъ совершенное отсутствіе синтетическаго начала въ религіозныхъ представленіяхъ, нравственныхъ правилахъ и знаніяхъ. Личные боги, личная мораль, скудные свѣдѣнія о природѣ, извращенныя антропоцентрическимъ элементомъ, т.-е. опять-таки свѣдѣнія личныя, непровѣренныя чужимъ опытомъ и наблюденіемъ,—таковы результаты отсутствія коопераціи. И такимъ-то человѣкъ вступаетъ въ общество.

Полное отсутствіе коопераціи могло имѣть мѣсто только въ очень раннюю пору доисторической жизни человѣчества. Опасности и бѣды, встрѣчающіяся на каждомъ шагѣ, истинно вызываютъ самосохраненія въ видѣ половой дѣятельности со всѣми ея послѣдствіями, каково кормленіе дѣтей грудью и т. д.,—все это побуждаетъ людей образовать небольшія общества, соединяться въ группы. Весьма важно замѣтить, что группы эти складываются различнымъ образомъ, и именно по двумъ типамъ: по типу простаго сотрудничества и по типу сложнаго сотрудничества или раздѣленія труда. Мы уже говорили о коренной разницѣ между этими двумя видами коопераціи. Въ случаѣ простаго сотрудничества люди входятъ въ группу всею своею разнородностью, вслѣдствіе чего вся группа совершенно однородна. Въ случаѣ же сотрудничества сложнаго происходитъ обратное явленіе: члены группы утрачиваютъ каждый одинъ ту, другой другую часть своей индивидуальной разнородности, они дѣлаются однороднѣе, а вся группа получаетъ болѣе или менѣе рѣзко обозначенный характеръ разнородности. Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ однородное общество съ разнородными, равными, свободными и независимыми членами; во второмъ—разнородное общество съ неравными, несвободными, специализированными членами, расположенными въ нѣкоторомъ іерархическомъ порядкѣ. Въ первобытномъ мірѣ общество по типу простаго сотрудничества имѣетъ характеръ чисто-временной и случайный: по окончаніи дѣла, для котораго люди соединились, общество распадается. Такимъ образомъ, однородное общество оказывается дѣйствительно неустойчивымъ, какъ бы подтверждая своимъ примѣромъ универсальность одного изъ законовъ Спенсера. Однако, неустойчивость эта зависитъ вовсе не отъ какихъ либо общихъ свойствъ, присущихъ всякой однородной агрегаціи. Она, какъ и самая цѣль этихъ первобытныхъ обществъ, обуславливается причинами временными и случайными, которыя могутъ быть и могутъ не быть. Но въ первобытномъ мірѣ причины эти въ большинствѣ случаевъ дѣйствительно имѣютъ мѣсто.

Двое, трое, пять человекъ дикарей рядомъ печальныхъ опытовъ убѣждаются, что охота за какимъ нибудь крупнымъ звѣремъ для каждаго изъ нихъ поодиночкѣ опасна и невозможна, а между тѣмъ звѣрь представляетъ очень лакомый кусочекъ. Они соединяются для охоты, чтобы раздѣлить добычу на равныя части. Каждый изъ нихъ вноситъ въ это общее дѣло всѣ тѣ силы и способности, какія выработались въ немъ предыдущей борьбой за существованіе. А такъ какъ борьба эта въ данной мѣстности имѣетъ для каждаго одинъ и тотъ же характеръ, вызываетъ приблизительно одну и ту же степень напряженности умственныхъ и физическихъ силъ, то наши пять охотниковъ вступаютъ въ союзъ членами равносильными и равноправными. Но вотъ звѣрь убитъ, раздѣленъ, съѣденъ и члены временнаго союза, удовлетворивъ свои скудныя потребности, расходятся въ разныя стороны, не думая о завтрашнемъ днѣ. Они можетъ быть даже передрались при дѣлежѣ. Немногочисленность потребностей, отсутствіе постоянной или по крайней мѣрѣ продолжительной солидарности цѣлей и отвращеніе къ труду—результатъ объективно-антропоцентрическаго настроенія—являются первыми причинами, мѣшающими прочному и продолжительному существованію простаго сотрудничества. Могло однако случиться, что тѣ же пять охотниковъ, наученные опытомъ, соединяются во второй разъ, въ третій и т. д. Тогда между ними устанавливаются нѣкоторыя относительно прочныя связи. Такъ какъ интересы ихъ дѣлаются общими, то каждый изъ нихъ распространяетъ свою телеологию на всѣхъ своихъ товарищей; убѣдится, что центръ міра, ко благу или ко вреду котораго направлены всѣ силы природы, лежитъ не въ немъ, дикарь X, а въ цѣлой группѣ охотниковъ. Его личное существованіе такъ-сказать расширяется; правила морали, вытекающія на этотъ разъ изъ дѣйствительнаго опыта, получаютъ опредѣленный цвѣтъ,—вредить кому нибудь изъ своихъ товарищей оказывается невыгоднымъ, потомъ безнравственнымъ, что санкціонируется немедленно и религіозными представленіями. Фетиши перестаютъ быть личными. Однако, для каждаго изъ чле-

повь группы за предѣлами ея все еще нѣтъ большой разницы между человѣкомъ и пчеловѣкомъ. Тамъ, за этими предѣлами, свои боги, свои обычаи, свои правила, и ничто не мѣшаетъ нашимъ вольнымъ охотникамъ охотиться и за людьми. Въ то же время, въ той же мѣстности является кооперація съ характеромъ сложнаго сотрудничества, т. е. раздѣленія труда. Ея элементарная форма есть семья. Половое стремленіе должно было въ самыя отдаленнѣйшія времена существованія человеческого рода выдѣлять для первобытнаго человѣка женщину изъ остальной природы. Однако, полная однородность всѣхъ мужчинъ, взятыхъ вмѣстѣ, и всѣхъ женщинъ, взятыхъ вмѣстѣ, и полная разнородность каждаго и каждой изъ нихъ, т. е. полное сходство между ними, должно было надолго отерочить организацію семьи. Мужчина и женщина сходились временно и затѣмъ расходились, потому что оба пола относились ко всѣмъ единичнымъ представителямъ того и другаго безразлично, за исключеніемъ момента полового возбужденія. Это было единственное связующее ихъ звѣно. Никакихъ другихъ требованій ни мужчина, ни женщина не предъявляли и никакой разницы между тѣмъ или другимъ мужчиной, той или другой женщиной видѣть не могли, потому что большой разницы и быть не могло (въ данной мѣстности, разумѣется). Но уже одного открытія огня было достаточно для того, чтобы связать мужчину и женщину въ нѣчто подобное брачному сожителству. Огонь былъ разумѣется открытъ, благодаря какой-нибудь счастливой случайности,—лѣсному пожару отъ удара молніи, такому же случайному воспламененію ископаемыхъ горючихъ веществъ, напримеръ нефти и т. п. Произвольно добывать огонь дикарь не умѣлъ, а между тѣмъ видѣлъ, какое важное для него значеніе можетъ имѣть эта новая сила. Явилась надобность сохранять, поддерживать огонь, облеченный даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ ореоломъ божественности. Сохранять огонь будетъ женщина, которая по относительной слабости для охоты мало годится. Около огня группируется семья, хозяйство; дикарь начинаетъ вести жизнь менѣ бродячую, хотя хозяйство такъ незатѣйливо, что можетъ

быть въ случаѣ надобности перенесено на новое мѣсто безъ всякихъ затрудненій. Мужчина охотится, женщина обращается въ хранительницу домашняго очага, откликъ чего мы видимъ не только въ римскомъ религіозномъ институтѣ весталокъ, а и въ оставшейся за женщиной по преданію роли хозяйки. Само собою разумѣется, что прежде чѣмъ семья наконецъ прочно обособилась, тысячи разъ она распадалась; огонь могъ потухнуть, и всю свою жизнь первобытный человѣкъ могъ уже не найти его во второй разъ; мужчина могъ бросить беременную женщину, женщина—попасть къ другому мужчинѣ, и т. д. Но наконецъ семья образовалась. Въ этой первобытной семьѣ, представляющей зародышъ или одинъ изъ зародышей будущаго рода, общины, племени, государства, отношенія между совмѣстно-живущими членами устанавливаются совершенно не такъ, какъ въ обществѣ свободныхъ охотниковъ. Тамъ мы имѣемъ равныхъ людей, съ одинаковыми усиліями преслѣдующихъ одну и ту же цѣль, а здѣсь представителями коопераціи являются сильный мужчина, по крайней мѣрѣ періодически болѣе слабая женщина или нѣсколько женщинъ и совершенно слабыя дѣти. Сообразно этому различны и ихъ роли и значеніе въ семьѣ. Правда, фетиши и здѣсь перестаютъ быть личными; правда, и здѣсь первобытный человѣкъ распространяетъ свою телеологію на всю семью и видитъ въ ней центръ вселенной. Но самое это расширеніе антропоцентрическаго взгляда имѣетъ уже совершенно не тотъ характеръ. При простомъ сотрудничествѣ пятерыхъ охотниковъ, каждый изъ нихъ, зная цѣль, для которой они образовали союзъ, не можетъ не видѣть, что цѣль эта общая для всѣхъ нихъ, что интересы ихъ совершенно солидарны. Въ первобытной же семьѣ, при предоставленіи мужчинѣ виѣшной дѣятельности, а женщинѣ—внутренней, домашней, сознаніе общей цѣли становится гораздо болѣе смутнымъ; при этомъ ихъ фізіологическое неравенство все болѣе и болѣе укрупняется. Дикарь не можетъ видѣть и помнить, что женщина ему помогаетъ. Цѣль у нихъ положимъ общая, но средства для достиженія этой цѣли, благодаря раздѣленію труда, различны.

По близорукости первобытный человекъ принимаетъ эти средства за цѣли, вслѣдствіе чего не оказывается ничего общаго между жизнью мужчины и женщины. Поэтому сочувствовать женщинѣ, переживать ея жизнь, мысли и чувства первобытный человекъ не можетъ,—они слишкомъ отличны отъ его собственной жизни, мыслей и чувствъ. За отсутствіемъ или невѣдѣніемъ общей жизни, въ первобытной семьѣ мужъ и жена гораздо болѣе чужды другъ другу, чѣмъ тѣ пять мужчинъ, которые соединились для охоты. Такъ что, если въ союзъ простаго сотрудничества вступаетъ нѣсколько семейныхъ дикарей, участвующихъ, такимъ образомъ, и въ системѣ простаго, и въ системѣ сложнаго сотрудничества, то для нихъ слагаются два совершенно различные нравственные кодекса: одинъ — для отношеній между мужчинами, другой—для отношеній между мужчинами и женщинами. И первый будетъ необходимо выше, чище, гуманнѣе второго. Поэтому мы и видимъ такъ часто, что первобытный человекъ ни въ грошъ не ставитъ даже жизни жены, между тѣмъ какъ признаетъ преступленіемъ убійство такого же, какъ и онъ, мужчины. Эти отношенія устанавливаются надолго и не утратили своего значенія и нынѣ. Исторія представляетъ въ этомъ отношеніи многіе чрезвычайно любопытные факты. Мы остановимся только на одномъ. У всѣхъ пастушескихъ народовъ существовалъ обычай предлагать путнику, забредшему въ какой-нибудь семейный домъ, не только убѣжище и пищу, а и женщинъ. Это именно то, что называется гостепріимной проституціей. Въ этомъ случаѣ между мужчинами какъ бы заключается договоръ не писанный, не формальный, а безмолвный и непосредственный, вополиѣ взаимностный и потому гораздо болѣе прочный. Каждому мужчинѣ изъ пастушескаго народа приходится быть вдали отъ своего собственнаго жилища и отъ своей собственной жены, а между тѣмъ имѣть въ ней потребность. Каждый испыталъ неудобство этого положенія на себѣ и потому такъ проникается знакомымъ ему положеніемъ путника, что принимаетъ его интересы гораздо ближе къ сердцу, чѣмъ желаніе или нежеланіе своихъ женъ и дочерей. Еще

меньше разумѣется можетъ прошикнуться первобытный чело-вѣкъ жизнью ребенка. Этого онъ ужъ всегда можетъ изувѣчить, продать, убить. Такимъ образомъ, центромъ вселенной оказы-вается въ этомъ случаѣ все-таки одна мужская личность, а жен-щина и дѣти—это спутники солища. Само собою разумѣется, что и женщина, и ребенокъ съ своей стороны смотрятъ на окру-жающій ихъ міръ или снизу вверхъ, или сверху внизъ, но во всякомъ случаѣ видятъ въ своей личности центръ, ко благу или ко вреду котораго направлено все, что они могутъ охватить мыслью. Это безотчетное выдѣленіе своей личности, какъ обу-словливающееся отсутствіемъ коопераціи, существуетъ безъ сомнѣнія и у животныхъ. Но дѣло въ томъ, что міросозерцаніе женщинъ, а тѣмъ болѣе дѣтей, могло только въ нѣкоторыхъ частностяхъ опредѣлять складъ первобытной жизни, и потому можетъ быть и не принимаемо въ расчетъ.

Семья разрастается, все болѣе и болѣе дифференцируясь, т.-е. переходя отъ простаго къ сложному. Поколѣнія сыновей, внуковъ, если не отходятъ отъ первичнаго корня, образуютъ нѣкоторую іерархію, во главѣ которой стоитъ старѣйшина, па-триархъ. Рядомъ съ этой семьей развивается тѣмъ же путемъ другая. Тамъ дальше бродятъ нѣсколько шаекъ вольныхъ и независимыхъ охотниковъ, незнающихъ никакой іерархіи, кромѣ развѣ выборной, работающихъ одинаково и для одной и той же цѣли, вслѣдствіе чего ихъ шайки попрежнему пред-ставляютъ однородную группу возможно разнородныхъ членовъ. Прекрасный образецъ такого совмѣстнаго существованія двухъ различныхъ типовъ коопераціи можно найти въ сравнительно очень недавнее время, въ исторіи южной и юго-западной Россіи. Вольная Запорожская сѣчь, организованная демократически-рес-публиканскимъ образомъ съ сильнымъ отгѣнкомъ коммунизма, представляетъ примѣръ простаго сотрудничества, а казаки-го-рожане, земледѣльцы и пастухи составляютъ общества по типу сложнаго сотрудничества, т.-е. при раздѣленіи труда. Само собою разумѣется, что эта организація казачества можетъ дать только слабое понятіе какъ о первобытной жизни съ одной сто-

роны, такъ и о далыгѣйшихъ, болѣе развитыхъ формахъ простаго и сложнаго сотрудничества. Итакъ мы имѣемъ въ доисторическій періодъ два вида соціальныхъ группъ, развивающихся рядомъ. Независимо отъ тѣхъ измѣненій, которымъ, вслѣдствіе различныхъ обстоятельствъ и главнымъ образомъ вслѣдствіе естественнаго подбора родичей, всѣ эти группы могутъ подвергнуться сами по себѣ, онѣ неизбѣжно приходятъ въ столкновение между собой. И въ результатѣ этого столкновения элементъ раздѣленія труда необходимо перевѣсниваетъ элементъ простаго сотрудничества. Объективно-антропоцентрическое міросозерцаніе пріучаетъ человѣка къ мысли, что надъ нимъ есть опека, неупускающая его ни на минуту изъ виду и всегда готовая, если онъ исполняетъ предписанныя ему правила, придти къ нему на помощь. Это какъ нельзя болѣе вяжется съ малымъ количествомъ и скромнымъ качествомъ потребностей первобытнаго человѣка и съ его отвращеніемъ къ труду. Для него создано все, а слѣдовательно и люди. Священныя книги и преданія древнихъ народовъ, даже стоящихъ на относительно очень высокой ступени развитія и уже вступившихъ въ періодъ монотеизма, наполнены разсказами о томъ, что божества повелѣли перебить или обратить въ рабство сосѣдній народъ или отнять у него женщинъ. Набѣгаютъ ли вольные охотники на разросшуюся уже до родового быта семью и производятъ всеобщій погромъ, одолеваятъ ли представители семейнаго и родового быта въ этой свалкѣ, — побѣжденные или съѣдаются, или, на слѣдующей ступени развитія, когда вслѣдствіе сознанія важности коопераціи антропоцентрическая идея нѣсколько расширилась, — обращаются въ рабство. Такимъ образомъ, двѣ, три группы сливаются воедино и образуютъ уже довольно сложное цѣлое съ четко обозначеннымъ раздѣленіемъ труда. Однако, общественныя дифференцированія и соотвѣтственныя индивидуальныя интеграціи здѣсь еще очень слабы. Хотя общественная однородность уже далеко не та, что въ группѣ вольныхъ охотниковъ, но, за исключеніемъ основнаго распада труда на трудъ мужской и трудъ женскій, и то сравнительно

слабаго, всѣ члены общества приблизительно одинаково трудятся и наслаждаются, ведутъ одинъ и тотъ же образъ жизни, молятся однимъ и тѣмъ же богамъ. Кооперація постепенно расширяетъ личныхъ фетишей въ семейныя, родовыя, племенные, которые наконецъ получаютъ въ политеизмѣ значительно отвлеченный характеръ. Постоянныя войны, выставяя всѣмъ членамъ общества одну и ту же цѣль—защиту отъ ви́шнихъ, общихъ враговъ — время отъ времени такъ - сказать встряхиваютъ, перетасовываютъ, сглаживаютъ установившіяся общественныя дифференцированія. Наконецъ наступаетъ пора, когда дифференцированія эти устанавливаются окончательно, вмѣстѣ съ чѣмъ происходятъ глубокія измѣненія въ жизни первобытнаго общества. Объективно-антропоцентрическій періодъ смѣняется эксцентрическимъ. Кстати просимъ у читателя извиненія за употребленіе въ статьѣ по поводу русскихъ уголовныхъ процессовъ выраженія *эксцентрическій* безъ всякихъ объясненій. Тамъ эти объясненія далеко отвлекли бы насъ отъ предмета статьи, и мы поневолѣ употребляли слова «эксцентрическій» и «метафизическій» почти какъ синонимы. Мы сейчасъ увидимъ, что метафизика относится къ эксцентризму, — выраженіе, если не ошибаемся, нами первыми употребляемое, по-крайней-мѣрѣ, въ томъ смыслѣ, какой мы ему придаемъ,—какъ часть къ цѣлому.

Прежде, чѣмъ указать характеристическія черты эксцентрическаго періода соціального развитія, намъ нужно сказать нѣсколько словъ о томъ, что такое недѣлимое. Понятіе недѣлимаго, индивидуума, повидимому, такъ просто, что не требуетъ никакихъ разъясненій. Однако, это не такъ. Мы не говоримъ уже о тѣхъ трудностяхъ, какія встрѣчаются при опредѣленіи индивидуальности нѣкоторыхъ низшихъ представителей органическаго міра, гдѣ органы, недѣлимые и цѣлыя скопленія недѣлимыхъ различаются иногда нелегко. До этого намъ здѣсь нѣтъ дѣла. Рѣчь у насъ идетъ только о человѣкѣ, относительно котораго кажется не можетъ быть сомнѣній, недѣлимое онъ или нѣтъ. Однако слова, производныя отъ слова «индивидуумъ», и въ приложеніи къ человѣку употребляются

часто въ совершенно различныхъ смыслахъ. Чаще всего подъ индивидуальностью разумѣютъ совокупность чертъ, рѣзко выдвигающихъ извѣстную личность изъ среды окружающихъ ее людей. Индивидуальный значитъ здѣсь личный, особенный. Мы будемъ употреблять это выраженіе совершенно иначе, именно будемъ разумѣть подъ индивидуальностью чловѣка совокупность *всѣхъ* чертъ, свойственныхъ чловѣческому организму *вообще*. Мы видѣли, что Спенсеръ опредѣляетъ недѣлимое, какъ «конкретное цѣлое, имѣющее строеніе, позволяющее ему, при извѣстныхъ условіяхъ, постоянно приспосабливать свои внутреннія отношенія къ внѣшнимъ такъ, чтобы поддерживалось равновѣсіе его отправлениямъ» («Основанія біологіи», 207). Это опредѣленіе, не имѣющее, къ сожалѣнію, достоинствъ краткости и ясности, можетъ однако считаться удовлетворительнымъ, если въ него включить идею способности страдать и наслаждаться, которою недѣлимое рѣзко отличается отъ органа съ одной стороны и отъ общества съ другой. По крайней мѣрѣ для опредѣленія недѣлимаго животнаго, а слѣдовательно и чловѣка, понятіе страданія и наслажденія необходимо должно быть введено въ формулу; способность страдать и наслаждаться составляетъ въ этомъ случаѣ такую очевидную и характеристическую для недѣлимаго особенность, что выключить ее было бы крайне неосновательно. А въ такомъ случаѣ необходимо опредѣлить случаи нормальнаго фізіологическаго состоянія и развитія и состоянія и развитія болѣзненнаго, патологическаго. Типъ нормальнаго органическаго развитія есть, какъ мы видѣли, постепенное усложненіе путемъ дифференцированія, т. е. специализаціи частей недѣлимаго—органовъ и тканей. слѣдовательно патологическимъ развитіемъ будетъ обратное движеніе, то есть упрощеніе организма, его интеграція. Таковъ динамическій законъ индивидуальности. Законъ статическій также не представляетъ затрудненій. Такъ какъ недѣлимое представляетъ собою извѣстную ступень органическаго развитія, имѣющую опредѣленное число опредѣленныхъ частей, то фізіологическимъ, нормальнымъ состояніемъ недѣлимаго мы называемъ такое, при

которомъ всѣ части организма безпрепятственно функционируютъ, т.-е. каждый органъ исполняетъ свою обязанность. При такомъ нормальномъ состояніи равновѣсія каждое органическое отправленіе доставляетъ человѣку наслажденіе. Если же одинъ или нѣсколько органовъ перестаетъ, вслѣдствіе какихъ-нибудь обстоятельствъ, совершать соответствующія отправленія, то равновѣсіе нарушается, и мы имѣемъ состояніе патологическое, ненормальное, болѣзненное, сопровождающееся страданіемъ. Недѣлимое въ этомъ случаѣ, если и не перестаетъ быть недѣлимымъ, потому что не теряетъ способности страдать и наслаждаться, то тѣмъ не менѣе какъ бы сокращается, упрощается. Это не мѣшаетъ ему усложняться въ другихъ отношеніяхъ. Задержка однихъ отправленій или развитіе однихъ органовъ въ большей части случаевъ вызываетъ усиленное дѣйствіе и усиленное развитіе другихъ. При этомъ могутъ произойти усложненія, которыя мы ни въ какомъ случаѣ не можемъ признать нормальнымъ явленіемъ, потому что они вытекаютъ изъ болѣзненнаго начала, изъ нарушенія равновѣсія и цѣлостности недѣлимаго. Здѣсь я считаю своею обязанностью еще разъ указать на сходство излагаемой доктрины съ ученіемъ Конта и на этотъ разъ именно съ нѣкоторыми взглядами, относящимися ко второму періоду его философской жизни. Разсыпанныя въ «Позитивной политикѣ» и вообще въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Конта странности и нецѣлостности отводятъ многимъ глаза отъ нѣкоторыхъ общихъ взглядовъ, заслуживающихъ величайшаго вниманія. Съ другой стороны портятъ дѣло безусловные поклонники Конта. Собственно вторая половина философской дѣятельности Конта еще ждетъ правильной оцѣнки, которая тѣмъ затруднительнѣе, что здѣсь приходится отдѣлять великое отъ смѣшного; на это люди вообще не мастера. Субъективный синтезъ, требованіе систематизаціи знаній съ человѣческой точки зрѣнія не только въ теоретическомъ, а, въ практическомъ отношеніи, идея единства и гармоніи человѣческаго существа, какъ основъ блага — ко всѣмъ этимъ вещамъ нельзя такъ относиться, какъ относится къ нимъ даже сдержанный и осто-

рожный Милль. Требованіе единства въ интересахъ и цѣляхъ личностей, какъ членовъ общества, и единства или гармоніи всѣхъ элементовъ индивидуальной жизни, нравственныхъ, физическихъ и умственныхъ, это требованіе, говоритъ Милль, есть *fons errorum* позднѣйшихъ умозрѣній Конта. Что, исходя изъ этихъ началъ, Контъ пришелъ ко множеству ошибокъ — это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Но мы готовы скорѣе сказать, вмѣстѣ съ однимъ изъ безусловныхъ поклонниковъ Конта, Бриджемъ (*De l'unité de la vie et de la doctrine d'Auguste Comte etc.*, par, J. H. Bridges. Traduit de l'anglais par M. Debergue. Paris 1867), что вообще это *fons* не *errorum*, а *veritatis*. Между прочимъ Милль говоритъ: «Въ послѣдніе годы (какъ мы узнаемъ изъ книги д-ра Робине) Контъ вдавался въ самыя дикія разсужденія о медицинѣ, считая всѣ болѣзни за одно и то же — за возмущеніе или разстройство *de l'unité cérébrale*» (русскій переводъ, стр. 145). Здѣсь Милль говоритъ о письмѣ Конта къ французскому медику Audiffrent, напечатанномъ въ книгѣ Робине (*Notice sur l'oeuvre et sur la vie d'Auguste Comte. Par le docteur Robinet, son medecin etc.* Paris 1860. p. 528). Вотъ что говоритъ Контъ: «Всѣ виды болѣзней, признаваемые самостоятельными, суть не болѣе, какъ простые симптомы. Собственно говоря, существуетъ только одна болѣзнь — нездоровье. Но такъ какъ состояніе здоровья есть состояніе единства (цѣлостности?), то болѣзнь есть всегда нарушеніе единства, вслѣдствіе усиленнаго развитія или задержки одного изъ отправления». Далѣе идетъ рѣчь о нарушеніи «*de l'unité cérébrale*», какъ о частномъ только случаѣ болѣзни. Такимъ образомъ, Милль не только не оцѣнилъ по достоинству глубокаго воззрѣнія Конта, но, какъ справедливо замѣчаетъ Бриджъ (p. 107), извратилъ самый смыслъ словъ французскаго мыслителя. Мы, съ своей стороны, далеки отъ того, чтобы считать положеніе Конта дикимъ. Разстройство моральнаго единства, т.-е. усиленное развитіе нѣкоторыхъ моральныхъ силъ и способностей, въ ущербъ другимъ, есть безъ сомнѣнія обильный источникъ болѣзненныхъ явленій.

Мы видѣли отношеніе фізіологическаго и патологическаго развитія и состоянія къ обоимъ типамъ коопераціи. Мы видѣли, что фізіологическое развитіе возможно только при простомъ сотрудничествѣ, и что неизбѣжный результатъ сотрудничества сложнаго, раздѣленія труда, есть патологическое развитіе и состояніе недѣлимыхъ. Намъ остается только прибавить два-три пояснительныя замѣчанія. Въ простомъ сотрудничествѣ общая цѣль вызываетъ солидарность интересовъ и взаимное пониманіе членовъ общества. Какъ люди равные, находящіеся въ одномъ и томъ же положеніи, имѣющіе одиѣ и тѣ же цѣли, стремленія, мысли и чувства, они не только успѣшно работаютъ, не только не впадаютъ въ патологическое состояніе, но кромѣ того имѣютъ полную возможность въ каждую данную минуту пропикнуться жизнью своего товарища, пережить эту жизнь въ самомъ себѣ и относиться къ нему постоянно, какъ къ самому себѣ. Высокій нравственный уровень составляетъ естественный результатъ такого порядка вещей. Только при немъ осуществимъ знаменитый девизъ: братство, равенство и свобода. Не таковы междуличныя отношенія въ обществѣ, построенномъ на принципѣ сложнаго сотрудничества. Не говоря уже о томъ, что члены его находятся въ патологическомъ состояніи, вслѣдствіе усиленнаго развитія нѣкоторыхъ органовъ въ ущербъ другимъ, для нихъ общая цѣль постепенно и постоянно отодвигается все дальше и дальше и наконецъ совершенно размѣнивается на рядъ частныхъ цѣлей, одна отъ другой совершенно обособленныхъ. Они не понимаютъ другъ друга, хотя связаны между собою самымъ тѣснымъ образомъ. Взаимное непониманіе ведетъ къ безнравственности отношеній. Одни ввязуютъ въ безысходномъ трудѣ, до нельзя развивая ту или другую часть своей мускульной системы. Другіе, обращаясь въ специалистовъ первой дѣятельности, живутъ на счетъ труда первыхъ и не только не оплачиваютъ имъ за это чѣмъ бы то ни было, но даже утрачиваютъ всякое представленіе о своей солидарности съ ними, о томъ, что безъ нихъ они не могли бы имѣть ни одного изъ тѣхъ наслажденій, какія даются утопченно развитой

первой системой. Однако простое сотрудничество при этом не совершенно исчезает. Труды и наслаждения, цѣли и средства дѣлятся между различными группами, на которыя дифференцировалось общество, но каждая такая группа состоитъ изъ людей сходныхъ, равныхъ и потому способныхъ ко взаимному пониманію, работающихъ вмѣстѣ для одной и той же цѣли. Но здѣсь простое сотрудничество составляетъ фактъ второстепенный, смыслъ и значеніе котораго опредѣляются господствующимъ принципомъ раздѣленія труда. Здѣсь въ союзъ простаго сотрудничества вступаютъ не цѣлостные индивидуумы, какъ въ общинѣ вольныхъ охотниковъ, а индивидуумы специализированные: головы вступаютъ въ союзъ съ головами, руки съ руками, умственные способности съ умственными, капиталъ съ капиталомъ, трудъ съ трудомъ и т. д. Такъ какъ въ такомъ обществѣ нѣтъ физиологически развитыхъ недѣлимыхъ, то есть недѣлимыхъ, имѣющихъ всю сумму отправлений, какая допускается и требуется типомъ ихъ организаціи, то антропоцентрическое міросозерцаніе здѣсь немислимо. Человѣкъ, выработавшій себѣ особенную напряженность того или другаго спеціальнаго отправленія и болѣе или менѣе заглушившій въ себѣ всѣ остальные, естественнымъ образомъ понимаетъ и цѣнитъ только то, что тѣсно соприкасается съ его спеціальнымъ отправленіемъ. Понятіе о единствѣ, индивидуальности человѣка здѣсь не имѣетъ мѣста. Центромъ помысловъ и стремленій становится не человѣкъ, какъ недѣлимое, не вся совокупность человѣческаго организма, а нѣкоторая отвлеченная категорія. Членъ общества, въ которомъ раздѣленіе труда привело достаточно глубокія борозды, не въ состояніи охватить понятіе человѣка во всей его цѣлости и недѣлимости; онъ можетъ понять и оцѣнить только ту долю человѣка, которая развита въ немъ самомъ. Вслѣдствіе этого, въ то время, какъ въ области теоретическихъ вопросовъ еще долго держится объективно-антропоцентрическое міросозерцаніе, за силою преданій и недостаткомъ знаній, еще долго человѣкъ вѣритъ, что онъ составляетъ объективный центръ вселенной—въ сферѣ практической, въ сферѣ

*

дѣйствія убѣжденіе это постепенно ступовывается и даетъ мѣсто эксцентрическому укладу.

Началомъ эксцентрическаго періода соціального развитія мы признаемъ тѣ моменты въ развитіи различныхъ сферъ общественной жизни, когда кооперація по типу раздѣльнаго труда выставляетъ нѣкоторыя спеціальныя цѣли, доступныя только для извѣстной соціальной группы, спеціальныя цѣли, бывшія до этого момента только средствами. Не слѣдуетъ думать, чтобъ переходъ этотъ произошелъ одновременно во всѣхъ областяхъ жизни. Въ высшей степени сложная сѣть причинъ и слѣдствій общественныхъ явленій не могла допустить такой правильности и такого однообразія. Еслибы обществомъ управлялъ только одинъ принципъ раздѣленія труда, тогда конечно развитіе его совершалось бы такъ же ровно и однообразно, какъ и ростъ организма. Но простое сотрудничество никогда не исчезало, и такъ какъ оно было возможно въ одной сферѣ жизни въ большей, въ другой—въ меньшей степени (что относится и къ самому раздѣленію труда), то жизнь не могла идти ровно. Притомъ же на ходъ развитія вліяли и другія причины, каковы мѣстныя физическія условія, сила традиціи и привычки, наблюденіе и т. д. Рѣдъ эти побочныя причины не могли имѣть одинаковаго вліянія на различныя стороны жизни. Можно только сказать, что разъ начавшись, эксцентризъмъ съ возрастающею скоростью стремится охватить всѣ тончайшіе изгибы общественныхъ отношеній, отнюдь однако не равномерно по всѣмъ направленіямъ. Мы видимъ напримѣръ, что, не смотря на значительное развитіе въ древнемъ мірѣ раздѣленія труда и слѣдовательно эксцентрическаго періода, въ области политики господствуетъ простое сотрудничество. Древняя исторія есть послѣдовательная исторія ассиріянь, вавилоянь, персовъ, египтянь, евреевъ, грековъ (и въ ней аѳинянь, спартанцевъ), македонянь, римлянъ. Словомъ, древняя исторія есть исторія государствъ и народовъ. Государство же представляетъ собою такую соціальную единицу, въ которой хотя отдѣльныя недѣлимыя и утратили въ большей или меньшей степени свою цѣлостность,

но вся совокупность ихъ можетъ выставить всю сумму силъ и способностей, свойственныхъ человѣку. Не то мы видимъ въ средніе вѣка, которые вообще представляютъ моментъ наибольшаго развитія, кульминаціонную точку эксцентрическаго періода. Здѣсь на арену исторіи выступаютъ уже интересы и цѣли не государствъ и народовъ, а сословіи, корпорацій, цеховъ, т. е. такихъ соціальныхъ единицъ, изъ которыхъ каждая усвоила себѣ окончательно только одну какую нибудь силу, одну какую нибудь способность.

Размѣры нашей статьи до такой степени непропорціональны размѣрамъ заданной нами себѣ задачи, что на систематичность изложенія намъ претендовать никакъ не приходится. Мы сильно рассчитываемъ на помощь логики читателя. Поэтому мы забѣгаемъ нѣсколько впередъ, чтобы привести изъ Шиллеровскихъ писемъ объ эстетическомъ образованіи человѣка мастерскую характеристику того, что мы называемъ эксцентрическимъ періодомъ соціального развитія.

«Безъ сомнѣнія нельзя было и ожидать, чтобы простая организація первыхъ республикъ пережила простоту первыхъ нравовъ и отношеній; но вмѣсто того, чтобы стать послѣ нихъ на высшую ступень живой жизни, она ниспала до пошлой и грубой механики; натура греческихъ республикъ, организовавшихся на подобіе полипяковъ, въ которыхъ каждый индивидуумъ пользовался независимой жизнью, а въ случаѣ нужды могъ своимъ трудомъ служить и общему, уступила мѣсто искусственно-машинно-часовому устройству, гдѣ изъ сплоченія между собою бесконечно многихъ, но безжизненныхъ частичекъ образуется механическая жизнь цѣлаго. Разорваны другъ отъ друга церковь и государство, нравы и законы; наслажденіе отдѣлилось отъ труда, средства отъ цѣли, напряженіе отъ удовольствія достиженія. Вѣчно работая надъ какимъ нибудь ничтожнымъ отрывкомъ изъ цѣлаго, человѣкъ и самъ дѣлается чѣмъ-то въ родѣ отрывка; вѣчно слыша однозвучный шумъ только того колеса, которое вертитъ онъ самъ, человѣкъ никогда не въ состояніи развить гармонію въ своемъ существѣ, и вмѣсто того, чтобы напечатлѣвать человѣчество въ своей натурѣ, онъ дѣлается только отпечаткомъ своего занятія, своей науки. Но даже это скудное, обрывочное участіе, которое привязываетъ частныхъ членовъ къ цѣлому, состоитъ не въ томъ, чтобы они самодѣтельно выработали формы данныхъ имъ обрывковъ (и въ самомъ дѣлѣ можно ли было довѣрить ихъ свободѣ столь

искусную и свѣтобоящуюся часовую машину²⁾; нѣтъ, имъ съ самою скрупулезною точностью начертаны образцы, которыхъ и должно неуклонно держаться ихъ свободное знаніе. Мертвая буква замѣняетъ живой разумъ; механическая память руководить вѣрнѣе, чѣмъ геній и чувство. Если, по общепринятому мнѣнію, должность служить масштабомъ достоинства человѣка, если люди въ одномъ изъ своихъ согражданъ уважаютъ только память, въ другомъ формулярный разумъ, въ третьемъ механическую ловкость; если въ одномъ мѣстѣ, не обращая никакого вниманія на характеръ, требуютъ толко знаній, въ другомъ, напротивъ того, ради духа порядка и законной исполнительности, самое глубокое помраченіе разума почитаютъ достоинствомъ, если хотятъ при этомъ, чтобы каждая изъ этихъ частныхъ способностей была доведена до такой интенсивности, какая только возможна по интенсивности субъекта, то можно ли удивляться, что остальные свойства души остаются въ пренебреженіи и съ особенною тщательностью воздѣлывается единственно то свойство, которое почитаютъ и за которое даютъ награды?

Въ этихъ прекрасныхъ словахъ значеніе греческихъ республикъ едва ли не преувеличено. (Любопытно, что знаменитый другъ-соперникъ и совершенная антитеза Шиллера—Гете, также съ восторгомъ смотрѣлъ на классическую древность, а между тѣмъ Гете утверждалъ, что всякое цѣлое, въ томъ числѣ и общество тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ менѣе сходны его части; онъ проводилъ также параллели между организмомъ и обществомъ). Раздѣленіе труда, со всѣми его послѣдствіями,—отсутствіемъ единства цѣли, безправственностью междуличныхъ отношеній, патологическимъ состояніемъ недѣлимыхъ, взаимнымъ непониманіемъ,—достигло уже значительнаго развитія въ древней Греціи. Съ другой стороны, силенъ еще былъ объективный антропоцентризмъ. Величайшіе мыслители Греціи не могли оторваться отъ мысли о законности и необходимости рабства и съ презрѣніемъ смотрѣли на физическій трудъ и варваровъ. Та цѣлостность (Totalität), которою восхищаются поклонники древней Греціи, въ значительной степени должна была поддерживаться искусственными средствами, какова гимнастика. Поддерживалась она и безпрестанными войнами, въ моментъ которыхъ простое сотрудничество временно одерживало верхъ надъ раздѣленіемъ труда и ставило всѣмъ гражданамъ одну цѣль.

VII.

Въ первомъ томѣ русскаго изданія сочиненій Спенсера напечатана между прочимъ статья «Обычай и приличія», весьма важная для характеристики мыслителя, какъ человѣка. Къ этой, наиболѣе для насъ интересной, сторонѣ статьи мы обратимся ниже. Теперь замѣтимъ только, что въ ней Спенсеръ старается доказать, что обычай, приличія, религіозныя представленія и юридическія нормы имѣютъ одинъ и тотъ же корень, и что распаденіе ихъ на самостоятельныя категоріи произошло тѣмъ же общимъ путемъ послѣдовательныхъ дифференцированій. Онъ исходитъ изъ того положенія, что личности «бога, государя и церемоніймейстера» въ наиболѣе отдаленную пору исторіи совпадали въ одной личности. Едва ли можно принять это положеніе безусловно въ такомъ видѣ. Но во всякомъ случаѣ общій взглядъ Спенсера имѣетъ глубокое основаніе. Намъ, современнымъ людямъ, трудно представить себѣ единство различныхъ сторонъ человѣческой жизни, которое царило въ доисторическую пору. Религія, философія, наука, искусство, — всѣ эти для насъ совершенно различныя и часто другъ другу противорѣчащія вещи, вещи, существующія рядомъ, не смотря на трудность и даже невозможность примиренія по многимъ пунктамъ, — все это сливалось для первобытнаго человѣка въ одно цѣлое, въ непосредственныя отношенія къ природѣ. Ощущеніе вызываетъ рядъ волненій и въ нихъ заключается вся психическая дѣятельность первобытнаго человѣка, лежащая въ основу его узкаго, но цѣльнаго, не раздробленнаго міросозерпанія. Ощущенія его, какъ справедливо замѣчаетъ Спенсеръ, выражаются одновременно звуками, образами и движеніями. То, что для насъ распадается на духъ и матерію, связано въ немъ неразрывно. И оттого онъ монистъ въ теоріи и монистъ на практикѣ. Пріятное и непріятное ощущеніе немедленно приводятъ въ движеніе весь его организмъ, всѣ стороны индивидуальности, — мускулы ногъ, рукъ, груди, горла сокращаются едино-

временно, и человекъ поетъ, пляшетъ, играетъ. Точно также цѣлостна его практическая философія. Различные элементы этики человѣческихъ поступковъ разсыпаны для цивилизованнаго человека по разнымъ угламъ; онъ можетъ признать данное явленіе пріятнымъ, но бесполезнымъ; полезнымъ, но безразличнымъ; нравственнымъ, но незаконнымъ и несправедливымъ; законнымъ, но небогоугоднымъ. Первобытный человекъ не знаетъ этихъ противорѣчій; для него фактъ тождественъ съ принципомъ; велѣнія боговъ, юридическая норма, нравственный кодексъ, нравы и обычаи совпадаютъ или, съ нашей современной точки зрѣнія, не отдѣлились другъ отъ друга, не выяснились, не дифференцировались. Дикарь убиваетъ дикаря изъ мести, это — фактъ. Но фактъ этотъ въ правахъ общества, въ то же время онъ правомѣренъ, подтверждается религіозными представленіями и санкціонуется первобытною личною моралью. Съ теченіемъ времени, со смѣною многихъ и многихъ поколѣній, по мѣрѣ развитія коопераціи, фактъ невыгоды вредить ближнему обращается точно также въ религіозный догматъ, нравственное правило, юридическую норму и обычай, опять таки безъ всякаго яснаго обозначенія раздѣльности этихъ элементовъ. Во временныхъ и случайныхъ союзахъ простого сотрудничества эта цѣлостность и непосредственность взаимныхъ отношеній остаются во всей своей силѣ. Еслибы принципъ простого сотрудничества восторжествовалъ, еслибы цивилизація постепенно раздвигала именно этимъ видомъ коопераціи личное существованіе равномерно во всѣ стороны, не раздробляя индивидуальности, а приобщая къ ней все новыя и новыя индивидуальности столь же цѣльныя, еслибы при этомъ воззрѣнія на природу путемъ коллективнаго опыта очищались отъ объективнаго антропоцентризма... Я не знаю, что было бы въ такомъ случаѣ. Но этого не было и, насколько мы можемъ продумать первобытную жизнь, и не могло быть. Раздѣленіе труда одолѣло. Запутанный порядокъ сложнаго сотрудничества постепенно стиралъ непосредственность взаимныхъ отношеній и дробилъ индивидуальную цѣлостность.

Родовой бытъ смѣнился общественнымъ, что предполагаетъ уже глубокія дифференцированія. На одномъ концѣ общественной іерархіи образовалось рабство, на другомъ вырѣзалась болѣе или менѣе сильная верховная власть, которой уступили, добровольно или по принужденію, часть своего главенства старѣйшины отдѣльных родовъ. Религіозныя представленія получаютъ столь отвлеченный характеръ, непосредственныя отношенія къ природѣ нарушаются столь сильно, что становятся уже нужными посредники между людьми и богами. Обособляется классъ жрецовъ. Рабство однихъ даетъ досугъ другимъ. Досугъ идетъ на умственное развитіе. Трудъ перестаетъ вознаграждаться всѣмъ результатомъ труда; результатъ этотъ дѣлится между господиномъ и рабомъ, который получаетъ свою долю въ видѣ скудной пищи. Но почти столь же скуднымъ вознагражденіемъ довольствуется еще и господинъ. Производители и потребители находятся въ непосредственныхъ сношеніяхъ, взаимная связь ихъ проста и очевидна; продукты труда идутъ довольно равномерно на поддержаніе однихъ и тѣхъ же потребностей въ различныхъ недѣлимыхъ. Каждый потребитель есть вмѣстѣ съ тѣмъ и производитель, и наоборотъ. Съ дальнѣйшимъ развитіемъ коопераціи и досуга, развиваются и потребности. Является необходимость въ такихъ предметахъ, которые не могутъ быть произведены тѣми или другими лицами, а между тѣмъ производятся въ сосѣдствѣ. Начинается обмѣнъ продуктовъ. Въ болѣе или менѣе широкомъ обмѣнѣ могутъ участвовать только нецѣлостныя недѣлимыя, т. е. недѣлимыя, усвоившія себѣ извѣстную спеціальную сферу дѣятельности. Далѣе, какъ въ области религіозной понадобились посредники между людьми и богами, такъ и въ экономической области оказываются нужными посредники между производителями и потребителями. Обособляется торговый классъ, задерживающій, въ видѣ торговаго процента, часть результата труда въ своихъ рукахъ; поземельная рента и прибыль капиталиста еще ждутъ своей очереди. Торговля оказывается занятіемъ столь выгоднымъ, что отвлекаетъ значительную часть силъ отъ войны, до тѣхъ поръ глав-

наго занятія. Однако они еще долго должны идти рука объ руку, потому что торговец можетъ каждую минуту ждать нападенія и долженъ противопоставлять силу силѣ. Въ рукахъ торговаго класса сосредоточиваются значительныя богатства, превышающія его потребности. Является новое наслажденіе—наслажденіе приобрѣтенія, и новая цѣль — богатство, доступныя только для нѣкоторыхъ членовъ общества. Въ далекомъ будущемъ это специальное наслажденіе и эта специальная цѣль, обособленныя отъ всѣхъ другихъ сторонъ человѣческой индивидуальности, ложатся въ основу науки, по поводу которой Сисмонди задумался: «Неужели богатство — все, а человѣкъ — абсолютно ничто?»; по поводу которой Дрозъ замѣчаетъ, что представители ея думаютъ, что «человѣкъ созданъ для продуктовъ, а не продукты для человѣка».

Общественныя дифференцированія, опредѣляя для каждой обособившейся соціальной группы образъ жизни и занятія, отличные отъ образа жизни и занятій остальныхъ группъ, вызываютъ разнородность нравовъ и обычаевъ. Эта разнородность вызываетъ такія столкновенія, что становится наконецъ необходимымъ формальное опредѣленіе правъ и обязанностей членовъ общества. Является писанный законъ, сначала разумѣется не очень далекій отъ обычнаго права, но тѣмъ не менѣе во всякомъ случаѣ отличный отъ него; въ него вносятся главнымъ образомъ воззрѣнія правящаго класса. Нравы, нравственность и справедливость раздробляются на самостоятельныя категоріи. Законодатель смѣло пишетъ: *Servitus est constitutio juris gentium, quo quis dominio alterius contra naturam subiicitur*, т. е. рабство есть учрежденіе *народнаго права*, по которому человѣкъ *противуестественно* владычествуетъ надъ другимъ. Въ далекомъ будущемъ нравы и обычаи обособляются въ деспотизмъ общественаго мнѣнія; нравственность—въ аскетическую мораль; право и справедливость даютъ начало наукѣ, провозглашающей своимъ принципомъ: *fiat justitia pereat mundus*, т. е. справедливость существуетъ для человѣка, а человѣкъ для справедливости.

Рядомъ съ безусловною справедливостью и безусловною правственностью выступаютъ чистая наука, чистое искусство. И такъ, въ теченіе вѣковъ, раздѣленіе труда постепенно, но съ неудержимой силой подтачиваетъ первобытный антропоцентризмъ. Мы не имѣемъ никакой возможности прослѣдить здѣсь все стороны эксцентрическаго періода. Читатель найдетъ кое-что въ этомъ отношеніи у Спенсера, въ статьяхъ: «Происхожденіе и дѣятельность музыки», «Обычаи и приличія», «Прогрессъ, его законъ и причины» и т. д. Но Спенсеръ выбираетъ примѣры сравнительно не важные, и притомъ смотритъ на нихъ исключительно съ точки зрѣнія увеличенія общественной разнородности, не касаясь параллельнаго факта усиленія индивидуальной однородности. Спенсеръ, не смотря на многочисленность примѣровъ, приводимыхъ имъ въ подтвержденіе закона прогресса, какъ перехода отъ однороднаго къ разнородному, ни разу не останавливается надъ значеніемъ этого перехода для выработки понятій полезнаго, пріятнаго, добраго, нравственнаго, справедливаго. А между тѣмъ обособленіе ихъ другъ отъ друга несомнѣнно подтверждаетъ его законъ прогресса: оно могло явиться только въ обществѣ очень разнородномъ. Бѣдняга первобытный человѣкъ думалъ, что все создано для него. Оказывается, что онъ самъ созданъ для всего, кромѣ самаго себя. Онъ созданъ для справедливости, для нравственности, для богатства, для знанія, для искусства. И все это требуетъ безусловнаго, исключительнаго поклоненія себѣ; все это въ открытой враждѣ другъ съ другомъ: искусству не надо справедливости, наука отрицается нравственности, богатство не видитъ справедливости, формальная справедливость незнакома съ правственностью. Но — замѣчательный фактъ, который мы объяснимъ ниже — все эти отвлеченныя категоріи, порожденныя процессомъ общественныхъ дифференцированій и соотвѣтственныхъ индивидуальных интеграцій, находясь въ открытой междоусобной войнѣ, въ то же самое время единодушно поддерживаютъ вызвавшій ихъ на свѣтъ божій порядокъ. Въ другомъ мѣстѣ мы имѣли случаи показать, что безусловная справедливость есть ни что

иное, какъ идеализація существующихъ общественныхъ отношеній, возведеніе въ принципъ голаго эмпирическаго факта. А между тѣмъ какъ она величава и шпрока, эта безусловная справедливость! Теоретическія формулы объективно-антропоцентрическаго періода (все создано для человѣка) и періода экспентрическаго (человѣкъ для богатства, для справедливости, для истины, или что то же, справедливость для справедливости, истина для истины, богатство для богатства) до такой степени діаметрально-противоположны, что можно было бы подумать, что самая природа человѣка потерѣла какое нибудь коренное преобразование. Можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ люди живутъ здѣсь для знанія, для искусства, для справедливости? Не со всѣмъ такъ. Произошло собственно вотъ что. Были люди дикіе, ограниченныя, неразвитыя, но цѣлостныя. Ихъ цѣлостная индивидуальность, благодаря коопераціи раздѣльнаго труда, развивалась въ раздробь. Жизнь недѣлимаго есть сумма отправленій, допускаемыхъ его организаціей. Въ первобытномъ человѣкѣ мы имѣемъ эту сумму отправленій. Исторія, не давъ силамъ и способностямъ человѣка, такъ сказать, выдти изъ скрытаго состоянія, достигнуть гармонической и всесторонней напряженности въ предѣлахъ одной индивидуальности, размѣстила эти силы и способности по множеству разныхъ индивидуальностей. Сила мысли оказалась въ одномъ углу и больше въ немъ ничего не оказалось, въ другомъ — сила мышцъ, въ третьемъ — эстетическая способность и т. д. Эти изолированныя силы, развиваясь въ нецѣлостныхъ недѣлимыхъ на счетъ другихъ силъ, получаютъ колоссальную интенсивность и при этомъ окончательно заглушаютъ остальные отправленія. Такимъ путемъ происходитъ общественная разнородность рядомъ съ индивидуальной однородностью. Казалось бы, что здѣсь, какъ и вездѣ при осуществленіи принципа раздѣленія труда, происходитъ значительная экономія силъ; что общество получаетъ огромный барышъ, доводя различныя силы и способности до такого развитія, какое недостижимо при совмѣщеніи ихъ всѣхъ въ предѣлахъ одной и той же личности. «Раздѣленіе занятій—говоритъ Милль—

совершенство одновременнымъ трудомъ нѣсколькихъ работы, которая не могла бы быть окончена какимъ бы то ни было числомъ лицъ порознь,—вотъ великая школа коопераціи» (Статья «Цивилизація» въ «Разсужденіяхъ и изслѣдованіяхъ»). Великая ли эта школа, это вопросъ, подлежащій обсужденію. Но это не единственная школа коопераціи, потому что есть еще школа простого сотрудничества. Какъ мы неоднократно доказывали, раздѣленіе труда, способствуя выработкѣ нецѣлостныхъ недѣлимыхъ, есть источникъ безчисленныхъ патологическихъ явленій въ области индивидуальной и социальной жизни. Но этого мало; есть предѣлы, за которыми всякая сила и способность, развиваясь на счетъ другихъ силъ и способностей, перестаетъ быть силой и способностью, о чемъ съ неумолимою ясностью свидѣлствуютъ добытые ею результаты.

Грубый фетишизмъ смѣнился болѣе утонченнымъ политеизмомъ. Для первобытнаго человѣка исчезла возможность быть съ своими богами за панибрата, бесѣдовать съ ними запросто, сидѣть въ одной комнатѣ. Въ сношенія съ ними онъ долженъ вступать чрезъ посредство жрецовъ. Обезпеченные трудомъ производительныхъ классовъ, жрецы и высшіе слои общества вообще начинаютъ мало-по-малу отвыкать отъ физическаго труда. Когда распаденіе труда на трудъ физическій и умственный доходитъ до извѣстныхъ предѣловъ, антропоцентрической монизмъ смѣняется эксцентрическимъ дуализмомъ. Когда вы здоровы, вы не замѣчаете присутствія того или другаго органа, сознаете только себя, какъ совокупность органовъ, находящихся въ фізіологической гармоніи. Когда вы больны, то есть когда гармонія отравленій такъ или иначе нарушена, вы невольно обращаете вниманіе на пораженный органъ. Въ здоровомъ состояніи трудно мыслить о головѣ о рукѣ, о ногахъ, о сердцѣ и т. д. безотносительно ко всему организму. Больная голова, больная рука вызываютъ ваше специальное вниманіе, и вы мысленно отдѣляете ихъ отъ остальной части организма. Совершенно точно также нарушенная дифференцированіемъ труда гармонія выдѣлила для человѣка духъ, какъ вѣчто отдѣльное

отъ тѣла. Борозда, пролегшая между духомъ и матеріей въ практической жизни, отразилась и на теоретическихъ воззрѣніяхъ, и со смѣлою поколѣній обозначалась все рѣзче и рѣзче. Единоличнымъ богамъ и единоличной морали первобытнаго человѣка, работающаго одновременно и руками, и головой, соотвѣтствуетъ понятіе о единствѣ его собственнаго существа. Вступая свободнымъ и независимымъ членомъ въ союзъ простаго сотрудничества, первобытный человѣкъ все таки держится своего монизма, потому что и здѣсь ему приходится трудиться равномерно и физически, и умственно. Въ коопераціи раздѣльнаго труда душа и тѣло расходятся въ разныя стороны. Вслѣдствіе различія побочныхъ обстоятельствъ, расхождение это проявляется различнымъ образомъ. Такъ полинезійцы вѣруютъ, что только предводители ихъ имѣютъ душу. Такъ древніе перувіанцы вѣровали, что ихъ знать была божественнаго происхожденія. Оба эти факта приводятся Спенсеромъ въ подтвержденіе той мысли, что въ первобытномъ обществѣ личности бога и государя совпадаютъ. Въ этомъ отношеніи особенно неудаченъ примѣръ перувіанцевъ. Перу извѣстно намъ уже на относительно очень высокой ступени цивилизаціи; и потому вѣрованіе перувіанцевъ ничего не доказываетъ: установленію его предшествовали цѣлыя вѣка общественныхъ дифференцированій. Какъ бы то ни было, но мы видимъ, что такъ или иначе практическое распадѣніе труда на физическій и умственный вездѣ и всегда сопровождается и теоретическимъ распадѣніемъ души и тѣла, т.-е. дуализмомъ. Однако, кое-какія эмпирическія свѣдѣнія, пріобрѣтаемыя высшими классами и особенно жрецами, еще долго имѣютъ въ виду исключительно человѣка какъ съ теоретической, такъ и съ практической точки зрѣнія. Природа изучается объективно-антропоцентрически, и притомъ на столько, на сколько это изученіе можетъ быть непосредственно приложено къ пользамъ и нуждамъ человѣка. Практическое приложеніе добытыхъ знаній находится въ вѣдѣніи самихъ изучающихъ природу; теорія еще не отдѣлилась отъ практики, наука — отъ искусства, знаніе теоретическое —

отъ прикладнаго. Но глубже и глубже ложатся демаркаціонныя черты между интересами различныхъ слоевъ общества. Процессъ дифференцірованій, разъ пачавшись, идетъ все быстрѣе и быстрѣе. Увеличивающійся досугъ, гарантированный трудомъ нижняго этажа общественнаго зданія, и привычка къ умственнымъ занятіямъ побуждаютъ наконецъ иѣкоторыхъ членовъ высшихъ слоевъ заяться изученіемъ явленій природы не ради тѣхъ или другихъ практическихъ цѣлей, а изъ любопытства, ради самой истины. Является новое специальное наслажденіе—наслажденіе знанія, разъ отвѣдавъ котораго, мысль не удержимо стремится къ дальнѣйшему знанію. Знаніе перестаетъ быть средствомъ, и становится цѣлью. Эта новая цѣль все болѣе и болѣе заслоняетъ собою для преслѣдующихъ ее всѣ другія цѣли, и, вызванная процессомъ общественныхъ дифференцірованій, закрѣпляетъ ихъ собою. Религіозныя представленія становятся утонченнѣе. Является философія. Мысль чело-вѣческая, увѣрившись въ своей независимости отъ брешной тѣлесной оболочки, оказываетъ крайнюю самонадѣянность. Презирая опытъ и наблюденіе, какъ орудія брешной оболочки, мысль стремится въ надзвѣздныя пространства и желаетъ получить понятіе о мірѣ чисто діалектическимъ путемъ, изъ самой себя. Презирая оковы, налагаемыя на нее виѣшними чувствами, мысль презираетъ и добываемое виѣшними чувствами. Ей мало феноменальнаго знанія, которое можетъ получить и приложить къ дѣлу всякій ремесленникъ. Она ищетъ нумена, вещи въ себѣ, сущности вещей, и самая эта сущность оказывается наконецъ ни чѣмъ инымъ, какъ тѣмъ же самымъ духомъ, который такъ тщательно и любовно воспитывается насчетъ матеріи въ прямомъ и переносномъ смыслѣ. Объ утилитарной сторонѣ знанія иѣтъ и помину. Архимедъ извиняется передъ современниками и потомствомъ въ томъ, что иногда работаетъ для практическихъ цѣлей. Въ наши времена Шопенгауеръ заявляетъ, что только бесполезное можетъ имѣть значеніе. Платонъ говоритъ, что значеніе ариѳметики состоитъ отнюдь не въ ея практической пользѣ, а въ томъ, что она «об-

легчаетъ душѣ путь изъ области переходящихъ вещей къ созерцанію истины и бытія»; что она обязана «заниматься чинами въ себѣ, въ ихъ сущности, и не терпѣть вмѣшательства чего бы то ни было видимаго и осязаемаго»; что геометры заблуждаются, если удаляются отъ изученія того, что составляетъ сущность вещей, истину вѣчную и безусловную; что цѣль астрономіи совсѣмъ не практическая, она не есть даже изученіе видимаго, она должна вести къ той же вѣчной истинѣ, постижимой одною чистою мыслью (Республика, кн. VII). Русскій педагогъ, г. Модзалевскій, полагаетъ, что, «благодаря незначительной населенности страны и существованію рабства, бывшаго удѣломъ иноплеменниковъ, жизнь свободныхъ людей была легка и чужда мелочныхъ заботъ. Бѣольшая часть націи была совершенно незнакома съ низкими и тяжелыми работами, и потому грекъ чрезъ воспитаніе свое могъ становиться выше всего пошлаго и мелочнаго въ жизни» (Очеркъ исторіи воспитанія и обученія и проч., ст. 47). Считаю долгомъ замѣтить, что это античное воззрѣніе приведено рядомъ съ мыслями Платона не почему иному, какъ потому, что мы случайно развернули лежащую передъ нами книгу г. Модзалевскаго.

Освобожденная отъ мелочныхъ и пошлыхъ заботъ мысль, стремясь уразумѣть сокровенныя сущности вещей, получаетъ о себѣ все болѣе и болѣе высокое понятіе. Чистая мысль оказывается единственнымъ источникомъ познанія, въ ней одной слѣдуетъ искать законовъ міровыхъ явленій. Метафизическія системы громоздятся одна на другую; въ нихъ погибають величайшіе умы. Таковъ въ области мысли и знанія одинъ результатъ общественныхъ дифференцированій и осуществленія принципа раздѣленія труда, то есть по Спенсеру общественнаго прогресса.

Тѣмъ временемъ мало по малу копятся положительныя знанія. Практическія надобности и счастливыя случайности порождаютъ технику, искусства, а техника влечетъ за собой нѣкоторыя обобщенія. Сначала эти обобщенія кладутся гордыми и нетерпѣливыми умами въ основаніе метафизическихъ объясненій

міра. Затѣмъ, подъ вліяніемъ общаго процесса соціальныхъ дифференцированій, наука отдѣляется отъ философіи. Далѣе тотъ же процессъ повелъ къ тому, что «каждый отдѣльный классъ изслѣдователей какъ бы выдѣлилъ свой частный порядокъ истинъ изъ общей массы матеріала, накопленнаго наблюденіемъ» (Спенсеръ, I, 307). Знаніе, какъ цѣль, распадается постепенно на множество частныхъ цѣлей. Одинъ избираетъ одну отрасль, другой—другую и т. д. Какъ и во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, это раздѣленіе труда имѣетъ двойственный характеръ. Наука обогащается, но міросозерцаніе специалистовъ все болѣе и болѣе суживается. Однако, скоро и наука перестаетъ обогащаться. Съ дальнѣйшимъ специализированіемъ утрачивается взаимное пониманіе между представителями различныхъ отраслей знанія. Они не понимаютъ даже языка другъ друга. Погруженный въ свой клочокъ знанія, специалистъ взрываетъ его вдоль и поперекъ, но не имѣетъ понятія о сосѣднемъ клочкѣ. Онъ уже давно пересталъ быть гражданиномъ, давно пересталъ сознавать свою солидарность съ остальными членами кормящаго его общества. Но наконецъ онъ перестаетъ быть и ученымъ; добываемое имъ знаніе дѣлается не только неважнымъ, второстепеннымъ, третьестепеннымъ и т. д., но даже перестаетъ быть знаніемъ. Это требуетъ нѣкотораго объясненія. Для изслѣдованія самаго простаго явленія, на примѣръ, для опредѣленія какого нибудь минерала требуется, собственно говоря, цѣлый рядъ опытовъ и наблюденій. Минералъ можетъ имѣть строеніе аморфное или кристаллическое. Въ послѣднемъ случаѣ нужно опредѣлить геометрическія свойства кристалла, отношенія угловъ и плоскостей. Но этого недостаточно, потому что много есть минераловъ, совершенно различныхъ и тѣмъ не менѣе кристаллизующихся въ одной и той же формѣ. Отъ гониометра приходится перейти къ паяльной трубкѣ, изслѣдовать отношенія даннаго минерала къ тѣмъ или другимъ реактивамъ, къ поляризаціи, его спайность, твердость и т. д. Послѣ этого ряда опытовъ и наблюденій явленіе понято, потому что кромѣ математическихъ, физическихъ и химическихъ никакихъ другихъ свойствъ минералъ не имѣетъ.

Понятное дѣло, что еслибы какой нибудь спеціалистъ-кристаллографъ не имѣлъ свѣдѣній химическихъ и физическихъ и былъ бы склоненъ, подобно всякому спеціалисту, придавать своей точкѣ зрѣнія первенствующее значеніе, понятно, что его минералогическія знанія не были бы знаніями. Что касается до его собственно кристаллографическихъ наблюденій, то они представляли бы не болѣе, какъ сырой матеріалъ. Мы взяли примѣръ почти невозможный, потому что минералогія завѣдуетъ явленіями столь простыми, что связь и необходимость различныхъ точекъ зрѣнія тутъ совершенно очевидны. Но въ наукахъ, имѣющихъ дѣло съ сложнѣйшими явленіями, подобные случаи не только возможны, а и весьма обыкновенны, потому что для пониманія этихъ болѣе сложныхъ явленій требуется и большая разносторонность свѣдѣній. Ясно, что въ этомъ случаѣ узкій спеціалистъ можетъ накопить множество знаній, которыя, при всестороннемъ ихъ разсмотрѣніи, окажутся совершенно ложными. Время отъ времени въ эту массу ложно понятыхъ или вѣрныхъ, но мелочныхъ фактовъ врываются могучіе умы, внося синтетическое начало въ это неограниченное правленіе анализа. И это синтетическое начало представляетъ собою отраженіе простого сотрудничества между науками и индивидуальной пѣлостности дѣятеля науки; истины различныхъ наукъ группируются при этомъ не какъ однородные члены разнороднаго цѣлаго, а наоборотъ. Наука дѣлаетъ гигантскій шагъ, подобравъ сразу весь пригодный сырой матеріалъ, а остальную часть его выбрасываетъ, какъ совершенно негодную. Однако, иногда и на самихъ представителяхъ синтетическаго начала отражаются послѣдствія коренныхъ общественныхъ дифференцированій. Вырвавшись изъ эксцентрическаго періода съ одной стороны, они еще глубоко сидятъ въ немъ съ другой. Опытъ и наблюденіе еще не вытѣснили изъ нихъ вѣры въ безконтрольную силу чистой мысли. Отсюда опять метафизическія стремленія уловить сущность вещей, ихъ конечныя причины, отсюда метафизическія понятія природы, боящейся пустоты, зоогена, жизненной силы, жизненныхъ духовъ и т. п.

Наконецъ, въ области теоретическихъ вопросовъ, исторія снова выдвигаетъ человѣка центромъ вселенной. Позитивизму принадлежитъ честь объединенія и обобщенія этого стремленія. Опять человѣкъ становится мѣриломъ вещей, но на этотъ разъ уже сознательно. Дуализмъ опять смѣняется монизмомъ. Границы науки совпадаютъ съ границами человѣка, какъ существа цѣльнаго и единого. Мысль вводится въ свои законныя границы. Человѣкъ можетъ познавать только явленія и тѣ постоянныя отношенія, въ которыя они становятся другъ къ другу. Сущность вещей—вѣчная тьма. Путь абсолютной истины, есть только истина *для человѣка*, и, за предѣлами человѣческой природы, путь истины для человѣка. Положенія эти выработывались вѣками. Но въ курсѣ философіи Конта имъ подведенъ полный итогъ, къ которому мы и отсылаемъ читателя. Послѣ борьбы съ метафизикой читатель найдетъ тамъ и борьбу съ излишней спеціализаціей знаній, но эта часть трактата едва ли удовлетворитъ его въ такой же мѣрѣ. Здѣсь разсыпаны однако зачатки золотыхъ мыслей, цѣнность которыхъ уменьшается только кореннымъ недостаткомъ Контовой системы—устраненіемъ субъективнаго метода изъ области вопросовъ социологіи, этики и политики. Позитивизмъ сдѣлалъ до сихъ поръ полдѣла,—установилъ законность человѣческой точки зрѣнія на явленія природы, а человѣческая точка зрѣнія есть здѣсь точка зрѣнія человѣка мыслящаго и ощущающаго, т. е. цѣлостнаго недѣлимаго, обладающаго всею суммою органовъ и всею суммою отправленій, свойственныхъ организму человѣка. Такимъ совмѣстнымъ участіемъ всѣхъ сторонъ индивидуальности получается истина, не абсолютная, а истина для человѣка. Та же точка зрѣнія должна быть приложена и къ рѣшенію практическихъ вопросовъ, но этой половины великаго дѣла позитивизмъ совершить не можетъ, потому что тутъ ему пришлось бы ввести субъективный методъ даже въ постановку чисто теоретическихъ вопросовъ. Въ самомъ дѣлѣ, съ объективной точки зрѣнія всѣ истины равны. Выборъ между истинами, т. е. отдѣленіе истинъ полезныхъ отъ бесполезныхъ, нужныхъ отъ не-

*

нужныхъ, обязательныхъ отъ необязательныхъ,—это дѣлю очевидно субъективнаго метода. Тѣмъ справедливѣе это для практическихъ приложеній добытыхъ истинъ. Относительно этихъ пунктовъ могутъ выдти разногласія, объективнымъ методомъ неустранимыя, вслѣдствіе чего позитивизму приходится быть пассивнымъ зрителемъ этихъ столкновеній, не принимая въ нихъ никакого участія. Въ Позитивной Политикѣ Контъ открыто отказался отъ этой пассивной роли и, при помощи субъективнаго метода, попытался перекинуть мостъ отъ науки къ жизни. Мостъ вышелъ непрочный, но это отнюдь не значитъ, что можно обойтись совсѣмъ безъ моста. До какой степени Контъ и въ своемъ курсѣ философіи былъ близокъ къ тому, чтобы ввести въ свою систему человѣка, какъ *цѣлостное недѣлимое*, центромъ не только теоретическихъ, а и практическихъ вопросовъ, т.-е. связать научнымъ образомъ вопросы о теоретической истинѣ съ вопросами о практическомъ благѣ, и до какой степени ему тѣсно было въ путяхъ объективнаго метода въ социологін,—это видно изъ слѣдующихъ его словъ, которыя я боюсь испортить переводомъ:

«Chez la classe speculative l'élévation de l'âme et la générosité des sentiments peuvent difficilement se développer sans la généralité des pensées, d'après l'affinité naturelle qui *doit* y exister entre les vues étroites ou dispersives et les penchants égoïstes» (t. VI, 387).

«L'intime dégénération, indiqué par de tels symptômes confirme l'état purement provisoire d'une classe spéculative où l'actif sentiment du devoir a dû s'affaiblir au même degré que le véritable esprit d'ensemble, et chez laquelle on remarque, en effet, aujourd'hui, encore plus que partout ailleurs, une systématique prépondérance de la morale métaphysique fondée sur l'intérêt personnel. Bientôt, peut être, la science elle même en sera profondément atteinte, soit parce qu'une trop avide concurrence menace y déterminer, chez des natures trop inférieurs, une altération volontaire de la véracité des observations, soit à cause de la surexcitation qu'une cupidité croissante est ex-

posée à y recevoir des relations plus directes et plus actives entre les spéculations scientifiques et les opérations industrielles» (VI, 393).

Эта невозможность высокаго нравственнаго уровня при отсутствіи общихъ взглядовъ на явленія природы; это «естественное средство, которое *должно* существовать между узкими и односторонними научными воззрѣніями, съ одной стороны, и эгоистическими наклонностями, съ другой»; это «ослабленіе чувства долга параллельно ослабленію цѣлостности міросозерцанія» — угаданы великимъ мыслителемъ совершенно независимо отъ его философской системы. Система эта не даетъ отвѣта на вопросъ: почему же между научною односторонностью и узкимъ эгоизмомъ должно существовать средство? Что между ними общаго? Далѣе, не суть ли всѣ эти Клаэсы позитивисты, такъ какъ они могутъ самымъ позитивнымъ образомъ изучать законы послѣдовательности и сосуществованія явленій? Гдѣ же въ системѣ позитивизма тотъ пунктъ, съ котораго дѣятельность Клаэсовъ достойна порицанія? Правда, позитивизмъ и съ объективной точки зрѣнія можетъ требовать нѣкоторой научной цѣлостности, такъ какъ классификація наукъ Конта указываетъ, что каждая наука можетъ быть только тогда раціонально разрабатываема, когда усвоены истины всѣхъ предъидущихъ наукъ ряда. Но, во-первыхъ, если спеціалистъ нарушаетъ это условіе и приходитъ къ ложнымъ заключеніямъ, то позитивизмъ только и можетъ сказать, что это заключенія ложныя, но отнюдь не можетъ связать это обвиненіе съ нравственной оцѣнкой. Во-вторыхъ, если мы возьмемъ одну изъ низшихъ наукъ, то, по классификаціи Конта, для механика достаточно математическихъ познаній, для физика — математическихъ и механическихъ, для химика — математическихъ, механическихъ и физическихъ. Каждый изъ нихъ можетъ такимъ образомъ удовлетворять раціональнымъ требованіямъ позитивизма, но оставаться въ то же время Клаэсомъ, узкимъ спеціалистомъ и эгоистомъ. И какъ ни клеймить ихъ Контъ за этотъ эгоизмъ, ему приходится включать ихъ въ число позитивистовъ.

Мы вполне сознаемъ всю неудовлетворительность, неполноту и быть можетъ неясность нашего предъидущаго изложенія. Сознаніе это не доставляетъ намъ разумѣется никакого удовольствія. Мы хотѣли сказать нѣсколько словъ объ истинномъ значеніи объективнаго метода въ социологiи и для этого намѣрены были сдѣлать «небольшое, а можетъ быть и довольно длинное отступленіе» отъ Спенсера. Отступленіе вышло и слишкомъ длинно и слишкомъ коротко, такъ такъ намъ приходилось чуть не бѣгомъ бѣжать, а объ объективномъ методѣ въ социологiи мы все-таки сказали мало. Въ слѣдующей статьѣ мы надѣемся поправить дѣло. Однако, и здѣсь мы не совершенно удалились отъ Спенсера, потому что имѣли случай прослѣдить нѣкоторыя послѣдствія осуществленія принципа раздѣленія труда и общественныхъ дифференцированій; далѣе, говоря о Контѣ, мы все-таки были вблизи отъ Спенсера, потому что оба они настаиваютъ на законности объективнаго метода въ социологiи и оба могутъ считаться представителями позитивизма, хотя Спенсеръ не ставитъ себя, да и не можетъ быть поставленъ въ число учениковъ Конта, и хотя послѣдній двумя головами выше перваго. Во всякомъ случаѣ, мы были бы вполне счастливы, еслибы читатель убѣдился пока въ слѣдующемъ: метафизика, т.-е. стремленіе къ уразумѣнію сущности вещей и абсолютному знанію, и крайняя спеціализація, которая, какъ говоритъ Фаустъ о Вагнерѣ, *froh ist, wenn sie Regenwürmer findet*, — имѣютъ одну общую причину, которая не видна съ точки зрѣнія, принятой Контомъ, и потому ему, скрѣпя сердце, приходится ставить ихъ въ различные отдѣлы своей объективной классификаціи. Общая причина этихъ двухъ, повидимому, крайнихъ противоположностей заключается въ томъ самомъ, что Спенсеръ съ объективной точки зрѣнія признаетъ социальнымъ прогрессомъ — въ дифференцированіяхъ общества, и въ томъ разладѣ, который вносится въ индивидуальную и социальную жизнь направлениемъ кооперациі по типу раздѣльнаго труда. И метафизика и спеціализація знаній суть результаты нарушенія цѣлостности недѣлимыхъ и безконечнаго раздробленія человѣческихъ цѣлей

и интересовъ. И та и другая возможны только въ эксцентрическомъ періодѣ соціального развитія.

Третій великій результатъ нарушения индивидуальной цѣлостности и гармоніи отправленій есть объективный методъ въ социологіи; имъ мы окончательно займемся въ слѣдующей статьѣ.

Бѣглость и неполнота нашего очерка могутъ поселить между нами и читателемъ нѣкоторыя взаимныя непониманія по многимъ пунктамъ. Современемъ мы надѣемся совершенно устранить это обстоятельство, но и теперь намъ хочется остановиться на одномъ изъ такихъ пунктовъ. Читатель замѣтилъ разумѣется, что мы не особенно расположены къ эксцентрическому періоду общественнаго развитія. На пути къ счастью, человѣчеству остается пройти еще однѣ великія историческія ворота, надъ которыми стоитъ надпись: человекъ для человека, все для человѣчества. За объективно-антропоцентрическимъ періодомъ отсутствія коопераціи и слабыхъ зачатковъ простого сотрудничества, за эксцентрическимъ періодомъ преобладанія раздѣленія труда, слѣдуетъ субъективно-антропоцентрической періодъ господства простого сотрудничества. Нѣкоторыя стороны человѣческой жизни уже вступаютъ въ этотъ періодъ; такъ позитивизмъ ввелъ въ него теоретическія отношенія человека къ природѣ. Поэтому, не маскируясь объективностью, мы откровенно сознаемся, что желаемъ скорѣйшаго окончанія эксцентрическаго періода, который не заслуживаетъ, по нашему мнѣнію, той розовой окраски, какую налагаетъ на него Спенсеръ. Но не значить ли это обругать вѣковую исторію? Не далъ ли намъ именно этотъ процессъ исторіи науку, искусства, промышленность? Конечно, далъ. Но нѣкоторая часть всего этого добыта простымъ сотрудничествомъ, а остальное куплено и покупается, можетъ быть, слишкомъ дорогою цѣною. Будущій историкъ напишетъ прихода-расходную книгу цивилизаціи и сведетъ эти счеты.

Итакъ, мы не принадлежимъ къ числу хвалителей эксцентрическаго періода, а выше мы говорили, что между прочимъ, въ этотъ періодъ произошло распадѣніе знанія теоретическаго и прикладнаго, что наука перестала здѣсь служить практиче-

скимъ цѣлямъ. Изъ этого читатель пожалуй можетъ вывести, что мы считаемъ наиболѣе важнымъ въ настоящее время собственно техническія знанія. Есть узколюбые утилитаристы, проповѣдующіе подобныя вещи, но мы не имѣемъ съ этими Бекончиками ничего общаго. Ружья Шаспо, пушки Армстронга, мониторы—тоже вѣдь результаты практическаго примѣненія знаній. Инженеры, механики, техники, практическіе химики, металлурги—все это пародъ несомнѣнно полезный. Но для опредѣленія ихъ истиннаго общественнаго значенія въ каждомъ частномъ случаѣ слѣдуетъ помнить, что трудами ихъ могутъ воспользоваться тѣ, кто можетъ оплатить ихъ. Это значительно усложняетъ вопросъ. Имѣйте только въ виду, что благо чело-вѣка есть его цѣлостность, гармонія отправления, то-есть раз-нородность недѣлимыхъ и общественная однородность, что истина для чело-вѣка лежитъ въ тѣхъ же предѣлахъ индивидуальной цѣлостности; имѣйте это въ виду и беритесь за какую угодно работу: вы не возрадуетесь, когда найдете *Regenwürmer*, не будете скорбѣть о невозможности созерцать чистую истину и сущность вещей, и не изобрѣтете какого нибудь новаго иголь-чатаго ружья.

VIII.

Какъ мы уже говорили, Спенсеръ, опредѣливъ прогрессъ, какъ переходъ отъ однороднаго къ разнородному, отъ простаго къ сложному, отъ общаго къ частному, длиннымъ рядомъ дифференцированій или разчлененій, находитъ далѣе нужнымъ слѣ-лать къ этому опредѣленію нѣкоторыя поправки и дополненія. Къ нимъ мы теперь и обратимся.

«Что существуютъ переходы отъ менѣе разнороднаго къ бо-лѣе разнородному, неподходящіе подъ то, что мы называемъ развитіемъ, — говоритъ Спенсеръ — это доказывается каждымъ случаемъ мѣстной болѣзни. Часть тѣла, въ которой возникаетъ тотъ или другой болѣзненный наростъ, безспорно представляетъ

новое дифференцированіе. Будеть ли или нѣтъ этотъ болѣзненный паростъ болѣе разнороденъ, нежели ткани, въ которыхъ онъ является—не въ этомъ дѣло. Вопросъ въ томъ—становится ли строеніе организма, взятое въ цѣломъ, болѣе разнороднымъ вслѣдствіе присоединенія къ нему части, непохожей ни по формѣ, ни по составу своему, ни на одну изъ прежнихъ? И на этотъ вопросъ возможенъ только утвердительный отвѣтъ» (Основныя начала, вып. VII, 188). Однако, этотъ переходъ отъ однороднаго къ разнородному Спенсеръ не считаетъ возможнымъ признать развитіемъ. Далѣе онъ находитъ, что и первые моменты разложенія мертваго тѣла представляютъ усложненіе, увеличеніе разнородности. «Хотя конечнымъ результатомъ будетъ большая однородность, но непосредственный результатъ противоположенъ. Однако, этотъ непосредственный результатъ отнюдь не представляетъ развитія». «Но изъ всѣхъ подобныхъ примѣровъ, продолжаетъ Спенсеръ, самые неоспоримые представляются общественными безпорядками и переворотами. Если въ какой нибудь націи возникаетъ возмущеніе, которое, оставляя извѣстныя области не потревоженными, развивается здѣсь въ тайныя общества, тамъ въ публичныя демонстраціи, а въ иныхъ мѣстахъ въ призывъ къ оружію, приводящій къ столкновенію и кровопролитію, то нельзя не согласиться, что это общество, разсматриваемое въ цѣломъ, стало болѣе разнороднымъ. Ясно, однако, что такія измѣненія не только не составляютъ дальнѣйшей ступени развитія, но напротивъ представляютъ собою шаги къ разложенію».

Однако, почему же это ясно? Есть конечно точки зрѣнія, съ которыхъ вся совокупность описанныхъ Спенсеромъ явленій признается шагомъ къ разложенію; есть другія точки зрѣнія, съ которыхъ на рядъ подобныхъ явленій смотрять, какъ на шаги къ развитію или къ разложенію, смотря по тому, во имя чего происходятъ столкновенія и кровопролитіе; наконецъ, какова бы ни была цѣль всего движенія, кровопролитіе со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія признается явленіемъ печальнымъ. Но всѣ эти точки зрѣнія субъективны. Всѣ они разсматрива-

ютъ и оцѣниваютъ явленія въ связи съ нѣкоторымъ определеннымъ понятіемъ о человѣческомъ счастіи. Описанныя Спенсеромъ явленія они признаютъ шагами къ развитію или къ разложенію, явленіями прогрессивными или регрессивными только по тому понятію, которое они составили себѣ о человѣческомъ благоденствіи и о путяхъ къ достиженію его. Еслибы напримѣръ намъ пришлось отвѣчать на заданный себѣ Спенсеромъ вопросъ: находится ли нація, въ которой существуютъ въ данную минуту тайныя общества, публичныя демонстраціи, вооруженныя столкновенія и проч., на пути къ разложенію, или наоборотъ на пути къ дальнѣйшему развитію? — если бы намъ пришлось отвѣчать на этотъ вопросъ, то мы очутились бы въ большомъ затрудненіи. Мы нашли бы вопросъ по малой мѣрѣ очень страннымъ. Мы пожелаемъ бы узнать, о какихъ именно событіяхъ идетъ рѣчь, во имя чего собираются тайныя общества, устраиваются публичныя демонстраціи и т. д. и какую вѣроятность успѣха имѣетъ все это движеніе. Агитація, подготовившая Итальянское королевство, поздиѣйшая агитація оставшихся за штатомъ итальянскихъ Бурбоновъ; агитація, низвергшая Изабеллу испанскую, агитація изабелистовъ и карлистовъ, агитація испанскихъ республиканцевъ - федералистовъ, — все онѣ могутъ выражаться въ одиѣхъ и тѣхъ же общихъ формахъ тайныхъ обществъ, публичныхъ демонстрацій, вооруженныхъ столкновеній и тѣмъ не менѣе представлять явленія, радикально различныя по своему смыслу и результатамъ. Получивъ на счетъ этого смысла движенія и ожидаемыхъ его результатовъ нужныя свѣдѣнія, мы можемъ признать его явленіемъ прогрессивнымъ или регрессивнымъ, смотря по тому, способствуетъ ли оно приближенію общества къ нашему идеалу счастія и совершенства, или же загоразживаетъ ему эту дорогу. Мы напримѣръ полагаемъ, что счастье заключается въ индивидуальной цѣлостности, т. е. въ индивидуальной разнородности и общественной однородности. Къ этому критерию мы и обращаемся для оцѣнки даннаго политическаго движенія. И такъ поступаетъ всякій. Разница только въ качествахъ кри-

терія. Но Спенсеръ совершенно устраняетъ вопросъ о человѣческомъ счастьи. Онъ обѣщался «проанализировать различные классы измѣненій, обыкновенно признаваемыхъ прогрессомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и другіе классы, которые сходны съ ними, но прогрессомъ не считаются»; при этомъ онъ хотѣлъ рассмотреть «въ чемъ состоитъ ихъ существенная особенность, т.-е. какова ихъ существенная природа, независимо отъ отношеній къ нашему благоденствію». Эта объективная точка зрѣнія привела его къ убѣжденію, что прогрессъ есть переходъ отъ однороднаго къ разнородному. И тѣмъ не менѣе, дойдя до извѣстнаго явленія, представляющаго именно такой переходъ, онъ отказывается признать его явленіемъ прогрессивнымъ и не объясняетъ даже причинъ, побуждающихъ его къ такому уклоненію отъ имъ самимъ найденной объективной нормы прогресса. Собственныя его слова могутъ быть сгруппированы такимъ образомъ: «разсматривая тѣ классы измѣненій, которые *считаются* прогрессомъ, а равно и другіе, которые сходны съ ними, но прогрессомъ *не считаются*, мы находимъ, что прогрессъ есть переходъ отъ однороднаго къ разнородному. Данное явленіе представляетъ переходъ отъ однороднаго къ разнородному, но мы его *не считаемъ* прогрессивнымъ». Но съ какой же это стати? почему? И откуда этотъ аксіоматическій тонъ? Если Спенсеръ обращается здѣсь къ простому здравому смыслу, то во первыхъ здравый смыслъ несомнѣнно откажется подтвердить его положеніе, а во вторыхъ дѣло было именно въ томъ, чтобы оставить простой здравый смыслъ въ сторонѣ. Испо, что Спенсеръ не могъ удержаться на высотѣ объективнаго метода и, въ противность своему обѣщанію, придерживается извѣстныхъ субъективныхъ воззрѣній на прогрессъ, вносить въ свои разсужденія иѣкоторую телеологию; имѣетъ свой идеаль общественныхъ отношеній, по мѣркѣ котораго выкроены и общіе взгляды его на соціальныи прогрессъ. Онъ, однимъ словомъ, приступаетъ къ изслѣдованію прогресса съ предвзятымъ мнѣніемъ. То же самое относится и къ двумъ другимъ его примѣрамъ непрогрессивнаго перехода отъ однороднаго къ разнородному.

родному. Болѣзненный парость, безспорно способствующій усложненію организма, едва-ли кто-нибудь рѣшится назвать явленіемъ прогрессивнымъ. Но къ этому инстинктивному голосу простаго здраваго смысла Спенсеръ не имѣетъ никакого права прислушиваться, такъ какъ онъ заранѣе поставилъ себя въ независимость отъ подобныхъ рѣшеній. Онъ объявилъ, что будетъ разсматривать всякія измѣненія, независимо отъ того, признаются они большинствомъ за измѣненія прогрессивныя или не признаются. Основанія, по которымъ никто не рѣшится назвать болѣзненный парость шагомъ къ дальнѣйшему развитію, очень просты, но они очевидно вяжутся съ нѣкоторою телеологіей, они лежатъ въ понятіи о благоденствіи человѣка, а Спенсеръ считаетъ такую постановку вопроса нераціональною и недостаточно свободною. Если онъ такимъ образомъ становится въ противорѣчіе какъ со своимъ объективнымъ методомъ, такъ и съ добытою имъ формулою прогресса, то это опять-таки значитъ, что и въ этомъ случаѣ имъ руководитъ нѣкоторое предвзятое мнѣніе. Мы уже говорили, что присутствіе предвзятаго мнѣнія, понимая это выраженіе въ широкомъ смыслѣ, при всякомъ наблюденіи и изслѣдованіи вообще неизбежно и что все дѣло состоитъ только въ достоинствѣ этого предвзятаго мнѣнія. Въ случаѣ его истинности можно ожидать и вѣрнаго изслѣдованія, и наоборотъ. Къ тому, что мы сказали объ этомъ въ первой статьѣ, мы прибавимъ здѣсь взглядъ Конта на значеніе предвзятаго мнѣнія. Фактовъ, говоритъ Контъ, нельзя изучать безъ помощи теорій, хотя бы въ видѣ временной гипотезы. Это не только неудобно, но просто немислимо, невозможно, хотя ранняя, скороспѣлая, еще недостаточно провѣренная теорія, пока она не провѣрена, представляетъ многія опасности и поводы къ ошибкамъ. Съ этимъ, однако, поневолѣ приходится примириться. «Если видѣть въ этой опасности достаточный мотивъ для возстановленія преобладанія такъ-называемаго эмпиризма, то на дѣлѣ устраненіе этой опасности повело бы только къ замѣнѣ руководства болѣе или менѣе рациональныхъ, но всегда поправимыхъ теорій вліяніемъ чисто метафизическихъ доктринъ,

потому что *совершенное устраненіе какого бы то ни было руководящаго взгляда есть химера*» (Cours de phil. positive. IV. 304). Здѣсь рѣчь идетъ собственно о законности гипотезъ, которыя суть предвзятія мнѣнія, сознательно, условно и временно выдвигаемыя для какихъ-нибудь опредѣленныхъ цѣлей. Но подчеркнутыя нами слова выражаютъ именно то, что мы говоримъ о неизбѣжности предвзятыхъ мнѣній.

Есть, какъ извѣстно, нѣсколько группъ мыслителей, которые расходятся между собою во многихъ отношеніяхъ, но согласны по крайней-мѣрѣ въ одномъ общемъ положеніи, — въ томъ, что человѣкъ рождается съ нѣкоторыми готовыми истинами. Къ числу такихъ, безъ труда приобритенныхъ и даже не приобритенныхъ, а присущихъ духу человѣка, врожденныхъ истинъ принадлежатъ общія нравственныя идеи и нѣкоторыя возрѣнія на окружающій вещественный міръ. Изъ всѣхъ этихъ истинъ упорнѣе всего держались и удачнѣе всего защищались математическія аксіомы. Это истиннѣ философская крѣпость идеализма, какъ называетъ аксіомы Тэнъ. Однако крѣпость эту можно теперь считать взятою приступомъ. Самыя аксіомы оказываются результатами опыта и наблюденія, и если онѣ и могутъ казаться прирожденными человѣческому духу, то только по своей крайней простотѣ и общности. Явленія и ихъ взаимныя отношенія, выражаемыя аксіомами, до такой степени несложны и до такой степени часто повторяются въ природѣ, что человѣкъ и не замѣчаетъ тѣхъ ежедневныхъ, ежечасныхъ, ежеминутныхъ опытовъ и наблюденій, которые постепенно убѣждаютъ его, что цѣлое больше части, что если къ двумъ равнымъ величинамъ прибавить по равной величинѣ, то суммы будутъ равны, и т. д. Такъ что впоследствии, будучи представлена человѣку въ своемъ отвлеченномъ отъ конкретной обстановки видѣ, аксіома кажется ему нетребующею опытно-наблюдательнаго подтвержденія. Въ сущности же она есть не болѣе, какъ обобщеніе единичныхъ, разбросанныхъ представленій и ощущеній, съ самаго дня рожденія залегавшихъ въ его памяти. Такимъ же путемъ сознательнаго или безсознательнаго опыта получа-

ются наши знанія и о предметахъ болѣе сложныхъ. Ни внѣ насъ, ни внутри насъ мы не можемъ признать существованія какихъ либо особыхъ дѣятелей, дающихъ намъ, помимо опыта, готовыя рѣшенія насчетъ нашихъ отношеній къ природѣ и къ другимъ людямъ. Человѣкъ рождается, имѣя только орудія для пріобрѣтенія знаній и оцѣнки явленій вообще и не принося съ собою на свѣтъ никакихъ готовыхъ истинъ. Все наше психическое содержаніе безъ остатка, т. е. всѣ наши мысли, знанія, будутъ ли они истинны или ложны, всѣ наши желанія и чувства, будутъ ли они хороши или дурны, — обязаны своимъ происхожденіемъ опыту. Было бы однако ошибочно думать, что вся сумма знаній, чувствъ и желаній каждаго человѣка дана его личнымъ опытомъ. Опытъ предковъ безъ сомнѣнія производитъ въ дѣломъ ряду поколѣній болѣе или менѣе грубокія измѣненія въ нервной системѣ, такъ что мозгъ новорожденного ребенка не есть *tabula rasa*. Однако, поскольку человѣкъ можетъ прослѣдить генезисъ своихъ инстинктовъ и всего своего психического содержанія, оно вначалѣ все-таки опредѣляется опытомъ. Иначе говоря, содержаніе нашего я есть всегда исключительно эмпирическое. Содержаніе это можетъ постоянно измѣняться, но въ каждую данную минуту человѣкъ отрѣшиться отъ него не можетъ. Поэтому представленія и ощущенія, получаемыя нами въ данную минуту отъ даннаго явленія, самымъ существеннымъ образомъ опредѣляются тѣмъ порядкомъ, въ которомъ расположились въ нашемъ психическомъ строѣ прежде накопленные опыты и наблюденія. Совокупность этихъ предъидущихъ данныхъ опыта, сгруппированныхъ тѣмъ или другимъ образомъ, составляетъ предвзятое мнѣніе. Ребенокъ, привлеченный блестящимъ видомъ нагрѣтаго самовара, дотрогивается до него рукой и обжигается. Онъ узнаетъ, что самоваръ жжется, что, въ переводѣ на болѣе точный языкъ, значить: нагрѣтый самоваръ, придя въ соприкосновеніе съ человѣческимъ тѣломъ, производитъ въ немъ ощущение жара, которое, будучи усилено, становится болѣзненнымъ. Но такое отчетливое представленіе своихъ отношеній къ самовару воз-

можно для ребенка только гораздо позже. Сначала у него остается в памяти только тот фактъ, что блестящее тѣло известной формы (которую онъ запомнилъ вѣроятно только приблизительно) жжется. Это сырое, неотдѣланное, изолированное представленіе служить ему уже нѣкоторымъ руководителемъ въ его несложной жизни. Увидя на другой, на третій день блестящую поверхность, сходную съ поверхностью самовара, или тотъ же самоваръ, ребенокъ смотритъ на него уже съ тѣмъ предвзятымъ мнѣніемъ, что онъ жжется. Воображеніе и память комбинируютъ для него опытъ прошедшаго съ новымъ или только повторяющимся явленіемъ. Но группировка ощущеній, составляющая его предвзятое мнѣніе, оказывается неудовлетворительною и потому приводитъ его къ ряду ошибокъ. Рядъ дальнѣйшихъ вольныхъ или невольныхъ опытовъ и наблюденій убѣждаетъ его, наконецъ, задолго до рациональной теоретической группировки соотносящихся фактовъ, что не всякая блестящая поверхность жжется, что и самый самоваръ жжется только когда онъ нагрѣтъ, что для полученія ощущенія боли надо держать палецъ у самовара известное время и т. д. Здѣсь мы имѣемъ явленіе опять-таки очень простое и потому ступени ложныхъ предвзятыхъ мнѣній пробѣгаютъ тутъ весьма быстро. Однако не слѣдуетъ думать, чтобы даже въ такихъ несложныхъ вещахъ предвзятое мнѣніе не могло существеннымъ образомъ измѣнить значеніе непосредственнаго свидѣтельства чувствъ. Мнѣ самому случилось видѣть—и вѣроятно всякій припомнитъ аналогичные факты— какъ ребенокъ, дотропувшись до холоднаго металлическаго кофейника, заплакалъ и показывалъ на свой палецъ какъ на обожженный. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, которыхъ въ особенности много можетъ привести исторія предразсудковъ и суевѣрій, ложное предвзятое мнѣніе, построенное на ошибочно или односторонне обобщенныхъ представленіяхъ и ощущеніяхъ, совершенно парализируетъ и извращаетъ непосредственное воспріятіе; говоря психологическимъ языкомъ,— апперцепція перевѣшиваетъ перцепцію. Для уясненія значенія апперцепціоннаго процесса каждый можетъ сдѣлать слѣдующій

простой опытъ. Посмотрите съ извѣстнаго разстоянія, напри-
мѣръ на вывѣску хоть мелочной лавочки. Вы увидите болѣе
или менѣе ясныя очертанія плодовъ, сахарныхъ головъ, пече-
ныхъ хлѣбовъ и т. д. Положимъ, что, при силѣ вашего зрѣнія
и съ того мѣста гдѣ вы находитесь, вы можете разглядѣть на
вывѣскѣ яблоко, пару грушъ и еще что-то круглое, но для
васъ не совсѣмъ ясное. Вы берете зрительную трубку, и при
помощи ея усматриваете, что это гдѣ-то неясное изображаетъ
виноградную кисть. Вы оставляете трубку, смотрите на вывѣс-
ску опять простыми глазами и на этотъ разъ можете уже раз-
смотрѣть очертанія той самой виноградной кисти, которая за-
нѣсколько минутъ передъ тѣмъ представлялась вамъ просто
круглымъ пятномъ. Предшествующее впечатлѣнiе, въ этомъ
случаѣ полученное при помощи зрительной трубки, что разу-
мѣется не обязательно, называется апперцепирующимъ. Перцеп-
ция или непосредственное воспрятiе, полученное въ данную
минуту, осложняется апперцепцiей или тѣми впечатлѣнiями, ко-
торыя получены наблюдателемъ раньше. Вы рассмотрѣли во
второй разъ простыми глазами виноградную кисть только по-
тому, что предварительный опытъ приготовилъ васъ къ ея усмо-
трѣнiю, надѣлилъ васъ предвзятымъ мнѣнiемъ, безъ котораго
вы и во второй и въ третiй разъ виноградной кисти не раз-
глядѣли бы. Въ этомъ опытѣ съ вывѣской мы, такъ сказать,
уединяемъ апперцепцiю и потому влiяние ея становится очевиднымъ.
Но собственно говоря, всякое наблюденiе и всякiй психическiй
процессъ состоитъ въ неизбѣжно совокупномъ дѣйствии перцепцiи
и апперцепцiи, и вторженiе послѣдней можетъ совершенно извра-
тить свидѣтельство чувствъ. По непривычкѣ къ самонаблюде-
нiю, мы обыкновенно не замѣчаемъ подобныхъ фактовъ, потому
что либо апперцепцiя дѣйствительно совпадаетъ съ перцепцiей,
либо первая совершенно заслоняетъ для нашего сознанiя вторую,
и въ такомъ случаѣ онѣ субъективно тождественны. Вторженiе
аперцепцiи можетъ происходить на очень разнообразныя лады
и давать очень разнообразныя результаты. Въ вышеприведен-
номъ примѣрѣ она только дополнила перцепцiю и помогла уви-

дѣть то, что дѣйствительно было. Но она можетъ и помѣшать увидѣть существующій фактъ, и освѣтить его невѣрнымъ свѣтомъ. Вы часто можете разсмотрѣть ту же виноградную кисть на вывѣскѣ мелочной лавочки съ такого разстоянія, съ какого не увидите предмета такихъ же размѣровъ, по вамъ менѣе знакомаго. Всѣ эти вывѣски рисуются на одинъ и тотъ же манеръ, впечатлѣнія вы отъ нихъ сотни разъ получали одни и тѣ же, и сумма ихъ составляетъ для васъ то предвзятое мнѣніе, въ силу котораго вы можете увидѣть виноградную кисть на очень отдаленномъ разстояніи. Но предположимъ, что на какой-нибудь вывѣскѣ живописецъ измѣнилъ рутинѣ и нарисовалъ вмѣсто обычной виноградной кисти ананасъ. Легко можетъ быть, что вы, даже на относительно близкомъ разстояніи, увидите не ананасъ, какъ должна бы была засвидѣтельствовать перцепція, а виноградную кисть, какъ вамъ подсказываетъ апперцепція. И вы будете утверждать, что вы видѣли виноградную кисть собственными глазами, и вы будете не совсѣмъ неправы. Въ первой статьѣ мы привели нѣсколько заимствованныхъ у Спенсера характерныхъ примѣровъ извращенія наблюденій ложными апперцепирующими представленіями. Происхожденіе этихъ представленій необходимо опытное, по лежащей въ основѣ ихъ опытъ можетъ быть не полонъ, одностороненъ, совсѣмъ невѣренъ, наконецъ можетъ быть извращенъ болѣе ранними ложными апперцепціями. Но точно также апперцепція можетъ быть и совершенно безупречна. Во всякомъ случаѣ, такъ или иначе, апперцепціонный процессъ неизбѣженъ. Онъ состоитъ, какъ видитъ читатель, въ томъ, что при всякомъ чувственномъ воспріятіи, въ нашемъ сознаніи особенно отчетливо поднимаются тѣ предидущія впечатлѣнія, которыя имѣютъ съ даннымъ воспріятіемъ какое нибудь сходство. Воображеніе и память комбинируютъ воспріятіе съ соответственными сторонами нашего уже установившагося эмпирическаго содержанія, и эта новая комбинація немедленно входитъ какъ одинъ изъ элементовъ въ психическое содержаніе. Все это располагается въ нашемъ психическомъ строѣ въ извѣстномъ порядкѣ, который однако въ большинствѣ

случаевъ представляетъ большой безпорядокъ, благодаря условіямъ современной жизни: собственный опытъ ранняго дѣтства, комбинируясь съ бабушкиными сказками, можетъ породить въ насъ такія чувства, слѣды которыхъ остаются и въ взросломъ человѣкѣ; сочетаніе болѣе поздняго опыта съ впечатлѣніями, полученными отъ чтенія какого нибудь опредѣленнаго рода книгъ, можетъ дать начало новому слою заблужденій и т. д. Поэтому въ этой сложной сѣти часто бываетъ весьма трудно добраться до первыхъ источниковъ какого нибудь ошибочнаго возрѣнія. «Спросите — говоритъ Спенсеръ — любого изъ передовыхъ нашихъ геологовъ и физиологовъ (это писано еще до появленія книги Дарвина), вѣритъ ли онъ въ легендарное объясненіе сотворенія міра—онъ сочтетъ вашъ вопросъ за обиду. Онъ или вовсе отвергаетъ это повѣствованіе, или принимаетъ его въ какомъ-то неопредѣленномъ, неестественномъ смыслѣ. Между тѣмъ, одну часть этого повѣствованія онъ безсознательно принимаетъ, и принимаетъ даже слишкомъ буквально. Откуда онъ заимствовалъ понятіе объ «отдѣльности твореній», которое считаетъ столь основательнымъ и за которое такъ мужественно сражается? Очевидно онъ не можетъ указать никакого другого источника, кромѣ того міра, который отвергаетъ. Онъ не имѣетъ ни одного факта въ природѣ, который могъ бы привести въ подтвержденіе своей теоріи; у него не сложилось также и цѣпи отвлеченныхъ доктринъ, которая могла бы придать значеніе этой теоріи. Заставьте его откровенно высказаться, и онъ долженъ будетъ сознаться, что это понятіе было вложено въ его голову еще съ дѣтства, какъ часть тѣхъ разсказовъ, которые онъ считаетъ теперь нелѣпыми. Но почему, отвергая все остальное въ этихъ разсказахъ, онъ такъ ревностно защищаетъ послѣдній ихъ остатокъ, какъ будто почерпнутый имъ изъ какого нибудь достовѣрнаго источника, — это онъ затруднится сказать» (Т. I, Опыты. «Гипотеза развитія», 178). Въ этихъ случаяхъ въ области психическихъ явленій происходитъ своего рода атавизмъ: заглухнувшее относительно нѣкоторыхъ частей предшественіе вдругъ встаетъ во всей силѣ и въ тайнѣ руково-

дять наблюдателя, безъ вѣдома его сознанія. Наблюдатель вслѣдствіе этого видитъ то, чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ, не видитъ того, что встрѣчается на каждомъ шагу, придаетъ важное значеніе самымъ бѣднымъ доводамъ и не убѣждается таблицею умноженія. Противъ этого рода опасностей есть только одно средство: по возможности тщательно провѣрять свое эмпирическое содержаніе и отыскивать его источники. Если комбинація воспріятіи, лежащихъ въ основу предвзятаго мнѣнія, признана и можетъ быть формулирована, она обращается въ теорію, допускающую критическое отношеніе къ себѣ. Теорія эта можетъ, безъ сомнѣнія, также служить источникомъ ложныхъ апперцепирующихъ представленій, какъ напримѣръ въ случаѣ двухъ микроскопистовъ, придерживающихся различныхъ теорій и вслѣдствіе этого видящихъ подъ однимъ и тѣмъ же микроскопомъ, въ одномъ и томъ же явленіи, различныя вещи. Въ этомъ случаѣ каждый изъ наблюдателей видитъ только то, что желаетъ видѣть, чего онъ ищетъ, и не видитъ того, чего не ищетъ. Оба ссылаются на свои непосредственныя впечатлѣнія и потому взаимная повѣрка обѣихъ теорій прямымъ наблюденіемъ весьма затруднительна. Но за то здѣсь остается другой путь къ повѣркѣ. Такъ какъ теорія составляетъ рядъ сознательныхъ обобщеній отдѣльныхъ фактовъ и вся эта цѣпь наблюденій и обобщеній, расположенныхъ въ извѣстномъ порядкѣ, находится у всѣхъ на виду, то всякій можетъ вернуться къ самымъ источникамъ теоріи. Такимъ образомъ, кромѣ вопроса: что видитъ микроскопистъ въ данномъ явленіи? чего онъ въ немъ ищетъ?—кромѣ этого вопроса можетъ быть заданъ иной, а именно: имѣетъ ли микроскопистъ логическое и научное право искать именно этого, а не чего либо другого. Другими словами, оправдывается ли его теорія фактами, уже прочно стоящими въ наукѣ? Если такое оправданіе существуетъ, то можно думать, что наблюденіе, сдѣланное подъ вліяніемъ соответствующей теоріи, вѣрно.—Если же нѣтъ, то теорія получаетъ права и обязанности гипотезы въ ожиданіи полученія инымъ путемъ такихъ научныхъ данныхъ, которыя либо под-

*

твердятъ, либо уничтожать гипотезу. Совсѣмъ иное дѣло бываетъ съ предвзятымъ мнѣніемъ, несознаннымъ, состоящимъ изъ невѣдомаго самому изслѣдователю сочетанія воспріятій, невылившимся въ ясную для него самого формулу. Обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ человѣкъ говоритъ, что онъ приступаетъ къ изслѣдованію безъ всякаго предвзятаго мнѣнія. Но хотя въ обыкновенномъ разговорномъ языкѣ такое выраженіе имѣетъ нѣкоторый достаточно опредѣленный смыслъ, однако, строго говоря, этотъ человѣкъ, заявляющій о своемъ безусловномъ безпристрастіи, говоритъ неправду. Утвержденіе его отнюдь не значитъ, чтобы онъ могъ дѣйствительно отрѣшиться отъ готовыхъ уже въ его головѣ обобщеній. Оно въ лучшемъ случаѣ означаетъ только, что обобщенія эти образуютъ пѣшь, для него самого неясную (въ худшемъ оно показываетъ, что человѣкъ собирается просто намѣренно извратить истину). И потому здѣсь несравненно труднѣе убѣдиться въ ошибочности своего воззрѣнія и отнестись къ нему критически; здѣсь приходится имѣть дѣло съ невидимыми и неизвѣстными врагами, которые однако неуклонно слѣдятъ за каждымъ вашимъ шагомъ и даютъ себя чувствовать тамъ, гдѣ вы ихъ всего менѣе можете ожидать. Отрѣшиться отъ своего эмпирическаго содержанія столь же трудно, какъ напимѣръ вывернуться наизнанку. Можно только замѣнить одно содержаніе другимъ, для чего первое должно быть приведено въ совершенную ясность и должны быть тщательно выслѣжены тѣ пути, которыми человѣкъ дошелъ до такихъ-то именно воззрѣній. А это невозможно, если человѣкъ придаетъ строгое значеніе своему обѣщанію приступить къ изслѣдованію безъ всякаго предвзятаго мнѣнія, ибо это значитъ, что человѣкъ не знаетъ, что дѣлается въ его головѣ. Современный филологъ можетъ съ изумленіемъ остановиться на томъ фактѣ, что древніе римляне называли германскія племена варварами и считали ихъ совершенно особою, низшею порою людей, «тогда какъ между языкомъ Цезаря и языкомъ варваровъ, противъ которыхъ онъ воевалъ въ Галліи и Германіи, было столько же сходства, какъ между его языкомъ и

языкомъ Гомера» (Максъ Мюллеръ. Лекціи по наукѣ о языкѣ и проч. Спб. 1865. Стр. 91). «Мужъ съ остроуміемъ Цезаря— прибавляетъ Максъ Мюллеръ — непременно замѣтилъ бы это, еслибы не былъ ослѣпленъ традиціонною фразеологіей». Далѣе, приведя въ примѣръ спряженіе глагола *имѣть* въ латинскомъ и готскомъ языкахъ, знаменитый лингвистъ говоритъ: «Для того, чтобы не замѣтить такого сходства, требуется въ самомъ дѣлѣ порядочная доля слѣпоты, или лучше, глухоты, и причиною такой слѣпоты или глухоты было, я думаю, единственно слово *варваръ*» (92). Дѣло въ томъ, что римляне, бывшіе въ глазахъ грековъ въ свое время сами варварами, получивъ отъ нихъ это готовое выраженіе, приложили его ко всѣмъ народамъ, за исключеніемъ себя и своихъ цивилизаторовъ— грековъ. Ни съ какимъ опредѣленнымъ смысломъ выраженіе это не связывалось, никакого опредѣленнаго, яснаго содержанія не имѣло, кромѣ чисто отрицательнаго: не римляне, не греки. Въ пору малаго знакомства грековъ съ другими народами, слово «варваръ» имѣло нѣкоторый историческій смыслъ. Греческое ухо, недостаточно развитое опытомъ въ этомъ направленіи, не умѣло различать звуки чуждыхъ языковъ, хотя, надо замѣтить, греки различали варварогласныхъ, т.-е. худо говорящихъ погречески, и собственно варваровъ. Такимъ образомъ, противопоставленіе варваровъ грекамъ было слѣдствіемъ недостаточности опыта, а не причиною его. Но разъ установившійся традиціоннымъ путемъ, слово «варваръ» легло въ основаніе предвзятаго мнѣнія, въ силу котораго греки и позднѣе римляне не могли замѣтить сходства между своими языками и языками варваровъ, несмотря на постоянныя столкновенія. Максъ Мюллеръ полагаетъ, что это предвзятое мнѣніе было разрушено и могло быть разрушено только христіанствомъ. «Идея всего человѣчества, какъ одного семейства, какъ дѣтей одного Бога, родилась изъ христіанства, и наука человѣчества и языковъ человѣчества есть наука, которая безъ христіанства никогда не вступила бы въ жизнь. Когда людей стали учить смотрѣть на всѣхъ ближнихъ, какъ на братьевъ,

тогда только разнообразіе человѣческой рѣчи представилось вопросомъ, призывающимъ къ своему рѣшенію глубокомысленныхъ наблюдателей, и поэтому я считаю настоящее начало науки о языкѣ съ перваго дня Пятидесятницы. Послѣ этого дня освобожденныхъ языковъ изливается новыи свѣтъ надъ міромъ, и нашимъ взорамъ являются предметы, скрывавшіеся отъ глазъ народовъ древности. Старыя слова принимаютъ новое значеніе, старые вопросы получаютъ новый интересъ, старыя науки новую цѣль» (Ibid.) Хотя значеніе христіанства здѣсь преувеличено, но въ миѣніи Макса Мюллера есть значительная доля правды. Во всякомъ случаѣ, судьба слова «варваръ» представляетъ прекрасный примѣръ ликвидаціи психическаго содержанія человѣческаго я. Воспріятія, полученныя греками при первыхъ ихъ столкновеніяхъ съ другими народами, убѣдили ихъ, что существуютъ на свѣтѣ не-греки, люди, отличные отъ грековъ. Дальнѣйшая классификація этихъ не-грековъ была на первыхъ порахъ невозможна. Зная только себя, греки не могли ориентироваться въ массѣ чуждыхъ правовъ, языковъ, понятій. Ихъ психическій аппаратъ былъ приготовленъ предъидущимъ опытомъ только къ отличенію своихъ порядковъ отъ не своихъ. Уразумѣть жизнь, нѣсколько отличную отъ ихъ жизни, они не могли, и потому естественно преувеличивали черты различія между ними и варварами и уменьшали значеніе различій въ средѣ самыхъ варваровъ. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ ближайшаго знакомства съ другими народами, такая грубая классификація должна была необходимо пасть и повидимому римлянамъ было особенно легко съ ней разстаться, такъ какъ они и сами считались нѣкогда варварами, и имѣли столкновенія въ Европѣ, Азій и Африкѣ съ очень разнообразными народностями. Но здѣсь стало поперегъ дороги слово «варваръ». Порожденное сходствомъ впечатлѣній, полученныхъ во время знакомства съ разными народами, и усвоенное путемъ безсознательной традиціи, слово это обратилось въ какую-то перегородку, изъ-за которой римляне не могли разсмотрѣть нѣкоторыхъ чертъ въ характерѣ варваровъ. Маленькое и совершенно без-

смысленное словечко давало пищу національному самолюбию, презрѣнію къ другимъ народамъ, но ни одинъ римлянинъ не соединялъ со словомъ *варваръ* какого нибудь опредѣленнаго представленія. Фактъ смутныхъ и одностороннихъ воспріятій былъ безсознательно возведенъ въ принципъ. Непосредственное свидѣтельство чувствъ, руководимое несознаннымъ предвзятымъ мнѣніемъ, говорило въ пользу глубокаго различія между варварскимъ міромъ и міромъ греко-римскимъ. Факты сходства не замѣчались, факты различія преувеличивались, такъ что вытолкать понятіе о варварствѣ прямое наблюденіе не могло— оно напротивъ закрѣпощало его. Нужно было какое нибудь коренное измѣненіе со стороны, новая точка зрѣнія на самыя общія и элементарныя основанія международныхъ отношеній, чтобы перегородка между греко-римлянами и варварами развалилась. Нужно было ликвидировать всю эту сторону психическаго содержанія римлянъ, т.-е. дать новую руководящую нить на столько сильную и основную, чтобы она могла захватить корни предвзятаго мнѣнія о варварствѣ, и тогда вѣтви отвалились бы сами собой; сознательное отношеніе къ вѣковому предразсудку, основанному на одностороннемъ сочетаніи воспріятій, должно было совершенно и благотворно измѣнить значеніе прямого опыта. И конечно, космополитическая христіанская идея была въ этомъ случаѣ однимъ изъ важнѣйшихъ стимуловъ. Такъ или иначе, она разбила перегородку, или, по крайней мѣрѣ, весьма сильно помогла разбить ее. Такимъ образомъ ликвидація психическаго содержанія, смѣна одного содержанія другимъ можетъ произойти не иначе, какъ путемъ его уясненія. До тѣхъ же поръ, пока наше психическое содержаніе не приведено въ ясность, пока не изучены его корни, объ отрѣшеніи отъ даннаго эмпирическаго содержанія нечего и думать, и всякая подобная попытка должна потерпѣть полное фіаско.

Отвлеченныя категоріи, представляющія въ эксцентрическомъ періодѣ развитія руководящія принципы въ области мысли и практической жизни, составляютъ именно такія попытки отрѣшиться отъ даннаго эмпирическаго содержанія. Такова напри-

мѣръ пресловутая формула «искусство для искусства» или «чистое искусство». Собственно говоря, эта ходячая условная формула отнюдь не соответствуетъ дѣйствительнымъ качествамъ тѣхъ явленій, которыя ею обозначаются; собственно говоря, чистое искусство есть миражъ, одна изъ тѣхъ многочисленныхъ вещей, которыми человекъ самъ себя обманываетъ. Пренія о цѣли и значеніи искусства составляли у насъ недавно столь любимую тѣму, что безъ сомнѣнія успѣли порядочно надоѣсть обществу. Но читатель можетъ успокоиться,—мы будемъ кратки. Для оцѣнки истиннаго значенія принципа искусства для искусства слѣдуетъ условиться насчетъ пониманія словъ «прекрасное», «красота». Люди, исповѣдующіе культъ чистой, идеальной красоты, или прямо говорятъ о себѣ:

Воспѣваетъ, простодушный,
Онъ любовь и красоту
И науки имъ ослушной
Суету и пустоту. (Баратынскій).

Или же заявляютъ, что, воплиѣ уважая науку и великіе нравственные принципы, они тѣмъ не менѣе отмежевываютъ себѣ совершенно особый уголокъ дѣятельности, куда не допускаются ни теоретическое знаніе, ни тревоги практической жизни, гдѣ все прекрасно, гдѣ поколѣніе за поколѣніемъ служить одной чистой идеѣ красоты, принося ей художественныя жертвы. Мы чистые художники, говорятъ жрецы идеи прекраснаго, мы не знаемъ и знать не хотимъ никакихъ тенденцій, т.-е. никакихъ субъективныхъ отношеній къ создаваемымъ нами образамъ, устрояемъ всякія свои личныя симпатіи и антипатіи, кромѣ тѣхъ, которыя опредѣляются идеею прекраснаго. Но въ чемъ же состоитъ это «прекрасное», эта «красота»? Мы видимъ, что понятія о красотѣ древняго грека, индуса, средневѣковаго монаха, современнаго итальянца, голландца, китайца, француза, представителя высшихъ слоевъ общества, русскаго крестьянина, наконецъ понятія Петра, Ивана, хотя и имѣютъ нѣкоторые общіе пункты, но въ общемъ совершенно различны. Съ точки

зрѣнія врожденныхъ идей фактъ этого разнообразія совершенно теменъ и непонятенъ. Но мы легко поймемъ значеніе всѣхъ развѣтвленій и метаморфозъ понятія о прекрасномъ, если признаемъ, что понятіе это слагается эмпирическимъ путемъ, путемъ комбинированія тѣхъ пріятныхъ ощущеній, которыя получаетъ на своемъ вѣку и на своемъ мѣстѣ каждая индивидуальная и соціальная единица. Оставляя въ сторонѣ индивидуальныя особенности, какъ второстепенныя, посмотримъ, какъ складываются коллективныя понятія о красотѣ напримѣръ чело-вѣческаго тѣла. Если данная соціальная группа въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній испытывала наслажденіе власти, она необходимо внесетъ соотвѣтственный элементъ въ свой идеаль красоты: величественную поступь, повелительныя жесты и взгляды, гордый поворотъ головы. И такимъ же образомъ отражаются въ понятіи о красотѣ всѣ остальные эмпирическія условія, которыя выработаны для данной группы историческимъ путемъ общественныхъ дифференцированій. Рутинный типъ идеальной красоты высшихъ слоевъ европейскаго общества извѣстенъ: блѣдное или съ слабымъ румянцемъ лицо, прямой лобъ, мало развитыя скулы, тонкія кости, маленькія руки и ноги, томные или страстные, вообще выразительныя глаза и т. д. Всѣ эти элементы такъ называемой идеальной красоты даны не идеальнымъ, а эмпирическимъ порядкомъ вещей. Все это существенныя признаки такой общественной единицы, которая въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ воспитывала въ себѣ интеллектуальную сторону насчетъ физической, или — что то же — жила насчетъ труда другихъ общественныхъ единицъ. Ни одинъ изъ этихъ элементовъ не могъ войти въ идеаль красоты напримѣръ русскаго мужика. За неимѣніемъ досуга, онъ не могъ испытать пріятныхъ ощущеній, даваемыхъ умственнымъ развитіемъ, не могъ выработать себѣ высокаго, прямого лба и задержать развитіе скуловыхъ костей и нижней челюсти, и потому ни въ грошъ не ставитъ личной уголь; не испыталъ онъ и удовольствія мечты и потому не оцѣнитъ томныхъ глазъ; не входятъ въ составъ его идеала красоты и тонкія кости и блѣд-

ный пвѣтъ лица. Десять идеальныхъ красавицъ высшаго круга опъ отдастъ за одну умѣренно полную бабу съ здоровыми руками и румянцемъ во всю щеку. Точно также ожирѣвшій идеаль напрымѣръ купческаго сословія совершенно соотвѣтствуетъ существующимъ условіямъ этой социальной группы, удаленной и отъ тяжкаго труда и отъ утонченнаго развитія страстей и отъ умственнаго развитія. Изъ этого слѣдуетъ, что идеально прекрасное, будучи понятіемъ относительнымъ, находится въ тѣсной связи съ идеалами нравственности, добра, умственной мощи, и эстетическая способность, т.-е. способность чутъ красоту, переплетается множествомъ нитей съ остальными психическими силами; такъ какъ силы эти питаются, какъ корнями, тѣми же ощущеніями, сочетаніе которыхъ ложится въ основу идеально прекраснаго. Въ нашемъ понятіи о красотѣ отражаются въ большей или меньшей степени всѣ наши обычные мысли, чувства и желанія; оно опредѣляется эмпирическимъ содержаніемъ нашего я, и именно количествомъ и качествомъ нашихъ знаній о природѣ и человѣкѣ и количествомъ и напряженностью чувствъ и желаній, вызванныхъ знаніемъ. Элементы эти, тѣмъ или другимъ образомъ сгруппированные, ложатся съ одной стороны въ основаніе идеально-прекраснаго, а съ другой составляютъ то предвзятое мнѣніе, съ которымъ художникъ смотритъ на Божій міръ для извлеченія изъ него своихъ образовъ. Вопросъ только въ томъ, — можетъ ли дать себѣ художникъ отчетъ въ своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ, желаніяхъ и стремленіяхъ, сознаетъ ли онъ свою собственную личность, или же онъ усвоилъ свои понятія о красотѣ инстинктивно, всасывая извѣстную атмосферу всѣми порами своего существованія съ ранняго дѣтства или даже унаслѣдовавъ свои воззрѣнія отъ предковъ, и не имѣлъ въ теченіе жизни случая и возможности вернуться къ ихъ источникамъ. Въ первомъ случаѣ художникъ можетъ силою сознанія ликвидировать свое эмпирическое содержаніе и замѣнить одинъ идеаль другимъ. Во второмъ это невозможно, и художникъ будетъ утверждать, что онъ жрецъ чистаго искусства. Поклоняясь красотѣ, онъ думаетъ

что онъ ратуеть за чистую, идеальную красоту, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ только возводитъ въ принципъ тѣ черты эмпирической такъ-сказать красоты, которыя ему доступны; онъ ратуеть только за тѣ условія, которыя дали возможность выработаться этой эмпирической красотѣ. Провозглашая принципъ искусства для искусства, онъ думаетъ, что его произведенія относятся къ изображаемому имъ предмету совершенно объективно, но на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ. Въ сущности претендовать на объективное изображеніе можетъ только безличная фотографія. Но эта объективность покупается цѣною смысла: фотографія передаетъ напимѣръ человеческое лицо въ такомъ видѣ, въ какомъ застала его въ данное мгновеніе. Она передаетъ съ одинаково безучастною отчетливостью всѣ подробности отъ формы и положенія пуговицы до формы и выраженія глазъ, и въ силу самой этой своей отчетливости не можетъ передать жизни лица, выбрать изъ ряда непрерывно измѣняющихся чертъ наиболѣе для даннаго предмета характерныя. Человѣкъ же неизбѣжно даетъ свое субъективное содержаніе всякому создаваемому или передаваемому имъ образу. Донъ-Кихотъ, Гамлетъ, Отелло, Манфредъ, типы Ликкепса и Теккерея, Чичиковъ, Плюшкинъ, Маниловъ, — все это не только живыя лица, но лица, понятія художникомъ. Всякое художественное произведеніе есть не только изображеніе предмета, но и сужденіе о немъ. Первокласный художникъ имѣетъ въ рукахъ своего сознанія всѣ нити своихъ сужденій, тогда какъ художникъ мелко-травчатый до такой степени руководствуется инстинктомъ, что даже и не подозрѣваетъ, что придерживается тѣхъ или другихъ, но непремѣнно придерживается тенденцій, произноситъ надъ явленіемъ тотъ или другой нравственный судъ. Разница только въ томъ, что одинъ художникъ вноситъ въ свои произведенія содержаніе крупное, другой — мелкое; у одного идеаль не совпадаетъ съ дѣйствительностью, и въ такомъ случаѣ тенденція выступаетъ ярко; у другого — критеріи для оцѣнки явленной есть специально эстетическіи, рутинно и бессознательно усвоенный художникомъ. Но этотъ специально эстетическіи кри-

терій викроєнь изъ чисто эмпирическихъ условій, онъ представляетъ возведенный въ принципъ голый фактъ, и потому скрытая, неясная для самого художника тенденція состоитъ въ этомъ случаѣ въ санкціи факта. Дѣло значить только въ томъ, что идеаль жреца искусства для искусства не возвышается надъ уровнемъ дѣйствительности. И такое возведеніе факта въ принципъ необходимо всегда имѣеть мѣсто, когда фактъ оцѣнивается съ точки зрѣнія нѣкоторой отвлеченной категоріи, представляющей результатъ обособленія и специализаціи одной какойнибудь психической силы. Высшая объективность, какой можетъ достигнуть художникъ, состоитъ въ полномъ и всестороннемъ проникновеніи жизнью своихъ образовъ, а это не можетъ быть достигнуто фотографическимъ, безтенденціознымъ путемъ. Чистое искусство, — это нѣчто невозможное, несуществующее, немислимое. Закажите художнику нарисовать напримѣръ убійство Юлія Цезаря. Положимъ, что онъ пожелаетъ устранить всякія тенденціи и сохранить безусловное безпристрастіе. Изобразить онъ кучу римскихъ посовъ, плѣшивую голову Цезаря, рядъ римскихъ тогъ, худощавую фигуру Кассія, поднятые кинжалы и проч. Но какуюнибудь мыслишку, хоть самую жалкую, да вставитъ онъ въ эту кучу. И если онъ будетъ настаивать на своемъ безпристрастіи, то это покажетъ только, что данное событіе не останавливало на себѣ его особеннаго вниманія, а извѣстная мысль о немъ все-таки въ немъ сидитъ. Только онъ не знаетъ, какъ и откуда получена имъ мысль, — можетъ быть изъ учебника исторіи, изъ отрывочныхъ разговоровъ и проч. Во всякомъ случаѣ, картина его будетъ, по всей вѣроятности, санкціей какогонибудь ходячаго воззрѣнія и возведеніемъ факта этого воззрѣнія въ принципъ.

Таковы основанія и результаты попытокъ вылѣзти изъ своей собственной кожи, отрѣшиться отъ своего эмпирическаго содержанія. Таковы же они и во всѣхъ подобныхъ случаяхъ. «Наши общія идеи — говоритъ Милль — содержатъ лишь то, что было вложено въ нихъ либо нашимъ невольнымъ опытомъ, либо нашими дѣятельными привычками мысли. И метафизики

всѣхъ вѣковъ, пытавшіеся построить законы вселенной умозаключеніемъ отъ предполагаемыхъ необходимостей нашей мысли, всегда дѣйствовали и могли дѣйствовать, лишь ревностно открывая въ своемъ умѣ то, что сами предварительно въ него вложили, и выпутывая изъ своихъ идей о вещахъ то, что они сами сначала впутали. Этимъ путемъ всѣ глубоко коренящіяся мнѣнія и чувства способны создать мнимыя доказательства ихъ истинности и разумности, повидимому вытекающія изъ ихъ сущности» (Система логики. II, 308). Въ наукѣ общественной и вообще въ вопросахъ, непосредственно затрагивающихъ интересы человѣка, особенно было сильное вѣрованіе, что чистый разумъ есть преобладающій источникъ знаній. Съ этого основанія и до сихъ поръ не сдвинулась наука права. Царящая въ ней идея справедливости есть отвлеченная категорія, совершенно аналогичная съ идеею чистаго искусства и идеальной красоты. Принципы международныхъ и междуличныхъ отношеній, добытые эксцентрическимъ путемъ, представляютъ точно также закрѣпленіе эмпирическихъ фактовъ, ихъ сакцію, возведеніе въ принципъ. Цивилистъ, полагая, что онъ изучаетъ природу чистаго разума, въ сущности только «открываетъ въ немъ то, что предварительно въ него вложилъ», и если онъ настаиваетъ на законности своихъ пріемовъ, то только потому, что не можетъ подвести итога своего собственнаго эмпирическаго содержанія. Еще очевиднѣе это относительно криминалиста и особенно криминалиста-объективиста. Утверждая, что онъ относится къ факту преступленія совершенно объективно, съ высоты безусловной справедливости, незнающей пристрастія, криминалистъ не подозреваетъ, что вся его система сплошь окрашена густою краскою пристрастія къ эмпирическому, исторически-сложившемуся порядку вещей. Несмотря на идеалистическую подкладку его теоріи, его идеаль общественныхъ отношеній не возвышается надъ дѣйствительностію; онъ считаетъ справедливымъ именно данный порядокъ вещей и достойнымъ возмездія только нарушеніе этого порядка. Несмотря на свою объективность и свое устраненіе отъ предвзятыхъ мнѣній, отъ всего своего эмпири-

ческаго содержанія, онъ втайнѣ, безсознательно руководится предвзятымъ мнѣніемъ о разумности и справедливости выработанныхъ исторією отношеній. И здѣсь, какъ въ дѣлѣ искусства, единственная, доступная человѣку объективность состоитъ во всесторонней оцѣнкѣ фактовъ и въ цѣлостной постановкѣ вопросовъ, въ прошикновеніи жизнью преступника. Полное олицетвореніе безусловной справедливости есть палачъ. Не даромъ ирраціональнѣйшій католикъ и абсолютистъ де-Мэстръ видитъ въ палачѣ нѣчто высшее, сверхчеловѣческое. Я не знаю, можетъ быть, и сверхчеловѣческое, но во всякомъ случаѣ нечеловѣческое, какъ нечеловѣчна объективность фотографіи. Палачъ — этотъ бездушный специалистъ, непонимающій, кого и за что онъ готовится поразить, и полагающій все свое самолюбіе въ томъ, чтобы артистически вздернуть веревку или ловко вытянуть плетью, машина, неволнующаяся, нескорбящая и ненегодующая — вотъ идеаль безусловной справедливости. И того мало. Палачъ — человѣкъ, онъ можетъ изъ состраданія ослабить ударъ плети, быстрѣе затянуть роковую петлю. Чтобы принскать въ области справедливости параллель фотографическому аппарату въ области чистаго искусства, надо и здѣсь спуститься до настоящей машины — до висѣлицы. Де-Мэстръ ошибся: палачъ все-таки человѣкъ. Висѣлица не человѣкъ, и пожалуй на нее можно посмотрѣть, какъ на нѣчто сверхчеловѣческое...

IX.

Обратимся къ Спенсеру. Изъ вышеприведенныхъ противорѣчій онъ выпутывается довольно безцеремоннымъ образомъ. Натолкнувшись на тотъ фактъ, что есть такіе переходы однороднаго къ разнородному, которые онъ не рѣшается признать измѣненіями прогрессивными, онъ безъ всякихъ дальнѣйшихъ соображеній и предварительныхъ объясненій говоритъ: «Всякое развитіе представляетъ одновременно измѣненіе отъ однороднаго къ разнородному и, вмѣстѣ съ тѣмъ, измѣненіе отъ не-

опредѣленнаго къ опредѣленному. Какъ, съ одной стороны, имѣется переходъ отъ простаго къ сложному, такъ съ другой—представляется переходъ отъ безпорядка къ порядку, отъ неопредѣленнаго строя къ опредѣленному. Въ процессѣ развитія, какова бы ни была сфера, въ которой онъ обнаруживается, бываетъ не только постепенное умноженіе неодинаковыхъ частей, но и постепенное возрастаніе отчетливости, съ какою эти части разграничиваются между собою. *Такимъ образомъ*, увеличеніе разнородности, характеризующее развитіе, отличается отъ того увеличенія разнородности, которое не составляетъ признака развитія» (Выш. VII, 190). Здѣсь особенно бросается въ глаза обычная у Спенсера манера изложенія. Всегда и вездѣ онъ ставитъ сперва положеніе, подтверждая его затѣмъ примѣрами. Но здѣсь, кромѣ приѣма собственно писателя, характерно выдается приѣмъ мыслителя. Въ какомъ порядкѣ вы будете излагать свои мысли на бумагѣ,—начнете ли вы съ анализа частныхъ фактовъ и доведете читателя постепенно до общенія, или наоборотъ выставите сначала свою формулу и отъ нея спуститесь къ фактамъ—это дѣло второстепенной важности. Но весьма важно прослѣдить, хотя бы и на способъ изложенія, тотъ процессъ мышленія, который навелъ мыслителя на извѣстные факты съ извѣстной стороны. Нетвердость приѣмовъ изслѣдованія, обнаруживаемая Спенсеромъ въ вопросѣ о прогрессѣ, свидѣтельствуетъ, что въ его воззрѣніяхъ на этотъ предметъ играетъ значительную роль нѣкоторый, для него самаго неясный элементъ. И не трудно кажется открыть, въ чемъ тутъ дѣло.

Въ опытѣ «Прогрессъ, его законъ и причина» Спенсеръ говоритъ: «Напримѣръ, переставъ смотрѣть на послѣдовательныя геологическія измѣненія земли, какъ на такія, которыя сдѣлали ее годною для человѣческаго обитанія, и *поэтому* видѣть въ нихъ геологическій прогрессъ, мы должны стараться опредѣлить характеръ, общій этимъ измѣненіямъ, законъ, которому всѣ они подчинены» (Т. I, стр. 2). Приводимый здѣсь Спенсеромъ примѣръ неправильнаго воззрѣнія на геологическій про-

грессъ очень характеренъ для объективно-антропоцентрическаго міросозерцанія, предполагающаго, что человѣкъ есть, въ качествѣ вѣнца творенія, объективный центръ вселенной. Нечего и говорить, что подобное воззрѣніе имѣеть за себя только историческія, а не логическія или научныя оправданія. Нечего и говорить, что Спенсеръ не только имѣлъ полное право, но былъ обязанъ выкинуть изъ своихъ соображеній такую телеологию. Но реакція завела мыслителя слишкомъ далеко. Кромѣ телеологии, какъ ученія о цѣляхъ природы, возможна телеология, какъ ученіе о цѣляхъ, поставляемыхъ себѣ человѣкомъ. Эти двѣ телеологии не только не имѣютъ между собою ничего общаго, но находятся въ постоянномъ и не случайномъ, а необходимомъ антагонизмѣ. Если признать, что природа управляется цѣлесообразно, что сами вещи тяготѣють, вслѣдствіе внутренней необходимости, къ той или другой, заранѣе опредѣленной цѣли, то естественно, что такимъ вѣрованіемъ преграждается путь стремленію человѣка къ цѣлямъ, имъ самимъ для себя сознательно поставляемымъ. Понятное дѣло, что если природа до такой степени обязательна, что и землю приготовила для человѣческаго обитанія, и населила эту землю для человѣка же и проч., понятное дѣло, что въ такомъ случаѣ человѣку не приходится добиваться самому до какихъ нибудь своихъ цѣлей. И ложное предвзятое мнѣніе, лежащее въ основаніи объективно-антропоцентрическаго міросозерцанія, до такой степени охватываетъ человѣка, что онъ не разубѣждается даже ежеминутными опытами. Добывая въ потѣ лица хлѣбъ свой, онъ все-таки благодаритъ природу за ея благодѣянія. Наконецъ, по крайней мѣрѣ для нѣкоторой части человѣчества, объективно-антропоцентрическое міросозерцаніе теряетъ свое обаяніе. Но его смѣняетъ эксцентрическій періодъ, только видоизмѣняющій первобытную телеологию. Окончательное паденіе ея возможно только при выступленіи на первый планъ личнаго труда и установившейся въ своихъ законныхъ предѣлахъ мысли. Поэтому борьба противъ телеологии объективно-антропоцентрической не только не обязываетъ бороться и съ субъек-

тивно-антропоцентрической телеологією, но обязываетъ напротивъ предоставить послѣдней, въ области явленій человѣческой жизни, индивидуальной и соціальной, самую широкую долю работы. Смѣшно и странно говорить, что послѣдовательныя геологическія фазы представляютъ прогрессъ, потому что онѣ подготовили землю для человѣческаго обитанія; но нисколько не смѣшно и нисколько не странно утверждать, что въ области человѣческой мысли прогрессъ состоитъ въ послѣдовательномъ уразумѣніи законовъ природы и общественныхъ отношеній, что въ области явленій общественной жизни прогрессъ состоитъ точно также въ рядѣ измѣненій по направленію къ опредѣленной цѣли, ставимой самимъ человѣкомъ. Не только не смѣшно и не странно, но человѣкъ и не можетъ ставить вопроса иначе, не можетъ органически, не можетъ потому, что онъ человѣкъ. Самое слово «прогрессъ» имѣетъ смыслъ только по отношенію къ человѣку, и явленіями прогрессивными въ области человѣческой мысли и человѣческихъ дѣяній мы можемъ признать только тѣ, которыя подвигаютъ человѣка къ данной цѣли; явленія, задерживающія это движеніе или отклоняющія его въ стороны, мы должны признать съ человѣческой, то-есть единственно возможной для человѣка точки зрѣнія — явленіями регрессивными. Ниже, на ближайшихъ къ человѣку ступеняхъ органической жизни, мы можемъ еще примѣнять понятіе прогресса по аналогіи; еще ниже мы можемъ различать только явленія физиологическія и патологическія, и наконецъ въ мірѣ неорганическомъ для человѣка нѣтъ ничего кромѣ измѣненій.

Коренная и ничѣмъ неизгладимая разница между отношеніями человѣка къ человѣку и отношеніями человѣка къ остальной природѣ состоитъ прежде всего въ томъ, что въ первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло не просто съ явленіями, а съ явленіями, тяготящими къ извѣстной цѣли, тогда какъ во второмъ цѣль эта для человѣка не существуетъ. Различіе это до такой степени важно и существенно, что само по себѣ уже намекаетъ на необходимость примѣненія различныхъ методовъ въ двухъ

великихъ областяхъ человѣческаго вѣдѣнія. И дѣйствительно. Ошибка людей эксцентрическаго періода развитія состоитъ либо въ томъ, что они стремятся уразумѣть цѣли природы, и въ такомъ случаѣ употребляютъ субъективный методъ въ естествознаніи, либо въ томъ, что они игнорируютъ цѣли человѣка, и въ такомъ случаѣ употребляютъ объективный методъ въ общественной наукѣ. Тогда какъ нормальное распредѣленіе методовъ обратное. У Спенсера въ этомъ отношеніи господствуетъ паразитическая сбивчивость и едва ли онъ такъ свободенъ отъ всякой телеологіи, какъ ему кажется. Онъ повидимому совершенно не уяснилъ себѣ своей задачи. Среди массы его оговорокъ, недомолвокъ, возвращеній къ пройденному, очень трудно ориентироваться и узнать, чего онъ ищетъ. Повидимому онъ желаетъ найти такой законъ, который обнималъ бы всѣ измѣненія, безъ различія, имѣвшаго мѣсто отъ начала вселенной. Это можно заключать, во первыхъ изъ того, что онъ ни однимъ словомъ не упоминаетъ объ измѣненіяхъ физиологическихъ и патологическихъ; во вторыхъ изъ того, что всѣ явленія, со включеніемъ явленій общественной жизни, онъ пытается оцѣнить безотносительно къ благосостоянію человѣка; въ третьихъ наконецъ изъ того, что онъ придаетъ своимъ основнымъ законамъ, — «всякое измѣненіе производитъ нѣсколько измѣненій» и «однородное неустойчиво» — характеръ универсальности, недопускающей исключеній. Затѣмъ онъ встрѣчается съ такими измѣненіями, которыя не рѣшается признать прогрессивными, несмотря на то, что они удовлетворяютъ всѣмъ поставленнымъ имъ условіямъ, и считаетъ ихъ даже шагами къ разложенію. Значитъ возможны въ природѣ и шаги къ разложенію. Въ чемъ же они состоятъ и каково ихъ отношеніе къ универсальности основныхъ законовъ? Надъ этимъ Спенсеръ не задумывается, а просто отбрасываетъ направляющія ему (иначе нельзя выразиться) измѣненія въ сторону и идетъ дальше. Дѣлаетъ въ своей формулѣ поправку, состоящую въ опредѣленіи прогресса или развитія, какъ перехода не только отъ однороднаго къ разнородному, а вмѣстѣ съ тѣмъ отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному и затѣмъ го-

ворить: «Если переходъ отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному составляетъ существенную отличительную черту развитія, то мы естественно должны *повсюду* встрѣчать этотъ переходъ точно такъ же, какъ въ послѣдней главѣ мы *повсюду* видѣли переходъ отъ однороднаго къ разнородному. Съ цѣлью доказать, что дѣйствительно такъ бываетъ и на дѣлѣ, посмотримъ вкратцѣ тѣ же самые классы различныхъ фактовъ». Изъ этого слѣдуетъ, что онъ опять возвращается къ надеждѣ уловить законъ всѣхъ безъ различія измѣненій и найти такую точку зрѣнія, съ которой всѣ отгѣнки и особенности измѣненій должны сгладиться и весь міръ долженъ представиться безустанно и безостановочно прогрессирующимъ. Но куда же дѣвать тѣ измѣненія, которыя Спенсеръ не признаетъ прогрессивными? А вотъ куда: «Если возражать, что у цивилизованныхъ народовъ встрѣчаются также и примѣры уменьшенія опредѣленности (какъ напримѣръ въ случаяхъ нарушенія словесныхъ разграниченій), то на это слѣдуетъ отвѣчать, что такія *кажущіяся* исключенія суть спутники соціальныхъ метаморфозъ, перехода отъ военнаго или хищническаго типа общественнаго строенія къ типу промышленному или торговому, — перехода, въ теченіи котораго исчезаютъ старыя черты организаціи и являются новыя». Прекрасно, но если это только *кажущіяся* исключенія изъ общаго закона прогресса, то зачѣмъ они были названы въ предъидущей главѣ шагами къ разложенію? зачѣмъ Спенсеръ такъ категорически отказался включить ихъ въ число явленій прогрессивныхъ, и даже на ихъ непрогрессивности основалъ необходимость исправить свою формулу?

Затѣмъ дѣлаются новыя поправки и универсальный законъ прогресса наконецъ полученъ. Но, говоря о теоріи Дарвина, Спенсеръ заявляетъ полный скептицизмъ относительно прогресса. Онъ говоритъ: «Громадный контрастъ между немногочисленными и низкими формами самой ранней изъ извѣстныхъ фаунъ и многочисленными и высокими формами теперь существующей фауны обыкновенно принимается за свидѣтельство не только великаго измѣненія, но и великаго прогресса. Но этотъ

кажущійся прогрессъ можетъ быть и вѣроятно есть, по преимуществу, только иллюзія... Между тѣмъ какъ свидѣтельства, обыкновенно принимаемыя за доказательства прогрессивности, оказываются недостоверными, мы находимъ достоверныя свидѣтельства, что во многихъ случаяхъ прогрессивность незначительна или вовсе не существуетъ» (Вып. X «Основанія биологій». 327, 328). И далѣе: «Къ этимъ случаямъ близки случаи такъ называемаго ретрограднаго развитія. Многія паразитныя существа, а также существа, живущія одно время самостоятельною дѣятельною жизнью и впоследствии становящіяся неподвижными, теряютъ въ зрѣлости члены и чувства, которые имѣли въ молодости» (Ibid. 378). Изъ послѣдней цитаты можно бы было непосредственно вывести весьма важныя заключенія, подрывающія Спенсерову теорію прогресса въ корень. Въ примѣненіи къ общественнымъ вопросамъ можно показать, что рядъ дифференцированныхъ, составляющихъ по Спенсеру прогрессъ, порождаетъ въ обществѣ такихъ же паразитовъ, точно также заглушающихъ въ себѣ тѣ или другія отправления. Во всякомъ случаѣ, въ приведенныхъ словахъ Спенсера видно полное отрицаніе универсальности закона прогресса, прогресса именно въ томъ неопредѣленномъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ его самъ Спенсеръ. Онъ говорилъ, что прогрессъ между прочимъ обнаруживается послѣдовательнымъ усложненіемъ фауны и флоры, что однако теперь считаетъ не болѣе какъ иллюзіей. Надо впрочемъ замѣтить, что противорѣчіе это не должно быть вмѣняемо мыслителю въ большую вину, такъ какъ теорія Дарвина естественно могла сильно измѣнить воззрѣнія Спенсера. «Основные начала», въ которыхъ подробно изслѣдуется законъ развитія, претерпѣваютъ теперь, какъ говорятъ издатели русскаго перевода, большія измѣненія. И въ новомъ своемъ видѣ сочиненіе это будетъ можетъ быть приведено въ болышій порядокъ. Трудно однако надѣяться, чтобы Спенсеръ обратилъ вниманіе, во-первыхъ на различіе между нашими отношеніями къ природѣ и нашими отношеніями къ другимъ людямъ, а во-вторыхъ на столь же коренное отличіе раздѣленія труда между органами отъ раздѣленія труда между

цѣлыми организмами. Трудно ожидать, чтобы теорія Дарвина произвела въ его воззрѣнiяхъ столь коренной переворотъ, такъ какъ она для него не новость. Нѣкоторыя частности этой теорiи были имъ самимъ съ замѣчательною силою развиваемы до появленiя книги Дарвина.

Вся приведенная путаница въ изложенiи и въ мысляхъ Спенсера зависитъ отъ неадекватнаго примѣненiя объективнаго метода. Разъ мы вычеркнули изъ своего психическаго содержанiя убѣжденiе въ цѣлесообразности устройства вселенной, мы должны вмѣстѣ съ тѣмъ отказаться отъ приложенiя слова и понятiя «прогрессъ» къ послѣдовательной смѣнѣ явленiй природы, или же не дѣлать различiя между развитiемъ и разложенiемъ. Почему бы не считать разложенiя мертваго тѣла явленiемъ прогрессивнымъ, ступенью дальнѣйшаго развитiя? Можетъ быть, «интересы природы» «экономiя природы», «цѣли природы», «стремленiя природы» требуютъ круговаго развитiя, причемъ моментъ разложенiя окажется только одною изъ фазъ развитiя. Но мы знаемъ, что у несмѣющейся и неплачущей природы нѣтъ цѣлей, нѣтъ стремленiй, нѣтъ интересовъ, и потому смотримъ на разложенiе трупа, какъ на фактъ, подлежащiй объективной оцѣнкѣ. Но у человѣка есть цѣли; цѣли эти представляютъ столь же реальныя факты нашего сознанiя, какъ реаленъ фактъ разложенiя мертваго тѣла. Фактъ этотъ точно также требуетъ оцѣнки, но оцѣнки субъективной. И не потому только, что исключительно объективная оцѣнка не можетъ дать полнаго понятiя о фактахъ общественной жизни, такъ какъ въ этихъ фактахъ есть элементъ, встрѣчающiйся только въ нихъ и не поддающiйся объективной оцѣнкѣ,—а потому, что исключительно объективная оцѣнка здѣсь немислима и невозможна.

Наше психическое содержанiе дано опытомъ унаслѣдованнымъ, личнымъ и сочувственнымъ (прекрасный терминъ, употребляемый и Спенсеромъ). Сочувственный опытъ основанъ на нашей способности переживать чужую жизнь, ставить себя въ чужое положенiе. Какъ примѣръ сочувственнаго опыта заимствуемъ у Спенсера такой фактъ. Когда люди появляются въ

какой нибудь вновь открытой, до тѣхъ поръ необитаемой землѣ, они находятъ тамъ до такой степени небоязливыхъ птицъ, что ихъ можно безъ труда бить палками. Проходить нѣсколько поколѣній, и птицы при одномъ приближеніи человѣка торопливо улетаютъ. И пугливость эта замѣчается не только въ старыхъ особяхъ, но и въ молодыхъ, которыя еще не могли на себѣ испытать послѣдствій встрѣчи съ человѣкомъ. Какъ это объяснить? Спенсеръ говоритъ, что истребленіемъ небоязливыхъ недѣлимыхъ этого объяснить нельзя, потому что убиваютъ сравнительно ничтожное число птицъ, и объясняетъ фактъ послѣдовательнымъ накопленіемъ данныхъ опыта. Въ каждой птицѣ, раненой человѣкомъ или встревоженной крикомъ стаи («стадные животныя—замѣчаютъ Спенсеръ въ скобкахъ—обладающія малѣйшею степенью разумности, по необходимости обнаруживаютъ болѣе или менѣе сочувствіе другъ къ другу»), устанавливается ассоціація идей между фигурой человѣка и нѣкоторыми страданіями, причемъ понятіе страданія дается не только личнымъ опытомъ, а и сочувственнымъ, т. е. видомъ чужихъ страданій. Затѣмъ опытъ этотъ передается наслѣдственно въ видѣ извѣстныхъ измѣненій первной системы, и при видѣ человѣка птица мысленно воспроизводитъ тѣ болѣзненные ощущенія, которыхъ она лично, на самой себѣ, можетъ быть никогда не испытала. Въ другомъ мѣстѣ Спенсеръ говоритъ: «Я отважусь высказать здѣсь, въ нѣсколькихъ строкахъ, гипотезу, что понятіе о границѣ имѣетъ свое субъективное основаніе въ сочувствіи (симпатіи). Та же самая способность, которая заставляетъ насъ содрогаться при видѣ человѣка, находящагося въ опасности, и которая производитъ иногда движеніе въ нашихъ собственныхъ членахъ, при видѣ другого человѣка, борящагося или падающаго,—заставляетъ насъ раздѣлять и всѣ мѣлечныя ощущенія, которыя испытываются вокругъ насъ другими. Когда ихъ движенія бываютъ насильственными или пеловки, тогда и мы отчасти испытываемъ тѣ непріятныя ощущенія, которыя должны были бы испытать, еслибы эти движенія были въ насъ самихъ. Когда же движенія людей, на которыхъ мы смотримъ, свободны, тогда и

мы раздѣляемъ пріятныя ощущенія, какія испытываются личностями, совершающими эти движенія». Изложенный здѣсь принципъ, несмотря на то, что на немъ одномъ Адамъ Смитъ построилъ свою теорію нравственныхъ чувствъ, разработанъ весьма мало. А между тѣмъ надлежащее его развитіе могло бы пролить много свѣта и на законы души человѣческой и на задачи общественной науки. Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что сочувственный опытъ не безпредѣленъ, что сочувствовать мы можемъ только подобнымъ себѣ, и что существуетъ въ этомъ отношеніи извѣстная градація. Какъ представитель органической жизни, человѣкъ можетъ понять міръ неорганической только объективно, и безусловно не можетъ пережить его жизнь, поставить себя на его мѣсто. Какъ недѣлимое, онъ можетъ переживать жизнь только недѣлимаго, и притомъ тѣмъ полнѣе, чѣмъ данное недѣлимое человѣкообразіе. Поэтому онъ можетъ различать въ этой области явленія физиологическія и патологическія. Наконецъ полный просторъ сочувственному опыту предоставляется въ области отношеній человѣческихъ. Но и здѣсь есть ступени. Одинъ человѣкъ можетъ пережить жизнь каждаго человѣка, другой—только жизнь представителя своей общественной единицы, то есть жизнь своихъ соотечественниковъ, своихъ собратьевъ по профессіи, по образу жизни и проч. Сочувственный опытъ, вмѣстѣ съ опытомъ личнымъ, комбинируясь извѣстнымъ образомъ, входитъ въ наше психическое содержаніе и, на ряду съ категоріями истиннаго и ложнаго, устанавливаетъ категоріи пріятнаго и непріятнаго, желательнаго и нежелательнаго, нравственнаго и безнравственнаго, справедливаго и несправедливаго. Отрѣшиться отъ этой стороны эмпирическаго содержанія нашего *я* столь же невозможно, какъ произвольно вычеркнуть изъ своей памяти какія нибудь знанія. Поэтому комбинація ощущеній и впечатлѣній, составляющая предвзятое мнѣніе, съ которымъ человѣкъ приступаетъ къ какому бы то ни было изслѣдованію, въ области общественныхъ отношеній осложняется нѣкоторымъ новымъ элементомъ, элементомъ нравственнымъ. Вотъ почему Контъ былъ правъ, утверждая, въ своемъ курсѣ

философiи, что «только тѣ могутъ съ успѣхомъ заниматься социологіей, чей нравственный уровень достаточно высокъ», хотя съ общей тогдашней точки зрѣнія Конта условіе это отнюдь не могло считаться необходимымъ. Но случайно прорвавшееся у Конта положеніе не подлежитъ никакому сомнѣнію. Дѣйствительно, Бэконъ—предатель, взяточникъ, клеветникъ и вмѣстѣ великій мыслитель о природѣ возможень,—фактъ на лицо. Но Бэконъ—великій социологъ немислимъ. Я не говорю о грубой сознательной подтасовкѣ фактовъ для какихъ нибудь своекорыстныхъ цѣлей, да объ этомъ и печего говорить. «Наука, учащая подданныхъ сомнѣнію въ божественности происхожденія власти коронованныхъ лицъ, не можетъ пользоваться большимъ уваженіемъ со стороны послѣднихъ. Воинъ, въ свою очередь, отказываетъ въ довѣрiи наукѣ, которая проповѣдуетъ уничтоженіе его ремесла; а монополистъ неохотно вѣритъ въ преимущества конкуренціи. Государственный человѣкъ, получающій средства къ жизни за завѣдываніе общественными дѣлами, отнюдь не желаетъ, чтобы народъ выучился самъ вести свои дѣла, безъ посторонняго участія. Представитель крупной поземельной собственности вѣритъ въ одно ученіе, а его арендаторъ признаетъ другое; человѣкъ, платящій за трудъ, смотритъ на всѣ вопросы съ точки зрѣнія, прямо противоположной той, съ которой смотритъ на нихъ тотъ, кому онъ платитъ... Школьное ученіе во Франціи измѣняется отъ времени до времени, смотря по тому, деспотизмъ ли уступаетъ народу или народъ деспотизму. Поземельная аристократія въ Англіи была крайне довольна, когда Мальтусъ убѣдилъ ее, что бѣдность и нищета народа суть необходимое слѣдствіе великаго закона, исходящаго отъ всевѣдущаго и всеблагаго провидѣнія; а промышленная аристократія въ свою очередь точно также довольна, считая доказаннымъ, что для общихъ интересовъ страны полезны мѣры, создающія обширные запасы дешеваго и дурно оплачиваемаго труда» (Кэри. Руководство къ социальной наукѣ, стр. 33—34). Здѣсь свалены въ одну кучу вещи очень различныя. Есть люди, намѣренно извращающіе факты, но есть и та-

кіе, которые извращают ихъ совершенно добросовѣстно, только потому, что ими руководить безъ ихъ вѣдома ложное предвзятое мнѣніе, т.-е. неудачное и одностороннее сочетаніе личныхъ и сочувственныхъ опытовъ, еще быть можетъ закрѣпощенное путемъ наслѣдственной передачи. Въ числѣ подготовительныхъ работъ къ соціологіи важное мѣсто занимаетъ статистика, пользующаяся весьма точными приѣмами. И однако статистики, чаще чѣмъ ктонибудь, впадаютъ въ грубо-фаталистическія заблужденія. Мы приводили подобные примѣры въ статьѣ «Аналогическій методъ». Если какойнибудь Дюфо старается меня увѣрить, что людскія страданія составляютъ результатъ открытаго имъ закона «нравственнаго равновѣсія судебъ челоуѣчества», то это не даетъ еще мнѣ никакого права считать почтеннаго статистика отъявленнымъ негодяемъ и шулеромъ, дѣлающимъ вольтъ. Но это во всякомъ случаѣ показываетъ, что его нравственный уровень не особенно высокъ; что хотя и онъ толкуетъ о негодности субъективнаго метода и вмѣшательства чувствъ въ рѣшеніе общественныхъ вопросовъ, имъ управляетъ очень опредѣленное чувство, — чувство совершеннаго удовлетворенія эмпирическою дѣйствительностью. Не будь этого, онъ не сочинилъ бы своего закона нравственнаго равновѣсія судебъ челоуѣчества и, слѣдуя евангельскому слову: толщьте и отверзется, нашель бы иной выходъ для дѣйствительности.

Какъ невозможно для челоуѣка безусловная справедливость, какъ невозможно чистое отъ всякихъ тенденцій искусство, такъ невозможенъ и исключительно объективный методъ въ соціологіи. Несмотря на повидимому коренное различіе между двумя первыми и послѣднимъ видомъ эксцентризма, всѣ они суть порожденія одной и той же причины, одного и того же историческаго явленія, и именно экономическаго раздѣленія труда (не специально экономическаго, но я употребляю это выраженіе въ отличіе отъ раздѣленія труда физиологическаго) и общественныхъ дифференцированій. И, какъ таковыя, всѣ они имѣютъ одинаковыя свойства и одинаковые результаты. Всѣ они, впервыхъ, представляютъ попытки отрѣшенія отъ даннаго психиче-

скаго содержанія; всё они хотятъ быть непристрастными и всё одинаково пристрастны, всё одинаково санкционируютъ факты, всё имъ случайности дѣйствительности зажимаютъ ротъ. Всё они ошибаются въ томъ, что думаютъ достигнуть объективности, разсматривая явленія общественной жизни съ точки зрѣнія отвлеченной категоріи,—чистой красоты, чистой справедливости, чистой истины, тогда какъ всё эти точки зрѣнія слишкомъ узки для такого сложнаго явленія, какъ человекъ въ обществѣ. До такой степени узки, что изъ чистой справедливости, изъ чистаго искусства, изъ чистой истины на каждомъ шагу вымѣзаетъ человекъ въ обществѣ, т. е. человекъ съ извѣстными чувствами, извѣстными стремленіями, съ извѣстнымъ наконецъ предвзятымъ мнѣніемъ. Въ большинствѣ случаевъ изъ этихъ оболочекъ человекъ выходитъ некрасивымъ, иллюзія чистоты распадается прахомъ. Но едва ли можно сожалѣть объ этомъ: для человека нѣтъ ничего прекраснѣе человека, и самый пехорошій человекъ все-таки лучше самаго лучшаго фотографическаго аппарата, самой лучшей висѣлицы и самой лучшей числительной машинки. И потомъ безъ обмана все-таки лучше.

Еслибы я былъ художникомъ, я бы написалъ три картины, только три во всю жизнь. Но я бы всю душу свою положилъ въ нихъ, и картины вышли бы хорошія. Сюжеты я бы взялъ готовые изъ исторіи человѣческой мысли.

.

Темой для второй картины я бы взялъ положеніе величайшаго изъ идеалистовъ—Канта: если общество даже завтра должно распасться, если даже завтра всё члены его должны порвать всякія связи между собой и разойтись въ разныя стороны, то сегодня послѣдній преступникъ все-таки долженъ быть казненъ во имя и во славу абсолютной справедливости.—Площадь, ползаросшая бурьяномъ, кругомъ покачнувшіяся и осѣвшія опустѣлыя зданія съ разбитыми стеклами, съ разошшимися дверями. Посреди площади полусгнившая плаха, и на ней распростертый скелетъ послѣдняго преступника. Кругомъ тишь,

ни души человѣческой. Только воронъ долбитъ отскочившій въ сторону черепъ послѣдней и никому уже ненужной жертвы абсолютной справедливости. Еслибы воронъ могъ каркать на картинѣ, онъ прокаркалъ бы: fiat justitia, pereat mundus!..

Это эксцентрическій періодъ, въ которомъ человѣкъ съ его плотью и кровью, съ его помыслами и чувствами, съ его любовью и ненавистью забытъ для отвлеченной категоріи.

На третьей картинѣ я изобразилъ бы «Тьму» Байрона. Вы можете быть помните эту потрясающую, безпорядочную кучу образовъ. Поэтъ видитъ слѣдующій сонъ, который однако «былъ не совсѣмъ сонъ». Солице погасло, звѣзды, земля безъ лучей носилась въ мрачномъ пространствѣ. Чтобы добыть свѣтъ, люди зажгли лѣса. Дерево за деревомъ, пень за пнемъ вспыхивали, трещали и сгорали. Опять тьма... Зажгли дома, дворцы, храмы. У этихъ страшныхъ костровъ толпились люди. Одни плакали, другіе безумно смѣялись. А пышные города все горѣли. Наступилъ голодъ. Хищныя птицы, дикіе звѣри, растерянные и примирѣвшіе, терлись среди людей.

И змѣи ползали въ толпѣ съ шипѣньемъ,
Не смѣя жалить—ихъ душили люди
И пожирали. Стихшая на время
Рѣзня опять зажглась: цѣною крови
Обѣдъ голоднымъ покупался; дико
Другъ друга каждый бѣгалъ, чтобъ трапезу
Свершить кровавую. Любви не стало
Въ сердцахъ людей; лишь смерти страхъ и голодъ
Мучительный, палящій всѣхъ томили
И рвали внутренность. Неумолимо
Вставала смерть—и умирали люди,
И трупы ихъ лежали безъ могилы.
Полуживой глодалъ скелетъ собрата,
Какъ дикій звѣрь храпя; голодной стаей псы
Въ куски рвали тѣла своихъ хозяевъ...

Только одна собака осталась вѣрна своему хозяину и, охраняя его трупъ отъ птицъ, звѣрей и людей, съ жалобнымъ воемъ лизала его окостенѣвшую руку. Наконецъ свалилась и она.

Постепенно прекращалась жизнь. Въ огромномъ городѣ уцѣлѣло только два человѣка, и это были два врага. Они столкнулись у погасающихъ свѣтильниковъ алтаря, постарались своимъ дыханіемъ хотъ немного раздуть пламя и, когда увидѣли другъ друга,—вскрикнули и умерли, пораженные своимъ безобравіемъ...

Вотъ три страшныя картины разрушенія общества. Сравните только двѣ послѣднія. Вся, сдавленная въ идеалѣ великаго метафизика человѣческая природа, природа, преданная на жертву абстрактной справедливости, прорывается въ фантастической картинѣ великаго поэта въ самыхъ страшныхъ и отталкивающихъ образахъ. Въ цѣломъ громадномъ городѣ уцѣлѣли только два человѣка, и именно два врага. Почему именно два врага? Потому, что они передушили передъ тѣмъ всѣхъ друзей, потому что въ моментъ разрушенія общества разбирать не приходится. Кантъ захотѣлъ въ этотъ самый моментъ ерлыки навѣривать: этотъ—преступникъ, тотъ—добродѣтель воплощенная... По Байрону же, самому Канту было бы тутъ не до абсолютной справедливости; онъ бы съ этого абсолюта кувыркомъ слетѣлъ, онъ бы думалъ только о томъ, какъ бы ему прожить лишній часъ, лишнюю минуту, или же просто пустил бы себѣ пулю въ лобъ. Онъ бы не пошелъ искать преступника, а еслибы и наткнулся на него, такъ можетъ быть просто-на-просто съѣлъ бы его. А попадись добродѣтель, которая вчера монтіоновскую премію получила, онъ бы можетъ быть и въ нее зубами впился...

Но въ этой потрясающей картинѣ, въ которой фантастическій фонъ сплошь затканъ голою правдою образовъ,—вась поражаетъ одинъ диссонансъ, именно собака, вѣрная трупу хозяина. Если хотите, сама по себѣ эта свѣтлая точка не диссонансъ, а явленіе высоко-гармоническое, но эта-то гармонія и составляетъ диссонансъ въ массѣ диссонансовъ. Зачѣмъ Байронъ, среди исчезнувшей любви къ человѣчеству, къ отечеству, къ ближнему, сохранилъ любовь одной собаки къ хозяйни? Ясно, что это не болѣе, какъ эстетическая уловка, пущенная съ тою цѣлью, чтобы отгнать картину. Это упрекъ человѣку.

Поэтъ хочетъ сказать: смотрите, какъ гадокъ и низокъ человѣкъ,—собака лучше его. Очевидно, что Байроу съумѣлъ заглянуть въ душу человѣческую, но, находясь одной ногой еще за рубежомъ эксцентрическаго періода, онъ не выдержалъ зрѣлища. Онъ съ ужасомъ отекочилъ. Какъ! человѣку не вродены, не присущи идеи любви, справедливости, красоты. Можно вообразить такое сцѣпленіе обстоятельствъ, изъ-за котораго человѣкъ не увидитъ разницы между мозгомъ Прометея и кулакомъ Геркулеса, между горбомъ Езопы и пышною грудью Елены прекрасной, между сердцемъ дѣвственницы и сердцемъ каторжника... Можетъ наступить такая пора, хотя бы въ воображеніи. И воображеніе не откажется нарисовать эту картину торжества животнаго человѣка надъ человѣкомъ нравственнымъ!.. Да, воображеніе не отказывается...

И вотъ явилась вѣрная собака. Но эта собака составляетъ ошибку, диссонансъ, хотя и драгоценный, какъ одинъ изъ ключей къ жизни и поэзіи Байрона. По общему тону картины, собака должна впиться зубами въ холодный и посинѣлый трупъ хозяина. Презрѣнный червь, великій Кантъ и какой-нибудь вѣрный Трезоръ не нарушили бы отвратительной мощи Байроновской картины, еслибы они оказались за однимъ табльд'отомъ, еслибы абсолютная преданность почувствовала такой же голодъ, какъ и абсолютная справедливость... Не будь въ картинѣ этой фальши, она могла бы служить полнымъ выраженіемъ одной части субъективно-антропоцентрическаго міросозерцанія. Но такъ-какъ міросозерцаніе это не допускаетъ абсолютныхъ рѣшеній, то оно не можетъ умѣститься въ одной картинѣ. Возьмемъ же человѣка такимъ, какимъ его дѣлаютъ природа и общество и вообще обстановка. Возьмемъ его голоднаго, холоднаго, темнаго, нечистаго, потому что не только въ моментъ фиктивнаго разрушенія общества, а и теперь человѣкъ голоденъ, холоденъ, теменъ и нечистъ.

«Это психологическій законъ, — говоритъ Милль, — который можетъ быть выведенъ изъ наиболѣе общихъ законовъ духовнаго склада людей, что всякая сильная страсть дѣлаетъ насъ

легковѣрными къ существованію предметовъ, способныхъ возбудить ее... Склонность дѣйствуетъ, заставляя человѣка ревностно искать доводовъ или мнимыхъ доводовъ въ подтвержденіе мнѣній, сообразныхъ его выгодамъ или чувствамъ, и противиться неблагопріятнымъ. А когда выгоды или чувства общи множеству лицъ, то принимаются и становятся общепотребительными доводы, на которые въ качествѣ доводовъ никто не обратилъ бы вниманія, еслибы ничто не говорило могущественнѣе ихъ въ пользу заключеній» (Система логики, т. II, 290). Если таковъ законъ нашей психической жизни, то нечего думать о томъ, чтобы совершенно избѣгать его вліянія. Будемъ повиноваться закону природы, но постараемся регулировать его. Выяснивъ наши истинныя чувства, выведя ихъ изъ-подъ спуда нечеловѣческой чистоты, постараемся найти для нихъ возможно лучшій критерій. Искать этотъ критерій однимъ объективнымъ путемъ, значить складывать аришины съ пудами.

Посмотримъ вкратцѣ, какъ складывается и какимъ образомъ вліяетъ на наши изслѣдованія нравственная сторона предвзятаго мнѣнія; какимъ образомъ могло напримѣръ выработаться приводимое Кэри мнѣніе англійской поземельной аристократіи о нищетѣ народа, какъ о результатѣ непреложной воли всеблагого провидѣнія. И опять-таки намъ здѣсь нѣтъ дѣла до людей, сознательно провозглашающихъ ложь.

Первыя правила морали, тѣснѣйшимъ образомъ связанныя съ религиозными представленіями, имѣютъ мѣсто безъ сомнѣнія еще въ пору полного отсутствія коопераціи. Они даны исключительно личнымъ опытомъ, и притомъ опытомъ болѣе или менѣе одностороннимъ. Сочувственный опытъ начинаетъ давать свою долю въ хранилище нравственныхъ правилъ только съ появленіемъ коопераціи, будь она коопераціей по типу простого или сложнаго сотрудничества. Только тутъ человѣкъ получаетъ возможность пережить другую жизнь, перестрадать чужое страданіе, насладиться чужимъ наслажденіемъ. Пока въ средѣ данной группы не выработались еще путемъ раздѣльнаго труда слишкомъ рѣзкіе контрасты, пока вся группа представляетъ

нѣчто болѣе или менѣе однородное и контрасты существуютъ только между нею и другими группами, до тѣхъ поръ сочувственный опытъ играетъ нѣкоторую роль только въ средѣ группы. Пережить жизнь представителя чужого племени первобытный человекъ не можетъ. И сообразно этому истолковываетъ всякій фактъ въ пользу своего племени и во вредъ чужому. Предвзятое мнѣніе, сложившееся изъ впечатлѣній и ощущеній, данныхъ личнымъ опытомъ и опытомъ сочувственнымъ въ средѣ его племени заставляетъ его искренно вѣрить, что божества исключительно покровительствуютъ ему и его сотрудникамъ. Когда принципъ раздѣленія труда получаетъ въ средѣ общества полное осуществленіе, когда процессъ общественныхъ дифференцированій дробитъ группу на рѣзко обособленныя единицы, имѣющія свои собственныя цѣли и интересы, когда, однимъ словомъ, развертывается эксцентрической общественной строй, — сочувственный опытъ получаетъ совершенно иные предѣлы и иную интенсивность. Съ одной стороны сочувственный опытъ имѣетъ болѣе широкое и полное примѣненіе въ средѣ каждаго изъ обособившихся слоевъ общества, а съ другой для каждаго изъ представителей извѣстнаго слоя утрачивается возможность поставить себя въ положеніе представителя другого слоя. Есть мнѣніе, что сочувствовать можно только тому, что мы испытали лично, что сочувствіе сводится къ воспроизведенію опыта того или другого состоянія нашего сознанія, испытаннаго нами самими. Едва-ли можно принять это положеніе въ такомъ абсолютномъ видѣ, и въ этомъ отношеніи справедливо указываютъ напри- мѣръ на сочувствіе мужчины къ мукамъ беременной женщины, хотя мужчина и не могъ лично испытать этихъ мукъ. Но во всякомъ случаѣ въ приведенномъ мнѣніи (Бэна) есть значительная доля правды. Безъ всякаго сомнѣнія, личный опытъ увеличиваетъ силу опыта сочувственнаго, и намъ легче поставить себя мысленно въ такое положеніе, въ которомъ мы были сами. Эта поддержка личного опыта очевидно должна слабѣть по мѣрѣ углубленія уединительныхъ бороздъ, проводимыхъ эксцентрическимъ порядкомъ. Рабовладѣльцу легко про-

никнуться жизнью такого же, какъ и онъ, рабовладѣльца, ведущаго одинаковый съ нимъ образъ жизни, имѣющаго тѣ же привычки, потому что личный ихъ опытъ почти тождественъ. Но понять страданія и горести раба, поставить себя въ его положеніе, для рабовладѣльца несравненно труднѣе. Онъ никогда не испытывалъ того, что испытываетъ рабъ. Поэтому онъ естественно высоко ставитъ радости и горести своей группы и ни въ грошъ не ставитъ радостей и горестей другихъ группъ; онъ ихъ не замѣчаетъ, онѣ для него не существуютъ. Онъ видитъ раны и не видитъ, слышитъ стоны и не слышитъ. Въ его сознаніи они отдаются глухо, хотя онъ въ то же время способенъ съ полною отчетливостью оцѣнить горести и радости своихъ сотрудниковъ. Эта естественная неравномѣрность оцѣнки существеннымъ образомъ отражается на всемъ его психическомъ складѣ, состояніе котораго такъ сказать замораживается въ цѣломъ ряду поколѣній наследственной передачею. Чтобы въ эксцентрическомъ періодѣ общественнаго развитія могли явиться люди органически способные къ многостороннему сочувственному опыту, способные воспроизвести въ своемъ сознаніи все отбѣйки жизни, раскиданные процессомъ общественныхъ дифференцированій въ разные стороны, — для этого нужны особенно счастливыя и чисто случайныя сочетанія обстоятельствъ, удачное смѣшеніе крови, особенности воспитанія и проч. И это будутъ люди съ высокимъ нравственнымъ уровнемъ, способные къ успѣшной разработкѣ социологін. (Можетъ быть не лишнее замѣтить, что одинъ высокій нравственный уровень самъ по себѣ не можетъ гарантировать ничего). Но такіе люди конечно рѣдки. И развитіе общественной науки необходимо задерживается и этою рѣдкостью, а не только недостаточнымъ развитіемъ низшихъ наукъ, и преимущественно біологін. И вотъ еще одно изъ различій между наукою о природѣ и наукою объ обществѣ. Для безпрятственнаго развитія первой совершенно достаточно послѣдовательнаго усвоенія истинъ въ порядкѣ возрастанія сложности явленій. Социологін же мы никогда не будемъ имѣть, если борьба интересовъ не расчиститъ для нея почвы, сгладивъ обществен-

ныя дифференцированія. За вычетомъ нѣкоторыхъ блистательныхъ исключеній, въ общемъ нравственныя и политическія науки необходимо отражаютъ въ себѣ практическую жизнь съ ея шероховатостями. Поэтому первая общая задача современной общественной науки состоитъ въ опредѣленіи значенія общественныхъ дифференцированій, — задача, къ которой инстинктивно и потому неопредѣленно стремились всѣ лучшіе люди всѣхъ временъ.

Итакъ, количествомъ личныхъ и сочувственныхъ опытовъ и качествомъ ихъ комбинаціи опредѣляется нравственный складъ людей, не открыто исповѣдуемый ими культъ напимѣръ, христіанской морали, — эта часть психическаго содержанія слишкомъ высока и обща, — а тѣ порожденныя процессомъ историческаго развитія особенности, лежація гораздо глубже, которыя заставляютъ людей смотрѣть на общественные факты подъ извѣстнымъ угломъ зрѣнія, съ извѣстнымъ, неяснымъ для нихъ самими, предвзятымъ мнѣніемъ. И это предвзятое мнѣніе отличается отъ предвзятаго мнѣнія естествоиспытателя только тѣмъ, что въ немъ играетъ важную роль нравственный элементъ. Какъ два микроскописта, исповѣдующіе различныя теоріи, видятъ то, чего ищутъ, такъ видятъ то, чего ищутъ, и два социолога, придерживающіеся различныхъ воззрѣній. Какъ тамъ, въ случаѣ невозможности соглашенія путемъ непосредственнаго наблюденія, слѣдуетъ отыскать какую-нибудь иную опору для сознанія, обратиться къ самымъ источникамъ теорій, для чего онѣ должны быть приведены въ совершенную ясность; такъ и здѣсь ликвидація даннаго психическаго содержанія, смѣна одного содержанія другимъ возможна не иначе, какъ путемъ уясненія всѣхъ его составныхъ частей, а слѣдовательно и чувствъ и желаній. Какъ тамъ не должно быть рѣчи объ изслѣдованіи безъ предвзятаго мнѣнія, а должно только заботиться о томъ, чтобы предвзятое мнѣніе получило характеръ раціональной теоріи; такъ и здѣсь незачѣмъ маскироваться объективностью, а должно выяснить безъ остатка свою личность, дать себѣ полный отчетъ въ своихъ желаніяхъ, побужденіяхъ и цѣляхъ. Претензія на

объективность может здѣсь только повести къ сбивчивости, именно потому, что полная объективность недостижима. Малѣйшее разногласіе между истинными, въ глубинѣ души лежащими чувствами социолога, его истиннымъ нравственнымъ идеаломъ и обсуждаемыми имъ фактами дѣйствительности. — поведетъ все-таки къ открытому примѣненію субъективнаго метода, но примѣненію неудовлетворительному, кастрированному.

X.

Такъ именно случается со Спенсеромъ, когда онъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, единственно по внушенію безотчетнаго чувства, отступаетъ отъ своихъ пріемовъ и отъ добытой ими истины.

Послѣдуемъ за нимъ въ его поправкахъ и дополненіяхъ къ формулѣ прогресса. Мы видѣли, что первая поправка состоитъ въ прибавленіи къ процессу перехода отъ однороднаго къ разнородному — процесса перехода отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному. Съ этой новой точки зрѣнія пріостановившій-было Спенсера фактъ революціоннаго движенія, представляющій переходъ отъ однороднаго къ разнородному, получаетъ новое освѣщеніе: «Политическій взрывъ, доходящій наконецъ до возмущенія, съ самаго начала стремится изгладить правительственныя и промышленныя спеціализаціи, существовавшія прежде. Недовольство, производящее такой взрывъ, само по себѣ предполагаетъ уже ослабленіе узъ, связывающихъ гражданъ въ отдѣльные классы и подклассы. Агитація, вырастающая въ революціонные митинги, обнаруживаетъ рѣшительную склонность къ слянію словъ, обыкновенно отдѣльныхъ другъ отъ друга» (Вып. VII, Основныя начала, 191). Такимъ-то образомъ, явленіе это представляетъ шагъ не къ дальнѣйшему развитію, а къ разложенію, такъ какъ оно составляетъ переходъ отъ опредѣленнаго къ неопредѣленному. Вглядитесь однако въ это новое описаніе революціоннаго движенія, и вы замѣтите, что для

него по крайней мѣрѣ не было никакой надобности усложнять формулу прогресса. «Сліяніе слоевъ», «уничтоженіе правительственныхъ и промышленныхъ спеціализацій», — что это такое, какъ не переходъ отъ разнороднаго къ однородному, а такъ какъ первоначальная формула прогресса есть переходъ отъ однороднаго къ разнородному, то и безъ всякихъ поправокъ революціонное движеніе можетъ быть разсматриваемо, какъ шагъ къ разложенію. Но почему Спенсеръ пожелалъ сдѣлать поправку? Потому, что нашелъ, что революціонное движеніе есть переходъ отъ однороднаго къ разнородному и потому, повидимому, подходит къ формулѣ прогресса. Такимъ образомъ объективный методъ не только не устраняетъ неудобствъ субъективнаго метода, но еще увеличиваетъ ихъ. Конечно данное революціонное движеніе можетъ быть признано съ одной субъективной точки зрѣнія шагомъ къ развитію, съ другой—шагомъ къ разложенію, и этимъ разногласіемъ вопросъ затемняется. Но я могу взвѣснить доводы одного человѣка и доводы другого, потому что и тотъ и другой говорятъ мнѣ, что такое-то явленіе хорошо или нехорошо, такъ какъ ведетъ къ такимъ-то хорошимъ или нехорошимъ результатамъ. Что же дѣлаетъ объективный методъ? Онъ самымъ грубымъ и топорнымъ образомъ уклоняется отъ оцѣнки внутренняго смысла явленій и скользитъ по ихъ виѣшности. Да, и по виѣшности именно только скользитъ, потому что посмотрѣлъ Спенсеръ одинъ разъ на картину революціоннаго движенія и нашелъ въ ней переходъ отъ однороднаго къ разнородному, посмотрѣлъ въ другой разъ и нашелъ переходъ отъ разнороднаго къ однородному. И однако и въ томъ и въ другомъ случаѣ видитъ въ ней шаги къ разложенію. Не ясно ли, что, какъ ни выворачивай Спенсеръ подлежащій обсужденію фактъ, онъ всегда найдетъ его регрессивнымъ явленіемъ, ни по чему другому, какъ потому, что ему революціонныя движенія не нравятся. Причемъ же тутъ хваленая объективность?

«Послѣдовательные фазисы, черезъ которые проходитъ общество, — говоритъ Спенсеръ (Вып. VII, 204), — обнаруживаютъ еще яснѣе (чѣмъ явленія неорганическаго и органическаго міра) прогрессъ отъ неопредѣ-

ленного строя къ опредѣленному. Бродячее племя дикарей, не будучи постоянно ни въ своей мѣстности, ни въ относительномъ положеніи своихъ частей, далеко не такъ опредѣлено, какъ народъ, покрывающій территорию, ясно обозначенную, и состоящей изъ недѣлимыхъ, сгруппированныхъ въ городахъ и деревняхъ... Разница между царскимъ родомъ и остальнымъ племенемъ увеличивается до такой степени, что порождаетъ въ умѣ народа мысль о различіи природы въ томъ и другомъ. Классъ воиновъ достигаетъ совершеннаго отдѣленія отъ классовъ, посвятившихъ себя обработыванію земли и другимъ занятіямъ, считающимся удѣломъ рабовъ. Является жречество, опредѣленное по своему достоинству, функциямъ и привилегіямъ. Эта рѣзкость опредѣленія, увеличиваясь все болѣе и болѣе и проявляясь разнообразіемъ и разнообразіемъ по мѣрѣ того какъ общество идетъ къ зрѣлости, обнаруживается въ высшей степени въ тѣхъ обществахъ, которыя достигли полнаго развитія или склоняются уже къ упадку. Относительно древняго Египта намъ извѣстно, что въ немъ соціальныя дѣленія были рѣзко обозначены, а обычаи крайне строгіи. Въ Индіи, неизмѣнныя отличія кастъ, существующихъ и въ настоящее время, точно такъ же, какъ и постоянство въ образѣ одежды, въ промышленныхъ процессахъ и религіозныхъ обрядахъ — показываютъ, до какой степени прочны порядки въ странахъ, имѣющихъ за собою громадное прошлое.

Вотъ что, съ объективной точки зрѣнія, имѣетъ право на званіе прогресса. И эта точка зрѣнія до такой степени объективна, что съ нея нельзя даже отличить эпохи развитія отъ эпохъ упадка. Я не затѣмъ сдѣлалъ эту выписку, чтобы опровергать ее. Она намъ пригодится ниже. Здѣсь же замѣчу только, что Спенсеръ нигдѣ не доводитъ до конца своей любимой параллели между обществомъ и организмомъ. Онъ входитъ въ мельчайшія подробности этой параллели и однако не касается одного весьма существеннаго пункта — смерти. Обязательна ли смерть для общества, какъ обязательна она для недѣлимаго? Спенсеръ вездѣ обходитъ этотъ вопросъ. Мы дадимъ за него отвѣтъ. Всякое общество, если оно дѣйствительно приближается къ состоянію организма, если члены его дѣйствительно начинаютъ функціонировать какъ простые органы, безъ мысли и воли, если общество дѣйствительно начинаеть уподобляться гигантскому туловищу, на которомъ сидитъ думающая за всѣхъ голова, а съ боковъ торчатъ работающія за всѣхъ руки,

всякое общество, дошедшее до такого состоянія, находится при смерти.

Послѣ перваго дополненія къ формулѣ прогресса Спенсеръ замѣчаетъ, что переходъ отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному есть не первичное, а вторичное явленіе, что это только «результатъ, сопровождающій окончаніе извѣстныхъ измѣненій». Именно для того, чтобы нѣкоторое однообразное цѣлое преобразовалось въ комбинацію разнообразныхъ частей, необходимо разьединеніе частей. Но пока этотъ разъединительный прогрессъ имѣетъ мѣсто, опредѣленность невозможна. Она получится только тогда, когда внутри каждой обособившейся части окончится интеграціонная работа, т.-е. когда объединятся элементы, образующіе каждую изъ составныхъ частей. Мы уже видѣли, въ чемъ ближайшимъ образомъ состоитъ процессъ интеграціи. Мы видѣли, что это только другая сторона процесса дифференцірованія. Ограничимся здѣсь замѣчаніемъ, что Спенсеръ совершенно не вникаетъ во взаимное отношеніе интеграціоннаго и дифференціаціоннаго процессовъ, понятія о которыхъ, будучи приложены къ различнымъ вещамъ, дадутъ очень различные результаты. Спенсеръ говоритъ: «Надо замѣтить далѣе относительно европейскихъ народовъ, взятыхъ въ цѣломъ, что въ ихъ склонности заключать болѣе или менѣе продолжительные союзы, -- въ ограничивающихъ вліяніяхъ, какія оказываютъ другъ на друга отдѣльныя правительства, въ постепенно устанавливающейся системѣ прекращенія международныхъ споровъ путемъ конгрессовъ, равно какъ и въ уничтоженіи препятствій торговлѣ и въ увеличивающихся удобствахъ сообщенія—мы можемъ признать начальную ступень европейской конфедераціи, т.-е. интеграцію еще болѣе широкую, нежели какая бы то ни была изъ установившихся нынѣ», Впервыхъ, явленіе это представляетъ переходъ отъ разнороднаго къ однородному, слѣдовательно, по первоначальной формулѣ развитія, это явленіе не прогрессивное, а регрессивное. Вовторыхъ, такъ какъ при этомъ уменьшается рѣзкая опредѣленность отдѣльныхъ территорій, національностей и проч., то европейская конфедерація

представляет регрессивное явление и по второй формулѣ Спенсера. Втретьюх наконецъ принимая за центръ изслѣдованія послѣдовательно различныя общественныя единицы, мы, слѣдя за ихъ измѣненіями, послѣдовательно придемъ къ ряду взаимно исключаящихся результатовъ. Если мы, вооружившись законами Спенсера, будемъ слѣдить за развитіемъ государства, то дифференціаціонный процессъ выразится при этомъ распаденіемъ общества на обособленныя сословныя и профессиональныя единицы, а интеграціонный—объединеніемъ ихъ отдѣльныхъ представителей, то-есть нѣкоторымъ упрощеніемъ ихъ организациі. Взять за центръ изслѣдованія цѣлую систему государствъ, мы напротивъ должны будемъ признать, по Спенсеру же, прогрессомъ интеграцію отдѣльныхъ государствъ, то-есть ихъ упрощеніе и уничтоженіе нѣкоторыхъ «правительственныхъ и промышленныхъ специализацій», установленныхъ путемъ дифференцированія государства.

Наконецъ Спенсеръ дѣлаетъ еще одну поправку, которую мы ужь не будемъ разсматривать; и приходитъ къ тому заключенію, что «развитіе есть переходъ отъ неопредѣленной, безсвязной однородности къ опредѣленной, связной разнородности, путемъ непрерывныхъ дифференцированій и интеграцій».

Послѣ всей этой путаницы и замѣчательно четвердыхъ шаговъ мысли, пріятно остановиться на такой ясной и свѣтлой статьѣ, какъ напримѣръ «Обычай и приличія». Въ первой нашей статьѣ мы привели изъ статьи Спенсера «Философія слога», образчикъ того, какъ онъ, переставъ трусить передъ телеологіей и субъективнымъ методомъ въ социологіи, рѣшаетъ вопросъ о прогрессѣ, для частной области, въ смыслѣ совершенно противоположномъ всему вышензложенному. Въ «Обычаяхъ и приличіяхъ» дѣло еще яснѣе. Статья имѣетъ цѣлью доказать, что обычай и приличія, религіозныя представленія и политическая подчиненность совпадали нѣкогда въ одномъ понятіи, что, какъ выражается Спенсеръ, личности: «Бога, государя и церемоніймейстера» представляли въ самую раннюю историческую пору одну личность, и что затѣмъ онѣ отдѣлились другъ отъ

друга, слѣдую общему процессу дифференцированій. Но здѣсь понятіе прогресса примѣняется Спенсеромъ уже несравненно осторожнѣе. Человѣкъ, отважившійся признать съ объективной точки зрѣнія индійскія касты и китайскую неподвижность явленіями прогрессивными, теперь говоритъ: «При китайскомъ деспотизмѣ, стѣснительномъ и безконечномъ въ своихъ постановленіяхъ и жестокомъ въ требованіи ихъ исполненія, деспотизмѣ, съ которымъ соединяется равно суровый семейный деспотизмъ старшаго въ родѣ, — существуетъ система приличій, столь же сложныхъ, сколько и строгихъ. У нихъ есть трибуналъ перемопій. Общественное обращеніе обременено безконечными комплиментами и поклонами. Сословныя отличія строго опредѣлены внѣшними знаками» и т. д. На этотъ разъ Спенсеръ уже не смотритъ на подобія явленія, какъ на одну изъ высшихъ ступеней общественнаго развитія. Отмѣтивъ нѣкоторые соотвѣтственные факты въ исторіи Европы, Спенсеръ продолжаетъ: «Одновременно съ упадкомъ вліянія духовенства и съ уменьшеніемъ страха вѣчныхъ мукъ, одновременно съ ослабленіемъ политической тиранніи, возрастаніемъ народной власти и улучшеніемъ уголовныхъ кодексовъ, — шло и то уменьшеніе формальностей, то исчезновеніе внѣшнихъ отличій, которое становится нынѣ столь явно». Человѣкъ, такъ наивно упорно старавшійся набросить тѣнь регресса на картину революціоннаго движенія, оказывается самымъ яркимъ и крайнимъ революціонеромъ, когда дѣло идетъ о приличіяхъ и обычаяхъ.

«Для истиннаго реформатора—говоритъ онъ—нѣтъ ни учрежденій, ни вѣрованій, которыя стояли бы выше критики. Все должно сообразоваться съ справедливостью и разумомъ; ничто не должно спасаться силою своего обаянія. Предоставляя каждому человѣку свободу достиженія своихъ цѣлей и удовлетворенія своихъ вкусовъ, онъ требуетъ для себя подобной же свободы. Ему все равно, исходитъ ли постановленіе отъ одного человѣка или отъ всѣхъ людей, но если оно нарушаетъ законную сферу его дѣятельности, онъ отвергаетъ дѣйствительность такого постановленія. Тиранніи, которая захотѣла бы принудить его къ извѣстному покрою одежды или къ извѣстному образу поведенія, онъ сопротивляется такъ же, какъ и тиранніи,

которая захотѣла бы ограничить его продажу и куплю, или предписать ему его вѣрованія. Будетъ ли это предписываться формальнымъ постановленіемъ законодательства или неформальнымъ требованіемъ общества,—будетъ ли неповиновеніе наказываться тюремнымъ заключеніемъ или косыми взглядами общества и ostracизмомъ—для реформатора это не имѣетъ важности. Онъ выскажетъ свое мнѣніе, несмотря на угрожающее наказаніе; онъ нарушитъ приличія, несмотря на мелкія преслѣдованія, которымъ его подвергнутъ. Докажите ему, что дѣйствія его вредны ближнимъ—онъ остановится... Онъ обвиняетъ ихъ («партію порядка» въ дѣлѣ приличій и обычаевъ) въ деспотизмъ, который не довольствуется тѣмъ, что предоставляетъ имъ власть надъ ихъ собственными поступками и привычками, но требуетъ еще признанія ихъ власти надъ дѣйствіями и привычками другихъ и сѣтуетъ, что такая власть не признается. Реформаторъ требуетъ такой же свободы, какой они пользуются; а они хотятъ предписать ему его поведеніе, обрѣзать и выкроить его жизнь по утвержденной ими выкройкѣ, и потомъ обвиняютъ его въ своеволіи и своекорыстіи, за то что онъ не хочетъ спокойно покориться! Онъ предупреждаетъ ихъ, что будетъ непремѣнно сопротивляться и что онъ сдѣлаетъ это не только для сохраненія своей собственной независимости, но для ихъ же блага. Онъ доказываетъ имъ, что они рабы и не сознаютъ этого; что они скованы и цалуютъ свои цѣпи; что они всю жизнь прожили въ тюрьмѣ и жаждутся, что стѣны ея рухнули. Онъ говоритъ, что считаетъ своею обязанностью упорствовать для того, чтобы освободиться, и, несмотря на настоящія ихъ порицанія, предсказываетъ, что когда они успокоятся отъ страха, причиненнаго имъ перспективой свободы, они сами будутъ благодарить его за то, что онъ помогъ имъ освободиться».

Я счелъ своею обязанностью выписать эту страстную тираду для уясненія еще одной черты нравственнаго склада Спенсера. Конечно я не рѣшусь произнести какое-нибудь общее рѣшеніе на этотъ счетъ, пока въ русскомъ переводѣ не появилось главное сочиненіе Спенсера по социологіи — «Соціальная статика». Но во всякомъ случаѣ, небезынтересно замѣтить, что мыслитель, предписывавшій искусству отворачиваться отъ современной ему дѣйствительности; мыслитель, находившій возможнымъ въ изслѣдованіи о прогрессѣ обойти вопросъ о человѣческомъ счастіи; мыслитель, заявлявшій, что всякое общественное броженіе, стирающее осажденныя исторіею перегородки, каковы бы ни были его цѣли, есть шагъ къ разложенію; что этотъ мыслитель съ такимъ паэосомъ обрушивается на свѣтскія приличія и

обычай. Не безынтересно также замѣтить, что изъ трехъ вѣтвей одного и того же корня — религиозныхъ представленій, политической подчиненности, приличій и обычаевъ — онъ сосредоточиваетъ главное свое вниманіе на послѣднихъ. Онъ прямо утверждаетъ, что приличія-то именно и составляютъ самое крупное зло въ современномъ обществѣ. «Мы не сомнѣваемся (говорить онъ), что будучи подведены подъ одинъ итогъ, они суммою превзошли бы сумму всѣхъ остальныхъ золъ. Если бы мы могли сложить съ ними еще безпокойства, издержки, зависть, досаду, недоразумѣнія, потерю времени и потерю удовольствія — все, что эти условія влекутъ за собой, — еслибы мы могли ясно понять, въ какой мѣрѣ они ежедневно связываютъ насъ и дѣлаютъ насъ своими рабами, мы можетъ быть и пришли бы къ заключенію, что ихъ тиранія хуже всякой другой тираніи, которой мы бываемъ подвержены» (Т. I, 396). Счастливая страна Англія...

Выше мы сказали, что исключительное употребленіе въ социологич. метода объективнаго равнялось бы, еслибы оно было возможно, складыванію аршинъ съ пудами, изъ чего между прочимъ слѣдуетъ не то, что объективный методъ долженъ быть совершенно удаленъ изъ этой области изслѣдованій, а только то, что высшій контроль долженъ здѣсь принадлежать субъективному методу. Но здѣсь рождается вопросъ: если объективный методъ не можетъ удовлетворить всѣмъ требованіямъ общественной науки, дать ей верховный принципъ, то какой изъ субъективныхъ принциповъ можетъ быть выбранъ, какъ наилучшій, такъ какъ ихъ можетъ быть представлено нѣсколько? На этотъ вопросъ мы отвѣчаемъ всей своей статьей. Возможно полное и многостороннее раздѣленіе труда между органами человека и возможно меньшее раздѣленіе труда между людьми, — таковъ предлагаемый нами принципъ, такова цѣль, которую мы указываемъ какъ наилучшую. Принципъ этотъ, какъ намъ кажется, не имѣетъ ни одного изъ недостатковъ, присущихъ всѣмъ до сихъ поръ пришивавшимся принципамъ политики, этики, экономіи. Всѣ они либо предназначаются только для какой-нибудь

частной области, вслѣдствіе чего примиреніе между отдѣлами общественной науки не можетъ состояться; либо добыты метафизическимъ путемъ, либо страдаютъ эмпиризмомъ, либо незаконно минуютъ науку о природѣ, вслѣдствіе чего невозможно примиреніе между наукою и жизнью. Съ другой стороны нашъ принципъ обнимаетъ всѣ области человѣческой дѣятельности, всѣ стороны жизни. Онъ выведенъ нами не изъ глубины собственнаго духа и не рекомендуется, какъ полученный супранатуральнымъ путемъ. Онъ прочно коренится въ объективной наукѣ, потому что вытекаетъ изъ точныхъ изслѣдованій законовъ органическаго развитія. Правда, отираваясь отъ этихъ самыхъ законовъ, Спенсеръ, Дрэперъ и многіе другіе люди съ повѣснѣвымъ авторитетомъ — пришли къ діаметрально-противоположнымъ результатамъ. Но обстоятельство это нисколько не колеблетъ нашего принципа, потому что, руководствуясь имъ однимъ, мы показали всю несостоятельность воззрѣній Спенсера и имѣли даже возможность намекнуть на историческія причины этихъ воззрѣній. Отбросивъ въ нашихъ статьяхъ все недоговоренное и неподѣланное, читатель имѣетъ передъ собою ясно и просто поставленный вопросъ: могутъ ли быть подведены къ одному знаменателю раздѣленіе труда между недѣлимыми и раздѣленіе труда между органами, какъ полагаетъ Спенсеръ и другіе, или это два явленія, взаимно исключаются, находящіяся въ вѣчномъ и необходимомъ антагонизмѣ, какъ утверждаемъ мы? Вопросъ этотъ рѣшается данными объективной науки, и притомъ данными уже установленными, не подлежащими сомнѣніямъ. Если эти данныя дѣйствительно говорятъ въ пользу Спенсера рѣшенія вопроса о раздѣленіи труда, который мы считаемъ фундаментальнымъ вопросомъ общественной науки, всѣ наши соображенія должны рухнуть. Если же нѣтъ, если правда на нашей сторонѣ, въ чемъ я также твердо увѣренъ, какъ въ томъ, что держу въ настоящую минуту въ рукѣ перо, — остается только приложить предложенный нами принципъ, въ качествѣ соціологической аксіомы, къ рѣшенію частныхъ вопросовъ. На поставленный нами вопросъ: что такое прогрессъ? — отвѣчаемъ: Про-

грессъ есть постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживаетъ это движеніе. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ.



ВЪ ПЕРЕМЕЖКУ. *)

(Фантазія, дѣйствительность, воспоминанія, предсказанія).

I.

— Пиши—легче будетъ, говорила мнѣ любимая женщина, передъ которой я раскрылъ свою душу.

Я долго боролся противъ этой односторонней, эгоистической силы женской логики. Я очень хорошо понималъ, что по отношенію ко мнѣ совѣтъ прекрасенъ. *Getheilter Schmerz ist halber Schmerz*. Да не зачѣмъ впрочемъ и дѣлать кого-нибудь участникомъ своей скорби. Достаточно дать какой-нибудь исходъ собственной внутренней жизни, чтобы она не сбивалась тамъ въ груди, въ головѣ, въ плотную, тяжелую кучу, которая дышать мѣшаетъ. Еслибы я былъ птицей, я бы все пѣсни пѣлъ. Я думаю, она, птица-то, оттого и весела такъ, что можетъ все «выпѣть». А у человѣка, особенно не говорливаго, каковъ я, образуется постоянно какой-то душевный отстой всего пережитаго, и какъ поднимется въ этомъ отстоѣ броженіе—жить становится изъ рукъ вонъ душно. Писательство конечно—исходъ чудесный. Блеснула мысль, загорѣлось чувство—клади сейчасъ на бумагу. Это вѣдь все равно, что форточку отворить и трубу открыть, дать постоянное теченіе и обновленіе застоившемуся въ комнатѣ воздуху. Чего-жъ лучше? Но впервыхъ страшно, а вовторыхъ

*) 1876—1877.

совѣстно. Слыхалъ я, что въ старые годы къ писательству приступали какъ къ нѣкоторому священнодѣйствию, съ трепетомъ, а нынѣ будто бы начинающіе писатели «осмѣлились». Не знаю какъ вообще, а мнѣ право страшно. Всѣ писатели представляются мнѣ людьми высокаго роста, съ гордыми орлиными носами, «съ печатью думы на челѣ» или съ какимъ нибудь клеймомъ возвышеннаго вдохновенія. Оттого-то они такъ важны, щекотливы и знаютъ себѣ цѣну. Вотъ на примѣръ г. Тургеневъ. Онъ въ первой книжкѣ «Вѣстника Европы» за нынѣшній годъ сразу два раза заявилъ, что у него гордый орлиный носъ, необыкновенно и конечно правомѣрно чуткій ко всему, что относится до твореній обладателя носа. Въ примѣчаніи къ разсказу «Часы» г. Тургеневъ заявляетъ, что онъ предлагаетъ публикѣ конечно хорошенькую, но все-таки бездѣлку, которую отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать съ ожидаемымъ всею Россіею большимъ романомъ автора. Въ письмѣ въ редакцію «Вѣстника Европы» г. Тургеневъ объясняетъ тоже «нѣкоторые до него лично относящіеся факты». Опъ заявляетъ именно, что хотя какой-то библиографъ справедливо приписываетъ ему разборъ книги Муравьева «Путешествіе къ святымъ мѣстамъ», напечатанный въ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія» за 1836 годъ, но опъ, г. Тургеневъ, «не можетъ, по совѣсти, считать это ребяческое упражненіе своимъ первымъ литературнымъ трудомъ». Еще бы! Конечно г. Тургеневъ началъ прямо со второго литературнаго труда и ребяческими упражненіями никогда не занимался. Или вотъ г. Авдѣевъ. Въ объявленіяхъ «Молвы» было ошибочно показано заглавіе его произведенія, и г. Авдѣевъ немедленно публикуетъ во всѣхъ газетахъ исправленіе этой ошибки. Это я только тѣ записываю, что совсѣмъ на-дняхъ случилось. А кабы старое копнуть, такъ и конца бы не было. Одинъ г. Тургеневъ сколько матеріала далъ бы. И эти люди имѣютъ полное право благоговѣть передъ каждой своей строкой. Ну, куда же мнѣ къ нимъ въ товарищи соваться!? Какимъ презрѣніемъ, разумѣется молчаливымъ, обольютъ меня крупные дѣятели русской литературы! А кто помельче, такъ совсѣмъ за-

ключють. Недаромъ я, рѣшившись уже скрѣпя сердце предстать передъ русской читающей публикой, поставилъ въ заголовкѣ между прочимъ «предсказанія». Я и теперь могу предсказать напримѣръ, что такой-то сочинитель наведетъ справки о цвѣтѣ моего пиджака (а онъ у меня, признаться, не казистый), о моей походкѣ, о моей прическѣ и все это изложитъ съ ясными на принадлежность мнѣ всѣхъ этихъ вещей доказательствами. Ну — и страшно. А кромѣ того совѣстно. Г. Тургеневъ твердо знаетъ, что его романа ждетъ вся Россія, а потому имѣетъ право сообщать читателямъ о ходѣ своей работы: дескать подождите еще немного, потерпите. Авторъ будущаго описанія моего гороховаго пиджака и вихрастой прически тоже твердо знаетъ, что это чрезвычайно нужно. Но откуда мнѣ-то взять эту уверенность?

Такъ боролся я съ односторонней силой женской логики. Но въ концѣ-концовъ она побѣдила. Она доказала мнѣ прежде всего, что плохой тотъ солдатъ, который не надѣется быть гѣнераломъ, что ничто не мѣшаетъ мнѣ сдѣлаться съ теченіемъ времени вторымъ Тургеневымъ и затѣмъ отречься съ высоты славы отъ своего перваго литературнаго труда. Значитъ, будь этотъ трудъ даже совершенно ребяческимъ упражненіемъ, невпримѣръ слабѣйшимъ, чѣмъ разборъ муравьевскаго путешествія къ святымъ мѣстамъ, бѣды не будетъ. Вовторыхъ мнѣ было доказано, что я — современный русскій типъ и въ качествѣ такого могу смѣло явиться передъ публикой, если только буду писать правду, излагать то, что я въ самомъ дѣлѣ пережилъ и переживаю. «Ты — кающійся дворянинъ», говорила мнѣ любимая женщина; — «и такихъ какъ ты много; что изъ васъ выйдетъ — не знаю, но типъ во всякомъ случаѣ любопытный, а васъ всѣ обходятъ, литература вами не занимается». Я долженъ былъ сознаться, что это правда. «Кающагося дворянина» пустилъ въ ходъ г. Михайловскій, кажется просто обозначивъ этой кличкой извѣстное явленіе. Другіе потомъ стали вкладывать въ эту кличку какой-то очень неодобрительный и укорительный смыслъ. Можетъ быть они и правы. Пусть судитъ читатель, познако-

жившись съ тою правдою, которую я ему расскажу, а рассказывать я буду правду. Вы можете мнѣ повѣрить, потому что я и писать только для того началъ, чтобы «выгнать» все, что у меня въ душѣ накопилося, чтобы отворить форточку и открыть трубу. Если я буду лгать, такъ мнѣ легче не станетъ, броженіе душевнаго отстоя не прекратится. Значитъ мой собственный интересъ велитъ мнѣ правду говорить. Не знаю, выдержу ли я, хватить ли у меня смѣлости довести до конца свою задачу, но намѣреніе мое твердо. Я откровенно расскажу, какъ и почему я сталъ кающимся дворяниномъ, въ чемъ каюсь, что ненавижу, что люблю, чего боюсь, на что надѣюсь. А если замѣчу, что задача мнѣ не по силамъ, такъ просто закрою форточку, то-есть перестану писать.

Но, какъ писатель начинающій, я не владѣю формой, не могу приурочить свое писаніе къ какой нибудь рубрикѣ. Я — не романистъ, не критикъ, не публицистъ, а всего понемножку, «въ перемежку». Въ такомъ смыслѣ я и условіе съ редакціей «Отечественныхъ Записокъ» заключилъ. Выйдетъ у меня фантастическая поэма — могу ее печатать; водевильные куплеты — тоже могу; критическія замѣтки — опять могу, и т. д. Безъ сомнѣнія, приглядѣвшись всетаки въ литературѣ, я читателямъ «Отечественныхъ Записокъ» не предложу ни «Исторіи Шампанскаго гусарскаго полка», ни романа, пропитаннаго ароматомъ будуара княгини Лучезаровой (еслибы мнѣ случилось написать что нибудь подобное, я отправлю въ «Русскій Вѣстникъ»), ни статьи о русскихъ глаголахъ или о магометанской цумизматикѣ (это пойдетъ въ «Вѣстникъ Европы»).

Вотъ и все, что я имѣю сказать въ видѣ рекомендаціи. А тамъ ужь пусть читатель судить.

Вечеромъ дѣло было. То-есть по моему образу жизни вечеромъ. Такъ, часовъ въ пять. Огарокъ свѣчки, отчасти по свойствамъ петербургской зимы, а отчасти потому, что окно моей комнаты выходитъ на задній дворъ, огарокъ, говорю, зажженный еще въ три часа, догорѣлъ, и пришлось его потушить. На

душѣ было смутно. Но не потому, что у меня не было семи копеекъ на свѣчку—къ этакимъ случайностямъ я уже давно привыкъ—а потому, что я только-только-что успѣлъ дочитать романъ г. Достоевскаго «Подростокъ». Будь огарокъ чуть-чуть меньше, я не успѣлъ бы прочитатъ очень меня задѣвшія за живое слова Николая Семеновича, письмомъ котораго г. Достоевскій закончилъ свой романъ. Вотъ эти слова:

«Еслибы я былъ русскимъ романистомъ и имѣлъ талантъ, то непременно бралъ бы героевъ моихъ изъ русскаго родоваго дворянства, потому что лишь въ одномъ этомъ типѣ культурныхъ русскихъ людей возможенъ хоть видъ красиваго порядка и красиваго впечатлѣнія, столь необходимаго въ романѣ для изящнаго воздѣйствія на читателя. Говоря такъ, я вовсе не шучу, хотя самъ я — совершенно не дворянинъ, что впрочемъ вамъ и самимъ извѣстно. Еще Пушкинъ намѣтилъ сюжеты будущихъ романовъ своихъ въ «Преданіяхъ русскаго семейства», и повѣрьте, что тутъ дѣйствительно все, что у насъ было доселѣ красиваго. По крайней мѣрѣ, тутъ все, что было у насъ хотя сколько нибудь завершеннаго. Я не потому говорю, что такъ уже безусловно согласенъ съ правильностью и правдивостью красоты этой; но тутъ напримѣръ уже были законченныя формы чести и долга, чего, кромѣ дворянства, нигдѣ на Руси не только нѣтъ законченнаго, но даже нигдѣ и не начато... Тамъ хороша ли эта честь и вѣренъ ли долгъ—это вопросъ второй; но важнѣе для меня именно законченность формъ и, хоть какой-нибудь, да порядокъ и уже не предписанный, а самими наконецъ-то выжитый. Боже, да у насъ именно важнѣе всего, хоть какой-нибудь, да свой, наконецъ, порядокъ! Въ томъ заключалась надежда и, такъ сказать, отдыхъ глазу: хоть что-нибудь, наконецъ, построенное, а не вѣчная эта ломка, не летающія повсюду щепки, не мусоръ и соръ, изъ которыхъ, вотъ уже двѣсти лѣтъ, все ничего не выходитъ. Не обвините въ славянофильствѣ; это—я лишь такъ, отъ мизантропіи, ибо тяжело на сердцѣ! Нынѣ съ недавняго времени... уже не соръ пристаеетъ къ высшему слою людей, а напротивъ, отъ красиваго типа отрываются, съ веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются въ одну кучу съ беспорядкующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самыя отцы и родоначальники бывшихъ культурныхъ семействъ смѣются уже надъ тѣмъ, во что можетъ быть хотѣли бы еще вѣрить ихъ дѣти. Мало того: съ увлеченіемъ не скрываютъ отъ дѣтей своихъ свою алчную радость о внезапномъ правѣ на безчестье, которое они вдругъ изъ чего-то вывели цѣлою массой».

Вотъ слова, повергнушія меня—не скажу въ глубокое раздумье, потому что выраженіе это предполагаетъ извѣстную правильность.
михайловскій. т. iv.

ность, порядокъ мысли, а въ какой-то душевный омутъ, въ которомъ странно сталкивались обрывки мыслей, образы давно прошедшаго и настоящаго, желанія, чувства—что-то совсѣмъ хаотическое, но тяжелое. Разобраться во всемъ этомъ я не могъ. Со мной бываетъ во снѣ, что вдругъ надвигается на меня что-то шарообразное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, безформенное, громадное, надвигается все ближе, ближе, и мнѣ становится все не то, что страшище, а какъ-то неопредѣленно, но мучительно тяжело, — я всѣ усилія употребляю, чтобы проснуться. Вотъ въ этомъ же родѣ было мое состояніе, когда я потушилъ свѣчку, дочитавъ письмо Николая Семеновича. Не въ самомъ письмѣ было конечно дѣло, но оно дало толчокъ, вызвавшій многое, что для меня было *längst gestorben, verdorben*. И можетъ быть именно потому, что толчокъ былъ неожиданный, образы и мысли явились въ совсѣмъ беспорядочномъ смѣшеніи. Вотъ отецъ, красивый человѣкъ съ крашеными волосами и усами. Но не успѣлъ еще я припомнить, какъ однажды я былъ изумленъ въ купальнѣ при видѣ краски, смытой водой съ отцовской головы, и какъ онъ смутился отъ моего дѣтскаго крика — вмѣсто отца уже назойливо вторгались «дяденька-нѣмецъ» и «дяденька-генералъ». Изъ-за дяденьки-генерала выглядывалъ мой братъ-мужикъ, о которомъ я пролилъ столько слезъ. А тамъ сестра, а тамъ совсѣмъ недавнія, почти вчерашнія событія... Надо было кончить съ этимъ, то-есть собственно съ беспорядочностью и хаосомъ. Отъ воспоминаній я былъ не прочь, еслибъ они только представились въ мало-мальски стройномъ видѣ, не сбиваясь въ кучу. Невыносима была беспомощность моя, невозможность справиться съ нахлынувшимъ вдругъ потокомъ. Мнѣ казалось, что, еслибы у меня была свѣчка и горѣла вотъ тутъ на столѣ, хаосъ исчезъ бы. Но откуда ее взять, свѣчку-то?

Вдругъ въ сосѣдней, хозяйской комнатѣ раздался тоненькій дѣтскій голосокъ:

— Адамъ и Ева не нуждались въ одеждѣ, потому что были безгрѣшны...

Это—хозяйкина дочь, десятилѣтняя Оля, вслухъ готовила на

завтра урокъ изъ священной исторіи. Вѣрите ли, точно лучъ солнечный ворвался въ мою комнату, когда прозвучалъ тоненькій голосокъ Оли. Самый ли смыслъ этого голоса или смыслъ произнесенной имъ фразы подѣйствовалъ, но мучительный хаосъ исчезъ. Свѣчки мнѣ уже было не нужно. Я пошелъ гулять, потому провалялся часовъ до шести безъ сна, все приводя въ порядокъ свои воспоминанія и мысли, вызванныя письмомъ Николая Семеновича. Проснулся очень поздно, и первое, что услышалъ, былъ опять вчерашнія слова маленькой Оли. Она отвѣчала матери урокъ:

— Адамъ и Ева не нуждались въ одеждѣ, потому что были безгрѣшны...

Я часто вспоминаю одинъ любопытный физическій опытъ. Наливаютъ въ какойнибудь сосудъ воды и очень медленно охлаждають ее, наблюдая притомъ, чтобы сосудъ былъ совершенно спокоенъ. Термометръ падаетъ до нуля, до одного, до двухъ, даже до трехъ градусовъ, такъ что водѣ давно бы пора замерзнуть, а она не мерзнетъ. Но если чуть-чуть толкнуть чашку, замерзаніе происходитъ моментально. Не знаю, какъ у другихъ, а за собой я замѣчалъ совершенно подобный психическій процессъ. Терпишь, напримѣръ, иной разъ, терпишь какіянибудь гадости, и давно бы пора плюнуть и уйти, а все терпишь, да вдругъ какойнибудь совѣтъ пустякъ и взорветъ. Такъ и письмо Николая Семеновича только поповелою цѣлую массу впечатлѣній, незамѣтно для меня самого залегавшихъ во мнѣ при чтеніи романа г. Достоевскаго. Собственно говоря, давно бы ужъ пора подняться воспоминаніямъ, но это мнѣ только теперь ясно. Взять напримѣръ преслѣдующую «Подростка» кличку «князь Долгорукій». Ужъ одна она напоминаетъ мнѣ многое. Я не такъ, какъ Подростокъ—законнѣйшій сынъ законнѣйшихъ родителей, но имѣю счастье или несчастье носить древнюю фамилію Темкиныхъ, вдобавокъ зовутъ меня Григоріемъ Александровичемъ. Поэтому, и школьники, и нѣкоторые учителя тѣхъ двухъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ я провелъ свою

раннюю молодость, въ насмѣшку величали меня Потемкинымъ, «великолѣпнымъ княземъ Тавриды», «сыномъ роскоши, прохлады и иѣгъ» и, наконецъ, просто «Гришкой въ потемкахъ», какъ, по преданію, школьники дразнили знаменитаго любимца Екатерины. Да и такъ, совсѣмъ помимо школьныхъ отношеній, случалось и случается, что назвенью свою фамилію и услышишь, какъ Подростокъ, переспросъ: Потемкинъ? Теперь я, разумѣется, совершенно равнодушенъ ко всѣмъ этимъ кличкамъ и переспросамъ, но прежде относился къ нимъ не такъ. Каюсь, сначала, когда я впервые услышалъ «Потемкина» и «великолѣпнаго князя», я былъ сильно польщенъ. Мало того: такъ какъ дѣло пошло на откровенность, да и времена это очень далекія, я открюю вамъ маленькую хитрость, къ которой я прибѣгалъ, чтобы удержать за собой лестное, хотя и насмѣшливое прозвище. Я очень быстро освоился со школьными порядками и замѣтилъ, что кличка, видимо не производящая на отмѣченнаго ею обиднаго впечатлѣнія, скоро отпадаетъ и замѣняется другою. Поэтому я всѣми силами старался показать товарищамъ, что я чрезвычайно обижаюсь «великолѣпнымъ княземъ», даже, помню, не разъ дирался изъ-за этого прозвища. Я боялся, что у меня отнимутъ «Потемкина» и нарекутъ какъ нибудь въ родѣ «жидконожки» или «Мазепы». Черта ли это моего характера, или просто дѣтская черта—пусть судить читатель на основаніи дальнѣйшаго повѣствованія. Въ скоромъ времени однако произошло значительное измѣненіе въ моихъ отношеніяхъ къ Потемкину. Но, чтобы рассказать это, надо познакомить читателя съ «дяденькой-нѣмцемъ».

Такъ онъ назывался въ отличіе отъ «дяденьки-генерала», о которомъ потомъ. Дяденька-нѣмецъ приходился мнѣ, собственно, седьмой водой на киселѣ. Онъ былъ братъ жены двоюроднаго брата моего отца и жилъ у насъ не столько какъ родственникъ, сколько въ качествѣ бѣднаго человѣка. Это былъ плюгавый съ виду, но крѣпкій, никогда не хворавшій старичокъ съ вывернутыми въ стороны ногами, плѣшивый, съ всегда аккуратно выбритымъ лицомъ. Голосъ онъ имѣлъ исклиивый и обладалъ не-

пріятною слабостью, разгорячившись, обдавать собесѣдника брызгами слюней. Курилъ дрянныя сигары. Онъ былъ дѣйствительно нѣмецъ, но я никогда не слыхалъ отъ него ни одного нѣмецкаго слова, а по-русски онъ говорилъ совсѣмъ чисто, только пересыпая рѣчь безсмысленнымъ наборомъ словъ: «тутъ вотъ это теперича вотъ такъ». Къ отцу онъ относился съ величайшимъ почтеніемъ, даже съ подобострастіемъ, отчасти за кусокъ хлѣба и уголъ, которые онъ имѣлъ у насъ въ домѣ, отчасти можетъ быть ради личныхъ достоинствъ отца, а главное онъ видѣлъ въ немъ «старого дворянина». Я никогда не видалъ человѣка, который бы то такой степени уважалъ «породу» и вѣрилъ въ красоту старого дворянскаго типа, какъ дяденька-нѣмецъ. Я думаю, что даже публицисты «Русскаго Вѣстника» и «Русскаго Міра» должны были бы уступить ему пальму первенства. Самъ онъ былъ «совершенно не дворянинъ», какъ выражается Николай Семеновичъ, кровный нѣмецкій плебей (звали его Карлъ Карловичъ Фишеръ), сынъ митавскаго сапожника, коллежскій регистраторъ, дотянувшій до пенсіи на мѣстѣ смотрителя чего-то и гдѣ-то. Всю свою пенсію онъ тратилъ на покупку разныхъ древностей, которыми были завалены его двѣ маленькія комнатки во флигелѣ. Я очень любилъ рыться въ этомъ скарбѣ. Тутъ были разныхъ принадлежности рыцарскаго и древняго русскаго вооруженія, шлемы, копья, мечи, самопалы, которые дяденька-нѣмецъ, не смотря на свою любовь къ чистотѣ и порядку, оставлялъ во всей неприкосновенности ихъ священной ржавчины; старинные пергаменты и «выписы изъ книгъ гербовыхъ»; съ великими трудами и пожертвованіями собранная коллекція гербовыхъ печатей русскихъ дворянскихъ фамиліи и во главѣ ихъ печать древняго рода Темкиныхъ; наконецъ много различныхъ мелочей, которыхъ я не помню. Кстати о печатяхъ, для характеристики дяденьки-нѣмца и его отношеній къ отцу. На печати отца была вырѣзана, кромѣ родового герба, сабля съ привѣшанными къ ней двумя или тремя орденами, полученными отцомъ въ военной службѣ. Оказалось потомъ, что эти добавленія страшно смущали дяденьку-нѣмца въ его культѣ породы. Онъ цѣнилъ ко-

печно заслуги передъ отечествомъ, но желалъ бы видѣть гербъ Темкиныхъ совершенно чистымъ отъ какихъ бы то ни было позднѣйшихъ украшеній, такъ чтобы на печати не было ничего, кромѣ щита, раздѣленнаго на три поля и т. д., и дворянской короны, изъ которой поднимается колова какого-то звѣря — чтобы печать, однимъ словомъ, была исключительно родовая. Но отцу дяденька-нѣмецъ не рѣшался ни разу высказать свое задушевное желаніе и уже послѣ смерти его открылся мнѣ.

Такъ вотъ къ этому-то чудаку явился я съ извѣстіемъ, что товарищи прозвали меня Потемкинымъ и великолѣпнымъ княземъ Тавриды. Должно быть я не могъ, а можетъ быть и не хотѣлъ скрыть удовольствія, которое мнѣ доставила кличка, потому что дяденька-нѣмецъ сразу на меня окрысился.

— А ты и обрадовался? пискнулъ онъ во всю силу своихъ маленькихъ легкихъ и такъ обдавая меня брызгами слюней, что я долженъ былъ попятиться и достать изъ кармана платокъ. — Чего обрадовался-то? Потемкинъ! Великая штука твой Потемкинъ тутъ вотъ теперича всегда! Потемкинъ! Да знаешь ли что такое были Потемкины, когда князья Темкины-Ростовскіе... да нѣ, вотъ, читай... Хха: Потемкинъ!..

Дяденька-нѣмецъ торопливо и все нища что-то обидное для Потемкиныхъ досталъ изъ шкафа портфель, а изъ него цѣлую груду старыхъ бумагъ, которыя и сунулъ мнѣ подъ носъ. Но увы! эти древніе манускрипты были для меня настоящей китайской грамотой. Дяденька-нѣмецъ это очень хорошо зналъ и не сообразилъ только сгоряча. Опомнившись, онъ досталъ изъ того же шкафа томъ Карамзина и заставилъ меня вслухъ прочитать объ участіи какого-то князя Темкина-Ростовскаго въ покореніи Казани. Затѣмъ на меня, совершенно ошеломленнаго, посыпалась хронологія, исторія, археологія, геральдика, и въ итогъ я оказался происходящимъ отъ угасшаго рода князей Темкиныхъ-Ростовскихъ, а тѣ, въ свою очередь, прямо отъ одного изъ сыновей Владиміра Краснаго-Солнышка.

— Тутъ вотъ теперича вотъ какъ! заключилъ дяденька-нѣмецъ. — А что твой Потемкинъ князь былъ, такъ вѣдь пожало-

ванный—понялъ? а не родовой. Еслибы—тутъ дяденька нѣмецъ вдругъ понизилъ голосъ—еслибы Александръ Петровичъ (отецъ) только захотѣлъ, такъ ничего бы ему не стоило выхлопотать титулъ, потому—дѣло ясное... или хоть право имѣть въ гербѣ корону и мантию. Темкины не хуже Внуковыхъ, Еропкиныхъ и Ржевскихъ!..

Послѣдовала новая лавина хронологіи и геральдики, объяснявшая, почему Внуковы и Еропкины, не будучи князьями, но происходя отъ княжескихъ родовъ, имѣютъ въ гербѣ корону и мантию.

Разговоръ этотъ не остался для меня безъ нѣкоторыхъ неприятныхъ послѣдствій. Я очень мало запомнилъ изъ длинной лекціи дяденьки-нѣмца и очень мало понялъ. Больше восторженный тонъ старика, чѣмъ сообщенные имъ факты, внушилъ мнѣ высокое понятіе о древности рода Темкиныхъ. Къ несчастію, дяденька-нѣмецъ, для болѣе нагляднаго изображенія величія нашего рода, а также снисходя къ моей глупости, употребилъ выраженіе «родственники Владиміра Святого». И, къ еще большому несчастію, я это выраженіе запомнилъ. Запомнилъ и разболталъ... Боже! сколько я изъ-за этого вытерпѣлъ!

Былъ у меня въ гимназій пріятель Нибушъ, незаконный сынъ богатаго помѣщика, отпрыска древняго красиваго типа—Шубина. Если вы прочтете фамилію Нибушъ съ конца, такъ выйдетъ Шубинъ. Отпрыску стараго красиваго типа пришла страшная фантазія вывернуть имя наизпанку для своего незаконнаго дѣтища, чтобы дескать видно было, что мой, да съ лѣвой стороны. Нибушъ былъ мальчикъ угрюмый и несообщительный, но мы съ нимъ почему-то сошлись. Замѣчательно, что Нибушъ никогда никого не «дразнилъ», то-есть не употреблялъ въ разговорѣ школьныхъ кличекъ «козелъ», «Мазепа» и т. д. Но зато и онъ не носилъ никакого школьнаго прозвища, представляя можетъ быть единственное во всей гимназій исключеніе. Когда его однажды одинъ сорванецъ обозвалъ тѣмъ позорнымъ именемъ, которое грубые люди даютъ незаконнымъ дѣтямъ, сорванца едва вырвали изъ рукъ Нибуша: еще не-

много, и онъ бы его задушилъ. Случилась эта исторія еще до моего поступленія, и я объ ней узналъ довольно поздно. Нибушу я и сообщилъ въ интимной бесѣдѣ, что такъ молъ и такъ, я собственно — родственникъ Владиміра Святого, и потому клички «Гришки въ потемкахъ», «сына роскоши», «великолѣйнаго князя» и «Потемкина» для меня въ самомъ дѣлѣ обидны. «Конечно Потемкинъ былъ князь, развивалъ я идею дяденъки-нѣмца:—да вѣдь пожалованный, а мнѣ ничего не стоитъ вытребовать княжескій титулъ». Нибушъ выслушалъ меня молча, съ нахмуренными по обыкновенію бровями и, къ большому моему неудовольствію, не только не выразилъ сочувствія, а быстро и рѣзко оборвалъ разговоръ. Вскорѣ послѣ этого—истинно проклиная эту минуту и до сихъ поръ краснѣю, вспоминая ее—я, раздраженный какою то мелочью, обругалъ Нибуша позорнымъ именемъ, даже не понимая его значенія. Чортъ знаетъ, какъ сорвалось у меня съ языка это проклятое слово. Нибушъ поблѣднѣлъ, затрясся—и звонкая пощечина повалила меня на полъ. Я вскочилъ, началась безобразная драка: настѣ едва розняли, и Нибушъ, дрожа отъ злости и едва попадая зубомъ на зубъ, какъ-то бессмысленно пнипѣлъ: «родственникъ Владиміра Святого... я-те покажу... родственникъ... я-те покажу... Святого»... Драка была до такой степени основательная—мы оба были окровавлены—что выходила совсѣмъ изъ ряда вопъ, и причины ея скоро сдѣлались извѣстными и всѣмъ школьникамъ, и начальству, и моему отцу, и отцу Нибуша. Съ тѣхъ поръ кличка «Потемкинъ» была съ меня снята, и я сдѣлался «родственникомъ Владиміра Святого». Хоть это прозвище и было несравненно почетнѣе, но я, понятно, очень оскорблялся имъ и много ударовъ роздалъ и принялъ изъ-за злополучнаго «родственника». Только впоследствии, по переѣздѣ въ Петербургъ и поступленіи въ другую школу, я сталъ по созвучію опять Потемкинымъ и «великолѣпнымъ княземъ Тавриды», а «родственникъ Владиміра Святого» кануль въ вѣчность. Но сильнѣйшій изъ всѣхъ ударовъ былъ мнѣ нанесенъ отцомъ.

Конечно, ударъ былъ нравственный: отецъ насъ ни разу въ жизни пальцемъ не тронулъ.

Какъ ни старался я смыть слѣды драки съ Нибушемъ, но явился домой весь въ синякахъ, царапинахъ и съ разорваннымъ рукавомъ. Притомъ же драка происходила въ субботу, а по субботамъ я приносилъ домой и вручалъ отцу «аттестацію», которую, по просьбѣ отца, составлялъ одинъ надзиратель. Исторія съ Нибушемъ была въ аттестации прописана. Я долго колебался, не шелъ, молился Богу, чтобы отцу чтонибудь помѣшало увидеть меня хоть сегодня, чтобы онъ заболѣлъ—даже, чтобы онъ умеръ. Вѣрно вамъ говорю: я молился передъ вѣшнымъ въ дѣтской образомъ Трехъ Святителей, чтобы отецъ умеръ. Я припоминалъ похороны одного знакомаго доктора и представлялъ себѣ, какъ я буду плакать при видѣ отца въ гробу, среди ладоннаго дыма и въ бумажномъ вѣничкѣ на лбу... Но вотъ въ кабинетѣ послышался звонокъ и потомъ его громкій голосъ:

— Пришелъ Григорій Александровичъ?

Сердце у меня забилося, какъ птица въ клеткѣ: я долженъ былъ схватиться руками за грудь. Отвѣта лакея Якова, къ которому, я зналъ, обращался отецъ, я не слышалъ, но смыслъ его для меня былъ совершенно ясенъ, потому что тотчасъ же опять раздался страшный для меня въ ту минуту голосъ:

— Такъ чего-жъ онъ не идетъ? Позови.

Яковъ разыскалъ меня. Дѣлать нечего, надо идти. Чего я боялся, я и теперь хорошенько не знаю, потому что, хоть отецъ и былъ строгъ, но къ моимъ нерѣдкимъ кулачнымъ похождениямъ относился снисходительно. Должно быть я смутно чувствовалъ, что «родственникъ Владиміра Святого» мнѣ не сойдетъ даромъ.

Когда я съ трепещущимъ сердцемъ вошелъ въ кабинетъ, отецъ сидѣлъ у письменнаго стола и держалъ въ лѣвой рукѣ длинный черешневый чубукъ трубки. Замѣтивъ мою блѣдную отъ волненія и помятую дракой физиономію, онъ молча протянулъ руку за аттестацией. Я подалъ. Онъ сталъ читать. Я без-

смысленно смотрѣлъ на его лѣвую руку, перехватившую чубукъ посерединѣ, и думалъ, глядя на его блестящія, крупкіе, выпуклыя ногти: «точно желудки!» Отъ ногтей глаза поднялись по линіи чубука до высокаго тугаго галстуха, изъ-за котораго не выглядывали никакіе воротнички—такъ тогда носили. Но выше, въ лицо я не смѣлъ взглянуть и опять опустил глаза къ «желудкамъ». Отецъ кончилъ, всталъ и ходилъ нѣсколько минутъ по кабинету, не обращая на меня, казалось, никакого вниманія. Мигъ стало еще жутче, да и глаза, привыкшіе уже перебегать отъ желудей къ галстуху, не знали на чемъ остановиться. Наконецъ отецъ опять сѣлъ и, постукивая по столу «желудками» правой руки, заговорилъ своимъ обыкновеннымъ тономъ:

— Ты это съ чего взялъ, что ты—родственникъ Владиміра Святого?

Я молчалъ.

— Ну говори!

— Дяденька сказалъ, чуть слышно отвѣчалъ я, нѣсколько облегченный и спокойствіемъ отца, и слезами, которыя подступили въ эту минуту.

— Дяденька? Ну, дяденька ошибся. Я тебѣ вотъ что расскажу. У меня родилась дочь, а кормилица, серебрянская баба... знаешь Серебряное? (я очень хорошо зналъ подгородное село Серебряное и зналъ, что кормилица моя была оттуда) ...такъ она подмѣнила дочь, подсунула вмѣсто нея своего сына, чтобы ему въ рекруты не идти, а дочь взяла къ себѣ. Дочь ужъ давно умерла, ты вѣдь знаешь? (я зналъ). Такъ вотъ она-то и была родственница Владиміра Святого, а ты выходишь серебрянскойіи мужикъ... Понялъ?... Ну, и ступай...

Отецъ произнесъ все это очень отчетливо, увѣсисто и тотчасъ же отвернулся, дѣлая видъ, что роется въ бумагахъ на столѣ. Я зарыдалъ, постоялъ еще нѣсколько секундъ и вышелъ изъ кабинета униженный, раздавленный... чѣмъ? Право не знаю. Исторія подмѣна казалась мнѣ до такой степени сложной, что я и не пытался хорошенько вникнуть въ нее. Я понялъ только

одно: что я, недавній родственникъ Владиміра Святого, просто серебрянскій мужикъ и что въ этомъ заключается что-то обидное и отчуждающее меня отъ отца, отъ сестры, отъ дома, отъ товарищей. Усомниться въ разсказѣ отца я и не подумалъ, потому что не могло же мнѣ придти въ голову, что онъ, въ такую торжественную (для меня) минуту, шутить или употребляетъ особенный педагогическій пріемъ. Сестра Соня ждала уже меня въ дѣтской, встревоженная и любящая, но я ее оттолкнулъ.

— Я не... Владиміра Святого, рыдалъ я:—кормилицынъ... сынъ... муж...жикъ... серебрянск...

Со мной сдѣлалась первая горячка, доля которой должна быть вѣроятно отнесена насчетъ здоровыхъ кулаковъ Нибуша. Когда я выздоровѣлъ, о серебрянскомъ мужикѣ и фантастическомъ кормилицыномъ сынѣ не было уже помина. Я оказался чистымъ, настоящимъ Темкинымъ, но дяденька-нѣмецъ уже неохотно принималъ меня въ свои апартаменты, заваленные археологическимъ и геральдическимъ скарбомъ.

Съ Нибушемъ мы съ тѣхъ поръ не сказали ни одного слова, точно умерли другъ для друга. Мы встрѣтились гораздо позже и при совсѣмъ особенныхъ условіяхъ.

Что однако значить неумѣнье писать! Настоящій писатель, привычный и съ талантомъ, развѣ онъ сталъ бы писать такую путаницу? У него бы романъ выпелъ или такъ легонькій разсказъ, вообще чтонибудь оформленное, опредѣленное, порядочное. А у меня выходитъ чортъ знаетъ что... Не взыщите, читатель; я только правду обязался говорить, а на формѣ не взыщите. Можетъ быть на слѣдующей же страницѣ воспоминанія смѣнятся предсказаніями, дѣйствительность — фантазіей, разсказъ—лирикой или размышленіемъ. Меня вотъ и теперь тянетъ къ размышленію...

Въ самомъ дѣлѣ, это вѣдь любопытно. Мнѣ все яснѣе и яснѣе становится, что письмо Николая Семеновича было только толчкомъ, обнаружившимъ давно, но незамѣтно происходившій процессъ подбора воспоминаній. Нибушъ — незаконный сынъ и

Подростокъ — тоже, Подростка преслѣдуетъ кличка и меня — тоже. Мелочи это конечно, да и не во всѣхъ подробностяхъ параллельныя, но все-таки онѣ полегоньку конились и готовили взрывъ. Письмо же Николая Семеновича прямо породило мысль, которая однако, отъ неожиданности взрыва, сначала запуталась въ кучѣ воспоминаній. Тутъ выручилъ другой толчокъ — тоненькій голосокъ маленькой Оли:

— Адамъ и Ева не нуждались въ одеждѣ, потому что были безгрѣшны...

А мысль приблизительно была вотъ такая. Въ вопросительной больше формѣ она сначала представилась. Отчего Николай Семеновичъ, «совершенно не дворянинъ», и дяденька-нѣмецъ, тоже «совершенно не дворянинъ», отчего они такъ болѣютъ сердцемъ о «красивомъ типѣ» стараго русскаго дворянства и даже увѣрены, что нигдѣ, кромѣ среды «культурныхъ русскихъ людей», не существуютъ законченныя понятія чести и долга? Въдь это же со стороны совершенно не дворянъ — жесточайшее самобичеваніе (чуть-чуть не написалъ по ошибкѣ: «самоубійство»), требованіе того самаго «права на безчестье», которое такъ возмущаетъ Николая Семеновича. «Совершенно не дворяне» говорятъ: вамъ честь, вамъ долгъ, а мы и такъ проживемъ, въ безчестьи, вами любующись, на васъ глазомъ отдыхаючи. Такъ въ старые годы преданыя дворовые разсуждали: у насъ моль паръ, а у господъ душа. Это — феноменъ, заслуживающій вниманія какогонибудь ученаго психолога. Конечно я говорю только объ искреннихъ дворовыхъ, каковы Николай Семеновичъ и дяденька-нѣмецъ, а не о публицистахъ «Русскаго Вѣстника» и «Русскаго Міра». Я очень допускаю, что эти господа — по происхожденію «совершенно не дворяне», но они во всякомъ случаѣ только поддѣлываются подъ тонъ искренно преданныхъ дворовыхъ. Въ дѣйствительности же, я увѣренъ, они клянутъ матерей своихъ, которыя выпли за «совершенно не дворянъ» и родили ихъ таковыми же. Дорого бы они дали, чтобы какъ я считать въ числѣ своихъ предковъ князей Темкиныхъ-Ростовскихъ и подписываться не Голодузенкомъ или Квасковымъ, а

Темкинымъ. А я между тѣмъ—каюсь; я—кающійся дворянинъ... Опять странное явленіе. Миѣ же лучше, чѣмъ какому нибудь Голопузенкѣ, знать цѣну красиваго типа культурныхъ русскихъ людей. Отчего же я, говоря словами Николая Семеновича, отстранился отъ «законченныхъ формъ чести и долга»? Впрочемъ тутъ Николай Семеновичъ ошибся, по крайней мѣрѣ относительно меня. Я оторвался—это правда, но совѣмъ не съ веселою торопливостію. О нѣтъ, повѣрьте, что много душевной муки и горечи пережилъ я прежде, чѣмъ оторваться и покаяться. Да вы сами дальше увидите. А оторвался я единственно потому, что не нашелъ ни законченныхъ формъ чести и долга, ни красиваго типа, если я только вѣрно понимаю, что хотѣлъ этими послѣдними словами сказать Николай Семеновичъ. Вы можете быть объясните все дѣло тѣмъ, что у меня семи копѣекъ на свѣчку не хватаетъ? Нѣтъ, по совѣсти нѣтъ. Я имѣю полную возможность хоть сейчасъ половину свѣчной лавки закупить. Для этого нужно только немного голову нагнуть и главное перестать каяться. Опять-таки, вы все это дальше сами увидите и проверите и проверите.

Кстати о Николаѣ Семеновичѣ. Я слышалъ миѣніе, будто его устами говорилъ самъ г. Достоевскій. Это конечно — совѣмъ пустяки. Г. Достоевскій не въ такихъ лѣтахъ и не такого закала человѣкъ, чтобы быстро мѣнять свои взгляды. Онъ еще очень недавно чрезвычайно энергически заявлялъ, что «Власы спасутъ себя и насъ». У спасителей должны же быть опредѣленныя формы чести и долга, иначе они никого не спасутъ. А вы помните, что говорилъ Николай Семеновичъ: по части долга и чести «кромѣ дворянства, *нигдѣ* на Руси не только нѣтъ законченнаго, но даже *нигдѣ не начато*». Ясно, что Николай Семеновичъ и г. Достоевскій—два совѣмъ разные лица. Николай Семеновичъ — просто преданный дворовый, а г. Достоевскій можетъ быть даже согласится со мной, что мы, дворяне, недавно только *начали*, то-есть начали вырабатывать формы чести и долга и начали именно покаяніемъ.

Родъ Темкиныхъ, хотя и происходитъ отъ древняго угасшаго

рода князей Темкиных-Ростовских, но былъ родъ захудалый, давно захудалый. Основаніе захудалости положилъ мой прадѣдушка, прозванный «лютымъ», отчаянный картежникъ, пьяница, сорви-голова, буквально выходившій съ толпой дворовыхъ грабить на большую дорогу. Его и до сихъ поръ въ нашихъ родныхъ мѣстахъ помнятъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе передавая чудовищные рассказы, можетъ быть приправляемые фантазіей, о его разбойническихъ подвигахъ. Можетъ быть въ художественномъ смыслѣ это былъ и красивый типъ, но вѣрно, что о чести и долгѣ онъ имѣлъ очень своеобразныя понятія. Въ концѣ концовъ, онъ разорился до тла. Барыни большой дороги не могли восполнить убытковъ отъ наѣздовъ алчной приказной челяди, съ которой ему постоянно приходилось имѣть дѣло, отъ безумнѣйшаго мотовства, отъ картежной игры—онъ ставилъ на одну карту по сту, по двѣсти душъ крестьянъ. Сынъ его, значить мой дѣдъ, былъ, по рассказамъ, человѣкъ смирный, забитый и отличался только плодородіемъ. Между его многочисленными дѣтьми и разошлись остатки когда-то громаднаго богатства Темкиныхъ. Каковы впрочемъ уже были эти остатки, можете судить потому, что у отца моего было человѣкъ десять-двѣнадцать (считая малолѣтокъ) крѣпостныхъ и небольшой деревянный домъ въ губернскомъ городѣ, гдѣ я увидѣлъ свѣтъ. Изъ дядей и тетокъ я до сей минуты не видалъ въ глаза никого, кромѣ «дяденьки-генерала», и отецъ объ нихъ никогда при мнѣ по крайней мѣрѣ не вспоминалъ. «Дяденька-генералъ» былъ человѣкъ очень достаточный, даже богатый, но единственно благодаря двукратной женитьбѣ на богатыхъ купчихахъ. Матери я не помню: она умерла родами, подаривъ отцу шестого ребенка. Въ живыхъ впрочемъ насъ осталось всего двое — я и Соня. Хозяйствомъ заправляла въ домѣ, со смерти матери, толстая митавская нѣмка, выписанная по рекомендаціи «дяденьки-нѣмца».

Отъ нарочитаго описанія отца, Сони, экономки Иды Оселоровны, дома и проч. вы ужъ пожалуйста меня увольте, снисходя къ моей неопытности и неумѣлости. Полную картину на-

шего житья-бытья я изобразить не сумѣю, а буду вызывать свои воспоминанія какъ придется, по частямъ, какъ они сами возникать будутъ.

Помию вечеръ, лѣтній, чудесный лѣтній вечеръ, описаніе котораго можете найти въ любомъ художественномъ романѣ. Жара спала, солнце уже угасло, посылая землѣ свои послѣдніе сонные лучи. Мы сидѣли на балконѣ, выходившемъ въ старый густой садъ, и пили чай. Были гости. Но больше изъ всей обстановки я, при всемъ напряженіи, ничего не могу припомнить. Кто именно былъ у насъ въ гостяхъ, что они говорили, какъ мы сидѣли, въ какомъ порядкѣ, въ какихъ позахъ — ничего не помню: чудесный лѣтній вечеръ на балконѣ и — отецъ. Отецъ былъ въ ударѣ. Это съ нимъ случилось рѣдко, но, когда случалось, онъ былъ великолѣпенъ въ самыхъ разнообразныхъ видахъ: то неистощимо остроуменъ, то мастерской раскащикъ, то обаятельно ласковъ и гѣженъ. Впослѣдствіи я слышалъ, что онъ на своемъ вѣку много женскихъ сердецъ съѣлъ. И это непременно такъ должно было быть. Я увѣренъ, что ни одна женщина не устояла бы передъ этимъ человѣкомъ, еслибы онъ только захотѣлъ, чтобы она не устояла. Къ тому же онъ былъ красивъ вѣроятно не прочь нравиться, потому что красилъ усы и волосы. На этотъ разъ онъ рассказывалъ. Что подало поводъ этому разсказу, я не помню, какъ и вообще ничего, кромѣ лѣтняго вечера и отца и его разсказа, который произвелъ на меня страшное, подавляющее впечатлѣніе. Было бы съ моей стороны негѣлой претензіей пытаться передать этотъ разсказъ во всей художественности отповскаго изложенія. Довольно того, что его никто не перебивалъ, не переспрашивалъ, всѣ точно замерли, а самъ онъ даже поблѣднѣлъ подъ конецъ разсказа. А что со мной дѣлалось, когда, влившись глазами въ выразительное лицо отца и едва дыша отъ внутренняго трепета, я старался не проронить ни одного слова!..

Отецъ рассказывалъ эпизодъ изъ исторіи одной своей казенной службы, говорю — одной, потому что онъ перемѣнилъ ихъ

нѣсколько. Кстати вы получите понятіе о нѣкоторыхъ его служебныхъ поприщахъ.

Ему было поручено отыскать и изловить шапку фабрикантовъ фальшивыхъ ассигнацій гдѣ-то въ Западномъ краѣ. Переодѣтый и снабженный начальствомъ ложными документами о его личности, онъ, прибывъ на мѣсто, скоро убѣдился, что фабрикантъ былъ всего одинъ, а остальные — сбытчики. Съ величайшими подробностями, но нисколько не утомляя нашего вниманія — напротивъ, всѣ слушали его съ замираніемъ сердца, собственно отъ красоты разсказа—отецъ разсказывалъ, какъ онъ вкрадывался въ довѣріе сначала одного сбытчика, а потомъ, черезъ него, добрался и до фабриканта, оказавшагося жидомъ. Одолѣлъ онъ наконецъ и жида, до такой степени одолѣлъ, что тотъ водилъ его на свою фабрику гдѣ-то въ подпольѣ и они дѣлали фальшивыя бумажки вмѣстѣ. Затѣмъ, по прошествіи извѣстнаго времени, разузнавъ всѣ нити дѣла, отецъ предложилъ жиду сдѣлать большой «гешефтъ», именно свести цѣлый транспортъ фальшивыхъ ассигнацій въ губернской городъ, гдѣ, по увѣренію отца, онъ можетъ немедленно и очень выгодно сбыть всю партію разомъ. Рѣшили заготовить телегу съ двойнымъ дномъ, низъ набить ассигнаціями, а верхъ мѣстными мелкими издѣліями и пріѣхать въ губернской городъ въ базарный день. Остальное отецъ брался устроить. Сказано сдѣлано. Выѣхали съ вечера, поѣхали...

Попробовалъ было я тутъ воспроизвести разсказъ отца и все вычеркнулъ: такъ вышло блѣдно, скучно, такъ неизмѣримо далеко отъ подлинника. Эта ночь въ дорогѣ, проведенная съ человекомъ, котораго онъ готовился предать, какъ говорится, въ руки правосудія; эта остановка въ корчмѣ; этотъ жидъ, повѣрившій спутнику свои задушевные планы... Куда мнѣ передать все это! Я напротивъ чувствую потребность разсказать конецъ какъ можно короче, суше, въ двухъ строкахъ: въ губерскомъ городѣ отецъ, проѣзжая мимо гауптвахты, уцѣпился за жида и закричалъ. Дѣло было сдѣлано... Когда жидъ узналъ, кто былъ отецъ, онъ разразился проклятіями. Онъ звалъ громы небесныя

на голову отца, проклиналъ его и дѣтей его и весь родъ его до седьмого колѣна...

Конецъ разсказа былъ истинный *chef d'oeuvre*. Проклятія тургеневскаго «Жида» не даютъ даже отдаленнаго понятія о томъ, что можно сдѣлать изъ этого матеріала, по крайней мѣрѣ въ устномъ изложеніи. Замѣтите, что отецъ подражалъ жида, говорилъ жидовскимъ говоромъ, съ тѣми «вей мирами» и «ге-валтами», съ которыми мы привыкли соединять безусловно комическое впечатлѣніе. И однако разсказъ былъ страшно трагиченъ; насъ всѣхъ морозъ по кожѣ подиралъ. Отецъ самъ разбилъ это впечатлѣніе, потому что прибавилъ черезъ нѣсколько секундъ, среди общаго молчанія, какъ-то непріятно сухо:

— Я крестъ за это получилъ...

Конечно, и помимо сильнаго впечатлѣнія отъ художественности разсказа, отецъ былъ для меня героемъ, потому что я смутно понималъ, какъ много энергіи и ума затратилъ онъ на поимку жида, рискуя не только боками, а и прямо жизнью. Но нѣмѣстѣ съ тѣмъ отъ страшныхъ жидовскихъ проклятій у меня сжималось сердце. Послѣ ужина, когда намъ, дѣтямъ, разрѣшалось еще полчаса побѣгать и поиграть, мы въ тотъ день не бѣгали и не играли, а сидѣли, прижавшись другъ къ другу, въ темномъ углу гостиной

— Значить, мы—проклятые, не то спрашивалъ, не то утверждалъ я шопотомъ Сонѣ. Она молчала. Но я ясно видѣлъ, что она мнѣ сочувствуетъ, понимаетъ, что мы—проклятые...

Извините за безпорядочность, но тутъ же прибавлю, что въ моментъ, къ которому относятся эти воспоминанія, отецъ служилъ въ частной службѣ, именно у богатаго откупщика Сапунова, державшаго на откупъ губерній пять.

Не подумайте, ради Бога, что я сочиняю, стараюсь представить отца моего въ дурномъ свѣтѣ и выдумываю, что онъ, Темкинъ, потомокъ князей Темкиныхъ-Ростовскихъ, служилъ по сыскной и откупной части. Я отца очень любилъ и теперь люблю, мертваго, и много ему обязанъ. Очень радъ тоже заявить, что онъ пользовался общимъ уваженіемъ, въ качествѣ благо-

роднѣйшаго и очень умнаго человѣка. И, насколько я могу судить, онъ въ самомъ дѣлѣ былъ человѣкъ добрый, справедливый и честный. Вотъ прадѣдушка мой Темкинъ—«Лютый» былъ дѣйствительно безсовѣстный грабитель, воръ и душегубецъ. Такъ я прямо это и говорю, а отецъ былъ не таковъ. И однако я оторвался отъ красиваго типа... Вы скажете, что это—вовсе не тотъ красивый типъ родового русскаго дворянства, объ которомъ болѣетъ сердце Николая Семеновича и которому поклонялся дяденька-нѣмецъ. А почему такъ? Вы ужъ такъ и рѣшили, значить, что нѣкоторыя не совсѣмъ благовонныя, но общепризнанныя профессіи составляютъ отклоненія отъ красиваго типа. Пусть онѣ въ самомъ дѣлѣ—отклоненія, но вѣдь ихъ было такъ много, такъ много, даже не только среди захудалыхъ родовъ, въ родѣ нашего, что надо бы перестать ихъ считать отклоненіями. Я очень впрочемъ допускаю, что тѣ «преданія русскаго семейства», которыя въ послѣднее время эксплуатируетъ Щедринъ въ разсказахъ «Семейный судъ», «По родственному» и проч., очень допускаю, что они несравненно типичнѣе, чѣмъ то, что я разсказываю и имѣю разсказать, ближе и точнѣе рисуютъ «красивый типъ». Но вѣдь Щедринъ—художникъ. Онъ разсыпанную храмину фактовъ собираетъ и въ перлъ созданія возводитъ. Отдѣльныя черточки голой правды онъ слагаетъ въ художественныя типы. А я только совершенно обнаженную правду разсказываю. Такъ было, съ тѣмъ и возьмите. Въ моемъ разсказѣ, если только возможно такъ назвать путаницу, которую вы теперь читаете, характерно, важно, типично только то, что относится ко мнѣ, какъ кающемуся дворянину. А все остальное—случайности, единичныя особенности. Одного одно привело къ иокаванію, другого—другое.

Но, во имя правды, пожалуйста, не говорите о «веселой торопливости». Не правда это. О, сколько муки душевной я вытерпѣлъ въ послѣдствіи, вспоминая жидовскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое... Нѣтъ, тутъ не было и не могло быть веселья. Торопливость была. Да какъ же не торопиться? Какъ не торопиться изъ угарной комнаты,

когда голову ломить, дышать трудно, ноги подкашиваются? Как не кричать: воздуху! воздуху! свѣта!.. Как не каяться, если совѣсть мучить? Пусть она мучитъ вздоромъ и неправильно, да вѣдь мучитъ. Это фактъ.

Всякій русскій дворянинъ, лично прикосновенный къ крѣпостному праву, имѣлъ въ молодости друзей-пріятелей между дворянъ. Огромная часть родовыхъ Темкинскихъ крестьянъ давно была продана и проиграна въ карты. Но какъ уже сказано, у отца было дупль десять-двѣнадцать дворовыхъ. А потому и я имѣлъ крѣпостныхъ друзей-пріятелей. Два у меня ихъ было. Впервыхъ шустрый мальчишка Федька (отецъ его ходилъ по оброку и жилъ въ Москвѣ въ сапожникахъ), мой ровесникъ, съ бѣлыми, какъ ленъ, и курчавыми волосами, голубыми глазами и сильно вздернутымъ, точно опрокинутымъ, всегда грязнымъ носомъ. По натурѣ онъ былъ художникъ, любилъ пѣть пѣсни, самъ научился рисовать, обладалъ очень пылкой фантазіей. Но этой стороной своей природы онъ на меня мало дѣйствовалъ, хотя я и любилъ слушать какъ онъ поетъ и даже заставлялъ его пѣть. За то онъ посвятилъ меня во всѣ подробности игоръ въ бабки и въ свайку. Онъ же втянулъ меня въ одну финансово-гастрономическую операцію. Впрочемъ это я неправду говорю, что онъ меня втянулъ. Онъ только подаль мысль, а развилъ ее я.

Недалеко отъ нашего дома была лавка, въ которой можно было найти всевозможные предметы необходимости, роскоши и гастрономіи. Тутъ были деготь и гвозди, и селедки, и свѣчи, и леденцы, и рукавицы, и ведра—однимъ словомъ, чортъ знаетъ чего не было. Были между прочимъ и маленькіе круглые приники, которые мы прозвали «солененькими» за ихъ дѣйствительно солоноватый вкусъ. Гадость какъ теперь припоминаю ужаснѣйшая, но тогда они мнѣ казались несравненно вкуснѣе пирожныхъ, сочиняемыхъ Идой Федоровной, да и вообще лакомѣе всякаго лакомства. Всѣ деньги, которыя мнѣ попадались въ руки, я проѣдалъ на «солененькіе» и къ этимъ Лукулловымъ пиршествамъ допускался иногда и Федька. Разъ онъ самъ любезно предложилъ мнѣ запустить руку въ фунтикъ сѣрой бу-

маги, въ которомъ я нащупалъ солененькіе. Что за чудеса? Откуда у Оедьки такая роскошь, когда денегъ у него разумѣется никогда ни полушки не бывало. Оедька сіялъ, угощая меня; онъ былъ гордъ тѣмъ, что вотъ и онъ угощаетъ. Оказалось, что онъ нашелъ на улицѣ подковку и вымѣнялъ ее лавочнику Захарычу на солененькіе. Съ обычною пылкостью фантазіи онъ предложилъ мнѣ ежедневно вмѣстѣ искать по улицамъ подковъ и носить ихъ къ Захарычу. Два дня мы ходили. Найти ничего не нашли, но за то сообразили, что на подковкахъ свѣтъ не клиномъ сошелся, что Захарычъ съ удовольствіемъ всякій желѣзный ломъ вымѣняетъ на солененькіе. Стали мы собирать желѣзный ломъ, большею частью гвозди, вытаскивая ихъ сначала изъ разныхъ старыхъ заваливающихся досокъ, а потомъ и изъ стѣнъ въ комнатахъ и снаружи дома. Наберется этого добра известное количество и бѣжитъ Оедька къ Захарычу, такъ что только пятки голыхъ ногъ сверкаютъ, и ворочается съ солененькими. Мы забираемся на сѣноваль или въ другое укромное мѣстечко и пируемъ, а потомъ Оедька пѣсно затянетъ. Чудесныя были минуты! Неизвѣстно, до какого состоянія довели бы мы домъ, вытаскивая изъ него ежедневно по нѣсколько гвоздей, еслибы не случилось одно чрезвычайное событіе. Мы не одни гвозди таскали, а и разныя другія металлическія вещи, дверныя ручки, задвижки, шкворни, скобки. Разъ даже вывернули огромный желѣзный болтъ изъ ставни. Это было уже слишкомъ дерзко. Захарычъ выдалъ очень большую порцію солененькихъ, но потомъ испугался и прежде, чѣмъ дома было замѣчено хищеніе, принесъ болтъ... Поднялась кутерьма... И я имѣлъ подлость спрятаться за спину Оедьки, потому что его жестоко отодрали. А онъ, великодушный и благородный, не только не выдалъ меня подъ розгами, не только и впоследствии ни однимъ словомъ не намекнулъ на мою подлость и отступничество, но на той же недѣлѣ угостилъ меня солененькими, добытыми уже на свой собственный страхъ. Онъ видѣлъ, что такая свинья, какъ я, такому гусю, какъ онъ—не товарищъ, но все-таки принесъ солененькихъ...

Мелочь это, ребячество—я очень хорошо знаю. Но теперь, когда я вообще каюсь, когда известная нравственная система проникла въ поры моего существованія, меня и эта старая ребяческая мелочь больно и неприятно щекочетъ. И хоть никому ровно до этихъ маленькихъ укуловъ дѣла нѣтъ, а иной даже посмѣется надъ ними, но мнѣ для собственнаго успокоенія хочется воздухъ очистить, форточку и трубу открыть и во всеуслышаніе крикнуть: Оедька! великодушный, прости меня...

Другой мой крѣпостной другъ-пріятель былъ въ совѣтѣ многѣмъ родѣ, да и отношенія между нами были инныя. Объ немъ немного подробнѣе, потому что онъ очень важную роль въ моей жизни игралъ.

Отцовскій лакей («камардинъ» звала его остальная дворня) Яковъ былъ молодой малый, лѣтъ двадцати, съ чисто татарской физиономіей: черноволосый, широколицый, съ узенькими сѣрыми глазами, немного вкось поставленными, и крупнымъ, рѣзко очерченнымъ носомъ. Росту онъ былъ средняго, но плотенъ и чрезвычайно силенъ и ловокъ. Онъ имѣлъ склонность ко всякаго рода физическимъ упражненіямъ, въ родѣ акробатства и фокусничества. Помню, какъ онъ поражалъ меня въ купальнѣ: нырнетъ, ухватится руками за щели дщица, а ноги выставитъ совершенно перпендикулярно по верхъ воды; сухія, мускулистыя, волосатыя, жилистыя ноги совѣтѣмъ послнѣють отъ напряженія, а онъ все держится. Такъ стоять онъ могъ очень долго, цѣлый часъ, какъ мнѣ тогда казалось, а въ дѣйствительности конечно много поменьше. Во всякомъ случаѣ очень здоровыя легкія нужны для такого фокуса. Выучился онъ у проѣзжаго фокусника-нѣмца ручнымъ фокусамъ, а потомъ и самъ до многого дошелъ, устроилъ себѣ разные приборы и приспособленія. «Эйщцъ, цвей, дрей, але маширъ», говорилъ онъ, постукивая магической налочкой по деревянному стаканчику и, къ величайшему моему недоумѣнію, шарикъ, бывший подъ стаканчикомъ, оказывался у меня въ кармашѣ. Много и другихъ любопытныхъ фокусовъ зналъ Яковъ: вытаскивалъ десятки аршинъ ленты изо рта, ѣлъ

горящую паклю, глоталъ ножи, наливаль себѣ на руку растопленный свинецъ и проч., и проч. Онъ былъ грамотный, по читалъ исключительно книги въ родѣ «Тайны черной и бѣлой магии», «Все и ничего во рту опытнаго магика или ши за что не отгадаешь» и т. п. Впоследствии, какъ вы въ свое время увидите, изъ него вышелъ медіумъ...

Яковъ вообще любилъ все таинственное и мрачное и — что кажется такъ не идетъ къ фокуснику — готовъ былъ повѣрить самой невѣроятной исторіи, если въ ней были замѣшаны какіе-нибудь злые духи, которыхъ онъ впрочемъ нисколько не боялся, а даже искалъ съ ними встрѣчи. Отъ него я узналъ на примѣръ, что въ полночь въ пустой банѣ можно встрѣтить бѣлую кошку, которую нужно изо всѣхъ силъ ударить, тогда она вся разсыплется деньгами, и многое другое таинственное. Онъ и ходилъ въ баню, но бѣлой кошки не встрѣчалъ. Ходилъ онъ кромѣ того по ночамъ въ развалины стараго, неизвѣстно кому принадлежавшаго каменнаго дома, уединенно стоявшаго саженьяхъ въ двухъ стахъ отъ нашего. Но и тамъ кажется ничего особеннаго не нашель. Другіе дворовые увѣряли даже, глядя на его фокусы и безстрашіе, что онъ чорту душу продалъ, и сторонились отъ него. Отецъ у него давно померъ и родныхъ вообще не было. Кромѣ разной чертовщины, онъ мнѣ много рассказывалъ про прадѣда Темкина-лютаго, приправляя однако опять-таки чертовщиной всѣ эти рассказы, дошедшіе до него по преданію. Такъ онъ увѣрялъ на примѣръ, что Лютый вырѣзывалъ животы беременнымъ женщинамъ, вынималъ дѣтей, рубилъ ихъ на мелкіе кусочки и ими «причащался адовскому богу». Это — подлинное выраженіе Якова.

Теперь, чтобы записать одинъ случай, въ которомъ Яковъ игралъ главную дѣйствующую роль, я долженъ разсказать вамъ мѣстоположеніе и устройство нашего дома. Онъ стоялъ на горѣ, на площадкѣ. Рядомъ — домъ священника, подальше, въ той же линіи, но отступая — развалины каменнаго дома, куда Яковъ ходилъ по ночамъ навѣдываться по части чертовщины (онъ назывался «пустымъ» домомъ). Противъ дома священника

и значить чуть-чуть наискосокъ отъ насъ—церковь, а отъ нея шелъ крутой спускъ къ рѣкѣ, выложенный большими неотесанными камнями въ видѣ чрезвычайно головоломной лѣстницы. Домъ былъ деревянный, одноэтажный, если не считать подвала, гдѣ помѣщались кухня и «людскія». Раздѣлялся онъ на собственно «домъ» и флигель, соединенные теплымъ, довольно длиннымъ корридормъ. Въ «домѣ» помѣщался отецъ: тамъ былъ его кабинетъ, спальня, пріемныя комнаты и маленькая дѣтская, въ которой мы однако пребывали только днемъ. Спали мы во флигелѣ, гдѣ помѣщались также Ида Федоровна и дяденька-нѣмецъ. Значить по ночамъ въ «домѣ» оставался только отецъ и Яковъ, которому, мимоходомъ сказать, отецъ почему-то безгранично довѣрялъ.

Разъ ночью, зимой, я былъ разбуженъ страшнымъ шумомъ, гдѣ-то на дворѣ, Съ просонковъ я не могъ разобрать, что это такое дѣлается: шумъ, стукъ, бѣготня, крики, хлопанье воротами. Ясно было только, что какая-то необычайная возня происходитъ именно во дворѣ, а не въ саду, куда выходило окно моей конурки, закрытое ставней. Темно... страшно... Дрожа, вскочилъ я съ кровати и кинулся къ дяденькѣ-нѣмцу.

— Дяденька, говорилъ я сначала шопотомъ, трогая ручку двери.—Дяденька! Дяденька! наконецъ закричалъ я изо всѣхъ силъ, еще болѣе испугавшись отъ звука своего голоса, и толкнулъ дверь: она оказалась отпертой. Дяденька-нѣмецъ спалъ во второй комнатѣ. Я бросился туда, но, отворивъ дверь, съ еще большимъ ужасомъ и крикомъ побѣжалъ назадъ. Дяденьки-нѣмца не было; постель его, измятая, была пуста; одѣяло валялось на полу. А полная, свѣтлая зимняя луна глядѣла въ окно, съ котораго сорвался ставень, и фантастически серебрила шлемы, латы, мечи, щиты и прочій археологическій скарбъ. Я еще не видалъ дяденькинаго музея при такомъ освѣщеніи, да и раньше былъ напуганъ, да и отсутствие дяденьки поразило... Дрожа отъ страха и холода, потому что былъ босикомъ и въ одной рубашкѣ, я побѣжалъ, отъ ужаса переставъ даже кричать; въ другую сторону, гдѣ спали Ида Федоровна и Соня. У нихъ го-

рѣл. ночникъ, но Иды Федоровны тоже не было; ея одѣяло тоже валялось на полу. Соня спала сладкимъ сномъ.

— Соня, крикнуть я:—Соня!

— Что? что? отозвалась Соня, испуганно озираясь и протирая заспанные глазки.

— Слышишь, Соня, слышишь? Дяденьки нѣтъ и Иды Федоровны нѣтъ... Слышишь на дворѣ?..

Мы стали прислушиваться, какъ вдругъ вѣжала Ида Федоровна въ пубѣ, накинутой чуть не прямо на голое жирное тѣло, и съ изуродованнымъ отъ перепуга лицомъ.

— Oh Gott, oh Gott! кричала она, безпорядочно суетясь по комнатѣ. Мы пристали съ распросами, но она кажется просто насъ не видѣла, не слышала, и только кричала: oh Gott, oh Je! Потомъ она схватила какія-то тряпки, какія-то стклянки и убѣжала, оставивъ насъ въ неописанномъ ужасѣ. Мы обнялись и зарыдали. Соня первая нашла исходъ.

— Пойдемъ туда, проговорила она шопотомъ и стуча зубами.

Куда туда? Мы этого конечно не знали: должно быть — туда, гдѣ люди есть, но оба стали торопливо одѣваться, во что попало. Сначала я накинулъ на Соню какую-то хламиду, а она себѣ надѣла на ноги кстати подвернувшіеся мѣховые высокіе сапожки, потомъ она проводила меня ко миѣ въ комнату, гдѣ я тоже кое-какъ обрядился. Въ какомъ мы были все это время состояніи, судите сами, но изготовились должно быть очень быстро, затѣмъ схватились за руки и молча побѣжали, сначала въ корридоръ, потомъ на дворъ. Тамъ мы увидали странную процессію. Толпа народу медленно подвигалась отъ воротъ къ флигелю, собственно къ подвальному его этажу, кое-кто съ фонарями, которые впрочемъ были совсѣмъ не нужны, потому что луна ярко обливала свѣтомъ снѣжную скатерть двора. Бабы выли и причитали. Мужчины очевидно кого-то несли, потому что слышались голоса: «держи голову-то!» «ровнѣй, дядя Иванъ!» и т. п. Мы пристали къ процессіи, но кого несутъ—увидать изъ-за толпы не могли. Изъ отрывочныхъ, безпорядочныхъ фразъ и

бабьяго причитанія мы поняли только, что кто-то «расшибся». Процессія, тѣснясь и толкаясь въ узкомъ проходѣ, спустилась въ людскую, мы—тоже. Въ людской оказалось, что несли Якова. Но, Боже! въ какомъ видѣ его положили на лавку... Лицо было все въ крови, ноги тоже, подолъ желтой лисьей шубы, въ которой онъ былъ одѣтъ—тоже, штаны изодраны въ окровавленные клочья... Онъ тихо стоналъ. Около него хлопотала Ида Федоровна, прикладывая ко лбу мокрыя тряпки. Всѣ говорили шопотомъ. Инстинктивно чувствуя, что насъ выгнать какъ только замѣтятъ, мы съ Соней, дрожа и крѣпко прижавшись другъ къ другу, забились за печку.

Вдругъ закригѣла на ржавыхъ петляхъ и хлопнула дверь, и вошелъ отецъ. Тишина настала мертвая, только Яковъ стоналъ. Отецъ былъ въ халатѣ на бѣличьемъ мѣху и въ казанскихъ ичигахъ, какъ онъ всегда зимой по вечерамъ ходилъ. Я замѣтилъ, что онъ былъ очень блѣденъ. Онъ остановился посреди комнаты и какъ-то неопредѣленно махнулъ рукой, но всѣ поняли и вышли, даже дяденька-ицмецъ и Ида Федоровна. Но мы за печкой только еще крѣпче прижались другъ къ другу. Въ двухъ шагахъ отъ насъ было окно и на немъ стояла саленая свѣчка, вставленная въ бутылку; пламя свѣчки по временамъ неровно колыхалось, потому что окно было разбито. А подальше лежалъ на лавкѣ Яковъ. Отецъ подошелъ къ нему и наклонился. Къ намъ онъ стоялъ спиной и заслонялъ своей фигурой лицо Якова. Мы могли только слышать разговоръ.

— Больно, Яковъ? спросилъ отецъ тихо, мягко и какъ-то растерянно.

Яковъ застоналъ, потому что, судя по движенію ногъ, которыя мнѣ были видны, онъ хотѣлъ подняться.

— Которыя... вещи... въ пустомъ домѣ... слабо заговорилъ онъ.

— Ты не говори, не говори, Яковъ, все также мягко, тихо перебилъ отецъ и тотчасъ же забылъ свой совѣтъ и опять сталъ спрашивать:

— Тебѣ у меня худо было?

Яковъ молчалъ.

— А куда-жь ты съ горы побѣжалъ?

— То... питься...

Въ эту минуту Соня всхлинула, да и у меня глаза были мокры. Отецъ услышалъ, круто и быстро повернулся въ нашу сторону и спросилъ гораздо громче:

— Кто тутъ?

Такъ какъ мы не отвѣчали, то онъ самъ подошелъ къ печкѣ и увидѣлъ насъ. Но, страшное дѣло, онъ какъ будто нисколько не удивился нашему присутствію, какъ будто бы былъ очень естественно, что мы въ какихъ-то фантастическихъ костюмахъ, дрожащіе отъ холода и страха, сидимъ за печкой въ людской въ третьемъ часу ночи. Онъ съ секунду посмотрѣлъ на насъ, потомъ нагнулся, поцѣловалъ въ голову Соню, меня, и я явственно чувствовалъ, какъ горячая слеза перебѣжала съ его лица на мою щеку. Потомъ онъ, все молча, взялъ Соню на руки, а меня за руку и пошелъ изъ людской. За дверями ждала вся дворня. Ида Ѳедоровна накинулась-было на насъ, такъ какъ совсѣмъ не ожидала насъ увидать, но отецъ сурово остановилъ ее.

— Ступайте къ Якову... Иванъ, за докторомъ...

Поднимаясь по лѣстницѣ, я, Богъ знаетъ по какому побужденію, припалъ губами къ отцовской рукѣ и цѣловалъ ее, цѣловалъ... Онъ не отнималъ руки.

— Ну, спать, дѣтки! тѣмъ же мягкимъ и растеряннымъ голосомъ, какъ и въ людской, сказалъ отецъ, спуская Соню съ рукъ на полъ, когда мы пришли во флигель. — Ты здѣсь ложись, прибавилъ онъ, указывая мнѣ на кровать Иды Ѳедоровны. Потомъ онъ снялъ съ Соши хламиду, разулъ ее и сталъ грѣть дыханіемъ ея похолодѣвшія ножки (Соня была его любимица). Словъ между нами больше никакихъ не было сказано. Онъ уложилъ насъ въ постели, заботливо укуталъ одѣялами, а самъ сѣлъ въ кресло у Сонинаго изголовья. Я долго не могъ заснуть и все слѣдилъ за нимъ: онъ не шевелился и сидѣлъ, свѣсивъ голову на грудь...

На другой день я узналъ слѣдующее. У отца засидѣлся ка-

кой-то гость. Когда онъ уходилъ, Якова въ передней не оказалось, такъ что отецъ самъ выпустилъ гостя и заперъ за нимъ дверь. Желая взглянуть который часъ, онъ не нашелъ своихъ карманныхъ часовъ на томъ мѣстѣ, гдѣ они обыкновенно лежали. Туда, сюда — нѣтъ часовъ. Якова тоже нѣтъ. Затѣмъ отецъ пошелъ въ платяной шкафъ за халатомъ и увидѣлъ, что шкафъ на половину пустъ. Дѣло было ясное: воровство. Отецъ разбудилъ людей, велѣлъ искать Якова, но его нигдѣ не было. Поднялась кутерьма. Вдругъ сторожъ за воротами увидѣлъ человѣка въ такой же желтой лисьей шубѣ, какая была у Якова. Бѣгуцимъ отъ пустого дома къ церковной сторожкѣ, примыкавшей къ колокольнѣ. А надо замѣтить, что въ сторожкѣ жилъ звонарь, большой пріятель Якова, что было всѣмъ очень хорошо извѣстно. Стали стучать въ дверь сторожки. Не отпираютъ. Но вдругъ дверь настежь отворилась и изъ сторожки, размахивая своими здоровенными кулаками, выбѣжалъ Яковъ. Сбивъ ступню двухъ человѣкъ, онъ бросился по головоломной лѣстницѣ, которая вела къ рѣкѣ. Но на половинѣ лѣстницы онъ поскользнулся, упалъ и страшно расшибъ себѣ лобъ и оба колѣна. Тутъ его и взяли. Украденныя вещи, часы, нѣсколько паръ платяъ, шкатулку съ разными документами, нашли потомъ, по указанію Якова въ пустомъ домѣ. Тутъ же лежали разные аппараты для фокусовъ...

Отецъ постарался замаять всю эту исторію, взялъ опять Якова въ «камардины» и никогда не напоминалъ ему о его попыткѣ бѣжать. Да и никто кажется не напоминалъ. Ида Федоровна и дяденька-нѣмецъ вѣроятно потому, что боялись гнѣва отца, мы съ Соней должно быть — по дѣтской чуткости и деликатности, а дворня, какъ я замѣтилъ, даже почему-то лучше, любвиѣе стала относиться къ Якову послѣ этого случая. Можетъ быть онъ убѣдилъ ихъ, что Яковъ души чорту не продалъ. Напоминало Якову объ этомъ событіи только зеркало, отражавшее вмѣстѣ съ другими подробностями его фізіономіи, и полученный имъ на головоломной лѣстницѣ большой шрамъ отъ виска до виска. По этому шраму и я впоследствии узналъ Якова...

Многіе знакомые говорили отцу, что напрасно онъ довѣряетъ такому человѣку и по прежнему остается съ нимъ по ночамъ вдвоемъ въ цѣломъ домѣ. Но отецъ или круто мѣнялъ разговоръ, или прямо и рѣшительно просилъ не говорить объ этомъ...

Ахъ, какое это пошлое, какое гнусное, подлое слово сказала Николай Семеновичъ: «веселая торопливость»!... Почему знать, можетъ быть—я такъ хотѣлъ бы этому вѣрить—можетъ быть и отецъ ужъ каялся, только не хватило у него силъ каяться на чистоту...

II.

Г. Заурядный Читатель, литературный хроникеръ «Биржевыхъ Вѣдомостей», почтилъ меня открытымъ письмомъ (№ 29). Лестно!.. Было бы еще болѣе лестно, еслибы я могъ понимать мотивы этого письма. А теперь выходитъ такъ лестно, такъ лестно, что даже совсѣмъ не лестно. Выходитъ, какъ будто г. Заурядный Читатель только поощрить хотѣлъ меня, новичка на литературномъ поприщѣ. Благодарю впрочемъ и за то—все-таки вниманіе—и какъ человѣкъ вѣжливый, благовоспитанный, все-таки постараюсь извлечь изъ письма г. Зауряднаго Читателя какой-нибудь матеріалъ для отвѣта.

Г. Заурядный Читатель полагаетъ, что Николай Семеновичъ, слова котораго показались мнѣ такими пошлыми, гнусными, подлыми—съ своей точки зрѣнія правъ. Въ этомъ я впрочемъ ни малѣйше не сомнѣвался, потому что нѣтъ такой точки зрѣнія, съ которой кто-нибудь не былъ бы правъ, и обратно—нѣтъ такой гнусности, которая не оправдывалась бы какою-нибудь точкою зрѣнія. Николай Семеновичи, продолжаетъ мой благосклонный корреспондентъ, «не правы только въ томъ же смыслѣ, какъ не правы были Донъ-Кихоты, Вальтеръ-Скотты и Де-Местры, т. е. въ смыслѣ мечтаній о возможности воскресить сгнившіе въ могилахъ трупы и исполнить ихъ снова жизни и молодости; но они правы по отношенію къ переживаемому нами моменту, по-

тому что какъ ни мизеренъ самъ по себѣ тотъ поэтическій апо-
 ѳеозъ, въ который они облакаютъ отжившія, до реформенныя
 формы культурнаго слоя, все-таки, какой ни на есть, а апо-
 ѳеозикъ. А какой же вы можете противопоставить этому апоѳео-
 знику поэтическій апоѳеозъ нашего момента? Вы указываете на
 покаяніе? Положимъ, что покаяніе—вещь очень почтенная и въ
 общественномъ и въ нравственпомъ отношеніи. Но съ поэтиче-
 ской точки зрѣнія, съ какой именно и ставятъ вопросъ Николай
 Семеновичи, все-таки оно представляетъ зрѣлище довольно жал-
 кое. Вы сравните только прежняго Николая Ростова (объ немъ
 у Зауряднаго Читателя раньше рѣчь была) и нынѣшняго. Преж-
 де это былъ, какъ есть, юпитеръ-громовержецъ: всесовершенный,
 вседовольный и даже грозный; а теперь этотъ самый Николай
 Ростовъ уже не на тройкѣ ухарски скачетъ, а бредетъ растер-
 занный сомнѣніями, сбившійся со всякаго пути, растерянный, съ
 уныло опущенной головой—и жиды уже не прячутся отъ него
 по норамъ, а прозаически тащутъ его къ мировому. Куда какъ
 респектабеленъ и поэтиченъ подобный современный образъ. Преж-
 де дѣвушки

Разстилали бѣлый платъ
 И надъ чашей пѣли въ ладъ
 Пѣсенки подблюдны,

и весело-развесело было при этомъ и имъ самимъ, и ихъ же-
 нихамъ, и ихъ родителямъ, а нынѣ эти самыя дѣвицы, съ опе-
 чаленными, озабоченными лицами и съ книжками подъ мышкой,
 все куда-то спѣшатъ; въ умѣ масса неразрѣшенныхъ вопросовъ,
 на сердцѣ масса невыполненныхъ плановъ и намѣреній; женихи
 не знаютъ, чѣмъ пособить ихъ горю, родители оплакиваютъ ихъ
 участь—и сколь многія изъ нихъ успѣли уже увянуть, соста-
 рѣться въ уныніи и отчаяніи отъ тщетныхъ поисковъ и неудачъ;
 сколь многія покончили чаоткой, выстрѣломъ или, еще того
 хуже, примиреніемъ съ какою-нибудь пошленькою золотою се-
 редипочкою. Это—трагедія, г. Темкинъ, страшная подчасъ тра-
 гедія, въ которой конечно и тѣни нѣтъ того поэтическаго
 апоѳеоза, котораго ищутъ Николай Семеновичи».

Я буду спорить. «Это—трагедія»—вѣрно, но, откровенно говоря, я въ первый разъ слышу, что трагедія и поэтический апоэозъ взаимно исключаются. Шекспиръ, я думаю, не сказалъ бы этого. Бѣлинскій—тоже. Николай Семеновичи ищутъ совѣтъ не того, что можемъ представить мы, кающіеся дворяне, въ какомъ бы то ни было отношеніи — это опять вѣрно. Но я не думаю, что на Николаяхъ Семеновичахъ свѣтъ клиномъ сошелся, что они представляютъ собою высшую судебную инстанцію хотя бы въ одной только области красоты и поэтического апоэоза. Я буду спорить, потому что изъ этого спора могутъ возникнуть очень важныя и благотворныя послѣдствія. Я—человѣкъ маленький и не имѣю въ помышленіи лично перевернуть вкусы читающей и пишущей публики. Но я очень склоненъ думать, что отъ копеечной свѣчки происходятъ иногда, при благоприятныхъ условіяхъ, огромные пожары. Придутъ другіе маленькіе люди и расскажутъ такъ же откровенно и такъ же безъ претензій, какъ я, все, что они пережили и видѣли. А потомъ придетъ большой человѣкъ, которому мы, маленькіе, недостойны развязать ремень у сапога, придетъ, подберетъ всѣ наши мелочи, сгруппируетъ ихъ, освѣтитъ и такую поразительную красоту вамъ предъявитъ, что вы ахнете. Я потому беру на себя смѣлость предсказывать появленіе этого большого человѣка, что уже теперь чую—нѣтъ, мало этого—вижу, осязаю дивную красоту въ сферѣ своего покаянія. Пожалуйста не подумайте, что я стану хвастаться какими нибудь подвигами. Нѣтъ, я лично ихъ не совершалъ и напротивъ даже много гадостей дѣлалъ, но кругомъ себя я видѣлъ не одинъ подвигъ, достойный поэтического апоэоза. Понимаете: именно поэтического апоэоза, а не только форменнаго похвальнаго листа, выданнаго однимъ изъ романистовъ, эксплуатирующихъ «повыхъ людей» и «молодое поклоненіе». Прекрасные и преблагонамѣренныя молодые люди эти романисты (теперь ужъ они впрочемъ выводятся); я многихъ изъ нихъ коротко знаю и въ свое время, какъ съумѣю, представлю читателю. Но они дѣлали огромную ошибку, предоставляя поэтическій апоэозъ, подобно г. Заурядному Читателю, въ полное и исклю-

чительное владѣніе Николаевъ Семеновичей и ему подобныхъ. Они остановились на той ступени покаянія, которая отрицаетъ красоту и поэтическій апофеозъ, какъ роскошь, какъ достояніе барства. И я очень понимаю законность этой ступени, потому что самъ ее пережилъ. Но я пережилъ ее и теперь страстно хотѣлъ бы внушить всѣмъ читателямъ и писателямъ, что не только истина и право на нашей сторонѣ, а и красота; что мы, кающіеся, «красивѣе» нераскаянныхъ; что поэтическаго апофеоза мы до сихъ поръ не имѣемъ только по недоразумѣнію и можетъ быть по случайному недостатку творческихъ силъ.

Конечно было бы всего лучше прямо предъявить этотъ поэтическій апофеозъ. Но на это моихъ силъ не хватаетъ; это сдѣлаетъ тотъ большой человѣкъ, который скоро придетъ (можетъ быть не одинъ). Я съ своей стороны могу только намѣтити кое-какіе кирпичики для будущаго художественнаго зданія. Ихъ на святой Руси немало; но именно потому, что мы привыкли отводить всякую красоту въ исключительное пользованіе Николаевъ Семеновичей (собственно тѣхъ «культурныхъ людей», которымъ Николаи Семеновичи поклоняются, какъ «красивому типу»), именно поэтому означенныхъ кирпичиковъ никто не замѣчаетъ. Ихъ топчуть, плюютъ на нихъ, толкаютъ ногами, въ полной увѣренности, что изъ Виодеема ничего путнаго не выйдетъ. Такъ поступаетъ и г. Заурядный Читатель, о чемъ я очень сожалѣю. Онъ приводитъ изъ «Героевъ времени» г. Некрасова одинъ глубоко трагическій эпизодъ, который я долженъ напомнить читателю:

Слухъ по столицѣ пронесся одинъ—
Сдѣлано слишкомъ ужъ дерзкое дѣло!
Входитъ къ Зацѣпѣ единственный сынъ:
«Правда ли? правда ли?» юноша смѣло
Сыплетъ вопросы—и нѣтъ имъ конца.
Вспыхнула ссора. Зацѣпа сбѣсился,
Чтобъ не встрѣчать и случайно отца,
Сынъ непокорный въ Москву удалился.
Тамъ онъ оканчивалъ курсъ, голодалъ,
Письма и деньги отцу возвращая.
Втайнѣ Зацѣпа о немъ тосковалъ...

Вдругъ телеграмма пришла роковая:
«Ранень твой сынъ». Черезъ сутки письмомъ
Другъ объяснилъ и причину дуэли:
«Воромъ отца обозвали при немъ...»
Черныя мысли отцомъ овладѣли,
Утромъ онъ къ сыну поѣхать хотѣлъ,
Но и другая пришла телеграмма...

Т. е. телеграмма о смерти сына. Приведа это мѣсто, г. Заурядный Читатель продолжаетъ: «Вы только подумайте, г. Темкинъ, что за невообразимый, чудовищный хаосъ представляетъ подобнаго рода картина? Вѣдь это — краски, мрачнѣе ювеналовскихъ... Чего же удивляться, что Николаи Семеновичи платонически вздыхаютъ о той достославной эпохѣ, когда въ крещенскій вечерокъ дѣвушки гадали и Николай Ростовъ летѣлъ подбоченясь на тройкѣ»...

Право я тутъ очень затрудняюсь: о чемъ собственно предлагаетъ мнѣ подумать г. Заурядный Читатель? Во исполненіе впрочемъ его желанія, я подумалъ... Что Николаи Семеновичи, «совершенно не дворяне», вздыхаютъ о достославной эпохѣ — это для меня остается вполне удивительнымъ, потому что достославная эпоха въ томъ именно между прочимъ и состояла, что на спинахъ Николаевъ Семеновичей продѣлывались различныя увеселенія.

Меня эта черта холопства давно уже въ «дяденькѣ-нѣмцѣ» поражала. Я понимаю, что дѣвицы, которыя гадали въ крещенскій вечерокъ и «за ворота башмачокъ, снявъ съ ноги, бросали», я понимаю, что опѣ и всѣ близкіе ихъ ничего выше своего времяпровожденія въ достославную эпоху себѣ представить не могутъ. Но какъ можетъ согласиться съ ними дяденька-нѣмецъ, отецъ котораго, честный митавскій сапожникъ, только шилъ башмаки, а не увеселялъ себя ими? Фактъ существуетъ, значитъ есть ему и причина, и объясненіе. Но откровенно сознаюсь — я ихъ не знаю, не понимаю. Не понимаю, какъ можетъ человѣкъ говорить кому бы то ни было: вамъ красота, поэтичeskій апофеозъ и законченныя формы чести и долга, а мы и въ грязи за ваше здорье поваляемся. Еще менѣе понимаю я,

почему г. Заурядный Читатель увидѣлъ въ эпизодѣ съ Зацѣпой только невообразимый, чудовищный хаосъ. Какъ! по поводу этого эпизода вы соглашаетесь еще разъ отдать поэтической апофеозъ и законченныя формы чести и долга въ вѣдѣніе культурныхъ людей и достославной эпохи! Вы ни во что не цѣните ту форму чести и долга, которая побудила сына Зацѣпы разорвать съ отцомъ и добровольно терпѣть всевозможныя лишенія; ту силу покаянія, которая даже въ гробъ свела юношу?! Надѣюсь, что эта форма чести вполне закончена, потому что нѣтъ конца конечнѣе смерти, нѣтъ пробы вѣриѣ ея. По крайней мѣрѣ согласитесь, что не съ веселою же торопливостью оторвался юноша отъ жизни и что онъ умеръ не отъ «свинства», въ чемъ г. Достоевскій уличаетъ всѣхъ нашихъ самоубійць... («Дневникъ писателя», № 1). Неужто даже съ поэтической точки зрѣнія, о которой говорятъ и Николай Семеновичъ, и Заурядный Читатель, образъ юноши Зацѣпы ниже, блѣднѣе, слабѣе какихъ-то дѣвиць, разстилающихъ бѣлый платъ и поющихъ подблюдныя пѣсни? Остановитесь въ самомъ дѣлѣ только на поэтической точкѣ зрѣнія. Нынѣ, по поводу дѣла дворянина Кронеберга и жалобы профессора Бутлерова на своего сына, который женился безъ его, отцовскаго, позволенія, много говорятъ о предѣлахъ родительской власти и дѣтскаго повиновенія. И Боже! что говорятъ по этому поводу!.. Оставимъ это совѣмъ въ сторонѣ. Пусть сынъ Зацѣпы—дерзкій мальчишка, наглый подростокъ, единственно по «свинству» своему становящійся судьей отца и по свинству же умирающій на дуэли. О да—пусть по свинству: покойникъ и не такую еще брань стерпитъ и промолчитъ, его ротъ полонъ могильныхъ червей. Но, какъ сюжетъ для поэтическаго произведенія, этотъ юноша все-таки не хуже бѣлаго платъ и бѣшеной тройки. Не говорите, что образъ юноши Зацѣпы принадлежитъ еще доброму старому времени, когда дескать семейныя узы еще не поколебались подъ тлетворнымъ дыханіемъ и проч. Не говорите этихъ «благонамѣренныхъ рѣчей», потому что онѣ тутъ совѣмъ неумѣстны. Юноша Зацѣла не отрицалъ, что его отецъ—воръ, не пряталъ этого факта ни

отъ себя, ни отъ другихъ и все-таки вызвалъ на дуэль чело-
вѣка, заявившаго этотъ фактъ. Онъ взялъ на себя грѣхъ отца
и изнемогъ подъ его тяжестью: покаялся, но за покаяніемъ
слѣдуетъ причащеніе, и измученный юноша не нашель ничего
лучшаго, какъ причаститься смерти. Я не одобряю этого исхода
и знаю, что другіе находили и находятъ иной исходъ. Но вѣдь
чѣмъ сложнѣе душевная жизнь, тѣмъ выгиднѣйшій поэтической
сюжетъ она представляетъ. А не достаточно развѣ была сложна
душевная мука юноши Зацѣпы?

Между тѣмъ, посмотрите что дѣлается. Съ одной стороны
Николай Семеновичи и всякіе Голопузенки и Авсѣенки прямо
объявляютъ: нѣтъ красоты и поэзіи внѣ нормальной жизни
культурныхъ людей. Съ другой стороны является г. Зауряд-
ный Читатель и говорить: да, дѣйствительно, что другое, а
красота и поэзія вся тамъ, въ прошедшемъ; мы ничего не мо-
жемъ выставить поэтически равнаго бѣшеной тройкѣ и бѣлому
плату. Чортъ знаетъ что такое! Въ концѣ-концовъ каждое
амурное похожденіе, каждое чиханіе князя Юхотскаго или какъ
ихъ тамъ зовутъ, героевъ романовъ Голопузенки и комп., сопро-
вождается поэтической иллюминаціей, а мы, кающіеся, какія бы
сложныя душевныя комбинаціи ни переживали, какою бы кра-
сотою ни блистали, не получаемъ отъ литературы ни привѣта,
ни отвѣта! За что?

Я написалъ, вамъ покажется, хвастливую фразу: «какою бы
мы красотою ни блистали». Но это вовсе не хвастовство. Во-
первыхъ это я не о себѣ лично, вовторыхъ истинно говорю
вамъ: съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ святая Русь, никто болѣе
насъ поэтическаго апопееза не заслуживалъ. И мы его наконецъ
получимъ. Ахъ, еслибы я былъ первоклассный художникъ, если-
бы я могъ разлиться въ звукахъ, въ образахъ, въ краскахъ,—
я воспѣлъ бы васъ, братья по духу, изобразилъ бы васъ, муче-
ники исторіи, и изломалъ бы затѣмъ перо, рѣзецъ и кисти, по-
тому что, отвѣдавши сладкаго, не захочешь горькаго, не за-
поешь подблюдныхъ пѣсенъ... Но дѣло такъ ярко говоритъ само
за себя, что даже я, воплиѣ сознавая ничтожество своихъ силъ,

надѣюсь дать вамъ по крайней мѣрѣ намекъ на дивную красоту нашего покаянія. Лгать и прикрашивать я не буду, не скрою ни ошибокъ, ни увлеченій, ни глупостей, ни даже нѣкоторыхъ дрянностей. И все-таки вы увидите...

Мнѣ было должно быть лѣтъ двѣнадцать, когда отецъ умеръ. Тутъ—большой пробѣлъ, лучше сказать, провалъ въ моихъ воспоминаніяхъ: Ѳедька, Яковъ, Ида Ѳедоровна, дяденька-пѣмецъ, старій деревянный домъ, родной городъ и проч. и проч.—все это именно куда-то провалилось, и я очутился въ Петербургѣ, въ одномъ полувоенноучебномъ заведеніи. (Кое-что изъ стараго, какъ увидите, потомъ опять вынырнуло). Такъ рѣшилъ дяденька-генералъ, сдѣлавшійся моимъ и Сонинымъ опекуномъ. Онъ явился вскорѣ послѣ смерти отца. Это былъ строгій, величественный, какъ мнѣ тогда казалось, человѣкъ, съ большими сѣдыми усами, нависшими впередъ на губы, съ выпяченною грудью, блиставшею орденами и звѣздами. Онъ внушалъ мнѣ какое-то страшное, сложное, смѣшанное чувство. То безграничное подбострастіе, съ которымъ все относились къ дяденькѣ-генералу, не могло не отразиться отчасти и на мнѣ, да и звѣзды и ордена на его выпяченной груди и тяжелые эполеты на плечахъ производили впечатлѣніе. Онъ представлялся мнѣ чѣмъ-то высокимъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, это высокое вовсе не было очень хорошимъ. Впервыхъ дяденька-генералъ билъ прислугу и чаще всего почему-то Якова, который постоянно ходилъ въ синякахъ. Бывало, сдѣлаешь Яковъ что-нибудь не такъ, дяденька безъ особеннаго кажется гнѣва — бацъ! бацъ! или ткнетъ какъ-то веѣмъ кулакомъ впередъ, и Яковъ судорожно хватается за карманъ, достаетъ грязный платокъ и прикладываетъ къ носу, а самъ ни съ мѣста; скоро платокъ напитывается кровью, кровь бѣжитъ по пальцамъ Якова, и дяденька грозно гонитъ его вопъ, чтобы онъ не запачкалъ пола... Гадость... Какъ ни былъ я неразумный, но понималъ, что это—гадость... Кромѣ того, дяденька-генералъ нестерпимо надменно относился къ дяденькѣ-пѣмцу, а тотъ, бѣдный, и безъ того весь съежился послѣ смерти отца ..

Все это впрочемъ я помню очень смутно. Дяденька-генералъ, распорядился по-военному и очень скоро съезъ Сою въ Москву, въ институтъ, а меня—въ Петербургъ.

Какъ мнѣ жилось въ школѣ, рассказывать не стоитъ. Все это давнымъ-давно описано, а особеннаго со мной ничего не случилось вплоть до одного весьма для меня важнаго разговора съ дяденькой-генераломъ. Скажу только одно: я былъ своекоштный и немало этимъ гордился—своекоштныхъ у насъ было мало—хотя рѣшительно не умѣлъ бы сказать, что тутъ собственно лѣстнаго. Съ такимъ же неопредѣленнымъ внутреннимъ удовольствіемъ принималъ я вновь возникшія клички: «Потемкина», «сына роскоши», «великогѣльнаго князя» и проч.

Дяденька-генералъ въ Петербургѣ не жилъ. Помѣстивъ меня въ школу, онъ уѣхалъ восвояси, и съ тѣхъ поръ я его не видалъ лѣтъ пять, даже не слышалъ о немъ ничего, такъ что и о существованіи его забылъ. Разъ мнѣ говорятъ, что въ пріемной меня ждетъ какой-то генералъ. А надо вамъ сказать, что меня до тѣхъ поръ никогда никто въ пріемной не ждалъ, потому что виѣ школьныхъ стѣнъ у меня не было ни души знакомой. Не торопитесь дѣлать изъ этого обстоятельства выводы и заключенія; не торопитесь говорить, что тѣ пока еще нѣсколько необычныя чувства и мысли, которыми я живу и которыя вамъ можетъ быть не совѣмъ нравятся, обязаны своимъ происхожденіемъ уродливому воспитанію въ стѣнахъ закрытаго учебнаго заведенія. Это фактически не такъ было. Первый толчокъ къ теперешнимъ моимъ чувствамъ и взглядамъ далъ не кто иной, какъ дяденька-генералъ, конечно нисколько не подозрѣвая этого и совершенно безсознательно. Стѣны же закрытаго заведенія были въ акустическомъ отношеніи такъ основательно устроены, что сквозь нихъ развѣ чуть-чуть доносилось то, что на вольной волѣ дѣлалось, а тамъ происходили любопытныя вещи: крымская война кончалась и кончилась... Тѣ изъ моихъ товарищей, которые, благодаря существованію родныхъ и знакомыхъ, имѣли сношенія съ виѣшнимъ міромъ, кое-что и выносили оттуда. Но я былъ всецѣло погруженъ во внутреннія школьныя дѣла, ѣлъ съ не-

вѣроятнымъ аппетитомъ пироги и булки, строилъ разныя карьеры учителямъ, игралъ въ лапту и городки, сдавалъ экзамены—словомъ, былъ настоящимъ школяромъ—здоровымъ, всеяднымъ и дикимъ.

Въ приемной я увидалъ генерала, котораго сразу же призналъ за дяденьку, не столько по памяти объ немъ самомъ, сколько потому, что онъ былъ очень похожъ на отца. Но страшное дѣло: лобъ и глаза у дяденьки-генерала были чуть-чуть поменьше, чѣмъ у отца, а носъ, усы и нижняя часть лица чуть-чуть побольше: и эти «чуть-чуть» дѣлали то, что, не смотря на сходство съ красивымъ, выразительнымъ, пріятнымъ лицомъ отца, дяденька-генералъ былъ очень непривлекателенъ на видъ. Вдобавокъ, онъ сильно постарѣлъ, сморщился, согнулся и далеко не имѣлъ того величественнаго вида, съ которымъ онъ у меня остался въ памяти. По всей вѣроятности онъ даже никогда не былъ величественъ, и воспоминаія мои были просто обманъ дѣтскаго зрѣнія, подкупленнаго эполетами, звѣздами и всеобщимъ подобоострастіемъ. Во всякомъ случаѣ, въ приемной я нашелъ сморщеннаго, желтаго старикашку, развѣ чуть-чуть выше меня ростомъ. Встрѣча была, какъ всѣ quasi-родственныя встрѣчи: обнялись, поцѣловались; онъ мнѣ сказалъ, что я совсѣмъ молодецъ сталъ,—я промолчалъ. Оказалось, что дяденька выходитъ въ отставку, поселяется на жительство въ Петербургѣ и намѣренъ брать меня къ себѣ по воскресеньямъ и вообще на праздники. На томъ мы и порѣшили. Дяденька-генералъ отправился къ генералу, бывшему моимъ верховнымъ начальникомъ, а тотъ, въ свою очередь, призвалъ меня къ себѣ и объявилъ вопервыхъ объ удовольствіи, которое ему доставило знакомство съ дяденькой-генераломъ, а вовторыхъ о томъ, что онъ очень радъ, что я наконецъ «увижу свѣтъ». «Ступай,—шутливо заключилъ генералъ: — ступай, людей посмотри и себя покажи», и милостиво потрепалъ меня по плечу.

Да, я наконецъ «увидѣлъ свѣтъ»... Событіемъ огромной важности было для меня уже самое мое появленіе въ салонахъ дяденьки-генерала. Я былъ должно быть очень похожъ на

тѣхъ дикихъ готовъ, бургундовъ и лонгобардовъ, которые чуть не прямо изъ лѣсу попадали въ омутъ римскаго великолѣпія и роскоши. Мраморный каминъ съ зеркаломъ въ золоченой рамѣ. ея превосходительство Анна Сергѣевна Темкина, вторая жена дяденьки-генерала, красивая, худощавая и вертлявая женщѣна лѣтъ тридцати-пяти; трельяжи, зеленѣвшіе плющемъ; мои кузены—молодой гвардеецъ и еще болѣе молодой правовѣдъ, дѣти первой жены дяденьки; мягкая мебель; лакеи во фракахъ и бѣлыхъ перчаткахъ; длинныя и сложныя обѣды; соотвѣтственные гости и гостьи и проч., и проч., и проч.—все это я увидѣлъ непосредственно послѣ пироговъ съ говядиной, лапты и экзаменовъ. Это было тяжело, особенно присутствіе женщинъ. а онѣ, какъ нарочно, старались приласкать меня. Какъ дикій звѣрь какой-нибудь, забивался я въ уголъ и оттуда нугливо выглядывалъ на людей и прислушивался къ ихъ рѣчамъ. Рѣчи все были очень хорошія — тогда вѣдъ всѣ хорошія рѣчи говорили: въ салонахъ дяденьки-генерала фигурировалъ между прочимъ одинъ писатель, нынѣ стоящій на стражѣ «культуры», а тогда онъ былъ еще очень молодъ и тоже хорошія рѣчи говорилъ. Я однако очень мало дѣнилъ эти хорошія рѣчи и больше норовилъ пристроиться къ картинкамъ и къ фѣдѣ. Въ этихъ вкусахъ мы сошлись съ дяденькой-генераломъ. Этого я никакъ не ожидалъ и вообще, на первыхъ же порахъ, былъ до чрезвычайности пораженъ положеніемъ дяденьки въ домѣ и его нравственной фізіономіей. По старой памяти, я разчитывалъ встрѣтить громовержца, разсыпашащаго во всѣ стороны брань и удары и заставляющаго всѣхъ трепетать. На дѣлѣ однако въ домѣ дяденьки-генерала никто не трепеталъ, кромѣ его самого. Это впрочемъ не совсѣмъ вѣрное слово: онъ не трепеталъ, а сокращался, умался, съезживался не только передъ своей супругой, а и передъ сыновьями и передъ гостями. «Генералъ Темкинъ», коротко рекомендовала его Анна Сергѣевна своимъ знакомымъ...

Еслибы я писалъ что-нибудь въ родѣ романа, да даже и просто въ видахъ обстоятельности и послѣдовательности, я долженъ бы былъ представить здѣсь общій характеръ либеральнаго са-

лона генеральши Темкиной и хоть нѣсколько экземпляровъ изъ числа его обычныхъ посѣтителей. Но, по предоставленной мнѣ самимъ собой вольности, я сдѣлаю это можетъ быть позже, когда придется къ слову, а можетъ быть и вовсе не сдѣлаю. Теперь же тороплюсь подойти къ чрезвычайно важному для меня эпизоду. Приведу только одно выраженіе одного изъ гостей Темкиныхъ, такъ какъ оно можетъ быть освѣтить вамъ кое-что. Въ числѣ обычныхъ посѣтителей салона былъ нѣкто Андрей Андреевичъ Башкинъ, удивительно красивый брюнетъ, лѣтъ тридцати, съ чудесными мягкими лѣнивыми глазами и круглой бородкой. Описывать его впрочемъ не буду, потому что ниже онъ появится на сцену во весь ростъ. Вотъ съ этимъ то Башкинымъ и еще съ двумя-тремя молодыми людьми мнѣ пришлось разъ вмѣстѣ выйти отъ дяденьки-генерала. Одинъ изъ молодыхъ людей съ восторгомъ говорилъ объ Аннѣ Сергѣевнѣ, называлъ ее «идеаломъ современной женщины» и еще какъ-то. Башкинъ, лѣниво усмѣхаясь, остановилъ этотъ каскадъ восторга словами: «Э, полноте, батюшка! она—просто madame Мессалина Рекамье». Молодой человекъ ахнулъ и принялся съ жаромъ спорить...

Итакъ, дяденька-генералъ любилъ картинки и ѣду, преимущественно сласти. Я—тоже. Но на счетъ картинокъ мы не сразу сошлись. Генералъ Темкинъ любилъ изображенія парадовъ, смотровъ, сраженій, штурмовъ, вообще—войскъ въ дѣйствиіи и бездѣйствиіи, а также голыхъ женщинъ. Картинки баталическаго свойства любилъ и я, но голыхъ женщинъ сначала конфузился... Впрочемъ мало-по-малу привыкъ. Принесетъ бывало дяденька въ свой маленькій, увѣшанный оружіемъ кабинетъ кипу картинокъ, книгъ, кипсековъ и корзинку какихъ-нибудь сластей—сласти дяденькѣ выдавались дешевыя: изюмъ, пастила, мармеладъ—и начинается у насъ пиршество, въ прямомъ и переносномъ смыслѣ: матеріальное и нравственное. Я очень живо помню эти пиршества и, еслибы обладалъ беллетристическимъ талантомъ и не хотѣлъ бы такъ страстно поскорѣе добраться до моего покаянія, то могъ бы доставить читателю

большое эстетическое наслаждение изображеніемъ нашего съ дяденькой времяпровожденія.

Со стороны салона доносится смѣшанный гулъ голосовъ, изъ котораго по временамъ выдѣляются «хорошія» слова какого-нибудь разгорячившагося оратора, чаще всего молодого писателя, который нынѣ благополучно стоитъ на стражѣ культуры. Шумъ, смѣхъ, аплодисменты, пѣніе, споры, чтеніе, декламация... А въ маленькомъ кабинетѣ, у маленькаго круглаго стола, на которомъ горитъ маленькая лампа, пируемъ мы съ генераломъ Темкинымъ. Онъ—сѣдой старикъ, выраженіемъ лица смахивающій на Наполеона III, въ орденахъ и звѣздахъ: я—семнадцатилѣтній малый, краснощекій, вихрастый, выросшій изъ казеннаго мундира... Мы смотримъ картинки и ѣдимъ пастилу и мармеладъ. Когда картинки всѣ пересмотрѣны, дяденька подхватываетъ какое-нибудь хорошее слово, доносящееся изъ салона, и начинаетъ его беззубо-зло комментировать: онъ отводитъ дуну, онъ радъ, что и у него есть слушатель, передъ которымъ онъ можетъ излить свою желчь, опорожнить свою нравственную утробу отъ ежедневно, ежечасно получаемыхъ имъ въ своемъ домѣ оскорбленій и огорченій. А я, въ самомъ дѣлѣ—слушатель превосходнѣйшій: молчу и жую мармеладъ... Иной разъ я начинаю рассказывать объ учителяхъ, товарищахъ, начальствѣ, о послѣднихъ школьныхъ событіяхъ, и дяденька-генералъ слушаетъ съ видимымъ интересомъ и время отъ времени вставляетъ свои одобрительныя и порицательныя замѣчанія.

Разъ однако, когда мы такимъ образомъ сидѣли и благодушествовали, произошелъ у насъ разговоръ совершенно неожиданный. Сначала мы старое перебирали, вспоминали отца, Соню, домъ, и отъ этихъ воспоминаній нѣсколько размякла моя замятерѣлая на пирогахъ и булкахъ душа, размякла и подготовилась къ принятію новой мысли. Когда очередь дошла до воспоминаній о дяденькѣ-пѣмцѣ, дяденька-генералъ прочиталъ мнѣ маленькую нотацію.

— Э-э-э,—началъ онъ по обыкновенію басомъ и съ оттяж-

кой:—э-э-э, послушай, Гриша, я давно хотѣлъ сказать... какой тебѣ дяденька этотъ Карлъ Ивановичъ?..

— Карлъ Карловичъ поправиль я.

— Э-э-э, ну, какъ его... все равно—сапожникъ... Опъ—сапожникъ, а ты, братецъ,—дворянинъ, онъ—Фишеръ, а ты—Темкинъ. Разница!

Я протестоваль, ссылаясь на всѣхъ домашнихъ, въ томъ числѣ на отца, которые всегда признавали Карла Карловича моимъ дяденькой. Дяденька-генераль упорно стоялъ на своемъ, доказывая, что, какъ гусь свиньѣ не товарищъ, такъ и Фишеръ Темкину не родня. Я опять протестоваль, потому что, не смотря на всѣ его страшности, я любилъ добраго, мягкаго дяденьку-нѣмца, и этотъ споръ все помаленьку вызываль искру божію изъ-подъ груды пироговъ, школьнаго озорничества и всякой грубости и пошлости. Наконецъ искра блеснула...

Продолжая развивать свою тему, дяденька-генераль сталъ доказывать, что и Темкина-то не всякаго онъ признаетъ своей родней, а не то что Фишера, и что конечно всякій проходимецъ радъ лѣзть въ родство къ благороднымъ людямъ. Въ доказательство дяденька-генераль разсказаль слѣдующій случай. Будучи еще полковникомъ и полковымъ командиромъ, онъ стоялъ съ полкомъ въ одной южной губерніи. Однажды денщикъ ему докладываетъ, что припли «казакъ съ казачкой» и желаютъ видѣть его высокородіе. Его высокородіе велѣлъ было сначала гнать незваныхъ гостей въ шею, но денщикъ объяснилъ, что «казакъ» утверждаетъ, будто онъ—племянникъ его высокородія. Его высокородіе потребоваль объясненія. Оказалось слѣдующее. Родной братъ моего отца и дяденьки-генерала, значитъ мнѣ дядя, былъ когда-то въ тѣхъ мѣстахъ мелкопомѣстнымъ помѣщикомъ. Онъ сманилъ у богатаго и властнаго сосѣда гувернантку и женился на ней. Но сосѣдъ самъ имѣлъ виды на гувернантку и потому сталъ мстить. Сначала шли мелочныя пакости, но разъ у дяди случился пожаръ, причемъ сгорѣли всѣ документы. Властный сосѣдъ—должно быть не хуже былъ Темкина-Лютаго—воспользовался этимъ и, деньгами и вліяніемъ,

добился того, что дядя Темкинъ, потомокъ князей Темкиныхъ-Ростовскихъ, оказался будто бы ископнымъ его крѣпостнымъ человѣкомъ. Въ качествѣ такового, онъ былъ затѣмъ проданъ другому помѣщику вмѣстѣ съ женой. Дяденка-генералъ не сумѣлъ мнѣ хорошенько рассказать всю эту исторію, отчасти по недостатку сообразительности и краснорѣчія, а отчасти потому, что и самъ подробностей не зналъ: «казакъ» плохо толковалъ. Казакъ этотъ былъ никто иной, какъ плодъ любви несчастнаго дяди и гувернантки, послужившей яблокомъ раздора, то-есть мой двоюродный братъ. Онъ успѣлъ уже вполне «омужичиться», какъ говорилъ дяденька-генералъ, и женатъ былъ на породной крестьянкѣ. Какъ ни былъ однако неудовлетворителенъ рассказъ даденки-генерала, онъ меня глубоко взволновалъ. Въ душѣ у меня точно что раздвинулось, расширилось. Я жадно ловилъ слова, рѣдко, съ оттяжкой вылетавшія изъ-подъ густыхъ сѣдыхъ усовъ дяденьки-генерала. Я ждалъ конца романической исторіи и уже предвкушалъ этотъ конецъ: я ждалъ, что дяденька явится мстителемъ и благодѣтелемъ...

— Ну, и что-жъ? нетерпѣливо спросилъ я, когда дяденька-генералъ остановился.

— Э-э-э, ну и что-жъ? переспросилъ онъ, посасывая уса-
тымъ беззубымъ ртомъ пастилу.—Ну и прогналъ...

— Какъ прогнали?!

— Э-э, такъ и прогналъ... Можетъ, онъ все навралъ... Ну наврать впрочемъ не посмѣлъ бы... Не племянникомъ же мнѣ его признать, когда отъ него дегтемъ воняетъ на цѣлый домъ... Хамъ ужъ онъ настоящій, какъ тамъ ни вертись... Ужъ кто, братецъ, въ хамствѣ родился, тотъ хамъ и есть... кто въ навозѣ выкупался... Можетъ быть вонъ и у моего Сергушки или у вашего Якова... такъ что-ли звали любимца-то твоего отца, царство ему небесное (дяденька перекрестился)... Э-э-э, что бишь я?.. Да, такъ у Яшки можетъ быть отецъ тоже какой-нибудь принцъ былъ...

Дяденька еще много подобнаго вздора говорилъ (даже съ

точки зрѣнія культурныхъ людей это кажется вздоръ, а впрочемъ не знаю), но я только до Якова и помню. Какъ ска- залъ дяденька это имя собственное, такъ и сталъ мнѣ глубоко омерзителенъ, и не слушалъ ужъ я его больше...

Слезы, первыя благодатныя слезы сочувствія и негодованія подступили мнѣ къ горлу и душили меня...

Я кажется не идеализирую себя, не говорю, что я отъ младыхъ ногтей былъ переполненъ высокими чувствами и глу- бокими думами. О нѣтъ! я не хочу врать. Прямо говорю, что до семнадцати лѣтъ я былъ балбестъ-балбесомъ, да и первый взрывъ душевный произошелъ во мнѣ при совѣтѣ особенныхъ обстоятельствахъ. Нужно было, чтобы кто-нибудь изъ близкихъ моихъ, дядя, двоюродный братъ, потерялъ крупную несправед- ливость... Ну что-жъ дѣлать? каковъ есть, такого и берите. Но все-таки скажу: чудно «красивъ» былъ мой душевный мѣръ въ моментъ этого взрыва. Я не о внѣшности говорю. Внѣш- ность была совѣтѣ не красива. Помню, что я, глотая слезы, опрокинулъ вазу съ пастилой и обозвалъ дяденьку-генерала какимъ-то грубымъ кадетскимъ словомъ. Затѣмъ, совершенно безсознательно, машинально пошелъ въ переднюю: оставаться у дяденьки я не могъ. Прошелъ я почему-то черезъ салонъ, хотя могъ бы пройти и болѣе короткимъ, и болѣе удобнымъ путемъ. Помню, какъ сзади меня дяденька-генералъ шипѣлъ задыхаю- щимся голосомъ: «ахъ—ты паценокъ!» помню, какъ я неуклюже, неровно переставляя ноги, прошелъ черезъ салонъ, набитый на- родомъ, ни съ кѣмъ не прощаясь и наступая на ноги и подолы. Помню наконецъ какъ кто-то изъ гостей, когда я вышелъ въ переднюю, громкимъ шопотомъ сострилъ сосѣду: «па- стилы объѣлся, животъ заболѣлъ», и какъ кто-то громко за- хохоталъ...

И дорога до дому, и ночь, и слѣдующій день, и опять ночь и опять день были поглощены моимъ братомъ-мужикомъ. Я не иначе называлъ его мысленно, какъ братомъ, и не могъ себѣ представить его иначе, какъ въ видѣ Якова, когда тотъ лежалъ

окровавленный въ людской или когда онъ, послѣ побоевъ дяденьки, держалъ у носа окровавленный платокъ. Почему это такъ выходило,—не знаю. Но отдѣлаться отъ этого образа я не могъ, да и не хотѣлъ, не пытался, потому что онъ мнѣ новую жизнь далъ. Къ семнадцати годамъ у человѣка много силъ накапливается, но, благодаря моему воспитанію въ четырехъ высокихъ стѣнахъ, силы эти находились въ потенциальномъ состояніи, если вы позволите мнѣ такъ выразиться; на пироги съ говядиной, лапту и долблю много силъ не израсходуешь. И вдругъ всѣ эти силы перешли въ состояніе активное, заработали. Естественное дѣло, что хаосъ у меня въ головѣ былъ ужаснѣйшій, и только двойной образъ брата и Якова ярко горѣлъ въ этомъ хаосѣ, какъ нѣкогда духъ Божій носился надъ бездною. Я былъ до такой степени балбесъ, что, не смотря на свои семнадцать лѣтъ и не смотря на всѣ вѣянія времени, впервые остановился на дикомъ смыслѣ словъ: продать человѣка, купить человѣка. Я былъ до такой степени грубъ, что впервые задалъ себѣ вопросы: гдѣ теперь Яковъ? что съ нимъ? гдѣ дяденька-нѣмецъ? гдѣ Соня? какъ она живетъ? Я ихъ всѣхъ перезабылъ. А вопросъ тянулся за вопросомъ, какъ крючокъ за петлей. Гдѣ Яковъ? Гдѣ Оедька? Я былъ до такой степени невѣжда, что не зналъ этого; не зналъ, что они, мои друзья-пріятели, проданы и что этою цѣною отчасти оплачиваются мои пироги съ говядиной и моя лапта. Да и теперь это мнѣ не было вполне ясно. Я только смутно догадывался... Зналъ ли отецъ, что его братъ взять въ кабалу и проданъ? Должно быть, зналъ. Какъ же онъ-то не вступился? О, я разыщу брата, я куплю его... нѣтъ, это—гадость... я вырву его изъ оута и приведу въ салонъ дяденьки-генерала и скажу: вотъ...

Эхъ, доля моя горькая! Назвался груздемъ, такъ и пользуй въ кузовъ. Взятся рассказывать, такъ и рассказывай. А между тѣмъ чувствую, какъ у меня все это выходитъ блѣдно, туманно, далеко отъ дѣйствительности. Просто руки опускаются и перо вываливается... Приходи же ты скорѣе, большой человѣкъ, ты, умный, талантливый и любящій, приходи, желанный, и раз-

скажи за меня и за другихъ, какъ зарождается покаяніе. Заткни глотки всѣмъ, кто говоритъ, что красота погибла, что ея нѣтъ; покажи, что та красота, которую художники непоколебимо въка выслѣживаютъ въ первой любви—ничто, плоскость въ сравненіи съ красотой перваго проблеска покаянія. А первая любовь, вѣдь это—лучшее, чистѣйшее, что вы можете выставить, вы, пераскалянные...

Я опять о красотѣ, и вы пожалуй опять подумаете, что я хвастаться начну. Ничуть не бывало. Даже совсѣмъ напротивъ. Отъ того момента, когда въ моемъ мозгу поселился двойной образъ Якова и брата-мужика, была прямая дорога къ тому, чѣмъ я теперь дышу и живу. Но я это только теперь вижу, а тогда я не пошелъ этой дорогой, уклонился отъ нея, пошелъ путемъ окольнымъ, на которомъ встрѣтилъ много препятствій и опасностей. И это кажется не случайное уклоненіе, а типическое, въ которомъ грѣшны почти всѣ мы, кающіеся дворяне, хотя разумѣется въ моей исторіи были кое какія личныя особенности. Я не назову этого уклоненія старымъ философскимъ терминомъ «моментъ развитія», потому что терминъ этотъ какъ бы узакониваетъ, санкціонируетъ то, безъ чего легко было обойтись и безъ чего позднѣйшіе кающіеся дворяне обходятся и должны обходиться.

Сначала шло все какъ слѣдуетъ. Двойной образъ Якова и брата ярко горѣлъ въ сознаніи и продолжалъ дѣлать свое дѣло.

Для разрѣшенія задаваемыхъ имъ вопросовъ я сталъ припоминать разныя хорошія слова, слышанныя однимъ ухомъ въ либеральномъ салонѣ Анны Сергѣевны; сталъ прислушиваться къ тому, что говорилось товарищами, раньше меня «увидѣвшими свѣтъ»; сталъ читать книги, которыми тогда зачитывался весь образованный русскій людъ. Работа шла быстро. Лапта и пироги съ говядиной помаленьку утратили свою прелесть. Кое-что мнѣ выяснилось. Въ салонѣ Анны Сергѣевны меня очень тянуло, но, съ другой стороны, дяденька-генералъ былъ глубоко противень, да и конфузился я своего неуклюжаго ухода и остроты: «пастилы объѣлся, животъ заболѣлъ»... Пропустилъ одно воскре-

сенье, два, три, четыре. На слѣдующее воскресенье рѣшили, уже было идти, какъ вдругъ мнѣ говорятъ, что меня желаетъ видѣть какой-то «вольный» — такъ дядька звалъ всѣхъ статскихъ. «Вольный» оказался красавцемъ Башкинымъ. Онъ явился отъ имени Анны Сергѣевны.

— Тетушка ваша, — говорилъ онъ официально-вѣжливо, но чуть-чуть насмѣшливо улыбаясь: — поручила мнѣ узнать о причинахъ вашего долгаго отсутствія. Генераль Темкинъ почему-то вами очень недоволенъ и требуетъ, чтобы вы извинились...

— Я извиняться не буду... не въ чемъ, — перебилъ я.

— Это и не нужно, продолжалъ, еще насмѣшливѣе улыбаясь, Башкинъ. — Тетушка ваша не безъ основанія полагаетъ, что кто прогибавалъ генерала Темкина, тотъ имѣетъ шансы угодить ей. Вы, надѣюсь, не будете такъ упорствовать?

Я молчалъ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, что у васъ тамъ вышло? Вѣдь вы такіе пріятели были, настилу вмѣстѣ ѣли, а?

Послѣ нѣкотораго настоянія я, конфузясь, краснѣя, путаясь и запинаясь, рассказалъ. Башкинъ очень внимательно слушалъ и пересталъ улыбаться. Это придало мнѣ бодрости, подняло въ собственныхъ глазахъ, такъ что я кончилъ даже не безъ увлеченія и краснорѣчія. Башкинъ впрочемъ кажется не совсѣмъ меня понялъ, потому что спросилъ: — «а кто же это — Яковъ?» (я и Якова, и какъ его дяденька билъ, ввернулъ въ рассказъ). Я вновь сталъ объяснять.

— Извините, сказалъ въ заключеніе Башкинъ очень серьезно: — извините, мнѣ не совсѣмъ все-таки ясно... притомъ же, вы немного взволнованы. Мнѣ кажется однако, что вы слишкомъ строго относитесь къ генералу Темкину. Онъ человѣкъ стараго вѣка... пусть мертвые хоронятъ мертвыхъ. На вашемъ мѣстѣ я не стоялъ бы за извиненіемъ... Виновать, это — мое личное мнѣніе, и вамъ вовсе не предстоитъ надобности имъ руководствоваться. Извиняться пожалуй вовсе не нужно. Просто приходите... Я передамъ вашей тетушкѣ все, что отъ васъ слышалъ. Она вѣроятно пожелаетъ васъ видѣть... Подумайте, а?

— Я подумаю...

— Да, подумайте и приходите...

А чего «подумайте»! Я ужь и до Башкина рѣшилъ, что пойду къ дяденькѣ, то-есть собственно къ тетенькѣ. А теперь, когда этотъ умный, насмѣшливый красавецъ простился со мной съ такимъ серьезнымъ уваженіемъ ко мнѣ, — такъ мнѣ показалось, да и въ самомъ дѣлѣ нѣчто подобное кажется было — теперь разумѣется и сомнѣнія быть не можетъ, что я пойду въ слѣдующее же воскресенье. Мнѣ, сознаюсь, льстило смутное предчувствіе, что и Анна Сергѣевна, и весь ея салонъ со включеніемъ остряка, который сказалъ, что я пастилы объѣлся, будутъ со мной говорить такъ же серьезно, почтительно, какъ Башкинъ.

Предчувствіе не обмануло. Анна Сергѣевна буквально съ простертыми объятіями меня встрѣтила и тотъ же часъ увела въ свой маленькій будуаръ, сказавъ мимоходомъ гостямъ, что она «должна серьезно поговорить съ этимъ молодымъ человѣкомъ». Серьезнаго разговора впрочемъ никакого не вышло. Мы сидѣли въ небольшой густо заставленной низенькою, мягкою мебелью комнатѣ, въ которой было очень жарко и очень пахло духами. Анна Сергѣевна посадила меня очень близко къ себѣ и все время держала мои руки въ своихъ. Мнѣ было такъ тепло, душно и конфузно; притомъ же Анна Сергѣевна говорила такъ быстро, что я почти ничего не слышалъ. Она говорила что-то о своемъ сочувствіи къ моему «благородному порыву», о любви къ «меньшему брату», о томъ, что генералъ Темкинъ — известный ретроградъ, но впрочемъ добрый и нисколько на меня не сердится. Во всякомъ случаѣ она, Анна Сергѣевна, всегда готова быть моею защитницей и совѣтницей.

— Будемъ друзьями, Grégoire, — заключила Анна Сергѣевна, тряся меня за руки и стараясь заглянуть мнѣ въ глаза, а я упорно опускалъ ихъ внизъ и смотрѣлъ на тигровую шкуру, разостланную въ ногахъ, и на подолъ лиловаго шелковаго платья тетеньки: — будемъ друзьями, Grégoire. Если васъ посѣтятъ какія-нибудь душевныя тревоги, какія-нибудь сомнѣнія или книги

вамъ понадобятся,—приходите ко мнѣ. Я васъ пойму. Я много виновата передъ вами. Я должна бы была прямо ввести васъ въ кругъ мыслящихъ и развитыхъ людей, но я... вы простите меня? да? я считала васъ мальчикомъ и думала, что вамъ веселѣе ѣсть мармеладъ и смотрѣть картинки съ генераломъ Темкинымъ... ха, ха, ха!—Анна Сергѣевна весело разсмѣялась надъ своимъ предположеніемъ о преимуществѣ мармелада передъ бесѣдой мыслящихъ людей, но тотчасъ же серьезно прибавила:—этого больше не будетъ! пойдете...

Мы вышли изъ будуара подъ-руку. Я былъ красенъ, какъ ракъ, и до того вспотѣлъ, что чувствовалъ, какъ дѣлая струи льются у меня по спинѣ. Гости и гостьи очень внимательно, даже до неприличія, осматривали меня. Скоро пришелъ Башкинъ и дружески поздоровался со мной. Явился дяденька и молча кивнулъ головой на мой неуклюжій поклонъ. Онъ имѣлъ видъ совершенно обиженнаго человѣка. Подойдя къ двери, которая вела въ кабинетъ, гдѣ мы такъ часто наслаждались картинками и пастилой, онъ оглянулся въ мою сторону не то съ упрекомъ, не то съ приглашеніемъ. Я отвернулся. Когда я опять взглянулъ въ ту сторону, дяденьки-генерала уже не было, онъ сидѣлъ у себя и въ одиночку ѣлъ пастилу и смотрѣлъ картинки...

Благодаря всеобщему вниманію—очевидно все уже знали мою исторію—и въ особенности любезности Анны Сергѣевны и Башкина, я скоро разошелся и имѣлъ даже нѣкоторый успѣхъ въ салонѣ, довольно впрочемъ двусмысленный и меня самого поразившій. Разговаривая съ Башкинымъ, я между прочимъ сказалъ ему, что дядька назвалъ его «вольнымъ», то-есть штатскимъ. Сидѣвшій тутъ же молодой писатель, нынѣ благополучно стоящій на стражѣ культуры, очень громко расхохотался и сказалъ, что «это чрезвычайно метко». Захохотали и другіе, поднялись остроты надъ бывшими тутъ двумя офицерами—они впрочемъ и сами шутили на эту тему—и при этомъ все относилось ко мнѣ такъ, какъ будто я сказалъ какую нибудь замѣчательную остроту. А я... должно быть я очень глупый

видъ имѣлъ, потому что чувствовалъ себя совершенно невиннымъ въ остроуміи, а между тѣмъ не хотѣлъ отклонить отъ себя того, что мнѣ такъ любезно навязывали...

Съ этихъ поръ я сдѣлался постояннымъ посѣтителемъ салона Анны Сергѣевны и скоро вошелъ во вкусъ его. Не вдругъ однако. Сначала меня нѣсколько коробило слѣдующее обстоятельство. Какъ ни краснорѣчиво бесѣдовала со мной Анна Сергѣевна въ будуарѣ, да и потомъ не одинъ разъ, но я отъ нея не узналъ рѣшительно ничего, непосредственно къ взволновавшей меня исторіи относящагося. Я въ простотѣ душевной думалъ, что она поможетъ мнѣ отыскать брата и Якова, а отыскать ихъ обоихъ я считалъ необходимымъ, хоть и не знаю зачѣмъ. Но она кажется даже и не знала, въ чемъ собственно состояла та исторія, которая возбудила въ ней такую симпатію ко мнѣ. По крайней мѣрѣ: меня она не разспрашивала, а Башкинъ меня въ тотъ разъ не понялъ, значить и ей не могъ сообщить что-нибудь опредѣленное. Анна Сергѣевна удовлетворилась просто тѣмъ, что я сказалъ генералу Темкину грубость по какому-то благородному поводу, въ которомъ была замѣнана «меньшая братія» и кулачная расправа генерала. Этого съ нея было довольно. Но мнѣ-то было этого мало. Завести съ Анной Сергѣевной серьезный разговоръ—я въ этомъ скоро убѣдился—не было никакой возможности: она тараторила свое, разсыпалась въ общихъ фразахъ и отвлеченностяхъ, но къ фактамъ не спускалась. Притомъ же ея манера хватать за руки и сажать очень близко къ себѣ очень смущала меня, даже просто отталкивала. Я рѣшилъ, что надо обратиться къ дяденькѣ. Это было не трудно сдѣлать. Онъ аккуратно каждое воскресенье, пройдя поперѣгъ салона, останавливался у дверей кабинета и взглядывалъ на меня укорительно-пригласительнымъ взглядомъ. Наконецъ, я рѣшился откликнуться на этотъ молчаливый зовъ...

Опять передо мной стояла на маленькомъ кругломъ столѣ корзинка съ мармеладомъ и пастилою, опять я видѣлъ полуосвѣщенные свѣтомъ маленькой лампы огромные сѣдые усы,

прикрывавшіе беззубый ротъ. Сначала, разговоръ естественнымъ образомъ не клеился, но дяденька самъ направилъ его на интересовавшіе меня пункты. Миѣ удалось выспросить слѣдующее. Отъ продажи нашего дома, людей, то-есть Якова, Ѳедьки и прочей дворни, лошадей и всякаго имущества была выручена сумма, которая вмѣстѣ съ небольшими деньгами, оставшимися послѣ отца, составила десять тысячъ. Проценты съ этой суммы шли на уплату за мое и Сошино воспитаніе. Люди были проданы всѣ въ одни руки — помѣщику Короваеву. Дяденька-гѣмецъ уѣхалъ въ Митаву, и что съ нимъ теперь — неизвѣстно. Относительно брата-мужика дяденька, за безпамятствомъ, ничего сообщить не могъ, кромѣ названія губерніи, гдѣ онъ его встрѣтилъ. Вотъ и все. Но и это небольшое я принялъ съ страшнымъ равнодушіемъ. Какъ-то холодно взглянуть я мысленно по направленію къ недавно еще такъ мучившему меня двойному образу. Это—странно, но такъ было. Я сначала такъ страстно хотѣлъ разсѣять мракъ, окружавшій Якова и брата и мои къ этому существу отношенія, но когда получилъ нѣкоторые, хотя скудные, положительные матеріалы, вышло такъ, какъ будто я исполнилъ какое-нибудь формальное, вовсе не глубоко меня задѣвающее обязательство...

Это—проклятый духъ либеральнаго салона Анны Сергѣевны сказывался. Тамъ были всѣ такъ веселы, такъ довольны собой, другъ другомъ и всѣмъ салономъ (можетъ быть одинъ Башкинъ составлялъ нѣкоторое исключеніе, но онъ велъ себя очень сдержанно и не имѣлъ до меня никакого касательства), что я поневолѣ заразился тѣмъ же. Я убѣдился, что въ сущности я—прекраснѣйшій молодой человѣкъ, умный, либеральный, обу-реваемый весьма высокими мыслями и глубокими чувствами, и что если миѣ чего не достаетъ, такъ только продолженія того, чѣмъ я уже обладаю: знаній, «развитія». Не ловите меня на словѣ, не говорите, что я и теперь все о своей красотѣ толкую. Разница огромная! Впервые я о красотѣ покаянія потому такъ настоятельно говорю, что о ней никто не говорить, а красота салона Анны Сергѣевны гремѣла въ тѣ вре-

мена по всему Петербургу. Вовторыхъ тогда было самообольщеніе, самопоклоненіе и самослуженіе, а теперь пичего этого нѣтъ. Теперь я вамъ прямо говорю: я хороши постольку, поскольку чисто, искренно, глубоко и рѣшительно приношу мое покаяніе. Я бы очень хотѣлъ выяснитъ вамъ чрезвычайно рѣзкую границу между тогдашнимъ и теперешнимъ моимъ образомъ мыслей. Это—очень важная вещь. Надѣюсь, что дальше это будетъ вполне ясно. Если относительно меня по крайней мѣрѣ справедливъ упрекъ въ «веселой торопливости», такъ онъ всецѣло относится къ этому періоду моего развитія, хотя надо замѣтитъ я тогда вовсе не «отрывался». Единственный осязательный результатъ, вынесенный мною изъ всей передырки изъза Якова-брата, сводился въ ту пору къ отреченію отъ «темкинства». Это ужъ осталось прочно и навсегда; но вѣдь во мнѣ эта гордость родствомъ съ Владиміромъ Святымъ была въ сущности просто ребячествомъ. Серьезно я не былъ никогда ею зараженъ. Затѣмъ посмотрите: такъ ошеломившій меня на первыхъ порахъ наплывъ новыхъ мыслей очень быстро разсѣялся въ какихъ-то отвлеченностяхъ и самослуженіи. Во времена посѣщенія салона Анны Сергѣевны, я конечно очень хорошо понималъ, вмѣстѣ со всѣми благомыслящими русскими людьми, что такое крѣпостное право. И однако я могъ бы построить такое умозаключеніе: мои друзья-пріятели. Оедька и Яковъ проданы, и эту цѣною оплачивается мое воспитаніе; такимъ образомъ создается образованный, гуманный, развитой, либеральный молодой человекъ, который, выйдя на стезю жизни, еще болѣе расширитъ предѣлы образованности, гуманности, развитія и либерализма. Въ этомъ умозаключеніи непріятная сторона моихъ отношеній къ Якову и Оедькѣ не то, что вычеркнута, а проглочена, пройдена съ чрезмѣрною быстротою, сказана скороговоркою въ томъ родѣ, какъ въ извѣстномъ разговорѣ: что твое, то мое, а что мое, то мое. Или еще какъ хохлы говорятъ: або ти, тату, ідь у ліс, а я зостанусь дома, або я, тату, зостанусь дома, а ти ідь у ліс. Очень скоро сказано, такъ что незамѣтно.

Здѣсь позволю себѣ маленькое отступленіе, собственно для того, чтобы привести пояснительный примѣръ скороговорки, вычитанный мною въ томъ же любезномъ открытомъ письмѣ ко мнѣ г. Зауряднаго Читателя. Онъ пишетъ мнѣ, что несомнѣнъ доволенъ статьей г. Михайловскаго «Борьба за индивидуальность». Онъ полагаетъ именно, что ихтиозауры вовсе не представляютъ высшаго типа развитія, сравнительно съ рыбами и ящерами, на которыхъ они распались; что ихтиозауры однаково плохо ворочались и на сушѣ, и въ водѣ, а рыбы и ящерыцы, избравъ себѣ специальную стихію, весьма въ ней сильны. Я думаю, говорить г. Заурядный Читатель, что совокупленіе физическаго и умственнаго труда въ одномъ лицѣ можетъ сдѣлать только то, что лицо это будетъ одинаково плохо въ обоихъ отношеніяхъ. Будущій, говорить, человѣкъ грезится мнѣ въ видѣ «геніальнаго комка нервовъ», окруженнаго машинами. Насчетъ ихтиозауровъ, хорошо ли или дурно они справлялись со стихіями, мнѣ неизвѣстно. Это г. Заурядный Читатель и Михайловскій пусть премень себя рѣшаютъ. Но такъ собственно, не съ научной, а съ житейской и отчасти съ художественной точки зрѣнія, мнѣ ихтиозауры г. Михайловскаго очень поправились. Можетъ быть впрочемъ я ихъ неправильно толкую. Мнѣ народъ, и въ особенности русскій народъ, представляется въ видѣ ихтиозаура, котораго разные проходимцы стараются приурочить къ разнымъ специальнымъ стихіямъ... Это впрочемъ я—такъ, мимоходомъ. А скороговоркой у г. Зауряднаго Читателя сказано слѣдующее: для того, чтобы изъ меня геніальный комокъ нервовъ выработался, нужно кому-нибудь снять съ меня весь физическій трудъ, необходимый въ данную минуту, то-есть нужны Оедьки и Яковы, не крѣпостные, такъ «вольные», но во всякомъ случаѣ приспособленные къ стихіи физическаго труда и превосходно съ ней справляющіеся. Вотъ именно это самое и я когда-то говорилъ скороговоркой: на виду былъ только «геніальный комокъ нервовъ»—чудеснѣйшая вѣдь штука,—а Оедьки и Яковы гдѣ-то въ полумракѣ были. Я не мошенничалъ, не подтасовывалъ, а просто говорилъ скороговоркой, почти без-

сознательно проглатывалъ нѣкоторыя подробности умозаключенія.

И было мнѣ дѣйствительно весело. На меня свободой пахнуло и хорошими, очень хорошими словами. Я много читалъ и приобреталъ свѣдѣнія, но вовсе не тѣ, которыя входили въ программу школы, гдѣ я воспитывался. Школа эта мнѣ стала ненавистна. Я мечталъ быть «вольнымъ» въ томъ, нѣскольکو каламбурномъ смыслѣ, который произвелъ фуроръ въ салонѣ Анны Сергѣевны. Я мечталъ быть адвокатомъ, такъ какъ тогда уже ходили слухи о новомъ судѣ. Не корите меня за это. Тогда ни я и никто вообще не ожидалъ, что цвѣтъ и краса адвокатуры, г. Спасовичъ, будетъ защищать розги и пощечину, какъ педагогическое средство. Напротивъ, около этого времени была напечатана знаменитая статья «Всероссійскія иллюзиі, разрушаемыя розгами», а также былъ ошельмованъ въ печати Миллеръ-Красовскій, предвосхитившій у г. Спасовича защиту пощечины, какъ педагогическаго средства. Никто не ожидалъ также гг. Потѣхина, Языкова и Соколовскаго, а также многихъ другихъ подобныхъ вещей. Поэтому мои мечты объ адвокатурѣ были чисты и законны. Въ нихъ порывъ къ идеалу сказывался, чего разумѣется нельзя будетъ сказать такъ безусловно о теперешнихъ юношахъ, стремящихся въ адвокаты. Теперь идеалъ достаточно опозоренъ и ослепанъ. Впрочемъ мечты объ адвокатствѣ были только мечты, и я ровно ничего не дѣлалъ для ихъ осуществленія. Меня просто тянуло на волю, *dahin, dahin, wo die Zitronen blühen...* Это ужъ тогда такое повѣтріе было, и не одинъ я стремился *dahin*. Въ результатѣ получилась школьная революція, въ которой я принялъ самое дѣятельное, горячее участіе и былъ замѣченъ. Революціи описывать не стану, потому что она ровно ничѣмъ не замѣчательна, кромѣ безпредметнаго молодого задора. Но, въ концѣ-концовъ однако, изъ школы, благодаря этой революціи, было выброшено на улицу человѣкъ тридцать, въ томъ числѣ и я. Впрочемъ, во вниманіе къ личности генерала Темкина, я былъ уволенъ «по прошенію». Бѣдный генералъ подавалъ это прошеніе съ великимъ сердеч-

нымъ сокрушеніемъ. Я не знаю, что онъ говорилъ наединѣ съ генераломъ-начальникомъ, но мнѣ лично не осмѣлился сказать ни одного укорительнаго слова: за меня горой стояла ея превосходительство Анна Сергѣевна. Она вполнѣ сочувствовала и моимъ «благороднымъ порывамъ», и моимъ мечтамъ объ адвокатствѣ. Рѣшено было, что я поступлю въ университетъ. Приходилось однако подождать: университетъ былъ какъ разъ въ это время закрытъ...

Вотъ я—«вольный», обладатель 300 рублей ежегоднаго дохода, то-есть 25-ти рублей въ мѣсяцъ. Сумма! Я живу въ маленькой комнаткѣ съ двумя крошечными окнами, въ мансардѣ, на Васильевскомъ острову. Плачу 8 рублей въ мѣсяцъ. Тутъ же получаю столъ за девять рублей. Прелесть какъ хороша казалась мнѣ эта грязная, темная, душная комната, въ которой я впервые въ жизни могъ дѣлать все, что хотѣлъ! Вотъ я справляю новоселье. У меня въ гостяхъ Анна Сергѣевна (она пришла «благословить меня на свободную трудовую жизнь»), генераль Темкинъ и Башкинъ. Хотѣли еще быть сыновья генерала, да не пришли. Анна Сергѣевна привезла бутылку шампанскаго, дяденька—пастилы и мармеладу, Башкинъ—калачъ. Очень весело; всѣхъ веселѣе конечно мнѣ. Мы хохочемъ и надъ разномастными стаканами и бокалами, которые притащила грязная кухарка Василиса, и надъ Василисой, которая, ослѣпленная педантическимъ зрѣлищемъ генерала, называетъ дяденьку «ваше происхождение», и надъ самимъ его происхождениемъ, и надъ собой. Анна Сергѣевна разливаетъ чай и даетъ мнѣ разные хозяйственные совѣты, въ которыхъ впрочемъ оказывается сама слаба. Василиса бѣжитъ за второй бутылкой шампанскаго. У насъ начинается шумѣть въ головахъ, то-есть у меня и у Анны Сергѣевны: генераль не пьетъ, только пастилу жуетъ, а Башкинъ не пьянѣетъ.

Въ сосѣдней комнатѣ тоже весело. Изъ-за тонкой досчатой перегородки слышнень пьяный говоръ двухъ голосовъ. У насъ все слышно. Изъ разговора видно, что это студенты, которые должны

помнилъ. Какъ будто я гдѣ-то этого человѣка видѣлъ. Анна Сергѣевна прижалась къ генералу; тотъ всталъ и величественно выпятилъ грудь. Табло!

— Гдѣ же генералъ? спросилъ наконецъ пьяный человѣкъ.

— Я, милостивый государь, генералъ — генералъ Темкинъ: что вамъ угодно?

— Ттемкинъ... Ттемкинъ... Темкинъ-Потемкинъ... Въ сараевской гимназіи были? вдругъ быстро спросилъ онъ, глядя въ упоръ на дяденьку.

— Не извольте шутить! грозно началъ тотъ, а я вдругъ вспомнилъ:

— Нибушъ! Нибушъ, это я былъ въ сараевской гимназіи, Григорій Темкинъ, помнишь? родственникъ Владиміра Святого?

Я очень обрадовался Нибушу, обнялъ его, чему онъ не противился, и сталъ рассказывать публикѣ, какъ меня «дразнили» родственникомъ Владиміра Святого. Нибушъ все время молчалъ, тупо поглядывая на всѣхъ и опираясь на мое плечо. Онъ сильно пошатывался.

— Значить, отвергаешь? спросилъ онъ, уразумѣвъ изъ моего тона, что я ужъ не горжусь родствомъ съ Владиміромъ Святымъ. От-вергай, а все-таки фактич-ски, понимаешь, фактич-ски, ты, все-таки — родственникъ... А я — семибатьковичъ, обернулся онъ неожиданнъ къ дяденькѣ: — семибатьковичъ, ваше происхожденіе... семь батекъ... незаконный, значитъ. Ну прощай, генералъ... Я т-тебя тоже от-вергаю...

И, хлопнувъ дяденьку-генерала по плечу, Нибушъ быстро повернулся и ушелъ. Вслѣдъ затѣмъ явилась Василиса съ страннѣйшими извиненіями передъ «его происхожденіемъ» и предо мной. Эпизодъ этотъ нѣсколько разстроилъ наше веселье, и гости тотчасъ же ушли. Я завалился спать и спалъ, какъ убитый. Когда я на другой день справился о Нибунгѣ, его уже не было: онъ уѣхалъ...

Сталъ я такимъ образомъ жить да поживать на вольной волѣ. Дѣлать я собственно ничего не дѣлалъ. потому что универ-

ситеть былъ закрытъ. И братъ, и Яковъ совѣмъ скрылись въ туманѣ; я ихъ даже рѣдко вспоминалъ. Съ Темкиными я тоже разошелся, вотъ по какому случаю. Шатаюсь отъ бездѣлья по разнымъ мѣстамъ, я столкнулся съ дѣвушкой, которую... не знаю впрочемъ, любилъ ли я ее когда-нибудь, но она меня кажется нѣкоторое время любила. Во всякомъ случаѣ ходила ко мнѣ. Поводилась ко мнѣ тоже ходить Анна Сергѣевна; приходила одна и садилась ближе прежняго и держала мои руки въ своихъ дольше, чѣмъ когда нибудь... Я чувствовалъ, что мои тогда еще красныя щеки играютъ тутъ значительную роль и вспоминалъ слова Башкиша: *madame Messalina Rekamé*. Но эти мысли я старался гнать отъ себя. Разъ Анна Сергѣевна застала у меня рано утромъ дѣвушку. Произошелъ скандалъ, какого я и не ожидалъ отъ благовоспитанной дамы. Она была точно *фурія*, меня назвала «развратнымъ мальчишкой» и негодяемъ, а дѣвушку обругала самымъ площаднымъ словомъ. Съ тѣхъ поръ наше знакомство кончилось... Жилъ я, стыдно сказать, какъ дрянно и пусто, хотя продолжалъ считать себя прекраснымъ и очень либеральнымъ молодымъ человѣкомъ. Бездѣлье, кутежи — подобрались соответственные пріятели — мерзость однимъ словомъ, такая мерзость, что противно и не стоитъ рассказывать. Но одну подробность я чувствую потребность рассказать. Ежемѣсячно являлся ко мнѣ лакей отъ Темкиныхъ, вручалъ мои двадцать пять рублей и бралъ росписку. Капиталъ этотъ немедленно проѣдался и пропивался съ Наташей (такъ звали мою дѣвушку) и пріятелями, а остальное время до слѣдующаго перваго числа жилось отчасти въ долгъ, отчасти чортъ знаетъ какъ, вообще—впроголодь. Въ одну изъ подобныхъ проголодей Наташа принесла десятокъ соленыхъ огурцовъ, десятокъ печеныхъ яицъ и кусокъ ситнаго хлѣба... Правда, я былъ страшно голоденъ, но вѣдь я зналъ, какую цѣной Наташа купила эти огурцы и яйца... Зналъ и ѣлъ, и съ пріятелями дѣлился, и тѣ ѣли, и не становились у насъ поперегъ горла эти соленые огурцы и печеныя яйца... Мало того: мы были увѣ-

рены, что изъ насъ выйдуть «геніальные комки нервовъ». Это—ужь верхъ мерзости...

Всѣ эти мерзости кончились съ прїѣздомъ Соши. Съ появленіемъ этого свѣтлаго созданія, начинается настоящая красота, сперва съ нѣскольکو комическимъ оттѣнкомъ, а потомъ — трагическая...

III.

Мимо, мимо всѣ мои безобразія... Какъ я, достигнувъ совершеннolѣтія, вытребовалъ у дяденьки-генерала свои пять тысячъ, эту — что одно время было для меня вполне ясно — цѣну крови Якова и Оедьки; какъ я эту цѣну крови меньше, чѣмъ въ годъ, разбросалъ безпутно, неумѣло, даже почти безъ удовольствія для себя... Все это — мимо. Не потому чтобы я хотѣлъ скрывать что-нибудь, а просто потому, что все это было слишкомъ ужь какъ-то ординарно и развѣ только вотъ въ какомъ смыслѣ оригинально: все это время, какъ я проматывалъ деньги, какихъ у меня съ тѣхъ поръ въ рукахъ не бывало да и не будетъ, я жилъ въ той же душной и темной канурѣ на Васильевскомъ Островѣ и образа жизни собственно не мѣнялъ. Какъ это я ухитрился — ужь не знаю...

Разъ я сидѣлъ и пересчитывалъ остатки своего богатства. Насчиталъ, какъ теперь помню, четыреста тридцать три рубля бумажками, да шесть штукъ золотыхъ. Въ первый разъ, кажется я призадумался падъ необыкновенно быстрымъ исчезновеніемъ денегъ. (Помѣщеніе ихъ въ какое-нибудь финансовое учрежденіе даже ни разу не приходило мнѣ въ голову). Определенныхъ впрочемъ какихъ-нибудь соображеній о ближайшемъ будущемъ все-таки не было, а такъ — просто раздумье нашло. Дѣло вечеромъ было. Я сидѣлъ у стола, на которомъ горѣла лампа. Вдругъ слышу въ корридорѣ какой-то старчески пискливый голосъ: «Григорій Александровичъ, господинъ Темкинъ здѣсь квартируетъ?» А черезъ нѣскольکو секундъ вошелъ и обладатель пискливаго голоса. Съ разу я его не разглядѣлъ. Увидѣлъ только какую-то странную, длинную хламиду въ родѣ шинели,

да бурую цилиндрическую шляпу, которую гость держалъ въ рукѣ. Онъ робко, застѣнчиво повторилъ свой вопросъ: здѣсь-ли «квартируетъ Григорій Александровичъ господинъ Темкинъ». И тутъ я его призналъ: это былъ дяденька-нѣмецъ. Онъ сильно похудѣлъ, но вовсе почти не постарѣлъ, да и мудрено ужъ ему впрочемъ было старѣть. Обрадовался я ему очень, но онъ былъ почему-то смущенъ и, назвавъ меня сначала Гришей, тотчасъ поправился и сталъ величать по отчеству. Когда мы поздоровались, дяденька сбросилъ хламиду и очутился въ сильно потертомъ, но очевидно тщательно вычищенномъ сюртукѣ съ длиннѣйшею таліей. Сѣвъ на стулъ, онъ оглядѣлъ комнату и, наткнувшись взглядомъ на лежавшіе на столѣ остатки моего богатства, вдругъ опустилъ глаза, какъ-то безпомощно положилъ обѣ руки на колѣна и прерывающимся голосомъ произнесъ свою поговорку: «Тутъ вотъ теперича всегда вотъ такъ!» Попугай такъ иногда произносятъ заученную фразу — грустно и не кстати. Я видѣлъ, какъ слезы закапали на бѣлоснѣжную манишку дяденьки. Пошли тары да бары, разспросы да рассказы. Оказалось, что дяденька-нѣмецъ прожилъ все время со смерти отца («моего великодушнаго и благороднаго покровителя», выразился дяденька) въ Митавѣ, очень бѣдствовалъ, тѣмъ болѣе, что не могъ отстать отъ своей страсти къ археологическому хламу, и теперь пріѣхалъ въ Петербургъ съ цѣлью открыть магазинъ древностей и рѣдкостей.

— Мнѣ совѣтовали продать мои коллекціи, говорилъ дяденька-нѣмецъ, и покупщики были: но вы понимаете, Григорій Александровичъ, что мнѣ это очень трудно... продать... Столько лѣтъ собиралъ и теперича тутъ вотъ всегда...

— Да вѣдь послушайте, дяденька, вѣдь если магазинъ откроете, такъ все равно продавать будете.

— Да и покупать...

— Ну, да, продавать и покупать?

— Да, да, и покупать...

Такъ я и отсталъ. Ясно было, что дяденька упорно хотѣлъ видѣть только одну сторону задуманнаго предпріятія: покупку

археологическаго хлама и слѣдовательно расширеніе своей коллекціи, а отъ продажи всячески отворачивался. Дѣлалъ онъ это до трогательности наивно, что часто бываетъ съ мономанами. Съ такою же наивностью дяденька объяснилъ мнѣ, что рассчитываетъ на мою помощь, ибо видитъ во мнѣ сына своего великодушнаго и благороднаго покровителя. «Мнѣ только на первое обзаведеніе, говорилъ онъ: — я скоро поправлюсь и возвращу... еслибы можно было рублей триста... немпожко у меня самого есть. Извините меня, Григорій Александровичъ, но въ память Александра Петровича, вотъ тутъ теперича всегда такъ...» Я немедленно и съ полнѣйшей готовностью удовлетворилъ желаніе этого стараго ребенка, который очевидно не имѣлъ ни малѣйшаго понятія объ моихъ денежныхъ дѣлахъ и о моемъ положеніи вообще. Дяденька тотчасъ же сталъ веселъ, разговорчивъ, особенно, когда на столѣ заиниѣлъ и забурился на разные лады пузатый хозяйскій самоваръ—дяденька всегда очень любилъ чай. Онъ оказался до такой степени переполненнымъ своимъ проектомъ, что ни о чемъ, кромѣ него и связанныхъ съ нимъ вещей, говорить не могъ. Онъ ужаснулся моей ссорѣ съ дяденькой-генераломъ, котораго объявилъ тоже «великодушнымъ и благороднымъ»; но, къ большому моему удовольствію, о подробностяхъ и причинахъ распри даже не спросилъ. Зато съ величайшимъ одушевленіемъ сообщилъ, что уже высмотрѣлъ на Гороховой подходящій для него магазинъ. Съ еще большимъ одушевленіемъ разсказалъ о знакомствѣ, которое онъ успѣлъ свести въ Петербургѣ. Знакомый былъ сосѣдъ дяденьки по мебелированнымъ комнатамъ гдѣ-то на Лиговкѣ. Онъ служилъ нѣсколько времени въ бибиковской ревизіонной комиссіи, учрежденной въ прошлое царствованіе для повѣрки дворянскихъ правъ въ юго-западныхъ губерніяхъ, и привлекъ къ себѣ сердце дяденьки разсказами объ этой комиссіи. «65,000 фальшивыхъ дворянъ открыли! передавалъ дяденька, чрезвычайно волнуясь, поднимая голосъ до высочайшаго фальцета и обдавая меня брызгами слюней. — 65,000! И какой государственный мужъ былъ генералъ Бибиковъ! Онъ сказалъ кіевскимъ помѣщикамъ: отиинѣ,

говорить, каждый изъ насъ будетъ навѣрное всегда тутъ вотъ теперича знать, что подаетъ руку благородному дворянину!» — Бѣдный, самоотверженный дяденька-нѣмецъ! Онъ такъ искренно радовался тому, что ему не подаетъ руки чистокровный благородный человѣкъ...

Скоро на Гороховой объявился новый магазинъ съ вивѣской: «К. К. Фишеръ. Покупка и продажа древностей и рѣдкостей. «An-und Verkauf von Antiken». — Дяденька отпраздновалъ новоселье, па которомъ впрочемъ, кромѣ хозяина, присутствовали только я и старичекъ, служившій въ бибииковской комиссиі—старичокъ, ничѣмъ рѣшительно незамѣчательный. Дяденька угощалъ насъ чаемъ, бутербродами съ кнакъ-вурстомъ и какимъ-то совершенно невѣроятнымъ шищучимъ напиткомъ, съ этикетомъ на бутылкѣ: «Non pareil», Дяденька утверждалъ впрочемъ, что это—шампанское. Онъ былъ счастливъ, какъ ребенокъ, которому подарили очень занятную игрушку. Еслибы я не видѣлъ своими глазами, я никогда не повѣрилъ бы, что человѣческое лицо можетъ вмѣстить столько блаженнаго умиленія, сколько его сосредоточилось въ физиономіи дяденьки-нѣмца, когда онъ расхаживалъ по своимъ новымъ владѣніямъ и безъ нужды отпиралъ и запиралъ витрины, заключавшія его сокровища. Онъ не ходилъ, а какъ бы танцевалъ какой-то торжественно-побѣдительный танецъ, высоко взбрасывая вывернутыми въ стороны ногами. Онъ не говорилъ, а такъ сказать вѣщалъ исторію каждой своей хламинки, если можно сдѣлать такое существительное. Бесѣдовали мы въ задней комнатѣ магазина, которую дяденька называлъ кладовою, и гдѣ совмѣщались, кромѣ хлама, спальня и столовая. Не успѣли мы еще выпить бутылку Non pareil и дослушать рассказъ дяденьки о голенищѣ Святополка Окаяннаго или о чемъ-то въ этомъ родѣ, какъ въ передней комнатѣ, въ «магазинѣ», послышался звонокъ. «Покупатель! практика!» перешепнулись мы съ нѣкоторымъ даже волненіемъ. Дяденька торпливо обдернулъ сюртучекъ, пригладилъ височки и вышелъ въ магазинъ. Мы съ бибииковскимъ старичкомъ съ любопытствомъ смотрѣли въ полуотворенную дверь: что будетъ? Вошла не ста-

рая, но очень худая и болѣзненная дама въ траурѣ, а слѣдомъ за ней какой-то мальчѣ изъ породы петербургскихъ младшихъ дворниковъ внесъ довольно большую корзинку, въ какихъ бѣлье носятъ. Мальчѣ поставилъ корзину на прилавокъ, снялъ шапку и встряхнулъ волосами. Дама торопливо зарылась въ карманѣ. Дяденька спросилъ, что ей угодно. «Сейчасъ, сейчасъ, отвѣчала она, вы вѣдь торгуете рѣдкостями?.. Я сейчасъ...» Она еще больше заторопилась, вытащила изъ кармана нѣсколько мѣдюжковъ, разроняла ихъ по полу, покрасилъ, стала собирать... Наконецъ мѣдюжки были вручены малому и онъ ушелъ.

— Вотъ, я хочу продать—не купите ли? заговорила дама, немѣло развязывая корзину и вынимая изъ нея различные, завернутые въ бумагу и переложенные соломой предметы. На прилавкѣ появились штука за штукой пять или шесть стклянокъ съ заспиртованными зародышами человѣка и какихъ-то животныхъ, маленькій мѣдный сосудъ странной и не русской формы, коробочка со старыми монетами, безобразная китайская фигура изъ зеленого камня, большой мѣдный осьмиконечный крестъ съ финифтью и наконецъ еще какой-то большой предметъ, который я сначала не могъ разглядѣть, но который привлекъ къ себѣ все вниманіе дяденьки: какой-то неровный широкій металлическій обручъ. Дяденька отобралъ въ сторону этотъ обручъ, нѣсколько монетъ, мѣдный сосудъ и спросилъ, что это все будетъ стоить. «А этого мнѣ вотъ тутъ не надо», прибавилъ онъ, презрительно отодвигая рукой стклянки съ зародышами и прочее. — «Ахъ, нѣтъ, пожалуйста, тоскливо заговорила дама:—пожалуйста, все вмѣстѣ... куда-жѣ я дѣну? Я вамъ еще хотѣла принести, у меня мужъ собиралъ, да я не знаю... Вѣдь, вы все равно продадите». Дяденька подумалъ и согласился. Сторговались они очень быстро на восемнадцати рубляхъ, и кромѣ того дяденька записалъ адресъ дамы, чтобы посмотрѣть у нея на дому остатки коллекціи ея мужа. Дяденька съ сіяющимъ лицомъ поднесъ намъ вещь, показавшуюся мнѣ издали желѣзнымъ обручемъ: это былъ обломокъ плема.

— Двѣнадцатаго вѣка, какъ дважды два, пицалъ онъ на са-

мый побѣдоносный манеръ:—а можетъ быть и одиннадцатаго... варяжскій... видите, крылатые звѣри вычеканены... видите дырья: это—мѣста для глазъ въ забралѣ... Эхъ!.. вотъ кабы тутъ еще кусочекъ не обломался... Можетъ быть, кто-нибудь изъ вашихъ предковъ тутъ вотъ теперича всегда носилъ, Григорій Александровичъ... Ну-ка, я примѣрю...

И съ видомъ человѣка, вѣщающаго кого-нибудь лаврами за услуги отечеству, дяденька-гѣмецъ сталъ мнѣ надѣвать на голову обломокъ шишака. Но голова моя вся ушла въ этотъ желѣзный обручъ, такъ что онъ очутился на плечахъ.

— Хе-хе-хе, весело залился дяденька:—головы тогда больше были... теперь умнѣе, поснѣшили онъ меня успокоить:—всегда вотъ тутъ умнѣе, и образованиѣе... Ну, а тогда... хе-хе-хе... тогда больше, богатыри вотъ тутъ были...

— Тяжела ты шапка Мономаха! вставилъ неизвѣстно въ какомъ смыслѣ бибиковскій старичекъ и тоже весело разсмѣялся раскатистымъ старческимъ смѣхомъ.

— А можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ Мономаха? блеснула у дяденьки веселая идея, которую онъ однако развить не успѣлъ, потому что въ магазинѣ опять раздался звонокъ. Дяденька пошелъ, какъ былъ, съ знаменитымъ варяжскимъ племемъ въ рукѣ. Мы съ бибиковскимъ старичкомъ опять припали къ полуотворенной двери. И представьте себѣ мое удивленіе, когда я узналъ въ посѣтителѣ Башкина. Онъ былъ такъ же красивъ, какъ и прежде, и та же лѣнивая, насмѣшливая полуулыбка бѣгала подъ его неширокими черными усами. Я уже его давно не видалъ, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ окончательно пересталъ бывать у дяденьки-генерала. Я ему даже какъ будто обрадовался, но подойти почему то и не думалъ. Башкинъ съ обыкновенной своей вѣжливо-насмѣшливой манерой поздравилъ дяденьку съ повосельемъ. И когда тотъ разинулъ ротъ отъ недоумѣнія, онъ пояснилъ, что знаетъ всѣ антикварскія лавки въ Петербургѣ, и если дескать не зналъ дяденькина магазина, такъ значить онъ открылся недавно.

— Сегодня вотъ тутъ, — отвѣчалъ дяденька, видимо смущенный изяществомъ наружности, манеръ и рѣчи посетителя.

— Ну вотъ; значить я — какъ разъ на новоселье. Нѣтъ ли у васъ чего-нибудь изъ Помпей?.. Помпейскихъ древностей? пояснилъ Башкинъ, видя дяденькино недоумѣніе. Надо сказать, что дяденька сунулся въ воду антикварской торговли, не спросясь броду: онъ зналъ толкъ только въ рыцарскихъ нѣмецкихъ и русскихъ древностяхъ, а о Помпѣѣ можетъ быть и не слышивалъ.

— Нѣтъ? продолжалъ Башкинъ. — Жаль. А фарфора стараго? Оказалось, что и фарфора нѣтъ. Башкинъ пообѣщавъ зайти въ другой разъ и попросилъ имѣть его въ виду, если дяденькѣ навернется что-нибудь подходящее. Передъ самымъ уходомъ онъ спросилъ, что такое держитъ дяденька въ рукахъ. Тотъ пустился съ увлеченіемъ объяснять многоразличныя достоинства варяжскаго плема, что повидимому очень мало интересовало Башкина. По крайней мѣрѣ онъ кажется просто для того, чтобы сказать что-нибудь и благовидно прекратить болтовню старика, перебилъ его вопросомъ: и что же эта вещь можетъ стоить? Дяденьку этотъ вопросъ очевидно засталъ врасплохъ, потому что онъ далеко еще не вошелъ въ роль торговца. Онъ расписывалъ достоинства варяжскаго плема, какъ любитель, а совѣмъ не какъ купецъ, который желаетъ товаръ лицомъ показать. Поэтому онъ даже какъ-будто въ лицѣ перемѣнился, услышавъ вопросъ Башкина, и нѣсколько секундъ молчалъ. — Восемь... загнулся онъ наконецъ, и вдругъ рѣшительно и быстро добавилъ: — восемьдесятъ пять рублей. При этомъ онъ почти выдернулъ племъ изъ рукъ Башкина и ревниво прижалъ его къ своей бѣлоснѣжной манишкѣ. Башкинъ посмотрѣлъ на него съ насмѣшливымъ любопытствомъ, молча раскланялся и ушелъ.

Кнакъ-вурстъ былъ съѣденъ, Non pareil выпить, ставни магазина заперты, библиковскій старичекъ зѣвалъ самымъ заразительнымъ образомъ, я тоже аппетитно потягивался, раздумывая, какъ непріятно будетъ тащиться на Васильевскій Островъ, но зато какъ славно будетъ завалиться сегодня пораньше спать. Дяденька

правда не уставалъ поситъся въ эмпирияхъ, но расходиться было все-таки пора. Разошлись. Не пришлось мнѣ однако въ эту почъ завалиться пораньше. Напротивъ, я ее совсѣмъ безъ сна провелъ...

— Гдѣ ты, полуночникъ, шляешься? сердито-ласково, какъ и всегда, встрѣтила меня патріархальная Василдса, одной рукой цѣломудренно придерживая рубашку, слѣзавшую съ ея плечъ, а въ другой держа пальмовую свѣчку въ мѣдномъ подевѣчникѣ.— Право, полуночникъ. Иди скорѣе, тебя тамъ барышня сколько времени дожидается.

— Какая барышня?

— Извѣстно какая, настоящая; сестрица, говоритъ, твоя. Не тебѣ бы, полуночнику, этакую сестрицу...

Но я уже не слышалъ воркотни Василдсы, въ нѣсколько прыжковъ очутился въ своей комнатѣ и, черезъ какія-нибудь двѣ секунды, обнималъ свою Сою. Да, меня ждала Сося...

Тутъ-то вотъ и начинается нѣчто, совершенно къ моимъ силамъ не подходящее. Какъ я вамъ опишу Сою, когда это—сама красота? я разумѣю душевную красоту, хотя Сося и собой хороша была. Заставляя теперь проходить передъ собой исторію этой чудной дѣвушки, перебирая памятью безчисленное множество ея крупныхъ и мелкихъ эпизодовъ, я чувствую съ болѣзненной ясностью, что всѣ слова, какія я могъ бы написать для изображенія ея, либо пошлы, либо ходульны. Нѣтъ словъ... Конечно еслибы я былъ большой художникъ, слова нашлись бы, и я заставилъ бы васъ, какъ выражается Достоевскій, «молитвенно и колѣнопреклоненно» отнестись къ моей Соѣ. Но я—не только не большой художникъ, а даже ни самомагнѣйшей претензіи на художественность не имѣю и потому просто боюсь испортить дѣло своимъ грубымъ перомъ, боюсь, что не сумѣю сказать правду, а или какъ-нибудь урѣжу ее, или расцвѣчу аляповато. Какъ могла уродиться такая красота среди повидимому совсѣмъ не подходящихъ условій—я не знаю. Готовъ бы былъ даже прямо назвать ее уродомъ, выродкомъ, еслибы не имѣлъ счастья встрѣчать въ жизни и другихъ людей, правда

очень немногихъ. въ которыхъ находилъ то слабое, а то и очень сильное выраженіе той же самой красоты. Моя задача—изображеніе Сони—съ перваго же ея появленія передъ вами усложняется тѣмъ, что я засталъ ее у себя въ комнатѣ не одну. И этотъ другой, съ кѣмъ она сидѣла, дожидаясь меня, былъ, если хотите, тоже уродъ: онъ былъ гений...

Послѣ первыхъ объятій, прерываемыхъ совѣтъ безмысленными восклицаніями сквозь слезы радости, Соня показала мнѣ на какого-то молодого человѣка, совершенно мнѣ незнакомаго. Онъ смущенно стоялъ у стола, опершись на него одной рукой, а другую заложилъ за спину. Неловкая, какая-то двойственная, не то сочувственная, не то горькая, не то конфузная улыбка некрасиво кривила его ротъ. Несмотря на то, что я въ эту минуту былъ меньше всего способенъ наблюдать, мнѣ показалось, что онъ не просто сконфуженъ, а больше чѣмъ сконфуженъ. Я угадалъ, какъ потомъ оказалось.

— Вотъ, Гриша, я безъ тебя знакомство ужъ свела. Вотъ... а какъ же васъ зовутъ? весело обратилась Соня къ молодому человѣку. Контрастъ этого вопроса съ тономъ, предполагавшимъ какъ бы очень близкое знакомство, выходилъ очень забавенъ. Мы всѣ трое невольно расхохотались и затѣмъ взаимно отрекомендовались. Молодого человѣка звали Дмитрій Николаевичъ Бухарцовъ. Онъ только третьяго дня поселился въ сосѣдней со мной комнатѣ. Наканунѣ утромъ я слышалъ, какъ онъ посылалъ Василису въ лавочку.

— Вотъ вамъ пять копѣекъ, Василиса,—говорилъ мой, тогда еще незнакомый мнѣ сосѣдъ:—вотъ вамъ пять копѣекъ; вы на три копѣйки купите сливокъ, а на остальное, понимаете? на все остальное, до послѣдней копѣйки, самыхъ сахарныхъ сухарей...

— На остальное! Много тутъ остального. Сахарныхъ-то всего четыре штуки дадутъ, возражала Василиса, заливаясь смѣхомъ.

— Ахъ, Василиса, Василиса,—продолжалъ дурачиться сосѣдъ:—такой вы чудесный экземпляръ человѣческой породы, а надъ бѣднымъ человѣкомъ смѣтесъ: бѣдному человѣку четыре сухаря какъ разъ..

Такъ вотъ съ этимъ-то чудачкомъ Соня и успѣла, дожидаясь меня, свести знакомство. А это страшное быть можетъ для васъ обстоятельство (странное впрочемъ для того только, кто не живалъ и не бывалъ въ небогатыхъ петербургскихъ меблированныхъ комнатахъ лѣтъ десять-пятнадцать тому назадъ) налагаетъ на меня тяжелую обязанность представить вамъ сразу двухъ человѣкъ, изъ которыхъ каждый требуетъ пера поискусиѣ моего. Начну съ Бухарпова. Впервыхъ это много легче; вовторыхъ Бухарцовъ мелькнулъ передо мной, какъ метеоръ, какъ онъ блестящій, какъ онъ скоропреходящій, какъ онъ особенный, точно неимѣющій никакой связи съ другими явленіями природы. Въ самомъ дѣлѣ Бухарцовъ стоитъ совсѣмъ особнякомъ въ моихъ воспоминаніяхъ. Встрѣчу съ нимъ я могу выдѣлить, какъ законченный эпизодъ, законченный—смертью, значить невозвратно, безнадежно законченный...

Представьте себѣ молодого человѣка, лѣтъ двадцати четырьхъ-пяти, средняго роста, очень худого, чуть-чуть сутулаго, съ узкими и низенькими плечами, съ волосами сѣро-пепельнаго цвѣта, жидкими и мягкими, такого же цвѣта маленькими усами и едва пробивающейся бороденкой, длиннымъ носомъ и неопредѣленнымъ цвѣтомъ лица. Черты, какъ видите, все очень незамѣчательныя. Вы такихъ людей сотни конечно видали. Но можетъ быть вы не видали такихъ глазъ и такой верхней губы, какъ у Бухарцова. Глаза у него были голубые и поражали по временамъ необыкновенною живостью и блескомъ, а по временамъ такую упорную сосредоточенностью, что она казалась почти тупостью. Верхняя губа тоже была характерная: средій выгибъ ея выдавался треугольникомъ, который крѣпко, точно замкомъ заpirалъ, ложился на нижнюю губу. Простите эти мелочи. Это я себя тѣшу, очень хорошо понимая, что не даю вамъ ни малѣйшаго понятія о физиономіи Бухарцова. Кто его зналъ впрочемъ, тотъ вѣрно вспомнить. Одѣвался онъ ни на что не похоже. Все время, что я его зналъ, онъ лѣто и зиму носилъ одну и ту же трепанную и засаленную шотландскую шапочку безъ под-

*

кладки и клѣтчатый, черный съ зеленымъ, пледъ. Узенькїи, черный галстухъ вѣчно совершалъ кругошейное путешествіе, такъ что бантъ торчалъ то на правой сторонѣ, то на лѣвой, а то и на затылкѣ. Откуда онъ бралъ платье—Богъ его знаетъ, но только оно всегда сидѣло на немъ мѣшкомъ, чѣмъ онъ ни мало не смущался. Помню, разъ онъ получилъ уроки въ какомъ-то аристократическомъ домѣ, которыми онъ по разнымъ стороннимъ соображеніямъ дорожилъ. Представляться надо было во фракѣ. Опъ досталъ фракъ у какого-то знакомаго гораздо выше и шире его. Но Бухарцовъ совершенно искренно вѣрилъ, что опъ вполне элегантенъ въ своихъ обыкновенныхъ, какихъ-то муруго-пѣгихъ панталонахъ и въ этомъ чужомъ фракѣ, который сидѣлъ на немъ, какъ на вѣшалкѣ. Мимоходомъ сказать, уроковъ этихъ опъ далъ всего кажется два—не поладилъ.

Прошлое Бухарцова мнѣ мало извѣстно. Знаю, что онъ воспитывался въ одномъ изъ самыхъ привилегированныхъ петербургскихъ учебныхъ заведеній, кончилъ тамъ курсъ, но науки тамошней не взлюбилъ и уѣхалъ тотчасъ же по выходѣ за границу, гдѣ три или четыре года занимался естественными науками. Вернулся опъ въ Россію ученымъ въ полномъ и лучшемъ смыслѣ этого слова. Вы пожалуй этому не повѣрите; но дѣло въ томъ, что способностей опъ былъ по истинѣ громадныхъ. Никогда не встрѣчалъ я такой силы анализа, такой способности къ обобщенію, такого быстрого усвоенія фактическаго матеріала, такой неустанной, почти лихорадочной работы мысли. Пишу вполне трезво и сознательно: Бухарцовъ былъ геніальный умъ. Что же касается до его учености, то тутъ я—плохой конечно судья, но за то имѣю факты. Бухарцовъ самостоятельно работалъ на берегу Средиземнаго моря надъ мелкими морскими животными. Этого рода изслѣдованія, какъ извѣстно, въ послѣднее время сильно подвинули науку впередъ и прославили нѣсколько именъ. Въ числѣ ихъ Бухарцовъ занималъ бы одно изъ первыхъ мѣстъ, еслибы смерть не подкосила его такъ безжалостно рано. Опъ вывезъ множество наблюденій и весь этотъ матеріалъ предполагалъ обработать въ Россіи по готовому уже, совершенно опре-

дѣленному плану. Но напечатать онъ успѣлъ только одну свою и то небольшую работу. Вы можете ее найти въ бюллетеняхъ петербургской академіи наукъ. У меня до сихъ поръ хранится подаренный мнѣ Бухарцовымъ отпечатокъ этой статьи на нѣмецкомъ языкѣ (бюллетени нашей академіи по-русски не издаются) съ собственноручной его поправкой. Въ началѣ статьи говорится, что авторъ успѣлъ обработать только часть своего матеріала wegen Zeit-und Geld-Mangel, то-есть по недостатку времени и *deneg*. Академія вычеркнула недостатокъ денегъ, ибо русскому ученому этимъ страдать не полагается... Не могу судить, какое именно значеніе имѣеть для науки эта единственная напечатанная ученая работа Бухарцова, но знаю, что на нее довольно часто ссылаются очень высокіе европейскіе авторитеты. Еще недавно прочелъ я въ книгѣ одного такого авторитета слѣдующее: «Изслѣдованіями Фрица Мюллера, Бухарцова и Геккеля обнаружено» и т. д. Но эта работа составляла какую-нибудь сотую, и того меньше, долю того, что хотѣлъ и имѣлъ сказать по своей специальности Бухарцовъ. По безобразной волѣ судьбы, онъ умеръ при такихъ странныхъ и до сихъ поръ не вполнѣ для меня ясныхъ условіяхъ, что вмѣстѣ съ нимъ погибли и заготовленные имъ матеріалы и вещи, болѣе или менѣе обработанныя...

Какой свѣтильникъ разума погасъ,
Какое сердце биться перестало!

Да, и сердце перестало биться великое. Свойственной спеціалистамъ черствости и узкости въ Бухарцовѣ не было и слѣда. Совсѣмъ напротивъ. Помню, былъ въ университетѣ диспутъ по предмету, близко Бухарцову знакомому. Послѣ официальныхъ оппонентовъ выступилъ и онъ. Съ магистрантомъ онъ былъ знакомъ, даже кажется гдѣ-то за-границей они вмѣстѣ работали. Онъ началъ такъ: «Ну-съ, г. N, теперь позвольте и мнѣ сказать нѣсколько словъ. У насъ совсѣмъ другой разговоръ пойдетъ, потому что мы съ вами по крайней мѣрѣ литературу своего предмета знаемъ». Официальные оппоненты, кто

переглянувся, кто презрительно усміхнувся, выслушавъ эту дерзость безбородаго юноши. А Бухарцовъ, сдѣлавъ два три спеціальныя замѣчанія, объявилъ, что не объ этихъ частныхъ ошибкахъ и упущеніяхъ диссертации, равно какъ и не о несомнѣнныхъ достоинствахъ ея, намѣренъ онъ говорить. «Науки, продолжалъ онъ: — въ Россіи еще не было и вѣтъ въ настоящее время. Съ извѣстной точки зрѣнія, бѣда эта еще не большая, такъ какъ вопросъ не въ томъ: есть ли въ странѣ каста ученыхъ, подобострастно преклоняющихся предъ общественнымъ мнѣніемъ и запродающихъ выводы свои за опредѣленную степень благосостоянія, спокойствія и за право безнаказанно знать и понимать многое, нисколько не обязываясь въ тоже время проводить свои убѣжденія въ жизнь? но—существуютъ ли ученые въ настоящемъ смыслѣ слова, т. е. общественные дѣятели, почерпающіе изъ предмета своихъ занятій какіе-нибудь практическіе выводы, отдающіе свою жизнь наукѣ не изъ видовъ личнаго обезпеченія, но занимающіеся ею только потому, что признаютъ въ ней двигательную силу къ достиженію человѣческаго идеала—разрѣшенію общественныхъ вопросовъ?». И т. д., и т. д. Бухарцовъ былъ человѣкъ веселый, любилъ шутить, болтать всякій вздоръ, но въ серьезныхъ случаяхъ онъ говорилъ именно такъ, какъ я представилъ: нѣсколько книжно, длиннѣйшими періодами и чрезвычайно быстро, торопливо глотая слоги и цѣлыя слова. Разговорнаго такта онъ впрочемъ не имѣлъ ни на грошъ, никогда не сообразовался ни съ мѣстомъ, гдѣ онъ говоритъ, ни съ свойствами лицъ, его слушающихъ. Сплошь и рядомъ обливалъ онъ напримѣръ меня каскадомъ такихъ спеціальностей, которыхъ я совершенно не понималъ и которыми ни малѣйше не интересовался. Остановить же его, разъ онъ былъ въ ударѣ, не было возможности: «послушайте, да вѣдь это такъ просто» и пойдетъ, и пойдетъ опять. Насколько умѣстно было начало его рѣчи на университетскомъ диспутѣ — судите ужъ сами. Предсѣдатель и магистрантъ не нашли его умѣстнымъ, и Бухарцовъ долженъ былъ наконецъ замолчать, не безъ борьбы однако. Было конечно дерзко говорить такую рѣчь въ

совмѣ патентованныхъ ученыхъ. Но вопервыхъ Бухарцовъ крѣпко вѣрилъ въ то, что говорилъ, а вовторыхъ дерзость была вообще въ его характерѣ. Не та дерзость, которая раздражается ругательствами. Нѣтъ, онъ крѣпкихъ словъ вообще не любилъ, а циническая брань даже ни разу не осквернила его усть. Мимоходомъ сказать, онъ и вина не пилъ. Только подъ самый конецъ полюбилъ онъ глинтвейнъ и ликеры и очень этимъ тѣшился. Помню, придетъ мы бывало обѣдать въ греческую кухмистерскую или въ средней руки трактиръ, и Бухарцовъ, заказывая обѣдъ, заранѣе прибавляетъ: «а послѣ обѣды рюмочку ликеру»—какого, ему было все равно, было бы сладко. Такъ дерзокъ, говорю, онъ былъ ужасно, и что особенно замѣчательно въ такомъ слабосильномъ и нервномъ человѣкѣ, онъ и физическою храбростью обладалъ тоже до степени дерзости. Очевидецъ рассказывалъ мнѣ, какъ однажды, гдѣ-то за границей, Бухарцовъ разсвирѣпѣлъ на кучера, который ударилъ бичомъ прохожаго: въ одну секунду Бухарцовъ былъ на козлахъ, пара лошадей остановлена, и кучерь просилъ прощенія. И не самъ былъ свидѣтелемъ одного такого его столкновенія съ буйнымъ, огромнымъ и сильнымъ человѣкомъ, причемъ восторжествовалъ Бухарцовъ. Въ другой разъ, онъ совершенно серьезно предлагалъ дуэль «на ножахъ въ темной комнатѣ». Понятно, что враговъ у него было много (были даже такіе, которые серьезно увѣряли, что онъ глупъ), но за то много было и друзей. Я признаться не понималъ, какъ можно было не любить эту чистую и изумительно богатую натуру, эту дѣтски наивную душу. Правда, жить съ нимъ постоянно въ мирѣ не было никакой возможности. Мнѣ тоже случилось съ нимъ разъ поссориться, но ссора вышла на перепиСКѣ, а нѣсколько минутъ личнаго свиданія и прямого разговора сразу все уладили.

Что касается существа рѣчи, полу-сказанной Бухарцовымъ на диспутѣ, то это была его святая святыхъ. Благодаря огромнымъ, хотя нѣсколько одностороннимъ свѣдѣніямъ и гениальному уму, необыкновенно склонному къ обобщеніямъ, онъ, можно сказать, ежедневно осыпалъ насъ гипотезами, теоріями, ориги-

нальными сближеніями, не придавая имъ никакого значенія, а такъ, между дѣломъ. Такъ льется вода изъ переполненнаго сосуда. Но надъ всей этой роскошью теоретической смѣлости (пожалуй опять дерзости) царила одна идея, которой Бухарцовъ придавалъ великое значеніе. Онъ мечталъ о реформѣ общественныхъ наукъ при помощи естествознанія и выработалъ уже обширный планъ ея. Не могу похвастаться, чтобы я хорошо его помнилъ, но знаю, что онъ не имѣлъ ничего общаго съ идеями, напримѣръ, г. Стронина и тому подобныхъ реформаторовъ. Впрочемъ мнѣ случалось все-таки встрѣчать въ литературѣ прямое отраженіе идей незабвеннаго друга учителя... Работалъ Бухарцовъ безпорядочно, но страшно много, читалъ рѣшительно все, соприкасающееся съ его специальностью, и кромѣ того жадно пополнялъ пробѣлы своего образованія по другимъ отраслямъ. Откуда онъ бралъ деньги на такую массу русскихъ и иностранныхъ журналовъ и книгъ — я не знаю. Я думаю онъ и самъ не зналъ. Родные его были люди очень состоятельные (они жили въ провинціи), но онъ былъ съ ними не въ ладахъ и не получалъ отъ нихъ ни гроша. Затѣмъ онъ давалъ уроки, занимался переводами, но вообще бралъ деньги гдѣ случится и тратилъ ихъ самымъ безпорядочнымъ образомъ, хотя кутежи его не шли дальше рюмочки ликеру или стакачика глинтвейну. Если онъ бралъ гдѣ случится, такъ и отдавалъ кому случится. Никогда не забуду я уморительной сцены у одного нашего общаго пріятеля. Онъ жилъ въ маленькомъ заведеніи меблированныхъ комнатъ, всего въ комнаты четыре, считая хозяйскую. Какъ-то разъ мы съ Бухарцовымъ заночевали у него. Я улегся въ комнатѣ пріятеля, а Бухарцову хозяйка, добродушная, пожилая полька, предложила лечь въ одной изъ свободныхъ (а они всѣ на ту пору были не заняты) комнатъ. Она очень старательно уложила его, постлала чистое бѣлье и вообще была чрезвычайно любезна. Улеглись. Не помню ужъ съ чего началось дѣло, кажется съ того, что Бухарцовъ слишкомъ громко перекликался съ нами черезъ стѣну, но только хозяйка начала понемножку ворчать на безцеремонность и неблагодарность Бухар-

цова. Дальше — больше; хозяйка наконецъ стала уже просто кричать, что выгнать его съ своей кровати и чтобы онъ убрался вонъ изъ ея квартиры. Бухарцовъ столь же громко и совершенно серьезно удивлялся: «Вотъ дура-то! ея кровати! вонъ изъ квартиры! вотъ дура! куда я ночью пойду?!» И т. д. Споръ вышелъ чрезвычайно горячій: но Бухарцовъ по обыкновенію побѣдилъ, а на утро они были опять пріятелями съ хозяйкой. (У него была способность правиться, особенно простымъ людямъ, хотя онъ не дѣлалъ для этого рѣшительно никакихъ усилій. Такъ ужъ какъ-то выходило). Если онъ былъ пораженъ требованіемъ хозяйки, то за то нисколько не поражался, если кто-нибудь обращался къ нему съ требованіемъ его муруго-пѣгихъ панталонъ или зеленого съ чернымъ пседа.

Но лучше всего, весь цѣликомъ, Бухарцовъ выразился въ слѣдующемъ сложномъ эпизодѣ. Я поминалъ уже, что при видѣ нашей встрѣчи съ Сонею онъ былъ больше, чѣмъ сконфуженъ. Дѣло въ томъ, что у него тоже была сестра, которую онъ любилъ до чрезвычайности и которой, какъ онъ думалъ, плохо жить у родныхъ. Онъ мнѣ самъ говорилъ потомъ, что эта-то мысль и грызла его, когда онъ увидѣлъ, какъ мы съ Сонею обнимались и плакали отъ радости. Но Бухарцовъ былъ не такой человекъ, чтобы остановиться передъ какой-нибудь рискованной попыткой. Онъ рѣшилъ ни больше ни меньше, какъ похитить сестру и переправить ее за-границу. Операція трудная и дорого стоящая. Нужны прежде всего деньги. Бухарцовъ немедленно вступилъ въ соглашеніе съ однимъ издателемъ и беретъ перевести въ извѣстный срокъ съ латинскаго обширный трактатъ по зоологін, за что ухитряется стребовать тысячу рублей впередъ чистыми деньгами. Попытка похищенія и переправы за-границу оканчивается полнымъ фiasco, деньги однако на нее истрачиваются и Бухарцовъ остается съ обязательствомъ исполнить заказъ. Надо замѣтить, что латинскаго языка онъ почти не зналъ и даже вѣрнѣе будетъ сказать — совсѣмъ не зналъ. Но онъ такъ хорошо зналъ предметъ, что, при помощи лексиконовъ и знанія повѣйшихъ языковъ, произвелъ вмѣсто обѣщаннаго перевода

и́что очень нескладное, но колоссальное. Онъ не успѣлъ кончить эту изумительную работу, но листовъ пять печатныхъ я уже видѣлъ въ корректурѣ. Сначала идетъ текстъ съ рѣдкими и небольшими примѣчаніями переводчика. Потомъ примѣчанія все растутъ въ числѣ и объемѣ и наконецъ совершенно изгоняютъ, текстъ. Остаются одни только примѣчанія переводчика, требующія уже новыхъ примѣчаній. Бухарцовъ рассчитывалъ вложить сюда результаты всѣхъ своихъ самостоятельныхъ работъ, ничтожная доля которыхъ появилась въ бюллетеняхъ академіи наукъ и всѣ свои заветныя мысли. Оттого на ряду съ тонкостями специальной эрудиціи, попадаются такія примѣчанія къ примѣчаніямъ (у меня сохранилась часть корректуры): «Я вообще не могу въ моихъ дополненіяхъ къ Ван-дер-Гевену слишкомъ вдаваться въ теоретическія соображенія и выводы относительно примѣненія всѣхъ этихъ чисто анатомическихъ вопросовъ къ рѣшенію вопросовъ общественно-экономическихъ. Поэтому я опять только обращаю вниманіе читателя на то, что вся моя анатомическая и эмбриологическая теорія имѣетъ главною своею цѣлью отысканіе законовъ фізіологій общества, и потому всѣ мои дальнѣйшія сочиненія будутъ конечно основаны на научныхъ данныхъ, излагаемыхъ мною въ этой книгѣ».

Все это погибло. Бухарцовъ, можно сказать, только приступилъ къ этому переводу, если можно такъ назвать задуманное имъ оригинальнѣйшее произведеніе...

Такъ вотъ каковъ былъ человѣкъ, котораго я засталъ у себя въ комнатѣ, когда вернулся съ новоселья дяденьки-нѣмца. Я буду вводить его при случаѣ, когда понадобится, въ дальнѣйшій разсказъ, но теперь мнѣ хотѣлось хоть немножко выдѣлать его фигуру. Вы пожалуй удивитесь, что ничего не слыхали объ такомъ замѣчательномъ человѣкѣ. А, милостивыя государыни и милостивые государи, на то были особыя причины. Да и мало ли вѣдь вы чего не слыхали? Вѣрно только то, что благонамѣренныя творцы «новыхъ людей» прозѣвали много любопытнѣйшихъ типовъ и что, хоть тѣма эта и надобѣла порядочно, но вовсе не потому, что она исчерпана Нетронутой красоты тутъ вдо-

воль. Вы вѣроятно и о Далматовѣ ничего не слышали. Я тоже не слыхалъ, пока не прочелъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» (отъ 8 апрѣля) его коротенькую біографію. Газеты не только не попытались разсѣять нѣкоторыя недоразумѣнія, возбуждаемыя этою біографіей, но даже ни одна ея не перепечатала. Миѣ хочется ее вамъ разсказать («С.-Петербургскія Вѣдомости» заимствовали ее изъ «Одесскаго Вѣстника»).

Николай Дмитріевичъ Далматовъ родился въ 1842 г. въ Пермской губерніи отъ состоятельныхъ родителей-помѣщиковъ. Служилъ въ военной службѣ. «Гуманность его и доброе отношеніе къ нижнимъ чинамъ спискали ему нескрвенную любовь послѣднихъ, несмотря на то, что онъ былъ строгъ, гдѣ это было необходимо по его миѣнію. Но «одинъ въ полѣ не воинъ», и бороться съ окружающимъ строемъ было не подъ силу молодому человѣку... Онъ вышелъ въ отставку въ чинѣ подпоручика. Въ 1859 г. онъ получилъ, по духовному завѣщанію умершей въ это время матери, 1,000 десятинъ земли съ соотвѣтственнымъ числомъ крестьянъ. Не заключая никакихъ условій, Николай Дмитріевичъ даетъ крестьянамъ волю и отдаетъ имъ всю землю, не оставляя себѣ ничего, за что и получилъ высочайшую благодарность». Дальнѣйшія похождения Далматова таковы. Поступилъ въ петровско-разумовскую академію, служилъ контролеромъ на заводѣ въ сѣверо-западномъ краѣ, служилъ на маріинской системѣ, былъ на ковровскихъ заводахъ, откуда, услыхавъ, что готовится болгарское возстаніе (въ концѣ 60-хъ годовъ), отправился черезъ Одессу въ Болгарію. Въ Одессу онъ уже прибылъ безъ копѣйки. Кое-какъ удалось ему поступить матросомъ на купеческое судно и такимъ образомъ достигнуть цѣли путешествія. Прибывъ на мѣсто, онъ получилъ было командованіе надъ однимъ изъ сформировавшихся отрядовъ; но такъ какъ возстаніе не состоялось, то ему пришлось искать работы. Онъ поступилъ рабочимъ на казашный пушечный и патронный заводъ въ Бѣлградѣ, гдѣ пробылъ около двухъ лѣтъ. Потомъ вернулся въ Россію, переходилъ въ разныхъ должностяхъ (большею частью въ качествѣ рабочаго) съ одного мѣста на другое и наконецъ

попалъ рабочимъ въ слесарное отдѣленіе механическаго завода Яхненко и Симиренко, гдѣ пробылъ около полутора года. Оттуда Далматовъ поступилъ сперва въ курскую желѣзно-дорожную мастерскую слесаремъ, потомъ слесаремъ же въ конотопскую мастерскую. Здѣсь его застало герцеговинское возстаніе. Онъ немедленно поѣхалъ туда и въ сраженіи подъ Карагуевацемъ 8 (20) января убитъ. Былъ онъ причастенъ и литературѣ, но объ этомъ въ замѣткѣ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» говорится очень неясно и неточно.

Вотъ, милостивые государи, фигура. Красивая фигура. Конечно это — еще не фигура, а только остовъ, скелеть, формулярный списокъ. Пусть художникъ одѣветъ его плотью, пусть онъ реставрируетъ его жилы и погонитъ по нимъ горячую алую кровь, пусть разгадаетъ его душу и расскажетъ какъ и что двигало Далматова: пусть художникъ сдѣлаетъ все это — и вы должны будете преклониться предъ красотой этого образа. А между тѣмъ вы ничего не слышали объ этомъ человѣкѣ, хотя онъ «получилъ высочайшую благодарность», а это не втихомолку дѣлается. Ахъ, господа, какъ многого мы съ вами не знаемъ... Да и не понимаемъ тоже очень многого. Странная это въ самомъ дѣлѣ штука. Мы кажется такъ умѣемъ цѣнить добродѣтель, умъ, талантъ, заслуги, такъ любимъ служить панихиды и справлять юбилей. А между тѣмъ «герой», въ смыслѣ положительнаго типа, намъ почти неизвѣстенъ въ беллетристикѣ. Это въ сущности — такая же условная фигура какъ «первый любовникъ», «комическая старуха», «благородный отецъ» и т. п. на сценѣ. Это — «ампула» и только. Наши большіе художники или совсѣмъ избѣгаютъ этого ампула, или не умѣютъ съ нимъ справиться; и даже у большихъ художниковъ, не говоря о мелкотравчатыхъ, ампула героя сплошь и рядомъ занимаетъ парикмахерская вивѣска, гамлетизированный поросенокъ или вызолоченный осель. Это удивительно. Конечно тутъ много причинъ дѣйствуетъ. Впервыхъ тѣ совершенно ужъ постороннія причины, которыя разогнали фантастическій юбилей Мосевича въ щедриискоемъ «Снѣ въ лѣтнюю ночь». Вовторыхъ очень драгоценное само по себѣ качество русскаго человѣка во-

обще—трезвость. Не та трезвость, которая водки не пьетъ— этого русскій человѣкъ не боится—а трезвость нравственная, боязнь ходульности и риторики. Это качество само по себѣ превосходное, но и его можно пересолить. Очень долгое въ этомъ смыслѣ воздержаніе, а особенно если оно отчасти насильственное, т. е. разгоняется, какъ юбилей Мосенча, можетъ повести къ совершенной невозможности дать за чрезвычайно высокое нравственное явленіе настоящую цѣну: русскій человѣкъ любить поторговаться. Наконецъ есть и еще, я думаю, причина, если не самая важная, такъ самая распространенная: Существуютъ извѣстные образцы, шаблоны красоты, многочасно и многообразно разработанные. Надоѣли они, откровенно говоря, хуже горькой рѣдьки. Надоѣли, я думаю, даже самимъ писателямъ, которые ихъ эксплуатируютъ. Какъ хотите, а я не могу повѣрить, чтобы Тургеневъ свои «Вешнія воды», на примѣръ, или Левъ Толстой добрыя семь восьмыхъ «Анны Карениной» писали съ удовольствіемъ. Скучно имъ было. Молодые писатели должно быть скучаютъ тоже, потому что сплошь и рядомъ, изображая даже «новаго человѣка», облачаютъ его ветхимъ Адамомъ, усваиваютъ все приемы, всю рутину «старого красиваго типа». Происходитъ это, я думаю, оттого, что хоть оно и скучно, да не трудно, именно потому, что образцы готовы, передъ глазами. А между тѣмъ отойти отъ этихъ образцовъ и выработать новые вовсе не такъ кажется невозможно. Конечно, *la critique est aisée, mais l'art est difficile*. А впрочемъ, когда я слышу эту поговорку, мнѣ всегда хочется прибавить: *et l'art de critique?*

Надо искать новыхъ образцовъ тамъ, гдѣ ихъ до сихъ поръ совсѣмъ не искали, или искали очень мало. Когда Щедрицу надоѣли юбилей архивариусовъ и проч., ему приснился юбилей Мосенча, и юбилей этотъ оказался не впримѣръ законнѣе юбилей помощника экзекутора Севастьянова. Къ этому источнику беллетристика наша обращалась уже впрочемъ не одинъ разъ и часто съ большимъ успѣхомъ. Чтобы не поминать стараго, еще недавно г. Златовратскій заставилъ насъ съ огромнымъ удовольствіемъ отпраздновать юбилей «крестьянъ-присяжныхъ»,

выведа при этомъ много чертъ дивной красоты. Народъ, какъ источникъ новыхъ или мало тронутыхъ образцовъ красоты, можетъ быть, даже особенно подходитъ къ нашей русской трезвости, боязни ходуль и риторикъ. Что такое Мосеичъ? Какой онъ «герой»? Онъ пятьдесятъ лѣтъ «ни разу не отступилъ отъ правилъ истинной крестьянской жизни и безпрекословно принималъ всѣ ея невзгоды; всегда въ трудахъ, всегда въ потѣ лица своего добывая хлѣбъ свой... И памятуя церковь Божию... Онъ прокармливалъ семью свою, не щадя ни силъ, ни крови своей... И ложе супружеское нескверно содержалъ... Никогда не задерживалъ податей, сидѣлъ въ острогѣ, былъ битъ... однимъ словомъ, въ совершенствѣ исполнилъ то назначеніе, которое въ совѣтѣ судьбы предопредѣлено...» А «крестьяне-присяжные»? Они повинности отбываютъ, тоже въ совершенствѣ исполняютъ то назначеніе, которое въ совѣтѣ судьбы предопредѣлено. Такіе люди могутъ вложить «силу всю души великую» въ отбываніе повинности и слѣдовательно доставить художнику богатѣйшій матеріалъ, но это—все-таки только отбываніе повинности, исполненіе обязанности, а значитъ первое условіе изображенія даже великой силы ихъ души—есть простота. И вотъ эта-то простота и есть я думаю камень, на которомъ должно построиться зданіе новой красоты. Не знаю, понятно ли я выражаю свои мысли. Вамъ можетъ быть покажется, что я предлагаю апоѳеозъ пассивности. Но это не такъ. Вотъ напримѣръ, въ очеркахъ г. Г. И. «Люди и нравы», дѣдъ Пармень, типъ «ходака», который ужь побывалъ и въ острогѣ, и въ Сибири, и еще разъ рѣшилъ: «коли такъ, такъ, стало, Божья воля миѣ потерѣть еще на старости лѣтъ!.. Видно ужь Господь батюшка, Никола-милостивый такъ осудилъ меня вѣщомъ—иду!» Помните, какъ «старый дѣдъ, съ котомкой за плечами, съ длинной палкой въ сухой рукѣ, неровной поступью худыхъ тонкихъ ногъ, обутыхъ на мірской счетъ въ новые лапти, пошелъ воевать за свое дѣло». Это—значительное отклоненіе отъ чисто пассивнаго типа, это—уже отчасти типъ воинствующій: какъ, ни какъ, а дѣдъ Пармень идетъ «воевать». Но онъ идетъ воевать за *свое* дѣло, и

въ этомъ-то состоитъ крайняя простота и вмѣстѣ съ тѣмъ огромная и рѣдкая въ нашей литературѣ красота его фигуры. Мирское дѣло есть его личное дѣло, срослось съ нимъ; онъ никого не благодѣтельствуетъ, никому не приноситъ жертвы. Если со стороны глядѣть, такъ онъ конечно подвигъ совершаетъ, но самъ-то старый дѣдъ Пармень тоже въ родѣ какъ повинность отбываетъ, а не героическое какое-нибудь дѣло совершаетъ.

Этотъ же самый принципъ простоты и, если хотите, своего рода эгоизма долженъ быть введенъ и въ изображеніе нашего брата. Еслибы я осмѣлился, въ художественномъ смыслѣ, поднять руку на дорогую мнѣ память Бухарцова, я конечно не скрылъ бы истинно героическихъ его чертъ. Но онъ самъ и не подозрѣвалъ бы даже этого, онъ дѣлалъ бы *свое* дѣло, а такъ какъ онъ былъ склоненъ къ созиданію теорій, то непременно возводилъ бы эгоизмъ даже въ принципъ. И, поставивъ дѣло такимъ образомъ, я былъ бы правъ, почти фотографически правъ, то-есть вполнѣ вѣрять оригиналу. Вы конечно можете мнѣ не повѣрить, что Бухарцовъ, еслибы смерть не подкосила такъ рано эту жатву жизни, могъ бы, еслибы захотѣлъ, быть ученою знаменитостью на всю Европу. Но я его во всякомъ случаѣ такъ понимаю и такъ изобразилъ бы. Но никогда, ни въ серьезныхъ интимныхъ разговорахъ, ни среди самой необузданной шутливости, не прорывалось у него тяготѣніе къ этой перспективѣ. Я ужъ не говорю, что онъ не мечталъ о славѣ ученаго. Это—еще не богъ знаетъ что. Но онъ любилъ свою спеціальность, былъ полонъ жажды знанія вообще и даже помню говаривалъ, что охотно поселился бы навсегда гдѣ-нибудь на берегу моря или въ тропическихъ лѣсахъ, единственно для того, чтобы «съ нимъ говорила морская волна и была ему звѣздная книга ясна»: охотно отдался бы онъ жадѣ знанія, еслибы... еслибы не чувствовалъ обязанности, «повинности» жить въ обществѣ и направлять свою эрудицію извѣстнымъ образомъ. Но съ этою обязанностию онъ также сросся, какъ дѣдъ Пармень съ обязанностию ходока. Совершенно такъ же и дѣдъ

Пармень охотно лежалъ бы на печи и грѣлъ свои старыя кости, еслибы мірское дѣло не было его собственнымъ дѣломъ. Оттого и Бухарцовъ былъ такъ простъ. Самая его дерзость была ничто иное, какъ простота. Говоря свою рѣчь на диспутѣ, онъ былъ прекрасенъ именно своею простотою, именно тѣмъ, что онъ дѣлалъ свое собственное дѣло, собственную свою душу выкладывалъ, предлагая ученому ареопагу связать «генезисъ въ типѣ пальмелевидныхъ водорослей» (что-то въ этомъ родѣ составляло тѣму диссертаци) съ разрѣшеніемъ общественныхъ вопросовъ; самъ постоянно работая мыслью въ этомъ направленіи, онъ вовсе не думалъ предлагать или совершать что-нибудь достойное благодарности. Нѣтъ, онъ исполнялъ только свою обязанность и притомъ такую, которая облегчала его личное существованіе. Его тяготила громадная масса его знаній, приобрѣтенная на счетъ невѣжественнаго общества. Онъ только сбрасывалъ съ души своей тяжесть. Или вотъ то же Далматовъ. Его можно художественно двоякимъ, даже тройкимъ образомъ обработать. Романистъ, въ родѣ г. Стебницкаго, сдѣластъ изъ него пожалуй иѣчто въ родѣ каторжника и во всякомъ случаѣ бахвала, глупца, жертву разныхъ зловредныхъ постороннихъ явленій, заставить его жалѣть о поведеніи съ крестьянами и потребуетъ, чтобы въ бѣдности онъ оказался нечистъ на руку. Объ этомъ жанрѣ я ничего не имѣю сказать. Благонамѣренныя изобразители «новыхъ людей» и «молодого поколѣнія» сдѣлають изъ Далматова «героя», сознательно приносящаго жертвы, благодѣтельствующаго, освобождающаго и т. д. Надо имѣть много таланта, чтобы это не вышло ходульно, но и при больномъ талантѣ это все-таки будетъ мотивъ старій и порядочно пріѣвнійся, это будетъ все-таки ветхій Адамъ, хотя и симпатичный; старій образецъ или шаблонъ красоты. Можно иначе изобразить Далматова. Можно представить дѣло такъ (какъ оно навѣрное и было въ дѣйствительности), что онъ никого не благодѣтельствуетъ, никакихъ жертвъ не приносить, а только и занять усмиреніемъ своей собственной бунтующей совѣсти. Пусть воочію развертывается и облекается плотью и

кровью весь прекрасный формулярный список Далматова, пусть все читателям будет ясен его героизм, но пусть сам он дѣлает свое личное дѣло. Повидимому, тутъ всего одну маленькую передвижечку въ старомъ шаблонѣ красоты надо сдѣлать. Но сдѣлайте ее — и васъ обдастъ ароматомъ совершенно новой красоты. Вы скажете можетъ быть, что такимъ образомъ освящается начало собственнаго благополучія, какъ говорятъ обыкновенно, эгоизма. Нѣтъ, зачѣмъ же. Искусство есть своего рода гласный нравственный судъ. Оно освѣщаетъ свой матеріалъ такъ или иначе и значитъ освѣщаетъ въ немъ то или другое, но прежде всего оно должно имѣть и все показать свой матеріалъ. Матеріалъ этотъ долженъ постоянно обновляться, какъ обновляется жизнь, изъ которой онъ черпается. И самый характерный для нашего времени матеріалъ есть разладъ совѣсти съ жизнью. Искусствомъ онъ пока затронуть только чуть-чуть. (Я могъ бы все по пальцамъ пересчитать). Онъ имѣетъ вѣроятно скромныхъ Пименовъ, которые вотъ какъ я, сидя у себя въ кельѣ, ведутъ свою безыскусственную лѣтопись. Но въ самомъ скоромъ времени, можетъ быть завтра, должна появиться художественная его обработка. Будущій художникъ отнюдь не взглянетъ на свой матеріалъ, какъ на старыи только разладъ идеала съ дѣйствительностью, а какъ на совершенно ясную, специальную, опредѣленную его форму, именно какъ на разладъ совѣсти съ жизнью. Это далеко не одно и то же. Какой-нибудь гамлетизированный поросенокъ можетъ, во имя чрезвычайно высокаго идеала, несоотвѣтствующаго дѣйствительности, приходить въ отчаяніе, кокетливо «складывать на пустой груди ненужныя руки»; можетъ даже бороться съ дѣйствительностью, но съ полнымъ сознаніемъ своихъ многообразныхъ преимуществъ передъ простыми смертными, своего величія. Все это можетъ продѣлывать даже не гамлетизированный поросенокъ, а настоящій человѣкъ; но во всякомъ случаѣ, это — старыи типъ, исчерпанная тѣма. Для сознанія новой тѣмы, поросенокъ долженъ весь проникнуться той мыслью, что онъ — дѣйствительно поросенокъ, хотя и съ чрезвычайно нѣжнымъ, бѣлымъ,

жирнымъ мясомъ; не любоваться этимъ мясомъ онъ долженъ, не выставлять его, въ какомъ бы то ни было смыслѣ, на показъ, а напротивъ терзаться имъ. Если онъ неспособенъ на это, такъ и чортъ съ нимъ, пусть остается поросенкомъ, на ходули его во всякомъ случаѣ не зачѣмъ ставить. Настоящій же человекъ (въ смыслѣ новой тѣмы) и самъ на ходули не полѣзетъ. Всѣ его преимущества передъ простыми смертными, въ чемъ бы они ни состояли, должны его тяготить, его должна за нихъ грызть совѣсть, и потому, дѣйствуя въ извѣстномъ направленіи, онъ будетъ дѣлать свое собственное дѣло. Много разнаго люда видалъ я на своемъ вѣку, много размышлялъ о людяхъ, и — повѣрьте моей опытности — если человекъ говоритъ: «я хочу приносить пользу», «я пожертвую собой общему благу», «я хочу благодѣтельствовать человеку или родину, или какой-нибудь околodокъ», если онъ говоритъ это даже вполне искренно, такъ это еще ровно ничего не значитъ. Трудно выразить благороднѣйшую задачу жизни какими-нибудь другими общими формулами, и пылкая молодежь всегда говоритъ эти слова. Въ этомъ еще ни бѣды нѣтъ, ни радости. Припоминая весь рядъ людей, съ которыми меня сталкивала судьба, я вижу, что почти всѣ они говорили: я пожертвую, я хочу приносить пользу и т. п. Но одни ставили на первый планъ свои, иногда (конечно рѣдко), дѣйствительно большія достоинства и отъ нихъ уже спускались къ интересовавшему ихъ дѣлу, которое выходило такимъ образомъ дѣломъ чужимъ, только по великодушію, по благородству души признаваемымъ за свое. Очень все это большею частью искренно было, кое-кто даже пострадалъ, но все-таки крайне непрочно. Дрянъ потомъ изъ этихъ людей выходила иногда ужасная. Другіе напротивъ исходили изъ своего личного дѣла, изъ сознанія своихъ собственныхъ грѣховъ, требующихъ искупленія. Здѣсь-то будущій художникъ и пайдетъ своихъ героевъ. Личное благополучіе, какъ принципъ, есть штука конечно очень, какъ бы сказать... мѣщанская, что ли. Стремленіе къ личной чистотѣ и соответственное покаяніе — штука старая и давняя искусству кажется уже все, что съ нея

взять можно. Но чувство *личной* ответственности за свое *общественное* положеніе — есть тѣма новая и почти нетронутая. Это чувство двигало и Бухарцова и Далматова. Конечно, тутъ очень различныя комбинаціи возможны. Я знавалъ на примѣръ такихъ людей, которые въ жизни не сбивались съ пути, но постоянно брюзжали и ворчали на собственную совѣсть, не дающую покоя и мѣшающую отдаться всякимъ инстинктамъ—очень любопытный типъ. Значалъ и такихъ, которые сбивались совѣмъ незамѣтно и, очутившись въ сущности при одномъ чисто мѣщанскомъ личномъ благополучіи, продолжали думать, что они совѣмъ не сбились. Чувствую, что выражаюсь неясно, но можетъ быть потомъ, на примѣрахъ, дѣло выяснится. Я вамъ разныхъ людей покажу, какъ съумѣю: кого словами расскажу, кого воочию представлю.

Однако и старыхъ шаблоновъ красоты бросать не слѣдуетъ. Въ нихъ есть кое-что истинно и еще надолго прекрасное, особенно если и въ нихъ сдѣлать маленькую передвижечку. Вотъ на примѣръ такая тѣма: мать, убаюкивающая ребенка. Тѣма очень старая. Привычный, набившій руку художникъ въ нѣсколько минутъ набросаетъ вамъ картину: мать, блондинка или брюнетка, пользующаяся или непользующаяся супружескимъ счастьемъ, лѣтомъ на крыльцѣ помѣщицъей усадьбы, или зимой въ бѣдной, но уютной комнаткѣ, съ радостными или горестными мыслями, баюкаетъ ребенка. Слабымъ или сильнымъ, но пріятнымъ сопрано или контральто она поетъ *berceuse* или колыбельную пѣсню г. Майкова, положенную на музыку г. Рубомъ, или такъ какой-нибудь подслушанный у пьянки мотивъ. Право кажется я всевозможныя комбинаціи перечислилъ. Но очевидно, что только очень большое мастерство изложенія можетъ спасти дальнейшія варьяціи этой тѣмы, и самъ художникъ будетъ скупать, выбирая ихъ. А я бы вотъ какъ поступилъ. Я бы отнялъ у матери и сопрано, и контральто, и вообще всякій голосъ, слухъ и всякіе мотивы. Я бы заставилъ ее нескладнымъ голосомъ пѣть какой-нибудь совершенный вздоръ, бессмысленный наборъ словъ въ невозможныхъ склоненіяхъ и спряженіяхъ. Я

бы заставилъ окружающихъ смѣяться надъ ея пѣніемъ, хотя бы и добродушно, а она пусть, не смущаясь, мѣрно ходитъ изъ угла въ уголъ, качаетъ ребенка и тянетъ свою песклядицу: «золотую мою сыночку, бѣлую березочку, голубую кошечку, бай-бай-бай» и т. п. Можетъ быть я и преувеличиваю, но мнѣ кажется, что одна эта черточка, комическая и трогательная вмѣстѣ, способна въ рукахъ художника возбудить новый интересъ въ читателѣ, которому давно прѣдъисъ описанія матери, убаюкивающей ребенка. А между тѣмъ весь смыслъ этой маленькой черточки только въ томъ и состоитъ, что она сильнѣе другихъ налегаетъ на материнскую «повинность». Не велико дѣло—убаюкивать ребенка пріятнымъ контраalto или сопрано: ребенокъ заснетъ самъ-собою, а кромѣ того, прохожіи остановятся, послушаютъ, мужъ полюбуется голосомъ «звонкимъ и ласковымъ», да и самой весело. Среди этихъ разнообразныхъ и все пріятныхъ обстоятельствъ, еще неизвѣстно, насколько дѣло вашего ребенка совпадаетъ съ вашимъ личнымъ дѣломъ. А вотъ вы попробуйте пѣть безъ голоса, возбуждать насмѣшки, оскорблять эстетически развитое ухо и все-таки пѣть—тогда будетъ видно.

Я понимаю, что это черточка мелкая, ничтожная, и привелъ ее такъ, къ слову. А ежели я къ ней и пристрастенъ можетъ быть, такъ потому, что этотъ образъ безголосой матери мнѣ очень близокъ. Такъ пѣвала моя бѣдная Соня, и я, грѣшный человѣкъ, смѣялся надъ ея пѣніемъ и «голубой кошечкой», да и мудрено было не смѣяться. Но что все-таки это трогательно было и достойно хорошей кисти—это вѣрно.

Это я далеко впередъ забѣжалъ. Пока еще ни одно облачко не сгустилось надъ головой Сони. Она сидитъ у меня, свѣжая, не помятая жизнью, веселая, какъ птица, выпущенная изъ клітки. Бухарцовъ тотчасъ же ушелъ, и мы остались вдвоемъ. Разговора нашего передать пѣтъ никакой возможности. Да и не разговоръ это былъ, а чортъ знаетъ что, потому что мы другъ друга почти не слушали, перебивали, цѣплялись за отдѣльные слова, хохотали. Соня высыпала передо мной, какъ горохъ изъ

мѣшка, груду институтскихъ воспоминаній, впечатлѣній дороги въ Петербургъ и наблюденій падъ Анной Сергѣевной (генеральшей Темкиной), которая въ качествѣ жены опекуна взяла ее къ себѣ изъ института. Она съ особеннымъ удовольствіемъ вспоминала какую-то класную даму и какого-то учителя, которые помогли ей «развиться». Хотя я очень привыкъ слышать это тогда модное слово и самъ его часто употреблялъ, но въ устахъ Соны оно было какое-то несоотвѣтственное. Я не могъ не улыбнуться, отчасти снисходительно-покровительственно. Сося отнеслась къ моей улыбкѣ съ видомъ челоуѣка, который имѣетъ въ рукахъ неопровержимѣйшія доказательства, но предоставляетъ все времени: «Думаешь, нѣтъ? думаешь, нѣтъ, Гринна? Вотъ увидишь, увидишь!» щебетала она. Аня Сергѣевна ей очень не понравилась, а генерала Темкина она еще по старой памяти не любила, за его надменную строгость вообще и за зуботычины Якову въ особенности. И генераль, и генеральша меня ей очень бранили, называли «дряннымъ и грязнымъ мальчишкой», «пропащимъ челоуѣкомъ» и предостерегали ее отъ моего пагубнаго вліянія. Не отпустить ее повидаться со мной было однако нельзя. Ей данъ былъ въ провожатые лакей, тотъ самый, который когда-то аккуратно каждый мѣсяцъ приносилъ мнѣ мои двадцать пять рублей. Не заставъ меня дома, Сося осталась ждать, а лакея отпустила. Но часовъ въ десять, онъ явился опять, съ строжайшимъ требованіемъ Анны Сергѣевны «пожаловать домой». Сося объявила, что не уйдетъ, не выдавъ меня, хоть бы ей пришлось почевать въ моей комнатѣ. Лакей тоже стоялъ упорно на своемъ, но его наконецъ прогналъ Бухарцовъ, слышавшій весь споръ изъ своей комнаты. Этимъ и началось знакомство Соны съ Бухарцовымъ. «Онъ — чудесный, аттестовала его Сося: — только должно быть у него голова не въ порядкѣ, странный такой». Съ своей стороны и я разсказалъ исторію своихъ отношеній съ генераломъ и генеральшей Темкиными, но очень бѣгло, кратко и поверхностно. Я не хотѣлъ посвящать Сою въ подробности послѣдняго посѣщенія Анны Сергѣевны, а на счетъ первой стычки съ генераломъ изъ-за Якова и брата-мужика конфузился въ

другомъ родѣ. Передъ этимъ свѣжимъ, свѣтлымъ созданіемъ мнѣ было стыдно съ разу признаться, что Яковъ и братъ-мужикъ давно уже перестали меня беспокоить, а потому я скомкалъ весь этотъ эпизодъ. Въ душѣ я рѣшилъ, что Соня все это непремѣнно должна узнать, но отложилъ исповѣдь до другого раза. На этотъ разъ и Соня впрочемъ не была расположена къ серьезному разговору. Извѣстію о дяденькѣ-пѣмцѣ она очень обрадовалась.

Самую суть нашей бесѣды составляли однако не эти все-таки серьезныя или по крайней мѣрѣ фактическія рѣчи, а тѣ непередаваемые вздоры и пустяки, поводъ которымъ давали и нѣкоторыя забавныя институтскія манеры Сони, и патриархальная Василиса, которая безъ меня приходила занимать ее, и вообще все, что попадалось подъ руку. Проболтали мы такъ часовъ до шести. Солище, которое только въ это время и заглядывало въ мою конурку, навело было насъ на мысль идти гулять, но я увидѣлъ, что, несмотря на бодрость духа Сони, плоть ея немощна: глаза у нея совсѣмъ слипались. Мы наконецъ улеглись, не раздѣваясь, она на диванѣ, а я на кровати (такъ хотѣла Соня) и черезъ какихъ-нибудь четверть часа Соня снала сладкимъ сномъ.

IV.

Ну вотъ и на нашей улицѣ праздникъ. Да еще какой праздникъ-то: нами занимается самъ Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ и намѣренъ предложить почтеннѣйшей публикѣ романъ на тѣму «нѣкоторыхъ новыхъ явленій среди нашей молодежи». Я объ этомъ съ величайшимъ удовольствіемъ узналъ отъ какого-то г. П., который побывалъ у нашего маститаго романиста въ деревнѣ, узналъ, какъ и что онъ пишетъ, какъ одѣвается и сморкается, и все это пропечаталъ въ № 207 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» подъ заглавіемъ: «У Ивана Сергѣевича Тургенева». Не буду впрочемъ лицемѣрить: я узналъ о праздникѣ на на-

шей улицѣ не только безъ величайшаго, а безъ всякаго удовольствія, хотя и съ нѣкоторымъ интересомъ. Не то, чтобы я былъ обиженъ за своихъ братьевъ по духу и положенію, среди которыхъ, по передаваемому г. П. мнѣнію г. Тургенева, «не имѣется такого крушнаго типа, какъ Базаровъ, въ которомъ могъ бы находиться центръ тяжести всего романа». Нѣтъ, это какъ г. Тургеневу угодно будетъ, да и обиднаго тутъ, съ извѣстной точки зрѣнія, нѣтъ ничего; но я по совѣсти говорю, что самъ г. Тургеневъ—*не тотъ* «большой человѣкъ», появленіе котораго я предсказывалъ и который долженъ рассказать нашу исторію, воспыть наши горести и радости. Замѣьте, я говорю только, что онъ — не тотъ большой человѣкъ, котораго намъ нужно, а размѣровъ его вовсе не умаляю. Конечно онъ—большой человѣкъ, потому что изъ разной дряни можетъ конфетку сдѣлать. Такой напримѣръ конфетки, какъ «Вещія воды», никому теперь не сдѣлать, это вѣрно, потому что г. Тургеневъ — большой человѣкъ. Большой, да не нашъ, Федотъ, да не тотъ.

Когда-то было сказано, что г. Тургеневъ—человѣкъ «чуткій», что всякое нарождающееся явленіе онъ немедленно схватываетъ и облакаетъ въ художественные образы. Было это сказано очень вѣрно въ свое время. Но потомъ тутъ вышла такая же исторія, какая случается съ винными бутылками, поступающими съ теченіемъ времени подъ баварскій квасъ и кислыя щи: правдивая для своего времени этикетка свидѣлствуетъ, что нѣкогда бутылка содержала портвейнъ бѣлый, лучшій, старый; хоть этикетки эти и для своего времени можетъ быть не совсѣмъ правдивы, но ужъ во всякомъ случаѣ теперь-то въ бутылкѣ баварскій квасъ, и лавочникъ смѣло могъ бы содрать этикетку. Лавочникъ однако не сдираетъ, не обмана ради, потому что и онъ, и покупатель очень хорошо знаютъ въ чемъ дѣло, а такъ, Богъ знаетъ почему. Вотъ и г. П. не сдираетъ этикетки чуткости съ г. Тургенева, хотя очень хорошо могъ бы сообразить, что она на немъ держится *такъ*. Очень, говоритъ, будетъ интересно прочитать романъ г. Тургенева, «тѣмъ болѣе, что онъ, столь чуткій къ вліяніямъ времени, не затрогивалъ ни одной современ-

ной темы послѣ своего «Дыма». Чуткій, но не затрогиваль; портвейнъ, но баварскій квасъ; Ѳедотъ, но не тотъ.

Это такъ естественно. Г. П. съ восторгомъ говорить о «почтенныхъ лицахъ и дубахъ» тургеневской усадьбы, подъ тѣнью которыхъ «родилось и окрѣпло много поэтическихъ картинъ и образовъ, ставшихъ достояніемъ всего цивилизованнаго міра». Дѣло идетъ объ орловскомъ имѣніи маститаго романиста, селѣ Спаскомъ-Лутовиновѣ: «въ остальныхъ своихъ имѣніяхъ онъ бывалъ лишь ненадолго, больше по дѣламъ». Изъ этого не слѣдуетъ однако, чтобы Спаское-Лутовиново давало ему пріютъ *надолго*. Нѣтъ, въ послѣдній разъ онъ былъ тамъ два года тому назадъ, а нынче пробылъ около полутора мѣсяца. Конечно и за границей есть всякаго рода, возраста и положенія русскіе люди. Но г. Тургеневъ самъ рассказывалъ г. П.:—«Я всю жизнь прожилъ съ людьми, которымъ до моей литературной дѣятельности не было почти никакого дѣла. Въ настоящее время многіе близкіе мнѣ люди даже вовсе не знаютъ по русски». Не знаю ужъ какъ все это вяжется съ чуткостью. Но когда я вспоминаю, что даже своего современника или почти современника, мѣщанина Бабурнина, г. Тургеневъ заставлялъ требовать, чтобы къ нему не просто входили въ комнату, а предварительно постучавшись, на заграничный маперъ, въ дверь, когда я вспоминаю это удивительное обстоятельство, я думаю: о да, это—Ѳедотъ, несомнѣнно Ѳедотъ, но не тотъ.

И право, я объ этомъ безъ малѣйшей грусти думаю: не тотъ, такъ не тотъ, лишь бы насъ въ покоѣ оставилъ. А онъ вотъ не хочетъ... Впрочемъ, доживемъ—увидимъ...

Ахъ, какъ много воды утекло съ тѣхъ поръ, какъ г. Тургеневъ былъ современникомъ своего времени. Г. П. говоритъ, что «въ двадцать пять лѣтъ, протекшихъ со времени появленія «Записокъ Охотника», характеръ орловскаго пейзажа измѣнился довольно значительно: болота всѣ высохли, лѣса повырублены... Помѣщичьи усадьбы, эти «дворянскія гнѣзда» былого времени, еще болѣе опустились и вросли въ землю, а многочисленныя деревушки по-прежнему уныло сѣрѣютъ по скатамъ холмовъ

своими соломенными крышами». Кажется бы, вѣдь совсѣмъ пустыяки: лѣса повыврублены, болота повыхохли, «дворянскія гнѣзда» опустынились — словомъ, только *пейзажъ измѣнился*. Но моимъ читателямъ, конечно, очень хорошо извѣстны мнѣдія Бокля о вліяніи общаго вида страны, «пейзажа», на характеръ людей и цивилизаціи. Пейзажъ самъ по себѣ для художника—дѣло, съ позволенія сказать, плевое: пріѣхалъ, не то, что на полтора мѣсяца, а хоть на полтора дня, посмотрѣлъ на право, посмотрѣлъ налѣво, сходилъ на охоту, съѣздилъ въ рошу — и все узналъ, т. е. пейзажъ-то. Но не такъ-то легко узнать, какъ отразился новый пейзажъ на людяхъ. Что-то теперь стало съ меланхолическимъ и благороднымъ Лаврецькимъ, красой дворянскихъ гнѣздъ, съ изящными Кирсановыми и проч.? Придавило должно быть ихъ не много опустившимися усадьбами, такъ что даже віолончель Кирсанова не устанавливается можетъ быть въ комнатѣ. Кулики улетѣли, потому что болота повыхохли; зайцы разбѣжались, потому что лѣса повыврублены; поэтическія души завяли, потому что въ воздухѣ нѣтъ достаточной влаги — болота повыхохли, лѣса повыврублены. Но Лаврецькіе и Кирсановы, если далъ имъ Богъ вѣку и дожили они до нашихъ дней, сохранили еще въ себѣ запасъ влаги, накопленный съ дѣтства. А вотъ мы-то, ихъ дѣти, очень, очень позасохли, позачерствѣли...

Впрочемъ, какъ сказать... Глаза у насъ конечно не на мормъ мѣстѣ (болота повыхохли, лѣса повыврублены), но слезы намъ все-таки — дѣло знакомое. По неизмѣннымъ фізіологическимъ законамъ они подступаютъ къ горлу и мучительно щекочутъ. До чрезвычайности сократилось нынѣ число поводовъ къ этому фізіологическому процессу, но тѣмъ, я думаю, сильнѣе даетъ онъ себя знать въ тѣхъ случаяхъ, когда еще имѣетъ мѣсто. Такъ что въ концѣ-концовъ, не смотря на измѣненіе орловскаго пейзажа, а отчасти можетъ быть даже благодаря этому измѣненію, никому не полагалось бы упрекать насъ въ черствости. А между тѣмъ это случается очень часто.

Недавно, совсѣмъ на-дняхъ я встрѣтилъ Башкила. Долго мы передъ тѣмъ съ нимъ не видались, на что были особенныя при-

чины, ниже увидите—какія. Да и въ этотъ-то разъ встрѣча вышла очень странная. Измученный жарой, я присѣлъ къ одному изъ тѣхъ столиковъ, которые Доминикъ выставляетъ лѣтомъ на улицу, и пилъ пиво подъ якобы тѣнью чахлаыхъ сиреней въ кадкахъ. У сосѣдняго столика сидѣли три человѣка, изъ которыхъ одинъ говорилъ мягко, лѣниво, но громко, спокойно и увѣренно. Онъ сидѣлъ ко мнѣ задомъ, но голосъ его былъ мнѣ слишкомъ знакомъ. Это былъ Башкинъ. Собесѣдники его были совсѣмъ молодые люди, мнѣ незнакомые.

— Вы меня извините, господа, говорилъ Башкинъ: — но право вы какіе-то сухари нынче стали. Васъ, не то, что картиной или статуей, а и красивой женщиной не проймешь. Писаревъ по крайней мѣрѣ ругалъ Пушкина, грубо, наивно, по дѣтски, но все-таки значитъ признавалъ въ немъ силу. А вы... помилуйте, вы даже говорить о Пушкинѣ не станете! Винавать, я знаю, что вы хотите сказать, мягко остановилъ онъ одного изъ молодыхъ людей:—я не отрицаю благородства вашихъ стремленій: они стары, какъ міръ, и всегда такими были. Но видите ли въ чемъ дѣло: сухо ужасно все это, сухо, жестко, угловато. Это я въ вашихъ же интересахъ... Вы свое собственное дѣло въ скелетъ какой-то обращаете, снимаете съ него все мясо, всю красоту — ну и пугаете только людей. Скелетъ никогда ничего не сдѣлаетъ, именно потому, что онъ—скелетъ, мертвецъ. Въ этомъ смыслѣ Тургеневъ правъ, что Венера Милосская несомнѣннѣе принциповъ 89 года. Да вотъ посмотрите...

Башкинъ мотнулъ головой на проходившихъ мимо солдатъ съ музыкой.

— Вотъ вѣдь, не будь музыки, эти молодцы не были бы такими молодцами. — Онъ самъ засмѣялся своей мысли. — А, баронъ, bonjour...

Башкинъ сдѣлалъ граціозный привѣтственный жестъ рукой по направленію къ офицеру, сопровождавшему солдатъ верхомъ. Офицеръ съ длинными рыжими усами поманилъ его къ себѣ; онъ подошелъ, и они объ чемъ-то дружески пошептались. А

demaи, крикнулъ офицеръ и затрусилъ впередъ, а Башкинъ вернулся на скамейку.

— Да, господа, сухари, сухари, началъ онъ опять. Но тутъ я не выдержалъ и сдѣлалъ глупость. Взглянувъ на эту красивую рожу, я почувствовалъ, какъ кровь прилила мнѣ къ сердцу, и совершенно машинально спросилъ дрожащимъ голосомъ:

— И Соня—сухарь?

Всѣ трое съ недоумѣніемъ на меня оглянулись, Башкинъ поблѣднѣлъ и нѣсколько секундъ смущенно смотрѣлъ на меня своими красивыми глазами, въ углахъ которыхъ успѣли уже обозначиться порядочныя «лапки». Онъ растерялся, что съ нимъ случилось чрезвычайно рѣдко.

— А, Григорій Александровичъ!—выговорилъ онъ наконецъ очень неловко, но руки мнѣ не протянулъ и хорошо сдѣлалъ, потому что иначе вышелъ бы еще пущій скандалъ. Я, не отвѣчая на привѣтствіе, повторилъ свой нелѣпый вопросъ. Но Башкинъ уже успѣлъ оправиться.

— Я не говорю о частныхъ случаяхъ,—сухо сказалъ онъ.— Эй, человекъ! получите...

Всѣ трое поднялись и пошли по Невскому. Молодые люди нѣсколько разъ на меня оглядывались, а я сидѣлъ, какъ прикованный, съ бессильнымъ бѣшенствомъ сжимая ручку пивной кружки. Эта смазливая дрянь, который хотѣлъ оскорбить мою Соню и отскочилъ отъ нея, самъ оплеванный и униженный, этотъ нераскаянный болтунъ смѣетъ насъ называть сухарями! Онъ почти серьезно увѣрепъ, что тѣ, кто не умиляется надъ фарфоровыми и помпейскими древностями—совсѣмъ пропащіе, а главное, черствые люди. А между тѣмъ, онъ видѣлъ, онъ знаетъ... Но очи даны ему затѣмъ, чтобы не видѣть, а уши, чтобы не слышать. Помимо моихъ отношеній къ Башкину, помимо самой его личности, въ его оцѣнкѣ я явственно различалъ нѣчто общее, тишическое. И какъ ни добросовѣстно стараюсь я теперь взвѣсить гирю личнаго раздраженія, но вполнѣ сознаю, что не она выдавила изъ меня нелѣпый вопросъ, брошенный мной Башкину. Вы конечно сами слышали или читали отзывы,

подобные мнѣнію Баникина. Они очень обыкновенны—иногда помягче, иногда пожестче, иногда либеральнѣе, иногда покруче; но всегда съ одною и тою же сердцевиной и почти всегда съ тѣмъ же видомъ сожалѣнія и сочувствія. И знаете что: это-то и противнѣе всего, эта мина сожалѣнія и сочувствія. Она устраивается повидимому съ тѣми же цѣлями, съ какими строятся мосты: для соединенія праваго и лѣваго берега рѣки. Мы отказываемся идти по этому мосту великодушія и сочувствія—такова ужь наша суть, наша характеристическая черта, съ исчезновеніемъ которой исчезаемъ и мы, а насъ за это обзываютъ черствыми сухарями, скелетами. Люди думаютъ, что имѣютъ дѣло съ какою-то обнаженностью, и имъ становится пеловко, почти стыдно, за обнаженныхъ конечно. И до известной степени они правы фактически. Обнаженность не обнаженность, а ужь тѣхъ «ста ризокъ», которыя поминуются въ загадкѣ о кочкѣ капусты, тутъ искать нечего. Хорошо это или дурно, это—особый вопросъ. Я думаю, что хорошо; но теперь я хотѣлъ бы только уяснить себѣ дѣло съ фактической стороны. Когда передъ вами «стоитъ попокъ, на немъ сто ризокъ», вы имѣете дѣло съ загадкою, и хоть не надо быть сфинсомъ, чтобы знать ея смыслъ, но все-таки вы можете быть и не сразу сообразите, что это—просто капустный кочень. Многимъ правится заворачиваться въ сто ризокъ, видѣть другихъ такихъ же завороченныхъ, ну а мы не хотимъ загадокъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, ихъ такъ много задаетъ мать-природа, что только-что, только-что въ пору и съ этими-то справиться. На кой же—извините меня—чортъ еще самимъ обращаться въ загадки? Поэтому, когда я вижу наглеца или болвана во всеоружіи нравственнаго нагиша, мнѣ скверно конечно, но было бы еще сквернѣе, еслибы онъ умѣлъ или могъ прикрывать свое мѣдлолюбіе и свою нравственную грязь. Съ этимъ я думаю всякій согласится, то есть съ тѣмъ, что безъ загадокъ удобнѣе. Но, какъ только эта непреложная истина становится съ разными порожденіями житейскаго моря, она немедленно подвергается всевозможнымъ урѣзкамъ, надставкамъ, заплаткамъ, и все—чисто эстетическаго свойства. Купецъ Аховъ

у Островскаго очень хорошо знаетъ, что злодѣй-Иполитка вышелъ изъ-подъ его руки и что это ужъ безповоротно кончено. А все-таки требуетъ, даже не требуетъ, а униженно проситъ, чтобы Иполитка ему поклонился, такъ, для виду. Ему картина благодарности нужна, только картина. Этакъ часто бываетъ. Знаетъ напиримѣръ человѣкъ иной разъ, охъ какъ знаетъ! что цѣна ему собственно—грошъ, и что если мимоходящіе ломаютъ передъ нимъ шапки, такъ вовсе не передъ нимъ, а передъ его карманомъ что ли, вообще передъ чѣмъ-нибудь такимъ, чего онъ завтра же можетъ лишиться и остаться какъ ракъ на мели. А ему все-таки лестно, потому—картина. Знаетъ тоже иной разъ человѣкъ, что его сосѣдъ ему—жесточайшій врагъ, который при первомъ удобномъ случаѣ съ величайшимъ наслажденіемъ перерветъ ему горло. Но пока до этого момента не дошло, враги съ успѣхомъ фигурируютъ въ пріятной пасторали, благодаря гардеробу «ста ризокъ». Если кто этой эстетикой пропитался, такъ онъ и къ голодному человѣку можетъ не краснѣя обратиться съ такой примѣрно рѣчью: знаю я, братецъ, что ты голоденъ, очень понимаю и сочувствую, вотъ какъ сочувствую; но понимаешь, этакъ некрасиво: ты притворись, что сытъ, напѣвай какойнибудь хорошенькій, веселенькій мотивчикъ, тросточкой помахивай, шляпу чуть-чуть на бокъ посади, и ты тогда увидишь, до какой степени я щедръ, великодушенъ, гостепріименъ.—Вообще до чрезвычайной пошлости и гнусности можно по этой дорожкѣ добѣжать, но все самымъ эстетическимъ манеромъ, такъ что глазу пріятно. Представьте же себѣ теперь людей, которые съ этой эстетикой покончили, сами отрясли прахъ ея отъ ногъ своихъ, да и за другими зорко наблюдають, дабы они не проносили подъ своими ста ризками какой-нибудь контрабанды. Разсуждая по совѣсти и разуму, этихъ людей въ черствости упрекать нельзя, потому что они ищутъ правды, жаждутъ познанія добра и зла и за разъ познанное добро готовы положить душу свою. Но именно этой готовности не замѣтить человѣкъ, воспитанный на упом путой эстетикѣ, а замѣтить ту жесткость, съ которою производится досмотръ ста

ризокъ. Замѣтитъ и скажетъ: какъ сухо, черство! какой скелеть...

Не для того, чтобы трактовать о событіяхъ на Балканскомъ полуостровѣ—куда ужь мнѣ! а только чтобы показать, до чего можетъ простираться наша черствость, я загляну на минутку въ это море убійствъ и благороднѣйшихъ чувствъ, пожаровъ и краснорѣчивѣйшихъ воззваній...

Написалъ нѣсколько строкъ и вычеркнулъ—слишкомъ ужь черство выходитъ, до цензурности черство. А между тѣмъ клянусь вамъ, я желаю побѣды славянамъ сильнѣе и сознательнѣе, чѣмъ тѣ милыя и добрыя дамы, которыя ходятъ съ кружками по вагонамъ желѣзныхъ дорогъ; сильнѣе, сознательнѣе и чище, чѣмъ многіе газетные риторы, которые вдругъ поголовно обратились въ благороднѣйшихъ жрецовъ свободы... Нѣтъ, это въ сторону. Но все-таки для того, чтобы дать вамъ хоть нѣкоторый матеріалъ для сужденія о нашей черствости, я сообщу вамъ попросъ, который теперь неотвязно, мучительно преслѣдуетъ меня. Кругомъ всеобщее возбужденіе. Естественно, что наверхъ всплываютъ тѣ, кто возбужденъ сильнѣе, или умѣетъ казаться сильнѣе возбужденнымъ, или не встрѣчаетъ препятствій для выраженія своего возбужденія—тѣ, однимъ словомъ, кто отъ природы или по обстоятельствамъ голосистѣе. Россія есть прекрасная страна, въ которой однако много прохвостовъ, какъ и во всякой впрочемъ странѣ. Прохвосты тоже всплываютъ наверхъ. И меня чрезвычайно занимаетъ вопросъ: куда всѣ они дѣнутся, когда историческая волна, такъ или иначе, покопчитъ съ турецко-славянскими событіями? Останутся ли они на поверхности, придавая ей свой цвѣтъ и запахъ, или исчезнутъ въ пучинѣ? Вопросъ чрезвычайно черствый и такъ сказать несвоевременный, но все-таки любопытный. Приходилъ онъ вамъ въ голову или нѣтъ, и какъ вы его разрѣшили, если приходилъ,—этого я не знаю. Я только къ тому, что при всей нашей любви, намъ приходятъ иногда въ голову жесткіе вопросы, за что на насъ и косятся. Оно и понятно. Стоитъ человѣкъ на площади и кричить: «ура!» Приходитъ другой человѣкъ и

говорить: кричать-то ты кричи, а дай-ка я пересмотрю твои строки. Жесткий человек, неделикатный человек, энтузиазма и картинности не понимает, мясо сдирает и собственное свое тело в скелет обращает...

Но такие приговоры, если они произносятся прямо и просто, в суд и во осуждение — еще споласоря. А вот, когда они являются с кисло-сладкой приправой сочувствия и сожаления — о, тогда это истинно обидно и противно! Друг — так друг, враг — так враг, но друг-враг или враг-друг, в роду Башкина, это — нечто омерзительное, нечто самым коренным образом противное той жажде правды и познания добра и зла, которою мы живем. Тяжким и скорбным путем достались нам наша вера, наша надежда, наша любовь. Каждая точка этого горького пути есть для нас историческое воспоминание, на столько свящее, что прикасаться к нему надо очень осторожно. Только бездушнейший человек, хоть бы он распрефедот был, может запускать неумные пальцы в зияющую рану...

Вы хотите конечно знать, как все это так вышло. Я с удовольствием удовлетворю вашу любознательность. Не вдруг конечно, не с разу, потому что тема очень обширная, а понемножку и в перемежку. Но мне хочется сделать раз навсегда одну оговорку. Я чрезвычайно благодарен своим читателям, мало того, истинно сконфужен их вниманием. Не раз уж приходило мне в голову, что пора «закрыть форточку», то-есть перестать писать и задавить в себя все, что просится наружу. Я чувствовал свое бессилие. Благодарю тех, кто присылал мне одобряющее и ободряющее слово. Но прошу вас иметь в виду, что за все эти страницы подлежу ответственности только я, мизинный человек Григорий Темкин. Делаю эту оговорку потому, что еще недавно получил письмо, в котором «В перемежку» приписывается одному очень известному и очень талантливому беллетристу. Как ни лестна для меня такая ошибка, но она заставляет думать, что «В перемежку» есть, хотя бы только по замыслу, беллетристическое

произведеііе и должно удовлетворять соотвѣтственнымъ требованіямъ. Между тѣмъ я пишу, какъ Богъ на душу положить, о томъ, что я дѣйствительно видѣлъ, слышалъ, пережилъ и переживаю. Поэтическій талантъ смѣло поднимается надъ дѣйствительностью, а я крѣпко держусь ея, потому что, за отсутствіемъ таланта, только этимъ и могутъ взять.

Теперь много говорятъ о деревнѣ, о мужикѣ, о простомъ русскомъ человѣкѣ. Говорятъ, какъ и всегда, много вѣрнаго и много вздорнаго. Я тоже пережилъ эту штуку и пришелъ къ извѣстнымъ результатамъ. Навязывать ихъ вамъ не буду, сами ужъ разсудите, много ли въ нихъ вѣрнаго и есть ли что-нибудь вздорное, а я вамъ разскажу только нѣчто изъ исторіи моей и Сопиной души, разскажу кое-что (всего не разскажу) изъ того wie, wo und wann, warum mir so geschah.

Послѣ разныхъ передрагъ, которыя я вамъ можетъ быть когда-нибудь разскажу, а можетъ быть и не разскажу, потому что онѣ не особенно любопытны, поселились мы съ Соней на квартирѣ; не отъ жильцовъ, а въ настоящей квартирѣ въ двѣ комнаты, съ прихожей, кухней и хозяйскими дровами. Цереманили съ собой патріархальную Василису, которая безъ памяти полюбила Соню, да и меня жаловала. Соня ежемѣсячно получала, какъ нѣкогда и я, двадцать-пять рублей отъ дяденьки-генерала. Она требовала-было все свои пять тысячъ на одно предпріятіе, о которомъ тоже — потомъ, но дяденька-генераль или, вѣрнѣе, тетенька-генеральна отказала самымъ рѣшительнымъ образомъ. Я перебивался кое-какою работишкой, дешевенькими уроками; иногда корректура попадалась. Обстановка наша была очень неважная, но жилось намъ весело, и русскій Мюрже могъ бы найти много подходящаго матеріала въ нашемъ житьѣ-бытьѣ. Гости у насъ бывали часто: дяденька-нѣмецъ, Бухарцовъ, Башкинъ, Нибушъ, съ которымъ меня судьба опять печально столкнула, еще кое-кто. Соня, тогда еще просто—милый ребенокъ, умный, добрый, веселый и очень впечатлительный, составляла центръ всего нашего общества. Надо быть Тургеневымъ, чтобы изобразить тѣ невидимые радіусы, которые соединяли этотъ

центръ съ каждымъ изъ насъ. Я объ этомъ не помышляю. Надо замѣтить, что, относясь приблизительно одинаково къ своему центру, мы очень разнообразно относились другъ къ другу. Бухарцовъ, кажется, не замѣчалъ людей, то-есть не различалъ ихъ, всѣмъ проповѣдывалъ свои теоріи, со всѣми шутилъ, со всѣми бранился, читалъ намъ систематическія лекціи по естественнымъ наукамъ и только незадолго передъ смертью обратилъ особенное вниманіе на Нибуша. Какіе-то у нихъ тайственные разговоры происходили, куда-то они вмѣстѣ уходили, а возвращались порознь или наоборотъ уходили порознь, а возвращались вмѣстѣ. Нибушъ просто благоговѣлъ передъ Бухарцовымъ и даже нѣсколько боялся его. Онъ любилъ кутнуть, но, будучи навеселѣ, старался не попадаться Бухарцову на глаза. Зато онъ очень не жаловалъ Башкина и всячески старался его уязвить или оборвать, что впрочемъ удавалось рѣдко. Я тоже скоро не влюбилъ Башкина, и, признаться сказать, тутъ кажется ревность замѣшалась. Я ревновалъ Соню. Мнѣ казалось иногда, что элегантнѣй красавецъ слишкомъ пристально на нее смотреть. Въ концѣ концовъ я угадалъ... Самъ Башкинъ былъ со всѣми одинаково холодно-вѣжливъ и охотнѣе всего разговаривалъ объ разныхъ древностяхъ и рѣдкостяхъ съ дяденькой-нѣмцемъ. Тотъ былъ преисполненъ самаго униженнаго почтенія къ нему, а насъ всѣхъ не одобрялъ, особенно Нибуша, которому не могъ простить его вывороченной на изнанку фамиліи, свидѣтельствовавшей о его происхожденіи съ лѣвой стороны.

Скоро у насъ поселился и жилецъ, совсѣмъ впрочемъ особенный. Дѣло такъ происходило. Возвратившись разъ съ урока домой, я съ величайшимъ удивленіемъ увидалъ слѣдующую сцену. Посреди нашей парадной комнаты стояло на двухъ стульяхъ корыто, а въ немъ барахталось и пицало какое-то маленькое существо. Около него возлились, засучивъ рукава, Соня и Василиса, а возлѣ, сложивъ руки и тяжело вздыхая, стояла совершенно незнакомая мнѣ пожилая женщина.

— Соня, что это такое?

михайловскій. т. iv.

19

— Гринна, голубчикъ, возьми тамъ на столѣ рецептъ, сбѣгай въ аптеку, да поскорѣе...

— Да что же это такое? откуда?

— Ахъ, ступай скорѣй; потомъ расскажу...

— Ишь намъ Богъ дитю послалъ,—пояснила Василиса, нагибаясь надъ корытомъ и усиленно работая руками.

Я рѣшительно ничего не понималъ. Даже ни одна догадка не лѣзла въ голову. Оказалось вотъ что. На улицѣ у Соии попросила милостыни женщина съ ребенкомъ на рукахъ. Соию поразили ужасно болѣзненный видъ ребенка: его несоразмѣрно большая голова была покрыта вся и съ лицомъ какой-то безобразной, красной, мѣстами гноящейся коростой. Женщина пояснила, что мальчику уже три года, что онъ былъ здоровъ, ходилъ, говорилъ, но вотъ, съ полгода назадъ, съ нимъ что-то приключилось: сталъ сохнуть, ноги отнялись, говорить пересталъ, а лицо, голова и мѣстами тѣло покрылись коростой. Соия вспомнила объ одномъ знакомомъ дѣтскомъ докторѣ, жившемъ неподалеку, и повела къ нему женщину съ ребенкомъ. Докторъ объяснилъ, что короста, не смотря на свой ужасный видъ,—пустяки: но что у ребенка есть еще такія-то и такія-то (не умѣю ужъ сказать какія) очень серьезныя болѣзни. «Ребенку нуженъ чистый воздухъ, хорошая пища, тщательный уходъ, ванны, заключилъ докторъ. — Ничего этого онъ очевидно не имѣетъ и имѣть не можетъ: значить и лечить его нечего. Пожалуй я попрошу что-нибудь, да что толку-то? онъ все равно больше двухъ недѣль не выживетъ. Вы его чѣмъ кормите-то?» обратился онъ къ женщинѣ. «Что сами, батюшка, ѣдимъ, то и ему». — «Теперь постъ. Значить, и капусту, и рѣдьку, и квасъ?» — «Такъ точно: что сами, то и ему». — «Ну, вотъ,—обратился докторъ къ Соиѣ. — Вы вотъ что, Софья Александровна,—добавилъ онъ шутя:—возьмите-ка мальчишку къ себѣ: я вамъ его въ два мѣсяца такъ выправлю, что и не узнаете». Но Соинина мысль и безъ того уже работала въ этотъ направленіи. А тутъ еще такое сопоставленіе: «больше двухъ недѣль не выживетъ» и «въ два мѣсяца выправлю такъ, что и не узнаете». Соия рѣшила и

просила доктора, изъ дружбы къ ней, заняться мальчикомъ. Докторъ не ожидалъ этого. Онъ сталъ объяснять трудность задачи: ухоть нуженъ самый тщательный, придется ночи не спать, такія дѣти бываютъ невыносимо капризны, и, по мѣрѣ того, какъ у ребенка будутъ прибавляться силы, онъ будетъ первое время еще капризнѣе; наконецъ такихъ дѣтей въ Петербургѣ множество, это—не рѣдкость какая-нибудь; съ чего же именно этотъ будетъ вырвать у смерти? да и зачѣмъ?.. Соня разумѣется ничего этого знать не хотѣла. Она знала только, что ребенокъ или двухъ недѣль не выживетъ, или поправится черезъ два мѣсяца, и что она можетъ повернуть это дѣло и такъ и иначе. Но тутъ встрѣтилось новое затрудненіе. Женищина, носившая ребенка на рукахъ, была ему совсѣмъ чужая. Она была только знакомая его матери и брала его съ собою въ своихъ прогулкахъ по городу, въ качествѣ нищей. Мать же была беременна напоследѣяхъ, она—поденщица, отецъ — фабричный рабочій. Съ ними и надо было уговариваться. Нищая, къ которой ребенокъ очевидно уже привыкъ, изъявила впрочемъ согласіе поселиться у насъ въ качествѣ няньки и даже немедленно отправиться къ намъ на квартиру, предоставляя Сонѣ вѣдаться съ родителями ребенка. На томъ и порѣшили. Все это случилось въ продолженіе тѣхъ трехъ часовъ, когда я шатался по урокамъ.

Разсказывая этотъ случай, я вовсе не думаю ставить его въ какую-нибудь особенную заслугу Сонѣ. Очень знаю, что это — обыкновеннѣйшая изъ обыкновенныхъ исторій, свидѣтельствующая только о впечатлительности и готовности быстро и цѣликомъ отдаться доброму чувству. Не сталъ бы я и огородъ гордить, еслибы только это имѣлъ рассказать вамъ. Не думайте впрочемъ, что по крайней мѣрѣ ниже васъ ждуть яркія событія или геройскіе поступки. Нѣтъ, вся исторія сама по себѣ очень маленькая, по по своему воспитательному значенію, по тому душевному процессу, который она въ насъ возбудила, она очень любопытна.

Родители мальчика жили далеко, на Лиговкѣ. По животрепе-

пущимъ мосткамъ мы прошли въ самую глубь обширнаго, по грязнаго, вонючаго и немощенаго двора и вошли въ какое-то... помѣщеніе. Именно «помѣщеніе», выбираю такое общее названіе, потому что ни на что въ частности «помѣщеніе» не было похоже. Это было что-то въ родѣ довольно большого, полутемнаго сарая, по стѣнамъ котораго и на полу висѣла и лежала мѣстами разная рухлядь. Въ одномъ углу жарко топилась большая русская печка, и около нея суетились, вооруженныя ухватками, двѣ женщины съ засученными рукавами и подоткнутыми подолами. Въ другомъ углу еще одна женщина укачивала ребенка въ зыбкѣ, прикрѣпленной къ шесту, упирающемуся въ потолокъ. Было темно, жарко, душно, угарно. Ребенокъ кричалъ во все горло; женщины дружно, на перебой угощали кого-то отсутствующаго самыми отборными ругательствами. Онѣ съ любопытствомъ на насъ посмотрѣли и точно нарочно долго переспрашивали и тянули отвѣтъ, чтобы имѣть возможность наглядѣться на насъ, въ особенности на Соню. Наконецъ намъ было указано какъ пройти къ Марьѣ — такъ звали искомую мать нашего пріемльща. «Помѣщеніе» оказалось разгороженнымъ на нѣсколько клѣтушекъ, и въ одной изъ нихъ мы нашли Марью. Она лежала на чемъ-то въ родѣ нарѣ и съ трудомъ приподнялась намъ навстрѣчу. Я боюсь впасть въ банальность, описывая вамъ страшную худобу, блѣдность, что называется ни кровинки въ лицѣ, заострившійся носъ и синіе круги вокругъ огромныхъ, точно разодранныхъ глазъ этой женщины. Все это такъ знакомо, по крайней мѣрѣ по описаніямъ искусныхъ романистовъ. Знакомо и сине-багровое пятно на одной скулѣ—слѣдъ чьего-то кулака, и безобразно поднявшійся кверху животъ, вслѣдствіе чего спереди платье высоко обнажало опухлыя и грязныя ноги. Но знать по описанію—не то, что видѣть живьемъ. Я въ первый разъ въ жизни встрѣчалъ такъ близко такую почти буквально непокрытую бѣдность и былъ пораженъ. Но въ особенности поразила меня одна подробность. Въ клѣтушкѣ не было рѣшительно ничего такого, что показывало бы, что тутъ живутъ люди и удовлетворяютъ хотя бы самымъ начальнымъ своимъ потребно-

стямъ въ родѣ пици и одежды -- ни стоптаннаго башмака, ни обглоданной корки хлѣба, ни задрипанной юбки, ни салышай свѣчки, ничего, ничего, кромѣ... кофейника! Старый, сильно погнутой и грязный жестяной кофейникъ стоялъ на окнѣ и не то сиротливо, не то гордо поглядывалъ на окружавшее его отсутствіе всякаго присутствія. Перебирая теперь всю эту исторію, я вынужденъ припоминать, то-есть дѣлать нѣкоторыя умственные усиія. Самый образъ испитой Марьи уже значительно ступившая въ моей памяти, но этотъ неожиданный, невозможный, невѣроятный кофейникъ и до сихъ поръ стоитъ передо мной такъ ясно, что я почти готовъ протянуть руку и пощупать его. Чѣмъ онъ такъ поражалъ, я хорошенько не знаю: должно быть именно своею единственностью, но смотрѣть на него было поистинѣ ужасно и вмѣстѣ съ тѣмъ почти смѣшно. Можетъ быть впечатлѣніе это уяснится вамъ сравненіемъ. Много лѣтъ спустя послѣ исторіи съ приѣмшемъ, мнѣ попалась въ руки опись подлежащаго продажѣ имущества крестьянъ-недоимщиковъ одной волости. Въ одной графѣ вереницей слѣдовали другъ за другомъ Петры Ивановы и Иваны Петровы, а въ другой—противъ каждаго имени выписано было его имущество. У кого корова, у кого двѣ, у кого лошадь, строеніе, у кого что, но нашелся одинъ такой трагикомическій Антонъ Бѣлоноговъ, противъ имени котораго было четкою писарскою рукою написано: «пенджакъ». Антонъ Бѣлоноговъ—пенджакъ, и больше ничего. Ни дома, ни гуся, ни вола, ни осла, а такъ какое-то безвоздушное пространство и въ немъ болтается «пенджакъ»... Замѣтьте, что описъ эту я видѣлъ не въ Петербургской или Московской губерніи, а въ довольно глубокой провинціи, такъ что цивилизованный обликъ «пенджака» получалъ еще особенную пикантность. Я не могъ, глядя на него, удержаться отъ смѣха, но еслибы я его видѣлъ такъ же близко, какъ Марьянъ кофейникъ, такъ можетъ быть и не до смѣха было бы.

Оба жильца клятущики, Марья и ея кофейникъ, встрѣтили насъ сначала не то что холодно, а какъ-то тупо. Шли мы довольно храбро, и хоть кой-какія сомнѣнія насчетъ успѣшности

предпріятія шевелились въ моей головѣ, но я не хотѣлъ разочаровывать Сою. А она ни малѣйше не сомнѣвалась.

— Я ничего не буду говорить, ничего не буду просить, говорила она съ спокойствіемъ человѣка, идущаго взять вещь, имъ самимъ положенную въ извѣстное мѣсто:—я передамъ только какъ докторъ сказалъ: или черезъ двѣ недѣли умереть, или черезъ два мѣсяца поправится...

Но вся обстановка Марьи, со включеніемъ кофейника и синебагроваго пятна на ея скуль, насъ сильно смутила, и должно быть мы не особенно толково изложили свою петицію. Во всякомъ случаѣ, по нашей ли винѣ, отъ неожиданности ли предложенія, или по природной тупости, но Марья довольно долго не могла взять дѣло въ толкъ. Во время переговоровъ въ клѣткѣ мало-по-малу набрались и остальные обитатели «помѣщенія», собственно тѣ три женщины, которыя насъ встрѣтили. Одна изъ нихъ явилась съ ребенкомъ на рукахъ, вѣроятно отчаявшись въ возможности укачать его въ зыбкѣ. Это была самая бойкая. Она сразу поняла, въ чемъ дѣло и какого мы полета птицы.

— Чего призадумалась, Марья? говорила она, энергически жуя хлѣбъ и еще болѣе энергически выправляя пальцемъ жеванину въ ротъ ребенка. — Чего думать? Ишь, господа добрые. Недолго тебѣ ждать-то — гляди, можетъ и сегодня въ вечеру экого же родишь. Не въ Сибирь ссылаешь, не на вѣкъ. Я бы свою Анютку и на вѣкъ отдала. Хочешь къ господамъ, Анютка? Возьмите и мою...

Анютка заревѣла.

— У-у дура!..

Марья колебалась.

— Я что-жъ?.. намаялась я съ нимъ... Вы не обидите... Только, вотъ, Никаноръ Петровичъ какъ... Безъ его нельзя...

— Это кто же, Никаноръ Петровичъ?

— Мужъ ейный, — пояснила энергическая баба, — гулена... загулялъ, вотъ ужь никакъ недѣли съ двѣ: придетъ пьяный, да и уйдетъ не тверезый. Да онъ что! онъ Бога молить долженъ...

Какъ ни какъ, Марья сдалась и, какъ только сдалась, такъ и разсыпалась въ благодарностяхъ, и залилась слезами. Вмѣстѣ съ тѣмъ разогрѣлся и кофейникъ: онъ пожелалъ насъ угостить изъ своей утробы. Не онъ собственно, а Марья, и даже не сама Марья, а энергическая баба, напомнившая ей объ обязанности гостепріимства. Мы отказались подъ тѣмъ предлогомъ, что некогда. Да оно и въ самомъ дѣлѣ некогда было: надо было торопиться домой, чтобы мыть, мазать, кормить и проч. ребенка. Порѣшили мы на томъ, что Ванюшка остается пока у насъ, а тамъ — какъ Никаноръ Петровичъ скажетъ, когда свой загулъ кончить.

Выбравшись, напутствуемые всяческими благодареніями и пожеланіями, довольно впрочемъ въ сущности холодными и какъ бы сказать казенными, форменными, на улицу, мы вдругъ Богъ знаетъ по какому побужденію обіялись. Соня тихо плакала; у меня тоже что-то въ горлѣ саднѣло. То было впрочемъ не непріятное чувство, во всякомъ случаѣ очень сложное. Психологъ нашелъ бы тутъ и радость успѣха, и нѣкоторое самодовольство, и можетъ быть то чувство, о которомъ говоритъ кажется Лукрецій: чувство удовольствія наблюдать съ безопаснаго берега бурю, которая топить корабли и людей. Намъ было хорошо, мы были хороши. Наша плохонькая, но все-таки уютная квартира такъ выигрывала отъ сравненія съ клѣтупшкой Марьи и со всѣмъ «помѣщеніемъ». Наши чувства, несомнѣнно добрыя и налаженные выше обычнаго строя, казались еще выше рядомъ съ грубымъ юморомъ энергической бабы и тупостью Марьи, такъ быстро согласившейся отдать намъ свое дѣтище. Конечно мы себя не разбирали, не анализировали, что у насъ тамъ въ душѣ копошится. Мы были просто довольны собой... Соня сіяла. Теперь она уже рѣшила подъ вліяніемъ успѣха, что Ванюшка останется у насъ навсегда, что мы изъ него сдѣлаемъ какого-то совершенно необыкновеннаго человѣка, и Богъ знаетъ еще какого милаго вздора наговорила она мнѣ, пока мы тряслись на извозчичьихъ дрожкахъ до дома.

Начались у насъ новые порядки, и любопытно было видѣть,

какъ относился къ нимъ весь нашъ кружокъ. Соня вся отда-лась ребенку, цѣлый день съ нимъ возилась, самымъ педанти-ческимъ образомъ исполняя все приказанія доктора, не спала ночей. Ребенокъ былъ дѣйствительно очень капризенъ. При ма-лѣйшемъ отказѣ въ какомъ-нибудь его требованіи, онъ сердито сжималъ свои худенькія, высохшія, какъ плети, ручки въ кулаки и какъ-то злобно мычалъ, оглядываясь по сторонамъ, точно пойманный звѣрокъ. Но и онъ полюбилъ Соню. Василиса ворчала напрапалую, но дѣла дѣлала не меньше, а даже больше Сони. Нищая-няшка только выносила Ванюшку гулять, а все остальное время спала и ѣла съ нечеловѣческой жадностью, точно стараясь на будущее время наѣсться. Даденька-нѣмецъ совсѣмъ пересталъ къ намъ ходить. Башкинъ тоже сталъ быть гораздо рѣже и относился къ безобразному большому ре-бенку, ко всемъ мазямъ, притираньямъ, лекалствамъ и ваннамъ, которыми такъ сказать переполнилась наша квартира, съ ви-димой гадливостью. Онъ впрочемъ старался скрыть это. Бу-харцовъ объявилъ, что, въ случаѣ понадобятся деньги, такъ чтобы къ нему обращались, хотя собственно у него по обыкно-венію не было ни копѣйки. Нибушъ сталъ аккуратно являться въ тѣ часы, когда я уходилъ на уроки, и съ величайшею го-товностью бѣгалъ и въ лавочку за отрубями для ванны, и въ аптеку за лекарствомъ, и даже готовилъ, въ случаѣ надобности, вмѣсто Василисы обѣды.

Расходы были большіе. Нужны были новые источники дохо-довъ. Соня написала дяденькѣ-генералу письмо, въ которомъ имѣла неосторожность изложить всю исторію съ полной точ-ностью, съ просьбой о присылкѣ денегъ за четыре мѣсяца впе-редъ. Отвѣтъ былъ написанъ самой генеральшей Темкиной. Она рѣшительно отказывала, ссылаясь на свою обязанность беречь Сонино «приданое», которое дескать этакъ не замедлитъ пойти прахомъ и которое ей понадобится для ея дѣтей по выходѣ замужъ. Не помню ужъ, какъ была сформулирована эта послѣд-няя мысль, но фраза вышла язвительная и двусмысленная: злая баба, не смотря на весь свой либерализмъ, притворилась, что

не вѣрять разсказу о пріемшиѣ, которому уже три года; она намекала, что это сынъ самой Сои. Соня только разсмѣялась. Принялись мы искать работы, то-есть я, Соня и Нибуштъ. Какъ мы ея искали, разскажу въ другой разъ, потому что это весьма поучительно. Теперь разскажу только, что поиски наши успѣхомъ не увѣнчались. Намъ выручалъ Бухарцовъ, добывавшій деньги, не знаю ужъ какими путями, въ совершенномъ для насъ изобиліи.

Прошла недѣля, прошла другая. Мальчикъ видимо и чрезвычайно быстро поправлялся. Можетъ быть это только такъ казалось, потому что быстро спадала безобразная короста, но и вообще всѣмъ ходомъ леченія докторъ былъ очень доволенъ. Посылали мы разъ нищую-няньку на Лиговку справиться, какъ тамъ идутъ дѣла. Оказалось, что Марья родила мертвого и лежитъ хвора, а Никаноръ Петровичъ все еще гуляетъ. Прошла еще недѣля, и Никаноръ Петровичъ наконецъ явился. Пришелъ онъ въ отсутствіе мальчика — Соня и нянька повели его гулять. Никаноръ Петровичъ, типическій безпутный фабричный, маленькій, тщедушный, что называется, плюнуть и растереть, явился сильно на веселѣ. Отъ предложеннаго ему стула онъ отказался, прислонился, заложивъ руки за спину, къ дверному косяку и не безъ граціи перекинулъ ногу за ногу.

— У васъ находится мой сынъ Иванъ, — началъ онъ, пошатнувшись и замолчалъ.

— Паширосочку, Никаноръ Петровичъ, — нашелся Нибуштъ.

Никаноръ Петровичъ закурилъ и сѣлъ.

— У васъ находится мой сынъ Иванъ, — началъ онъ опять видимо приготовленную рѣчь. — Какъ я есть отецъ... на какомъ основаніи? Съ супругой моей вы уговоръ имѣли, но, какъ я есть отецъ...

— Позвольте, Никаноръ Петровичъ, мы съ супругой вашей никакого уговора не имѣли, потому что она безъ васъ не рѣшалась. Вотъ теперь и будемъ говорить; мы васъ давно ждали. Вамъ вѣдь вѣрно сообщала Марья, что докторъ сказалъ...

— Господинъ докторъ сказали, будто отъ капусты напри-

мѣръ и рѣдки... нездоровье... Ну, какъ мы можемъ заработать, между прочимъ, больше капусты, то позвольте спросить, на какомъ основаніи находитесь у васъ мой сынъ Иванъ?

Никаноръ Петровичъ строго и торжественно смотрѣлъ на меня своими запыльными, мутными глазами. Я терялся.

— Да помиуйте, Никаноръ Петровичъ, какое же тутъ основаніе? Безъ всякаго основанія. Просто, ему у насъ лучше— вотъ и лекарства, и все...

Меня выручилъ Нибушъ.

— Знаете что, Никаноръ Петровичъ,—перебилъ онъ мою рѣчь:—господинъ Темкинъ теперь запялъ: нельзя ли до другого раза? до завтра къ примѣру, а?

— Какъ я есть отецъ...

— Я понимаю, Никаноръ Петровичъ, понимаю... Да мы вотъ какъ... Тутъ сейчасъ рядомъ трактиръ есть, такъ мы туда. Объ этакомъ дѣлѣ надо честь честью. Мы переговоримъ съ вами теперь, я и передамъ господину Темкину какъ и что. А потомъ ужъ у васъ окончательные разговоры съ нимъ будутъ.

— Ежели съ благороднымъ человѣкомъ, на благородномъ напримѣръ основаніи...

Они ушли. Нибушъ очевидно торопился увести Никанора Петровича до прихода Сони, и я былъ ему за это глубоко благодаренъ. Но вѣдь это—только отсрочка. Въ строгомъ и торжественномъ тонѣ Никанора Петровича было что-то зловѣщее. Онъ что-то слишкомъ напиралъ на то, что онъ отецъ, то-есть владыка этого маленькаго, больнаго, безпомощнаго созданія. Я не скрывалъ своихъ опасеній отъ Сони, когда она вернулась. Она сильно встревожилась. Сталъ собираться народъ: сначала Башкинъ, потомъ Бухарцовъ. Башкинъ объяснилъ таинственную фразу Никанора Петровича «на какомъ основаніи?» въ томъ смыслѣ, что онъ «желаетъ получить нѣкоторое вознагражденіе за удовольствие видѣть своего сына здоровымъ и сытымъ». Онъ совѣтовалъ или немедленно разстаться съ Ваней и вообще бросить всю эту загѣбу, или же заключить съ Никаноромъ Петровичемъ какое-нибудь формальное условіе. Бухарцовъ предлагалъ

смѣлый планъ: увезти мальчика примѣрно на годъ куда-нибудь въ провинцію, а тамъ—что Богъ дастъ. Мы съ нетерпѣніемъ ждали Нибуша. Но онъ пришелъ очень поздно и — уввы! совершенно пьяный. Кое-какъ сумѣлъ онъ сообщить только, что Никаноръ Петровичъ «скотина» и что его слѣдуетъ остерегаться.

Развязка не заставила себя ждать. Дня черезъ три, въ отсутствіе мое и Соши, Никаноръ Петровичъ взялъ мальчика, уведя съ собою и нищую-няньку. Василиса пробовала-было протестовать, но онъ грозилъ полиціей, вытребовалъ дворника и побѣдилъ. Когда мы вернулись, мы застали только Василису, горько плакавшую надъ развалинами гнѣзда, свитаго было для Ваши. Сося, измученная бессонными ночами и дневными тревогами, усѣвшая вдобавокъ уже сильно привязаться къ мальчику, въ которомъ видѣла отчасти какъ бы свое созданіе, слегла и прохворала мѣсяць. За это время я побывалъ на Лиговкѣ, но Никанора Петровича не засталъ, а Марья съ новыми сине-багровыми иллюстраціями на лицѣ только охала и безсилно махала руками. Мальчикъ, какъ я гораздо позже случайно узналъ, умеръ...

Увѣрю васъ, что въ этомъ бѣгломъ очеркѣ я не прибавилъ къ дѣйствительности ни единого украшенія отъ себя. Все было именно такъ, какъ сказано. Марья дѣйствительно чрезвычайно быстро согласилась отдать намъ мальчика. Никаноръ Петровичъ дѣйствительно взялъ его назадъ, по причинамъ, которыя такъ и не выяснились. Сомнѣваюсь, чтобы въ немъ говорила любовь къ сыну. Если же и жила въ немъ та инстинктивная привязанность къ своему порожденію, которая у звѣрей едва ли не сильнѣе, чѣмъ у человѣка, то она во всякомъ случаѣ тонула въ болѣе или менѣе постороннихъ чувствахъ, въ своего рода требованіяхъ приличія, въ гордости, въ самодурствѣ. Это я подчеркиваю, то-есть тупость Марьи и свиство Никанора Петровича. И еще подчеркиваю вотъ что: мы въ этой исторіи были совершенно чисты, если не считать печистью нѣкоторое самодоволь-

ство, достигавшее иногда, я долженъ откровенно признаться, нѣсколько чрезмѣрной напряженности. Тѣмъ не мнѣе, именно этотъ случай, какъ я теперь, оглядываясь назадъ, ясно вижу, положилъ мнѣ въ душу зерно теперешняго моего отношенія къ дѣламъ сего міра. А оно удивительно отличается отъ того наивно-радужнаго настроенія, въ которомъ мы возвращались съ Соцей съ Лиговки домой. Совѣсть, спокойная какъ зеркало, въ которое я любовался на себя какъ Нарцисъ, — гдѣ она?! Ея нѣтъ: она быльемъ поросла, она замѣнилась мучительнымъ процессомъ покаянія, хотя я ничего дурнаго въ легальномъ смыслѣ не сдѣлалъ. Того скрыто-презрительнаго, неопредѣленно-снисходительнаго отношенія къ мрачнымъ обитателямъ мрачнаго помѣщенія на Лиговкѣ — тоже и въ поминѣ нѣтъ. Оно смѣнилось почти завистью, хотя я очень хорошо знаю, что Марья — тушица, Никаноръ Петровичъ — свинья, а одинокій кофейникъ большихъ радостей въ жизни не дастъ. Это — штука чрезвычайно тонкая, и я не боюсь васъ обидѣть предположеніемъ, что вы ее можете быть не поймете, если разумѣется не пережили на своей собственной шкурѣ. Всякій нарождающійся общественно-психологическій процессъ кажется сначала чрезвычайно запутаннымъ и неяснымъ, такъ что трудно даже формулировать его, рассказать словами.

Когда сравниваютъ теперешнее состояніе русскаго общества съ нѣкоторыми предшествовавшими блестящими періодами, то обыкновенно почти отплевываются и говорятъ: вотъ была жизнь, вотъ когда люди жили, а теперь что? тьфу! Что въ такъ называемомъ интеллигентномъ обществѣ, наполняющемъ собой авансцену, господствуютъ или чисто утробная жизнь, или полифѣйшая скука и апатія, это — такъ. Но что кроется въ обществѣ и жизнь настоящая, глубокая — это тоже вѣрно. Представители этой жизни — зачѣмъ скрытничать? — мы. Смѣйтесь пожалуй, если хотите; но, по известной поговоркѣ, справедливо смѣется только послѣдній. Много есть тому признаковъ и документовъ; я приведу только два. Во первыхъ — самоубійства. Смерть, какъ признакъ и доказательство жизни, можетъ намъ показаться па-

радосомъ, но когда я вамъ въ свое время расскажу какъ и что, такъ вы увидите. Во вторыхъ литературные толки о народѣ. Разбирать, какъ, почему, что и кто говорить на эту тему— не мое дѣло. Я знаю только, что говорятъ. На что ужъ «Вѣстникъ Европы», ежемѣсячный покойникъ въ желто-красномъ гробу съ виньеткой Шарлеманя, и тотъ заговорилъ. Это наша мысль, наша жизнь, наша кровь въ ходъ пошла. И увѣряю васъ, что эта жизнь ничѣмъ не хуже жизни лучшихъ представителей русскаго общества прежнихъ временъ. Я рѣшаюсь даже сказать, что она глубже, по той простой причинѣ, что исторія идетъ впередъ и вопросы, иѣкогда только памѣченные, ставитъ передъ сознаниемъ и совѣстью во всей ихъ наготѣ, такъ что увертываться отъ нихъ или иѣтъ возможности, или не является желанія. Обратите пожалуйста вниманіе на оба эти пункта: возможность и желаніе. Это очень важно. Въ моей жизни былъ одинъ довольно-таки тягостный періодъ, когда я могъ только размышлять. Это время я употребилъ на соображеніе разныхъ историческихъ параллелей и сравненій и пришелъ между прочимъ къ такому результату, что всякій общественно-психологическій процессъ, имѣющій будущность, производится двумя силами: чисто матеріальною, непреоборимую невозможностью для людей не поступать извѣстнымъ образомъ и силою духовною, сознаниемъ правоты, справедливости такого образа дѣятельности. Ну-съ, такъ вотъ въ нашемъ дѣлѣ оба эти пункта есть налицо. Первый пунктъ, силу матеріальную, неумолимый, прямо сказать, голосъ желудка, составляющій прямое послѣдствіе измѣненія орловскаго пейзажа, вы увидите, надѣюсь, съ достаточною ясностью, когда я вамъ расскажу, какъ мы съ Соней и Нибушемъ искали работы. А теперь о силѣ духовной, о голосѣ совѣсти.

Съ годъ тому назадъ я перечитывалъ одну старую, но превосходную русскую книгу. Меня поразила въ ней слѣдующій эпизодъ. Бесѣдуютъ лучшие представители сороковыхъ годовъ, умные, остроумные, образованные, полные гуманнѣйшихъ чувствъ и благороднѣйшихъ стремленій. Блескъ, шумъ, остроты, жизнь кипитъ. Между прочимъ, одинъ изъ собесѣдниковъ затрогиваетъ

какую-то тему въ родѣ «діалектическаго процесса саморазвивающейся идеи»—не помню ужъ въ точности. Другой собесѣдникъ блѣднѣетъ и проситъ перестать. Нѣсколько колкихъ фразъ, и затѣмъ разговоръ прекращается. Авторъ, видимо взволнованный, въ глубоко-прочувствованныхъ выраженіяхъ, говоритъ, что собесѣдники поняли, что они чужіе и что у каждаго изъ нихъ что-то съ болью оторвалось отъ сердца.— Я понимаю историческую законность подобныхъ явленій, по такъ, со стороны, отвлекаясь отъ исторической точки зрѣнія, мнѣ, признаюсь, чудно, что люди вкладывали столько души въ споры о діалектическомъ процессѣ саморазвивающейся идеи. (Знаю, что подлежу за это уличенію въ черствости,—ну, и пусть). Сообщилъ я это впечатлѣніе одному пріятелю. Онъ не согласился со мной. «Какъ ни какъ, сказалъ онъ:—а люди жили; а теперь что? тьфу!» Дѣйствительно теперь что? Мнѣ случалось бывать въ одномъ кружкѣ очень милыхъ людей. Тутъ было нѣсколько писателей, художниковъ, студентовъ, нѣсколько соответственныхъ дамъ. Такъ какъ это были люди вполне порядочные, то тутъ не было ни дикаго пьянства, ни какихъ-нибудь другихъ безобразій, ни даже мужскаго заигрыванія съ женскимъ кокетствомъ. И было большею частью томительно. Кое-кого вывозилъ темпераментъ, кое-гдѣ по временамъ завязывались бесѣды, иногда очень остроумныя и оживленныя, но въ цѣломъ далеко не было того горячаго тона, который сквозитъ напримѣръ въ упомянутомъ разговорѣ о размовкѣ изъ-за діалектическаго процесса саморазвивающейся идеи. Выручало какое-нибудь вишнее возбужденіе, въ родѣ стакана вина или музыки. Отчего это? Отчего! Да отъ всего, отъ всякой мелочи. Отчего! Уже конечно, не отъ недостатка жизни, а только отъ невыясненности нарождающагося общественно-психологическаго процесса. Насколько я успѣлъ присмотрѣться къ этимъ людямъ, насколько я знаю ихъ общественное положеніе, неумолимая жизнь загнала ихъ всѣхъ въ одинъ и тотъ же приблизительно кругъ убѣжденій и чувствъ. Діалектическій процессъ саморазвивающейся идеи для нихъ выѣденнаго яйца не стоитъ, а не то что какого-нибудь серъез-

наго волненія. Въ томъ, что къ нимъ ближе, они во всемъ существенномъ согласны. Такъ что та форма обмѣна мыслей, которая называется споромъ, здѣсь рѣдко можетъ имѣть мѣсто. А тутъ еще ежечасно вторгаются разныя житейскія мелочи, заставляющія прикусить ихъ языкъ. Извольте напримѣръ взглянуть на такую мелочь — одну изъ тысячи. Кухарка вноситъ самоваръ. Отъ тяжести и чтобы защитить лицо отъ пара, она откинулась немного назадъ и въ сторону; лицо ея отъ натуги покраснѣло и искривилось. Всѣмъ присутствующимъ извѣстно, что кухарка продѣлываетъ эту операцію по нѣскольку разъ въ день и еще множество другихъ за шесть, за семь цѣлковыхъ въ мѣсяць. Но кромѣ того всѣмъ присутствующимъ, какъ людямъ образованнымъ и благомыслящимъ, очень хорошо извѣстна та политико-экономическая истина, что трудъ есть мѣрило цѣнностей и что обмѣнъ услугъ справедливъ только при условіи равенства. Выходитъ такого рода противорѣчіе между мыслью и жизнью, что людямъ поневолѣ становится другъ друга совѣстно. Пока имѣлъ цѣну вопросъ о діалектическомъ процессѣ саморазвивающейся идеи и тому подобныя вещи, они играли роль мушки или горчичника: оттягивали вниманіе даже благороднѣйшихъ людей отъ ежечасныхъ противорѣчій, въ которыхъ они стояли. Но теперь поневолѣ приходится снимать одна за другою всѣ «сто ризокъ» и имѣть дѣло съ тою обнаженностью, которая такъ не правится Банкину и ему подобнымъ друзьямъ красоты.

Прибавьте еще, что, заявляя объ этомъ противодѣіи, рискуешь показаться смѣшнымъ, какъ рискую въ эту минуту я. Но я ужъ на то пошелъ. Я безбоязненно встрѣчаю улыбку на вашемъ лицѣ. Вы вспоминаете юмористическій рассказъ объ икрѣ, которую лучше бы не ѣсть, а продать и деньги отдать бѣднымъ. Нѣтъ, то — филантропія и довольно глупая филантропія, а я о собственной шкурѣ хлопочу: *мнѣ* тяжело. Поимите ради Христа крайнюю серьезность и даже трагичность этого положенія. Мнѣ подвернулась подъ руку мелочь. Я могъ бы поговорить и о болѣе крупныхъ вещахъ... но не поговорю. Да

вѣдь и мелочи, оставляя каждая на душѣ чуть-чуть замѣтный слѣдъ горечи, въ суммѣ могутъ просто отравить жизнь. При томъ каждая такая мелочь можетъ иногда и сама по себѣ вырасти до чрезвычайно большихъ размѣровъ.

Позвольте рассказать вамъ случай именно съ кухаркой. Вы уже имѣете понятіе о Василисѣ: простая, милѣйшая баба, немного ворчунья, очень привязанная къ Сонѣ и ко мнѣ. Между прочимъ она особенно часто ворчала на насъ за хозяйственную беспорядочность. Хозяйство наше было въ самомъ дѣлѣ невелико и необильно, но порядка въ немъ было мало. Соня пробовала было заводить приходо-расходную книгу, но убѣдилась, что отъ этого ни тепло, ни холодно. Иногда мы въ своемъ родѣ роскошествовали, а иногда сидѣли что называется на экваторѣ, закладывали вещи, должали въ лавки и за квартиру. Василиса намъ строго за это выговаривала и называла въ чисто-ругательномъ смыслѣ «барчатами» и «шалопутами». Однажды мы и сами замѣтили, что сахаръ у насъ чрезвычайно быстро выходитъ (простите, что я все съ такими мелочами), но только поговорили объ этомъ, такъ сказать, констатировали фактъ. Представьте же себѣ наше изумленіе, когда мы разъ застали на мѣстѣ преступленія похищенія сахара никого иного, какъ нашего строгаго ментора — Василису! Она сидѣла задомъ къ намъ на корточкахъ передъ большой жестяной и выгребала изъ нея сахаръ къ себѣ въ передникъ.

— Василиса, что ты дѣлаешь?

Василиса быстро обернулась съ испуганно-озлобленнымъ лицомъ (я только два раза въ жизни и видѣлъ такія лица). Потомъ вдругъ что-то необычайно наглое мелькнуло у нея на лицѣ. Она поднялась, съ грохотомъ опорожнила передникъ и просто крикнула:

— Что дѣлаю! сахаръ ворую!

Мнѣ еще недавно вспомнился этотъ крикъ, когда я прочелъ въ газетахъ отвѣтъ одного крестьянина-подсудимаго на вопросъ предсѣдателя, чѣмъ онъ занимается: «прежде хлѣбопашествомъ занимались, а теперь кражами занимаемся». Но это было дол-

жно быть сказано совершенно спокойнымъ тономъ, да и вообще совсѣмъ другой смыслъ имѣло. Мнѣ припомнилось только сходство выраженій. Съ искаженнымъ отъ злобы лицомъ, вся красная, съ рыданіями, Василиса прокричала намъ грозную филиппику. Я боюсь испортить передачей дикую энергію этой рѣчи и передамъ только ея содержаніе. Василиса винила насъ за то, что у насъ все открыто и отперто, что мы, «барчата», сдѣлали ее воровкой, чѣмъ она съ роду не бывала, что мы «бѣднаго человѣка погубили». Все это сопровождалось сильной жестикуляціей, рыданіями и завершилось объявленіемъ, что она, Василиса, не хочетъ жить въ такомъ «проклятомъ домѣ» и требуетъ расчета. Мы были совершенно поражены и не нашли ни одного слова для отвѣта. Никакой собственно вины мы за собой не знали, а между тѣмъ въ каждомъ словѣ, въ каждомъ жестѣ разъяренной Василисы сквозило полиѣйшее сознаніе ея правоты. Ея бранная рѣчь была до такой степени убѣдительна, не логичностью своею разумѣется, а пыломъ, свидѣтельствовавшимъ о ея невинности и нашей виновности, что въ глубинѣ души мы *должны* были сказать: виноваты. Я не знаю, чѣмъ мы были виноваты; знаю даже, что лично мы не были виноваты. Но знаю тоже вотъ что: если воръ, пойманный вами съ поличнымъ, не отрицается, не оправдывается, а вамъ самимъ бросаетъ въ лицо обвиненіе, и если вы чувствуете, что есть что-то въ его словахъ вѣрное, такъ надо бѣжать изъ этой комбинаціи условій. А какъ бѣжать? Куда бѣжать?

Василиса прошла къ себѣ въ кухню, и долго мы слышали ея всхлипыванія и какой-то шорохъ: это она укладывала свои вещи. Мы молча разошлись по своимъ кроватямъ. Долго я ворочался, но наконецъ заснулъ. Меня разбудила Соня со свѣчкой въ рукѣ.

— Хочешь, Гриша, кофею?

— Какой кофе ночью? Ты съ ума сошла, Соня.

— Вставай, пойдемъ, мы съ Василисой пьемъ, помирились.

Я всталъ. Дѣйствительно Василиса съ Соней сидѣли около самовара и кофейника и какъ ни въ чемъ не бывало разгова-

ривали о томъ, что надо бы дровъ завтра же купить, потому что совсѣмъ мало осталось. Василиса, еще красная и со слѣдами слезъ, была совершенно спокойна, только какъ-то еще любовнѣе прежняго относилась къ Сонѣ. Что у нихъ тамъ было, какъ произошло примиреніе — я никогда не могъ узнать. На мои разспросы Соня всегда отвѣчала: «очень просто — я къ ней пришла, и мы помирились». Съ этихъ поръ обѣ женщины стали закадычными пріятельницами, не смотря на разницу лѣтъ. И когда впоследствии Соня исчезла, исчезла съ нею и Василиса...

Но это я очень далеко впередъ забѣжалъ. Много воды утекло между исторіей неудавшагося пріемыша и уличеніемъ Василисы въ воровствѣ. Много радостей и горестей улеглось въ этотъ промежутокъ времени, и многое еще мнѣ надо вамъ рассказать, чтобы вамъ стали понятны наши чувства и послѣдній крупный случай въ нашей жизни: исчезновеніе Сони...

Извините, что плохо рассказываю.

V.

Дяденька-нѣмецъ все старѣлъ и глупѣлъ. Дѣла его шли плохо, потому что, какъ на моихъ глазахъ, въ самый день открытія его *Antiquitäten-Handlung*, такъ и впоследствии, онъ очень охотно покупалъ древности и очень неохотно продавалъ. Столько у него наконецъ всего этого хлама скопилось, что надо было другой магазинъ нанимать, побольше. А это опять денегъ стоило. Онъ уже перебралъ у Сони тысячи полторы, которыя она съ большимъ трудомъ вытянула у дяденьки-генерала. Но все это валилось, какъ въ бездонную бочку. Дяденька-нѣмецъ, хоть и смутно, но самъ понималъ, что его торговля — только одинъ разговоръ, но отстать отъ своей системы не могъ и только, какъ не совсѣмъ понятливая, но все-таки чувствующая свою провинность собачка, какъ-то усиленно лебезилъ передъ Соней. Право, мнѣ иногда казалось, что у него подъ фалдами спрятанъ малень-

кѣи, облѣзлый хвостъ, какой у старыхъ собакъ бываетъ, и онъ имъ помахиваетъ, умильно глядя на Сою. Жалкій совѣтъ старикъ сталъ. Между прочимъ онъ рѣшилъ пріискать Соинѣ жениха, хорошаго жениха, достойнаго подать руку Темкиной, которая, еслибы захотѣлъ отецъ, могла быть княжной Темкиной-Ростовской. Онъ смотрѣлъ на это даже какъ на свою обязанность передъ «фамиліей», потому что генералъ Темкинъ отъ насъ отступился и онъ, Карлъ Карловичъ Финеръ, остается нашимъ единственнымъ покровителемъ. Было это иногда очень забавно, а иногда ужъ глупо очень. Довольно того, что разъ онъ вступилъ въ переговоры съ грязной свахой, а въ другой разъ, не смотря на всѣ свои генеалогическія и геральдическія познанія, повѣрилъ какому-то—не знаю ужъ—проходимцу или путнику, что онъ—князь Сварожичъ и происходитъ по прямой линіи отъ языческаго славянскаго бога.

По поводу этого удивительнаго князя Сварожича и нѣкоторыхъ другихъ штукъ дяденьки-нѣмца въ томъ же нелѣпномъ родѣ, у насъ часто происходили шутки, смѣхи. Но разъ Соиня—надоѣло ей это, что ли?—серьезно попросила дяденьку не беспокоиться, потому что она замужъ никогда не выйдетъ «ни за князя Сварожича, ни за графа Сквородкина и вообще ни за кого». Она именно такъ сказала. Фраза—самая обыкновенная и очень мало остроумная, потому что ни о какомъ графѣ Сквородкинѣ и рѣчи не было. Но я запомнилъ эти слова, потому что сказаны они были какимъ-то очень ужъ серьезнымъ тономъ. Въ тотъ же день оказалось, что не я одинъ обратилъ на нихъ вниманіе. Дяденька очень хитро улыбнулся и объявилъ, что «тутъ вотъ теперича всегда такъ дѣвушки говорятъ». Однако—не настанвалъ. Разговоръ этотъ происходилъ въ дяденькинѣ магазинѣ. Башкинъ тутъ былъ и Нибушъ. Вышли мы вчетверомъ Поию: чудесный весенній вечеръ былъ. Даже на набережной Екатерининскаго канала, по которой нашъ путь лежалъ, такъ и то хорошо было. Ледъ прошелъ ужъ, тепло, какія-то пары, прислонившись къ забору набережной, таинственно шепчутся... Однимъ словомъ, весна.

— Послушайте, Софья Александровна, сказалъ вдругъ Башкинъ:—а вѣдь дяденька правду сказалъ, что дѣвушки вотъ тутъ всегда теперича вотъ такъ говорятъ (онъ передразнилъ старика, но очень плохо, насильственно какъ-то вышло).

— Такъ что-жь?

— Ничего, я—такъ. Онѣ, дѣвушки-то эти, замужь все-таки выходятъ...

— Вы думаете что и я выйду?

Башкинъ замолчалъ и скоро простился съ нами — ему надо было въ сторону сворачивать.

Черезъ нѣсколько шаговъ сталъ и Нибушъ допытываться, и тоже очень неловко, съ тою насильственной насмѣшливостью въ голосѣ, которою люди часто стараются прикрыть свое смущеніе.

— Софья Александровна, знаете что я вамъ сказать хочу? тоже насчетъ вашего замужества... если позволите... Я, вѣдь— не господинъ-съ Башкинъ-съ (я, кажется, уже говорилъ, что Нибушъ Башкина терпѣть не могъ и, говоря съ нимъ или объ немъ, всегда прибавлялъ «съ», въ знакъ должно быть презрѣнія), я попросту и, коли прикажете, такъ-таки сразу и замолчу, ась?

— Говорите, говорите, Александръ Ивановичъ.

— Ну вотъ спасибо. Главное, очень вы вѣско сказали: никогда замужь не выйду. Значитъ не въ шутку, не пуръ се лепетанъ, ну, а не барышня тоже вы, жеманиться не станете. Такъ вотъ... какъ же? въ монахини не пойдете вѣдь? (Соня засмѣялась). Ну, да. Ну, а когда, выражаясь высокимъ слогомъ, придетъ пора любви, когда какой-нибудь «воитель черноокій», вообще какой-нибудь тамъ Чоргъ Ивановичъ... все равно, я такъ, къ примѣру?

Соня расхохоталась, а мнѣ признаться тонъ Нибуша не понравился: что-то въ немъ было тревожное и напряженное.

— Придетъ пора — такъ значитъ пора будетъ, — отвѣчала смѣясь Соня.

Нибушъ вдругъ сталъ рыться въ карманахъ; вытанилъ папиросу, спичечницу и остановился. Когда я на него оглянулся,

то увидалъ, что у него руки ходуномъ ходятъ, такъ что онъ наслу попалъ концомъ папирасы въ огонь.

— Ну, да конечно значить пора,—заговорилъ онъ перовнымъ голосомъ, догнавъ насъ и усиленно пыхтя папирасой.—Я тоже къ тому... Но вѣдь, какъ намъ извѣстно, любовь плоды приноситъ. Я это отлично хорошо знаю, потому что самъ нѣкоторымъ образомъ—плодъ любви, не то, чтобы совсѣмъ заправской любви... Извините, что я такъ... нечистоплотно. Господишъ-съ Башкинъ-съ лучше бы сказалъ; ну, да все равно, вы не обидитесь... Ну-съ, такъ я знаю. Моя родная тетенька-съ — съ папенькиной стороны—на моихъ глазахъ мою мать по щекамъ била, а ужъ мнѣ-то что доставалось... Тетенька и по сейчасъ свои грасы показываетъ, даже здѣсь, въ Петербургѣ. На прошлой недѣлѣ самъ видѣлъ. Сижу на вышкѣ, въ оперѣ, а въ бель-этажѣ наискосокъ, смотрю—ма тантъ! Старушка ужъ, а небесность эту во взорѣ еще сохранила; ручки маленькія, въ перчатки затянуты... А мать моя, надо сказать, была баба здоровая, щеки скуластыя... Знаете что, Софья Александровна, благословите меня романъ писать—вотъ на какую тему. Представьте себѣ, въ какія-нибудь давно прошедшія времена, два семейства отъ одного, замѣтите, корня. Ну, какойнибудь тамъ князь Сварожичъ женится на какой-нибудь княжнѣ Темкиной-Ростовской—это я къ примѣру—и въ то же время прельщается скуластыми щеками своей или тамъ хоть чужой крѣпостной бабы. Выходятъ два семейства. По необыкновенно страшной случайности, законная линия князя Сварожича такъ и остается на всемъ своемъ протяженіи законной, да и не такъ, чтобы индѣ—дюкъ, индѣ—индюкъ, а все ровно, все въ предѣлахъ благородной крови. Незаконная же линия изъ незаконности не выходитъ, и въ нее приливается то мужицкая кровь, то дворянская, то купеческая, вообще—кавардакъ идетъ. Ну, тамъ разныя комбинаціи выходятъ. Наконецъ вотъ какой случай. Я его сейчасъ только придумалъ у дяденьки-гѣмца. Все не зналъ, чѣмъ кончить, да вдругъ Богъ и послалъ конечь: вашими устами, Софья Александровна, послалъ. Сейчасъ, вотъ только закурю... Да можетъ я вамъ надоѣлъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, особенно если вамъ Богъ черезъ меня конецъ романа послалъ.

Соня смѣялась, но я видѣлъ, что ей неловко.

— Ну-съ,—продолжалъ Нибушъ:—последній представитель незаконной линіи князя Сварожича — человѣкъ не глупый, не свинья, но безпутный и маленько пьяница даже. Онъ можетъ впрочемъ исправиться, если встрѣтится... если встрѣтятся благопріятныя обстоятельства. Но все-таки совсѣмъ третьестепенный человѣкъ. И вдругъ осмѣливается влюбиться въ совершенно первостепенную дѣвушку. Для интереса романа можно ее изъ законной линіи князя Сварожича позаимствовать. Много чрезвычайной сволочи фигурируетъ въ этой линіи, а тутъ какъ-то прокинулась чистота. Точно, что ее въ семи водахъ мыли, а героиня-то мой, кромѣ грязи, которая въ него же летѣла, ничего почти-что и не видалъ... Ну, какъ бы тамъ ни было, а онъ наконецъ предлагаетъ ей руку и сердце. Дерзость! онъ самъ понимаетъ, что дерзость; онъ много терпѣлъ, пока рѣшился... А она отвѣчаетъ: я ни за кого замужъ не выйду... вотъ какъ вы, совсѣмъ такимъ тономъ и такими словами. Героиня, все равно, какъ и я, изъ тона этого заключаетъ, что это не барышня жеманится, что это честный, живой и умный человѣкъ говоритъ, который отъ любви не отказывается. . Такъ вѣдь Софья Александровна?..

— Такъ,—серьезно отвѣчала Соня.

— Понялъ значить я? Не вовсе дуракъ? И еще разъ спасибо. Ну-съ, тутъ вотъ и роману конецъ. Героиня мой не такъ глупъ, какъ я. Онъ не лѣзетъ съ разспросами. Онъ только про себя разсуждаетъ: что же это молъ за диво: законнѣйшая представительница законнѣйшей линіи князя Сварожича не отступаетъ передъ возможностью оказаться матерью незаконныхъ дѣтей? Это она сама говоритъ, прямо въ лицо человѣку, который своими боками узналъ прелесть бытія плода любви, который избить, изломанъ жизнію чортъ знаетъ изъ-за чего и за что, который потому и не смѣлъ подойти къ ней, что создавалъ свое безпутство и безобразіе, а безобразіе это... Ты чего уста-

вился?! вдругъ яростно вскинулся Нибушъ на городского, который, стоя на углу, подозрительно смотрѣлъ на насъ и особенно на громко говорившаго, почти кричавшаго Нибуша.

Зная нравъ Нибуша, я схватилъ его за руки. Я боялся какойнибудь скверной исторіи. Соня тоже стала уговаривать. Ни какой однако исторіи не вышло. Городовой оказался слишкомъ проникнутымъ собственнымъ достоинствомъ, чтобы обидѣться окрикомъ, какъ онъ очевидно думалъ, пьянаго гуляки.

— Не извольте шумѣть, господа,—сдержанно и наставительно сказалъ онъ: — сами говорите: безобразіе, безобразіе, а между прочимъ продолжаете...

Нибушъ вдругъ нервно расхохотался—да оно и въ самомъ дѣлѣ смѣшно было—и, утрированно-вѣжливо снявъ шапку, проговорилъ: извините-съ, господинъ городской! «Господинъ городской» величественно отвернулся.

— А между прочимъ продолжаете,—повторилъ Нибушъ и замолчалъ. Такъ мы дошли до нашего дома. Пока дворникъ вошелъ съ ключами и отворялъ калитку, Нибушъ спросилъ:

— Такъ какъ же, Софья Александровна? на этомъ, на размышленіи то-есть героя, на вопросительномъ знакѣ и совѣтуете закончить романъ?

— Александръ Ивановичъ, милый, зачѣмъ вы спрашиваете? Вы—милый, хорошій, только не будемъ такъ говорить...

Нибушъ стиснулъ зубы, мотнулъ намъ обоимъ головой и почти побѣжалъ отъ воротъ.

Дома и я принялся за исповѣдь, но, въ качествѣ брата и ближайшаго пріятели, приступилъ къ дѣлу прямо и получилъ такой же прямой отвѣтъ. Вы можете быть не разъ слышали тѣ разсужденія, которыя я услышалъ отъ Сони; одно время они были въ большомъ ходу. Выйти замужъ значитъ связать себя и другого въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ человѣкъ надъ собой не воленъ; изъ такой связанности выходятъ только взаимные обманы, взаимное униженіе и всякія гадости. Вотъ сущность того, что Соня мнѣ росписала, какъ по книжкѣ. Очень въ то время обыкновенныя, ходячія слова. Самъ я ихъ при случаѣ не разъ гова-

риваль, по тутъ, когда дѣло было миѣ такъ близко, когда рѣчь шла о судьбѣ моеи Сони, я—откровенно каюсъ—струсилъ. Эту трусость всякій долженъ назвать позорною, какъ бы опъ ни смотрѣлъ на Соины разсужденія: принципы, принципы, а какъ дошло дѣло до самого себя или близкихъ и кровныхъ,—такъ и на попятный. Обыкновеннѣйшая впрочемъ исторія. Соины убѣжденія—дѣло конечно спорное. Оставляя ихъ совсѣмъ въ сторону, я разсуждаю вообще и вижу, что есть много такихъ вещей, въ истинности и справедливости которыхъ люди иногда исполнѣ убѣждены, но не имѣютъ рѣшительно никакого интереса въ ихъ осуществленіи. И это еще, сравнительно говоря, очень хорошее положеніе, потому что бываетъ и такъ, что человѣкъ схватилъ такъ-называемое свое «убѣжденіе» просто съ вѣтра и посится съ нимъ или только по низкопробному добродушію, или для того даже, чтобы быть на виду. Тутъ ужъ совсѣмъ дѣло пивахъ выходитъ. У меня есть въ запасѣ занимательнѣйшіе экземпляры этой породы, но теперь не хочется съ ними возиться, очень ужъ они мелки: первая крошечная житейская проба валить ихъ съ ногъ. Любопытнѣе тѣ, которые умомъ дѣйствительно понимаютъ и иногда превосходно понимаютъ, что $a + b = c$, но, оставшись наединѣ съ своей совѣстью, должны сказать, что то, что они признаютъ хорошимъ, справедливымъ, для нихъ лично вовсе ненужно и даже нежелательно. Между этими людьми я многихъ чрезвычайно уважаю, въ виду той глубокой внутренней борьбы, которая въ нихъ должна совершаться и дѣйствительно совершается. Однако и тутъ надо различать. Впрочемъ это—тема слишкомъ обширная, и, отдавшись ей, я далеко отойду отъ исторіи Сони, а ее надо рассказать. Въ самой этой исторіи найдется можетъ быть болѣе подходящее мѣсто для маленькаго изслѣдованія значенія присутствія и отсутствія личнаго интереса въ томъ или другомъ дѣлѣ.

Не помню ужъ, какими резонами я убѣждалъ Сону, должно быть неважными, потому что они отскакивали отъ нея, какъ отъ стѣны горохъ. И странное дѣло: она не говорила ничего оригинальнаго, она повторяла то, что тогда у многихъ было на

устахъ и что даже въ книжкахъ писалось, но въ тоиѣ ея было опять-таки что-то такое, недопускавшее сомнѣній, вѣское. Она въ буквальноиъ смыслѣ то же слово, но не такъ молвила. Не умѣю передать, отчего такъ казалось. Только одинъ пунктъ ея возраженій былъ дѣйствительно оригиналенъ, и я его запомнилъ. Я былъ раздраженъ ея упорствомъ. Я говорилъ, что Нибушъ правъ; что ей, почти дѣвочкѣ, не знающей жизни, смѣшно спорить съ нимъ, который на своей шкурѣ испыталъ «преlestь бытія плода любви»; что многое, превосходное въ теоріи, никуда не годится на практикѣ; что разныя утопіи очень хороши, но улита ѣдетъ, когда-то будетъ, и т. п. Великодушная Сося ни разу не попрекнула меня отступничествомъ отъ того, что я самъ не разъ проповѣдовалъ. Она, «дѣвочка, не знающая жизни», снисходительно улыбалась и тщательно и серьезно полемизировала. Она утверждала, что исторія Нибуша къ дѣлу не идетъ, потому что онъ — сынъ звѣря-помѣщика и его крѣпостной бабы, а ея положеніе совсѣмъ иное. Она очень хорошо знала, что улита ѣдетъ, когда-то будетъ, но находила, что ей лично незачѣмъ дожидаться пріѣзда улиты.

— Вотъ ты все сердилъся,—заключила она:—а разсуди хладнокровно, такъ и увидишь, что я права. Вѣдь, мои дѣти-то будутъ; вѣдь никто ихъ у меня отнять не можетъ. Въ воспитательный не отдамъ, на улицу не брошу, бить не стану, да и—какъ бишь Нибушъ-то сказалъ? — Чорту Иванычу тоже не отдамъ... Объ чемъ мы только съ тобой говоримъ, Гриша! просто смѣшно. Чего и въ поминѣ нѣтъ... Тутъ вотъ правда, что улита ѣдетъ, когда-то будетъ...

— Несчастная!—перебилъ я.—Ты Чорту Иванычу дѣтей не отдашь! Да вѣдь ты—дѣвочка; кто знаетъ, что изъ тебя самой-то выйдетъ? Можетъ быть Чортъ-то Иванычъ въ тысячу разъ лучше будетъ...

— А это—на совѣсть. Понимаешь, на совѣсть. Если онъ хорошій будетъ, такъ чего-жъ лучше? А если лучше меня, такъ ему и дѣти...

Такъ-то болтали мы, стараясь поймать за хвостъ будущее.

Я по-дѣтски раздражался, она по-дѣтски упорствовала, и не подозрѣвали мы, какъ въ сущности серьезно близокъ былъ предметъ нашего ребяческаго спора...

Башкинъ—да будетъ онъ трижды проклятъ—давно уже уговаривалъ меня сойтись опять съ домомъ генерала Темкина. Онъ въ особенности настаивалъ на томъ, что я обязанъ сдѣлать это въ качествѣ старшаго брата, для Сони. Онъ вполнѣ, по крайней мѣрѣ на словахъ, соглашался со мною, что общество Бухарцова, Нибуша и другихъ несравненно лучше салона генеральши Темкиной, но, какъ настоящій змѣй-искуситель, онъ настаивалъ на необходимости для Сони вкусить древа познанія добра и зла. «Не вѣкъ ей съ вами жить, говорилъ онъ:—пусть же она лучше исподволь, при васъ познакомится съ людьми». То же самое онъ говаривалъ Сонѣ, и къ большому моему неудовольствію она очень терпѣливо относилась къ его разглагольствіямъ. По всей вѣроятности Башкинъ и подъ Анну Сергѣевну соотвѣтственныя мины подводилъ, потому что въ одинъ прескверный день мы имѣли неудовольствіе принимать у себя генерала и генеральшу Темкиныхъ. Анна Сергѣевна была сама любезность. Она такъ и разсыпалась и передъ Соней, и передо мной, и передъ случившимся тутъ Бухарцовымъ, и даже передъ Василисой. Соня «расцвѣла, какъ роза». Я «возмужалъ» и приобрѣлъ «очень интеллигентное выраженіе лица». Съ Бухарцовымъ генеральши «чрезвычайно, чрезвычайно пріятно познакомиться; и повѣрьте, что это—не фраза,—прибавила Анна Сергѣевна самымъ задушевымъ тономъ:—я объ васъ такъ много слышала». «Добрѣйшей» Василисѣ она любезно напомнила ихъ первое свиданіе у меня на новосельѣ. Припомнила по этому случаю даже Нибуша, который тогда такъ неделикатно обошелся съ генераломъ и о которомъ она слышала отъ Башкина. Словомъ, всѣмъ сестрамъ раздала по серьгамъ и въ концѣ концовъ просила меня и Сою забыть пробѣжавшую между нами и ею черную кошку. Генералъ Темкинъ привезъ Сонѣ коробку конфектъ, которыя впрочемъ самъ тутъ же почти всѣ съѣлъ. Онъ

больше молчалъ во время трескотни своей супруги и только изрѣдка поддакивалъ.

Вы не повѣрите до чего непріятно было мнѣ это внезапное и истинно наглое посѣщеніе. Уже само по себѣ оно было достаточно противно: такъ на меня и пахло ароматомъ салона и будуара Анны Сергѣевны; такъ и встали передо мной, какъ живые, посѣтители салона съ ихъ либеральной болтовней. Но этого мало: посѣщеніе требовало отвѣта. Анна Сергѣевна взяла съ насъ слово. Соня, Бухарцовъ и Васнлнса много смѣялись надъ моею воркотней по отъѣздѣ генерала и генеральши Темкиныхъ. Соня усадила Бухарцова за коробку конфетъ, въ подражаніе генералу, а сама стала передразнивать генеральшу, удивительно похоже ворочая головой, хватаясь за руки и треща напропаую. Мнѣ было смѣшно и досадно.

— Нѣтъ, какъ хочешь, Гриша, а поѣдемъ къ нимъ, непременно поѣдемъ. Что ты въ самомъ дѣлѣ за тиранъ такой! не даешь людей посмотрѣть и себя показать...

Такъ говорила Соня... Я выбранился и ушелъ провѣтриться. Вырвавшіяся у Сони шутливыя слова: «что ты за тиранъ такой» засѣли въ головѣ...

Опять я въ салонѣ генеральши Темкиной. Тотъ же каминъ съ зеркаломъ въ золоченой рамѣ, тѣ же трельяжи съ плющемъ и виньдоландомъ, тѣ же канделябры, тотъ же матовый фонарь въ будуарѣ и мягкая, низкая мебель, тотъ же острый запахъ духовъ; та же маленькая лампочка на маленькомъ столикѣ въ маленькомъ кабинетикѣ генерала. Даже персоналъ почти весь тотъ же... Но, Боже, какъ все эти люди стали солидны, какъ далеко отлетѣлъ отъ нихъ витавшій здѣсь нѣкогда легкомысленный духъ такъ сказать акробатическаго либерализма! Они не перестали быть либеральны, о, нѣтъ! они только утратили игривость, поскучили и поважились. Вотъ бывший правовѣдъ, сынъ генерала отъ первой жены. Прежде это былъ веселый мальчикъ, которому было все равно—спѣть ли какую-нибудь двусмысленную пѣсенку, или выкинуть какое-нибудь либеральное колѣнце,

съ самымъ даже краснымъ оттѣнкомъ, лишь бы почуднѣе, поярче вышло. А теперь онъ готовится въ дѣятели по судебной реформѣ и, еле поворачивая голову среди высокихъ, туго накрахмаленныхъ воротничковъ, солидно излагаетъ своей сосѣдкѣ значеніе вексельнаго права. Сосѣдка такъ и впила въ него глазами, боясь проронить хоть одно слово и очевидно безспорно увѣренная въ великомъ значеніи вексельнаго права. Вотъ другой сынъ генерала, гвардеецъ, когда-то лихой мазуристъ, разглагольствуетъ по «Московскимъ Вѣдомостямъ», по съ прѣсно-либеральной приправой, сглаживающей ѣдкіи вкусъ и острый запахъ чистокровной катковщины. Вотъ писатель, котораго Анна Сергѣевна прозвала нѣкогда Камилломъ Демуленомъ; онъ уже стоитъ одной ногой на стражѣ культуры, хотя это выраженіе лежитъ еще пока подъ спудомъ, и жжетъ все, чему поклонялся, съ яростью ренегата и съ солидностью человѣка, познавшаго истинные принципы просвѣщеннаго и умѣреннаго либерализма. Онъ рассказываетъ что-то сальное и грязное про нигилистовъ и при этомъ самымъ наглымъ, вызывающимъ образомъ косится на меня и на Соню. Скучно и отвратительно... Я ушелъ по старой памяти въ кабинетъ генерала. Тамъ было все уже безусловно по-старому. Генераль нисколько не перемѣнился, только зубовъ у него стало еще меньше, такъ что сласти онъ могъ только сосать. Картинки онъ любилъ по-прежнему, а принципы вексельнаго права и культуры были ему такъ же ненавистны, какъ и тѣ бойкія, забубенныя рѣчи, которыя когда-то доносились изъ салона въ кабинетъ.

Насилу я дождался ужина. Соню усадили далеко отъ меня, между Башкинымъ и будущимъ прокуроромъ. Въ томъ концѣ было кажется весело. Воротнички будущаго прокурора значительно подались въ стороны и голова получила неожиданныю способность къ движенію. Навѣрное не о вексельномъ правѣ говорилъ онъ съ Соней. Она разгорѣлась, какъ маковъ цвѣтъ, и была очень мила, только немножко слишкомъ громко хохотала, чѣмъ обращала на себя всеобщее вниманіе. Мужчины впрочемъ всѣ очевидно ею любовались, а глаза писателя, нынѣ благопо-

лучно стоящаго на стражѣ культуры и разсказывающаго сальности про нигилистовъ, сдѣлались до неприличія масляными. Отпощеніе Бапкина къ Сонѣ мнѣ тоже не нравилось. Положимъ, что онъ тутъ былъ ея единственный знакомый, но меня все-таки мучило. Моя сосѣдка зачѣмъ-то меня пытала — истинно пытала! — Базаровымъ, но по счастью была столь болтлива, что даже при полигѣишемъ съ моею стороны желаніи, не было бы возможности вставить хоть одно слово въ бурный потокъ ея рѣчей, хотя она то и дѣло обращалась ко мнѣ съ вопросами. Я былъ совсѣмъ измученъ...

Еще и еще разъ Соня съѣздила къ Аннѣ Сергѣевнѣ. Я сидѣлъ дома и злился и только отводилъ иногда душу съ Нибушемъ.

— Чудакъ ты, Григорій Александровичъ, — утѣшалъ онъ меня: — развѣ къ этакой чистотѣ что пристанеть? пусть ее выбѣгается.

Пусть... Я на этомъ утвердился, да и что же мнѣ было дѣлать? Пусть, пусть... И когда Соня объявила мнѣ, что ее Анна Сергѣевна зоветъ ца лѣто къ себѣ въ деревню, я подумалъ: пусть. Одно мнѣ было больно: Соня очень хорошо знала, что я туда не поѣду, и все-таки поговорила чисто для формы на ту тему, что хорошо бы дескать намъ вмѣстѣ ѣхать. Къ такому притворству, къ такому извороту Соня прежде не прибѣгла бы.

Уѣхала Соня. Еще раньше разбрелись все наши, въ томъ числѣ Нибушъ и Бухарцовъ — кто на кондиціи, кто куда. Остался я сиротой съ Василисой.

— Пришелъ Пахомъ, понесло тепломъ, доложила мнѣ Василиса, подавая утромъ самоваръ, на другой день послѣ отъѣзда Сони.

— Какой Пахомъ? чего ему пужно?

— Ничего не пужно, а только что Пахомьевъ день — сегодня Пахома бокогрѣя...

— Ну, такъ что же?

— Къ лѣту дѣло, наша барышня въ самый разъ въ деревню поѣхала.

Я наконецъ понялъ. Этотъ разговоръ Василиса повторяла

часто. Я своевременно узнавалъ, когда «земля именинница», когда «Акулины—задери хвосты» и проч., и что можетъ и должна дѣлать по случаю этихъ торжествъ «наша барышня» въ деревнѣ. Я такъ привыкъ къ этому, что и самъ иногда спрашивалъ: ну, а сегодня что?—Сегодня—Аграфены-купальницы, наша барышня, поди, купаться начала.—Иной разъ отвѣтъ бывалъ гораздо короче: а ничего сегодня нѣту; гуляется чай наша барышня.

Письма отъ Сони приходили сначала часто. Она въ первый разъ жила въ деревнѣ и дѣтски наивно сообщала всѣ свои впечатлѣнія. Она видимо была довольна. Но потомъ письма стали приходиться рѣже и наконецъ совсѣмъ остановились. Въ каленомъ Петербургѣ было тоскливо. Дяденька-нѣмецъ своею радостью по случаю нашего сближенія съ домомъ генерала Темкина былъ миѣ до такой степени противенъ, что я даже видѣть его не могъ...

Вы скажете, что я изъ-за пустяковъ, изъ-за вздора бѣсился, потому что не слѣдятъ же Соню въ деревнѣ у Анны Сергѣевны. Я очень хорошо знаю, что не демоны впились въ чистую дунцу Сони, не вампиры какіе сосутъ изъ нея кровь. Но если сравнить съ этими чудницами сюда не подходитъ, такъ только потому, что они—чудища, значить нѣчто грандіозное, а Анна Сергѣевна, со всей ея мужской и жепской свитой, просто—кучка низкопробныхъ пяталтышныхъ. Но видѣть человѣка, тонущаго въ болотѣ, должно быть гораздо тяжеле, чѣмъ въ бурномъ и свирѣпомъ океанѣ. Я—не мистикъ, но въ предчувствіе вѣрю. Вѣрю, что сильно заинтересованный, сильно любящій, сильно ненавидящій человѣкъ можетъ предугадать грядущія событія не только путемъ сознательнаго расчета вѣроятностей, а и бессознательно. Психологи и психіатры объясняютъ это впрочемъ какъ-то очень просто и естественно. За четыре дня до смерти Бухарцова я полузналъ или чувствовалъ (не знаю, какъ вѣрнѣе сказать), что его скоро не будетъ. Это—фактъ. Совершенно также предчувствовалъ я, что поѣздка Сони въ Курганиху (деревню генерала) добромъ для нея не кончится, хотя и не сумѣлъ бы даже приблизительно сказать, какого именно рада опасности

ее тамъ ждуть. Мало того: еслибы я вздумалъ привести свои тогдашнія на этотъ счетъ мысли въ совершенную ясность, то— какъ теперь ясно вижу — навралъ бы, то-есть не угадалъ бы. Я на самоѣ себѣ испыталъ вліяніе болота-салона. Онъ отогналъ отъ меня образы Якова и брата-мужика и сдѣлалъ изъ меня—спасибо, хоть только на время — пераскаивающаго болтуна, самодовольнаго и самопоклоняющагося. Ничего, что духъ салона измѣнился, ничего, что тамъ теперь царить скука и сушь, эти люди все такъ же довольны собой и другъ другомъ, все такъ же видятъ въ себѣ нѣкіе священные сосуды и чуть не спасителей отечества. Если я въ предъидущихъ словахъ сумѣлъ вамъ объяснить, какъ мнѣ дорого мое покаяніе, то вы должны понять, что весь этотъ міръ Нарцисовъ мужскаго и женскаго пола для меня смѣшонъ въ обыкновенное время и ненавистенъ, когда онъ грозитъ поглотить мою Сою, укоротить ея душу до размѣровъ пятіалтыннаго. Я этого и боялся, конечно безсознательно; да еще, но уже на второмъ плачѣ, вспоминались мнѣ масляные глаза писателя, стоящаго на стражѣ культуры, пагло уставленные на разгорѣвшееся Сонино личико; эпизодическія любезности прокурора, закованнаго въ броню крахмальныхъ воротничковъ и «вѣчной идеи правды и справедливости»; отношеніе къ Сонѣ Башкица...

Наступило, какъ теперь помню, 15-е августа.

— Бабѣ лѣто сегодня пачинается,—доложила Василиса, наша барышня...

Звонокъ—и влетѣла Соця, именно влетѣла и бросилась на шею ко мнѣ, къ Василисѣ, и слезы градомъ текли по ея исхудалому лицу. Она прижимала свою мокрую щеку къ моей и плакала, и смѣялась. Это было что-то почти истерическое, трудно объяснимое одной радостью свиданія. Но тогда я ничего не замѣтилъ. Я былъ только пораженъ неожиданностью и, выхвативъ у извожика Сонинъ чемоданъ, какъ дуракъ, носился съ нимъ по квартирѣ, совѣтъ забывъ, что надо же его куда-нибудь поставить.

Когда Соня поуспокоилась, мы засѣли за самоваръ, и я сталъ разспрашивать, какъ она провела время.

— Не будемъ, Гриша, объ этомъ говорить: свиньи они всё тамъ...

— Ага! я говорилъ...

— Гриша! голубчикъ, не надо, ради Бога не надо...

Такъ изъ сердца вырвались эти слова, почти крикомъ, что я опѣшилъ и во всякомъ случаѣ не имѣлъ духа растравлять какую-то неизвѣстную мнѣ душевную рану разспросами о Курганихъ и ея обитателяхъ. Стали говорить обо мнѣ, о дяденькѣ-пѣмцѣ, о Василисѣ, объ Акулинѣ-задери хвосты и Пахомѣ-бокогрѣѣ. Соня развеселилась и сама рассказала кое-что изъ своего деревенскаго житья-бытья. Самое впрочемъ обыденное, тоже больше насчетъ Акулины-задери хвосты. Только одно сообщеніе было болѣе значительное; посмотрѣвшись въ деревнѣ, что терпятъ бабы и ребята, Соня рѣшила поступить въ акушерки. Рѣшеніе это она высказала мимоходомъ, но такъ же вѣско и серьезно, какъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ объявила, что никогда не выйдетъ замужъ.

На позднѣйшіе разспросы мои и другихъ о времяпровожденіи въ Курганихъ, Соня отвѣчала уже гораздо спокойнѣе, но очень коротко и съ видимымъ неудовольствіемъ: «тамъ скверно», «тамъ все—свиньи» и т. п. Жизнь наша потекла по-прежнему. Было однако въ ней нѣсколько особенностей, сумма которыхъ могла бы гораздо раньше навести меня на истину, которую я впоследствии узналъ отъ самой Соны. Впервыхъ о продолженіи знакомства съ генераломъ и генеральшей Темкиными не было и помысла: ни они къ намъ, ни мы къ нимъ. Башкиръ также не показывался. Вовторыхъ Соня стала получать какія-то письма въ красивыхъ конвертахъ, которыя не читая бросала въ печку. «Отъ одной подруги институтской — ужасно надоѣла», объяснила она. Втретьихъ Василиса довела свое ухаживаніе за Соней рѣшительно до предѣловъ смѣшнаго: готовила ей особое кушанье, водила ее съ лѣстницы подъ руки и т. п. Правда это объяснялось нездоровьемъ Соны: у нея въ

самомъ дѣлѣ показались признаки какой-то страшной, непонятной для меня болѣзни, хотя она упорно не соглашалась пригласить доктора... Такъ прошло два, три, пять мѣсяцевъ. Разъ ночью не спалось мнѣ. Перепробовалъ всѣ средства: читалъ сновторныя книги, смотрѣлъ въ упоръ въ одну точку на стѣнѣ, перебиралъ въ памяти безразличныя происшествія — ничто не помогало. Въ Сониной комнатѣ шелъ негромкій говоръ. Я хотѣлъ уже крикнуть, чтобы не мѣшали спать, но заинтересовался и сталъ прислушиваться.

— ... а свивальниковъ больше полдюжины не надо, — шопотомъ, наставительно оканчивала какую-то фразу Василиса.

— Да говорятъ пеленать нехорошо; я въ книгѣ читала, есть такіе мѣшки, — возражала Соня.

— Э, матушка, брось ты книжки эти! Слыхала и я тоже, да всего не переслушаешь. Не глупѣй насъ свивальники-то выдумалш...

— Послушай, Василиса, какъ онъ шевелится... слышишь? вотъ тутъ...

— Это онъ пяточкой толкается, дитяtko мое милое...

Еще нѣсколько словъ, и я понялъ: Соня ждала ребенка...

Башкинъ! ясно и быстро мелькнуло у меня въ головѣ; и вдругъ все стало, какъ на ладони. Кровь бросилась въ голову, въ виски застучало.

— Соня! крикнулъ я.

Молчаніе и шорохъ.

— Соня, можно къ тебѣ?

— Что тебѣ, Гриша? послышалось послѣ новаго молчанія: — я сплю.

— Какъ спишь, когда съ Василисой разговариваешь? Ушей что-ли у меня нѣтъ? Я *все* слышу.

Дрожа отъ волненія, я наскоро кое-какъ одѣлся и пошелъ къ Сонѣ. Василисы тамъ ужь не было. Маленькая лампа едва освѣщала комнату. Соня лежала.

— Я *все* слышу, — повторилъ я, подходя къ кровати. Соня притянула меня одной рукой, а другой обхватила за шею. Самъ

не знаю почему, но вся моя мгновенная внутренняя сумятица разрѣшилась однимъ упрекомъ: Василиса знаетъ, а я ничего не знаю...

Ледъ былъ сломанъ. Я узналъ Сонину тайну. Она любила Башкина, сошлась съ нимъ въ Курганихѣ, но затѣмъ, также случайно, какъ я сейчасъ, подслушала его разговоръ съ сыномъ генерала, закованнымъ въ броню крахмальныхъ воротничковъ и вѣчной идеи правды и справедливости.

— Господи! есть же такіе скоты на свѣтѣ! простионала на этомъ мѣстѣ разказа Соня и залилась въ три ручья. Я не спрашивалъ, да она конечно и не могла бы пересказать. Должно быть этотъ мерзавецъ и поклонникъ чистой красоты, въ интимномъ разговорѣ съ своимъ паскуднымъ пріятелемъ, дѣнилъ ее, какъ помпейскую древность, какъ старинную фарфоровую группу, съ тою разницей, что здѣсь приходилось говорить о живомъ человѣкѣ, о живомъ тѣлѣ... При одной мысли о томъ, что могъ болтать этотъ гнусный языкъ и что должна была пережить Соня, выслушивая эту гнусность изъ устъ любимого человѣка, я приходилъ въ ярость. Но Соня самымъ рѣшительнымъ образомъ потребовала, чтобы во первыхъ я не искалъ встрѣчи съ мерзавцемъ, и вовторыхъ въ случаѣ нечаянной встрѣчи даже не заикался о происшедшемъ въ Курганихѣ.

Съ этихъ поръ вопросы о свивальникахъ, пеленкахъ и прочемъ дебатировались уже въ моемъ присутствіи, и, признаться, дебаты эти мнѣ скоро даже надоѣли своей необычайною подробностью и неутомимостью дебазирующихъ. Соня и Василиса въ четыре руки шили всякую всячину для будущаго человѣка. Появилась акушерка...

Надо было рассказать Бухарцову и Нибушу. Все равно они скоро узнали бы, а отношенія наши были больше, чѣмъ пріятельскія, въ заурядномъ смыслѣ слова, и потому было бы просто нехорошо держать ихъ въ невѣдѣніи относительно такого важнаго событія. Я поѣхалъ къ Бухарцову и къ счастью засталъ у него и Нибуша. Бухарцовъ жилъ на Выборгской Сто-

ронѣ, въ мезонинѣ маленькаго деревяннаго домика, низъ котораго былъ занятъ кабакомъ. Представьте себѣ довольно большую, но сырую, холодную и достаточно грязную комнату. Вдоль двухъ стѣнъ прибиты некрашенныя сосновыя доски, уставленныя книгами. Кромѣ того книги на полу, книги на окнахъ, книги—на кровати и подъ кроватью, на столѣ и подъ столомъ. У третьей стѣны примостилась желѣзная кровать о трехъ ногахъ, надъ которой былъ навѣшанъ на гвоздяхъ весь мемного-сложный впрочемъ гардеробъ и туалетъ Бухарцова. Возлѣ кровати—небольшой столъ и на немъ микроскопъ, еще какіе-то инструменты, заспиртованные препараты и проч. У двухъ оконъ стояло по столу: одинъ обыкновенный и даже недурной письменный, а другой большой кухонный. Письменный столъ былъ однако занятъ далеко не письменными только принадлежностями: тутъ и книги горой лежали, и сапожная щетка, и маленькое зеркало, и гребенка, и маленькая жестяная кострюлька со спиртовой лампой, и кусокъ ветчины на тарелкѣ. На кухонномъ столѣ стоялъ большой тазъ съ водой, въ который Бухарцовъ и Нибушъ съ засученными рукавами внимательно смотрѣли. Бухарцовъ что-то съ большимъ увлеченіемъ объяснялъ. Отчасти собственными глазами, отчасти изъ объясненія, я узналъ, что въ водѣ плаваютъ рыбы, у которыхъ вырѣзаны глаза, и что дѣло идетъ о новомъ опытѣ. Сколько помню, рыба, лишенная ощущенія свѣта, должна была измѣниться и въ цвѣтѣ, въ окраскѣ, именно—почернѣть. Пока рѣчь шла о физическомъ опытѣ, я рѣшительно не могъ вставить ни одного слова, но когда Бухарцовъ заѣхалъ въ натуръ-философію и заговорилъ объ отношеніяхъ субъективнаго къ объективному вообще, я увидѣлъ, что конца не предвидится и что нужны сильныя средства.

— Чортъ бы побралъ вапихъ безглазыхъ рыбъ! вышелъ на конецъ я изъ терпѣнія:—Соня беременна...

Какъ по мановенію магическаго жезла, чортъ въ ту же секунду дѣйствительно побралъ безглазыхъ рыбъ. Онѣ были забыты. Меня засыпали вопросами. Во время моего разказа Нибушъ только блѣднѣлъ, а Бухарцовъ все-таки недовольный,

что его оторвали отъ безглазыхъ рыбъ, вставляя время отъ времени нетерпѣливыя замѣчанія: «ну, такъ что-жь?» «кому какое дѣло?» «ну, и слюбились, ну, и дай имъ Богъ—отличное потомство будетъ». Но когда я дошелъ до разговора Башкина съ будущимъ прокуроромъ, Нибушъ зарычалъ, именно зарычалъ, то-есть издалъ животный, протяжный, грозный и вмѣстѣ съ тѣмъ жалобный звукъ, а Бухарцовъ стремительно объявилъ, что онъ сейчасъ же ѣдетъ къ Башкину. Большого стоило мнѣ труда уговорить его. Онъ не признавалъ въ этомъ дѣлѣ даже авторитета самаго заинтересованнаго человѣка, Сони, рѣшительное нежеланіе которой поднимать какую бы то ни было исторію я ему передалъ. Онъ горячился, что ему нѣтъ дѣла до Сони, что никто не имѣетъ права стѣснять его, что онъ, «какъ членъ общества», можетъ всегда «наплевать въ глаза подлецу» и проч. Наконецъ я его уломалъ, а пока уламывалъ, Нибушъ исчезъ. Оставилъ и я Бухарцова наединѣ съ его безглазыми рыбами. Не знаю только, занимался ли онъ ими въ этотъ день.

Нибушъ пропалъ. День прошелъ, два, недѣля, другая—его нѣтъ. Я справлялся у Бухарцова—не видалъ; справлялся на квартирѣ—хозяйка ужъ объявку въ полицію подала. Мы терялись въ догадкахъ, и самыя черныя мысли лѣзли въ голову. Почему бы ему не броситься въ прорубь? Раздраженъ и несчастенъ онъ былъ страшно... Наши сомнѣнія были уничтожены появленіемъ полицейскаго служителя съ письмомъ на сѣрой писчей бумагѣ, запечатаннымъ бурымъ сюргучемъ и адресованнымъ «Софьѣ Александровнѣ Темкиной, въ собственныя руки». Вотъ это письмо:

«Софья Александровна, пишу вамъ изъ кутузки, куда попалъ за уличное буйство въ пьяномъ видѣ. Никогда не скрывалъ я отъ васъ своего безобразнаго поведенія, а въ эту минуту чувствую потребность именно съ этого пачать. Еще разъ узнайте, каковъ я есть человѣкъ, и затѣмъ выслушайте. Я знаю, что я васъ недостойнъ, и вы должны вѣрить, что я это дѣйствительно знаю, какъ дважды-два—четыре. (Гутъ четыре строки зачер-

кнуто)... прямо къ дѣлу, только дочитайте до конца. Съ вами случилось несчастье; возьмите меня въ отцы вашего ребенка (дочитайте пожалуйста до конца). Не романическое великодушіе движетъ мной; мнѣ даже смѣшно и стыдно писать это слово: «великодушіе». Великодушіе человѣка, сидящаго въ части за уличное буйство! великодушіе незаконнаго сына отставнаго корнета и землевладѣльца Шубина и бабы Арины Безпалой! Еще разъ повторяю, что я себѣ цѣну знаю и ни малѣйшихъ иллюзіи на этотъ счетъ не имѣю. Откровенно говорю, что только въ письмѣ рѣшаюсь сдѣлать вамъ это предложеніе безъ всякихъ экивокъ—на словахъ никогда бы не рѣшился. Но клянусь вамъ всѣмъ, во что я вѣрю, клянусь вами, что сдѣлавшись вашимъ мужемъ и отцомъ вашего ребенка, я стану совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Вамъ предстоитъ дать мнѣ счастье, вамъ предстоитъ быть великодушной. Я не хотѣлъ бы однако одного великодушія, хотя даже въ этомъ случаѣ надѣюсь, что съумѣю себя повести такъ, чтобы вы не раскаялись. Я все возьму, всякое ваше подаваніе, какъ нищій беретъ грошъ и молится за подавнаго. Но можетъ быть послѣднія событія напомнили вамъ, что существуетъ на свѣтѣ человѣкъ, безгранично вамъ преданный, и можетъ быть это возбудило въ васъ маленькую искру чувства, менѣе обиднаго (хотя отъ васъ мнѣ ничего не обидно), чѣмъ простое великодушіе.

Александръ Нибушъ.

Р. С. Софья Александровна, меня скоро выпустятъ, и я къ вамъ конечно во всякомъ случаѣ приду, каково бы ни было ваше рѣшеніе (надѣюсь, что не оскорбилъ васъ, а потому придти могу). Но, во избѣжаніе конфузныхъ и ненужныхъ положеній, дайте знать письмомъ или черезъ Гришу, какъ мнѣ приходить: просто, или—вашимъ будущимъ мужемъ.

А. Нибушъ.

Р. Р. С. Подумайте прежде, чѣмъ рѣшить—не ради себя, а ради меня подумайте. Я буду ждать сколько хотите. Но еслибы судьба послала мнѣ счастье, то не лучше ли обвѣнчаться прежде,

чѣмъ родится ребенокъ? Бога ради, простите, если что безъ умысла»... (Тутъ опять зачеркнуто нѣсколько строкъ).

— Ну, что, Соня? Онъ просить подумать; подумай до завтра.

— Нечего думать, Гриша; сходи къ нему сегодня же, пусть приходитъ...

— Какъ? просто или женихомъ? Соня, не торопись...

— Я его не люблю, Гриша... Я его *просто* люблю, пусть просто приходитъ...

Какъ скучно было бы все это записывать для себя въ какомъ-нибудь дневникѣ (рѣшительно не понимаю, какъ могутъ умные и живые люди писать дневники, а могутъ: примѣръ — Добролюбовъ); но какъ мучительно писать для публики, для васъ, читатели. Кто васъ знаетъ, съ какимъ чувствомъ пробѣгаете вы эти страницы? На васъ нѣтъ апелляціи: кажется вамъ скучно, нехорошо, мелко, глупо — ничего не подѣлаешь. А между тѣмъ всѣ эти черты и черточки, которыя я и безъ того *pour vos beaux yeux* самымъ варварскимъ, самоубійственнымъ образомъ урѣзываю, мнѣ дороги. Я ими жилъ когда-то, и до сихъ поръ еще они горятъ въ моей памяти. Понимаю, что вамъ до этого дѣла нѣтъ, а все-таки обидно. Тѣмъ болѣе обидно, что я не въ личной своей жизни приглашаю васъ принять участіе, а право въ вашей собственной — въ той, которая въ васъ и кругомъ васъ происходила и происходитъ. О, Боже мой, я—человѣкъ скромный, цѣну себѣ тоже знаю и ни въ какомъ случаѣ голую личную свою исторію вамъ не предложу. Вы имѣете передъ собой матеріалы для подлинной исторіи нашего времени—матеріалы конечно далеко не полные, но за то вполнѣ достовѣрные. Чего не знаю, не видѣлъ, такъ и говорю, а изъ того, что знаю и видѣлъ, стараюсь извлечь наиболѣе типичныя и характерныя черты, хоть разумѣется тамъ и сямъ проскальзываютъ вещи, неимѣющія никакого общаго значенія, но дорогія для меня лично. Вотъ на примѣръ этотъ буйный пьяница Нибушъ. Вы скажете можетъ быть: зачѣмъ онъ сюда попалъ? Но припомните Помяловскаго, Щапова, Рѣшетникова,

припомните многихъ другихъ «разночинцевъ», которыхъ жизнь также безбожно стизмлада ломала, какъ Нибуша. Припомните по истинѣ страшный крикъ, вырвавшійся у Помяловскаго въ одной его неоконченной повѣсти: «О, препоганая мать природа, зачѣмъ ты создала сивуху, чтобъ тебѣ насквозь прошло! О, свято-русскій народъ — брось пить, я — одинъ изъ бросающихъ. Правда, всѣ великіе люди пили (по Гервинусу), отсюда слѣдуетъ, что ты—великій народъ, народъ-пьяница; но будь трезвымъ великимъ народомъ!.. Великій русскій народъ, расшибя ты поганую посуду съ поганой сивухой; наплюй въ окна кабаковъ и въ рожи ихъ производителей! Отрезвись и пой хоть ту же унылую пѣсенку, какую пѣлъ до сихъ поръ, только не съпьяна! Но чую, чую взбѣшенной душой, что это все напрасно написано, докторъ не вылечитъ пѣвчаго... Значитъ такъ тому и быть, на роду что ли намъ написано это... Проклятая жизнь и проклятая ты природа! Чую, что смерть идетъ ко мнѣ быстрыми шагами. И такъ, много ли нажилъ? О проклятая жизнь!»

Вотъ замѣчательный и смѣю сказать историческій фактъ: въ то время, какъ Писаревъ и другіе изыскивали программу чистой, святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу въ жизнь, въ это самое время, всѣ эти Помяловскіе, Рѣшетниковы, Щаловы, Нибуши и проч. знать не хотѣли никакихъ эпитемій и знакомились съ бѣлой горячкой. Они были полны ненависти и были правы въ своей ненависти. Ихъ не могло мучить сознаніе личной отвѣтственности за свое общественное положеніе, ихъ могла душить только злоба на искалеченную жизнь. Но они были все-таки близки намъ, именно своею ненавистью, и изъ этой близости возникали чрезвычайно странныя столкновенія. Прежде всего они насъ спасли отъ окончательнаго погруженія въ писаревщину. Мы готовы были совершенно закупориться въ тѣсную раковинку собственной чистоты, примирившись съ тѣмъ фактомъ, что въ нижнемъ этажѣ того самаго зданія, гдѣ мы себя устроили уютное гнѣздышко, живетъ непроглядное невѣжество, безысходная

нищета. Но разночинцы выходили именно отсюда, из этого страшнаго подвала и вносили съ собой струю свѣжаго воздуха. Такъ что они, со веѣмъ своимъ пьянствомъ и буйствомъ, спасали насъ. Дальше вотъ еще что. Вы прочитали множество романовъ, авторовъ которыхъ мнѣ противно вамъ напоминать и которые всѣ построены по слѣдующему шаблону. Дѣйствующія лица: благородная дѣвица пылкаго темперамента и прекрасная душой и тѣломъ, столь же прекрасный и благородный мужчина и наконецъ мужчина совершенно неблагородный. Это—главныя дѣйствующія лица, вокругъ которыхъ размѣщается большее или меньшее количество побочныхъ персонажей. Благородная и прекрасная дѣвица увлекается модными идеями. Этимъ гнусно пользуется мужчина неблагородный и съ «мохнатымъ сердцемъ», какъ говоритъ кто-то у Шекспира. Онъ уже готовъ облапить дѣвицу или ему это даже удается. Тутъ является на сцену мужчина благородный, тонкій знатокъ и цѣнитель всякой красоты, «эстетикъ», какъ его ругаютъ люди съ мохнатымъ сердцемъ. Онъ или удерживаетъ дѣвицу на краю пропасти, или, если дѣло уже непоправимо, становится въ красивую позу и болѣе или менѣе пространно и грустно восклицаетъ: о времена! о нравы! Не спору, можетъ быть подобныя факты бывали—чего на свѣтѣ не бываетъ? Но дѣлать изъ нихъ шаблонъ значитъ—лгать. Я вамъ рассказываю исторію, гораздо болѣе достойную обобщенія, насколько разумѣется могу судить по своему личному опыту, довольно большому. Мой благородный мужчина, Башкиръ, не въ примѣръ типичнѣе (не въ смыслѣ разумѣется художественной отдѣлки, которой похвастать не могу). Я видѣлъ ихъ немало, и всякій разъ, когда я вижу подобнаго субъекта, преданнаго чистой красотѣ, когда онъ начинаетъ восторгаться всеуслышаніе картиной, статуей, видомъ, женской красотой, я въ извѣстный моментъ говорю себѣ: сейчасъ онъ начнетъ пакости выбалтывать. И я ни разу до сихъ поръ не ошибался. Что же касается моего неблагороднаго мужчины, Нибуша, то не знаю, удалось ли мнѣ выбрать изъ его существа тѣ черты безконечной дели-

катности и мягкости, которыя сквозили изъ-подъ его пьянства и буйства. И это типично. Даже оставаясь въ предѣлахъ любовныхъ отношеній, посмотрите соответственныя страницы въ біографіяхъ хоть тѣхъ же Помяловскаго и Рѣшетникова, и вы увидите. Частный фактъ столкновенія жажды свободной любви кающейся дворянки Сони съ упорнымъ зазывомъ къ законному браку со стороны разночинца Нибуша—тоже характеренъ...

.....
Не такъ во всякомъ случаѣ судила судьба.

Наступилъ страшный, вѣчно памятный для меня день, вечеръ...

Соня ходила по комнатѣ и стонала... Я сходилъ за акушеркой. Начались какія-то таинственныя приготовленія, и меня выслали въ свою комнату. Сначала я сталъ было перелистывать какую-то книгу. Но вдругъ послышался страшный, за душу хватающій крикъ. Еще, еще и еще, съ промежутками, которые были то длиннѣе, то короче... У меня дѣтей не было, и потому я не знаю въ точности, что долженъ чувствовать мужъ, когда жена родить. Но должно быть это — нѣчто ужасное. Эти не жалостные, а жалкіе крики, въ которыхъ не отражаются ни ужасъ, ни отчаяніе и вообще никакая мысль и никакое чувство, кромѣ чувства невыносимой физической боли, такъ и на слушателей отзываются. Нѣтъ опредѣленной мысли о какой-нибудь опасности, нѣтъ яснаго, оформленнаго представленія тѣхъ страданій, которыя испытываются тамъ, за тонкой деревянной стѣной. Если есть что ясное, такъ это — сознаніе своего безсилія, возмутительное сознаніе своего положенія, какъ слушателя. Я понимаю порывъ той, вѣроятно мимической купчихи, которая половину публики въ театрѣ привела въ негодование, а другую размѣшила, крикнувъ изъ райка театральному герою, что театральнѣй злодѣй, только что совершившій убійство, спрятался за дверь. Быть слушателемъ, когда воочию совершается страшная драма, только слушателемъ, немогущимъ ни на одну іоту не то что измѣнить теченіе дѣла, а

хоть чуть-чуть облегчить страданіе—это ужасно, оскорбительно, невыносимо. Да и драма-то идетъ особенная: сила, съ которой помѣряться нельзя, сила стихійная, слѣпая, неумолимая и неотразимая, давить человѣка безвиннаго или по крайней мѣрѣ не больше виноватаго, чѣмъ слушатель мужескаго пола; давить такъ, что низводитъ его до уровня своей стихійности и слѣпоты, не оставляетъ въ немъ кажется ничего человѣческаго, кромѣ способности ощущать боль и выразить оцущеніе бессмысленнымъ крикомъ. Но зажать уши нельзя: во-первыхъ не поможетъ, а во вторыхъ совѣсть не позволить. Я попробовалъ, но въ ту же минуту отдернулъ руки, потому что въ ту же минуту блеснула мысль, что малодушно и подлю бѣжать даже звуковаго отраженія чужого страданія. Я затолкалъ себѣ въ ротъ носовой платокъ, чтобы не разрыдаться... Въ одинъ изъ промежутковъ между болями меня впустили къ Сонѣ; она лежала блѣдная, обезсиленная, съ закрытыми глазами и кажется такъ же безъ мысли отдыхала, какъ за минуту передъ тѣмъ безъ мысли страдала. Я спросилъ, не нужно ли доктора (уже раньше былъ объ этомъ разговоръ съ акушеркой, и она дала мнѣ на всякій случай адресъ), но акушерка, молодая и спокойно-самоувѣренная жепщина, объявила, что все идетъ какъ слѣдуетъ и кончится благополучно. Опять начались стоны, опять я заходилъ на цыпочкахъ (неизвѣстно для чего) изъ угла въ уголъ, опять затакивалъ себѣ въ ротъ платокъ... И такъ—не часть, не два... Вдругъ ко мнѣ торопливо вошла акушерка.

— Съѣздите за докторомъ... Ничего, ничего, не бойтесь; по можете понадобится... Напомните, чтобы захватилъ инструменты—онъ ужъ знаетъ.

Я понялъ только одно: есть опасность и опрометью бросился на улицу. Тамъ было уже свѣтло—часъ пятый, пусто и мертвенно тихо. Ни одного извозчика, а докторъ жилъ далеко. Я вспомнилъ, что въ двухъ шагахъ отъ насъ — лечебница; тамъ мнѣ укажутъ можетъ быть другого, ближайшаго акушера. Минуть съ пять ждалъ я у подъѣзда лечебницы, но это были минуты севастопольскія: каждая стояла добраго часа. Дверь на-

конецъ отворилась, и заспанный сторожъ сердито сообщилъ мнѣ адресъ. Это было близко. Я побѣжалъ. Но тамъ меня даже не впустили въ квартиру, а изъ-за двери крикнули, что доктора нѣтъ дома. Я опять пустился бѣгомъ, и наконецъ судьба сжалилась надо мной—послала извозчика. По адресу акушерки я доктора засталъ, и надо ему отдать справедливость: онъ очень быстро вышелъ ко мнѣ, очень быстро одѣлся, но зато, какъ человѣкъ бывалый и всякіе виды видавший, всю дорогу терзалъ мою душу разговоромъ о занимавшемъ тогда всѣхъ въ Петербургѣ уголовномъ процессѣ. А я между тѣмъ былъ весь полонъ однимъ вопросомъ: что тамъ дѣлается?! А тутъ еще у нашего извозчика колесо соскочило... Наконецъ, наконецъ и трижды наконецъ бѣжалъ я черезъ двѣ, черезъ три ступени вверхъ по нашей лѣстницѣ. Мнѣ отворила дверь Василиса:

— Ну, съ племянникомъ васъ, Григорій Александровичъ,— тихо и торжественно произнесла она.

Соня лежала въ полубезчувственномъ состояніи, а на диванѣ барахталось завернутое въ простыню маленькое, красное, сморщенное существо...

О, простите, читатель, простите, что я васъ подобными вещами занимаю! Вы видите, что я и безъ того бѣгомъ бѣгу, почти такъ же, какъ бѣжалъ тогда за докторомъ. Конечно пустяки: однимъ человѣкомъ на земномъ шарѣ больше стало, а ихъ, людей-то, и безъ того, говорятъ, слишкомъ много. Но это маленькое, красное, сморщенное существо такъ мнѣ дорого, такъ много я объ немъ думалъ и думаю, такъ многое изъ этихъ думъ хотѣлъ бы рассказать вамъ, что вы должны простить мнѣ эту чуточку воспоминаній о минутѣ его появленія на бѣломъ свѣтѣ. Но вы должны выслушать еще одну маленькую сцену, на которой я и покончу съ романической стороною исторіи Сони.

Вотъ какъ было дѣло. Соня, Нибушъ и я сидѣли за вечернимъ чаемъ. Возлѣ Сони на диванѣ лежалъ въ корзинкѣ мальчикъ въ самомъ благодушномъ настроеніи, что съ нимъ не часто

бывало, и сосалъ соску (у Сони молока было мало, такъ что нужно было прикармливать коровьимъ). Да и всё мы были чрезвычайно благодущны. Входить Василиса съ очень мрачнымъ сердитымъ лицомъ и суетъ Сонѣ въ руки карточку. На ней славянской вязью, такъ что мы несразу и прочли, было напечатано: «Андрей Андреевичъ Башкинъ», а внизу приписано карандашомъ, очень красивымъ почеркомъ: «умоляю о 10 минутахъ—не больше».

— Хорошо, пусть идетъ,—быстро сказала Соня.

— Софья Александровна, подумайте!—вступился Нибушъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, пусть идетъ, пусть лучше сразу...

Вошелъ Башкинъ, какъ всегда, изящный, красивый, со шляпой въ рукѣ. Нибушъ, блѣдный, какъ полотно, усиленно и громко мѣиналъ ложкой въ стаканѣ и расплескивалъ чай кругомъ. Соня тоже поблѣднѣла, и руки у нея, я замѣтилъ, дрожали. Башкинъ остановился посреди комнаты; никто не протянулъ ему руки; никто не пригласилъ сѣсть. Молчаніе. Слышно только, какъ ребенокъ тянетъ соску, да Нибушъ все громче и азартнѣе мѣшаетъ ложкой въ стаканѣ.

— Софья Александровна,—началъ наконецъ Башкинъ неровнымъ, обрывающимся голосомъ и не глядя на Соню:— я вамъ глубоко благодаренъ за позволеніе...

Молчаніе съ тѣми же двумя акомпаниментами. Руки у Сони дрожать еще сильнѣе, но она перемогается и повидимому очень спокойно спрашиваетъ:

— Что же вамъ угодно?

— Нѣсколько минутъ разговора... безъ свидѣтелей...

Говоря это, Башкинъ уже совершенно оправился и, при словѣ «свидѣтелей», метнулъ, какъ мнѣ показалось, полупрезрительный, полувывызывающій взглядъ на насъ съ Нибушемъ. Онъ былъ въ своемъ родѣ великолѣпенъ. Еслибы я изобразилъ эту памятную для меня сцену въ драматической формѣ, то, я увѣренъ, ни одинъ актеръ не сумѣлъ бы какъ слѣдуетъ выдержать положеніе: стоять одному среди комнаты подъ выстрѣлами трехъ паръ ненавидящихъ глазъ. Выдержанность Башкина меня

впрочемъ нямало не удивляла. Зато дѣйствительно удивительно было самообладаніе Сони.

— Это—мой братъ и мой другъ; у меня отъ нихъ нѣтъ секретовъ, а съ вами нѣтъ ничего общаго.

— Есть общее, Софья Александровна: оно возлѣ васъ.

И Башкинъ шагнулъ къ корзинкѣ, въ которой лежалъ ребенокъ. Соня инстинктивно схватилась за нее рукой, а Нибушъ, мимо котораго Башкину приходилось бы пройти, поднялся во весь свой огромный ростъ.

— Это вѣдь—*мой* сынъ,—сказалъ Башкинъ.

— Нѣтъ,—бросила Соня дрожащимъ голосомъ.

Злая и наглая, но почти невольная, почти конвульсивная усмѣшка искривила красивый ротъ Башкина.

— Чей же?—нахально спросилъ онъ.

Соня, тяжело дыша, осмотрѣлась кругомъ, точно искала кого-нибудь и потомъ вдругъ показала пальцемъ на Нибуша.

— Его...

Молчаніе. Легкія у всѣхъ присутствующихъ усиленно работаютъ.

— Въ такомъ случаѣ,—заговорилъ Башкинъ все съ тою же кривой, конвульсивной усмѣшкой:—въ такомъ случаѣ извините, что я васъ побезпокоилъ. Я никогда не рассчитывалъ на честь быть такъ близкимъ къ господину...

Онъ не кончилъ, потому что Нибушъ, не говоря ни слова и только скрипя зубами, схватилъ его за лацканы скюртука и потрянулъ.

— Оставьте!—крикнула Соня:—не марайте рукъ. Проводите господина Башкина...

Нибушъ покорно выпустилъ лацканы изъ рукъ и пошелъ вслѣдъ за Башкинымъ въ переднюю. Но черезъ двѣ минуты оттуда послышался его задыхающійся басъ:

— Дуэль?! На кк-ккулакахъ!.. Всю м-морду...

Ребенокъ проснулся и закричалъ. Соня рыдала...

О, мой милый, дорогой мой мальчикъ, что-то ждешь тебя?

Маленькія ножки! рѣзвости въ васъ много,
Но лежитъ предъ вами трудная дорога:
Будете вы часто падать, спотыкаться,
Трескаться отъ зноя, грязью покрываться.
Изнуренъ я этимъ странствіемъ тяжелымъ
И смотрю на васъ я взоромъ невеселымъ.

Нѣтъ, это—вздоръ, то-есть невеселый взоръ—вздоръ. Съ чего? Или мы совсѣмъ даромъ проживемъ и оставимъ своимъ дѣтямъ въ наслѣдство тѣ же раны, которыми сами страдаемъ, во всей ихъ неприкосновенности? Этого быть не можетъ, и вы сейчасъ увидите, что не трусливый оптимизмъ мнѣ это подсказываетъ. Съ происхожденіемъ своего племянника я скоро примирился. Во-первыхъ этому способствовала спокойная самоуверенность Соши, а во-вторыхъ и въ самомъ дѣлѣ это сторона конечно непріятная, но отнюдь не страшная при данныхъ условіяхъ. Можетъ быть иной комъ грязи и полетитъ въ ни въ чемъ неповиннаго (не онъ же въ самомъ дѣлѣ виноватъ, что родился!) мальчика изъ устъ какого-нибудь негодяя. Но ротъ негодяевъ до такой степени полонъ грязи и такъ охотно они ее извергаютъ, что по тому ли, по другому ли поводу, а рѣдко кто обезпеченъ отъ ихъ оскорбленій. А отъ того, что пережилъ напримѣръ Нибушъ отъ отца, выворачивающаго фамилію своего сына наизнанку, отъ матери, подставляющей свои скуластыя щеки подъ маленькія ручки тетеньки, отъ многаго множества пипковъ, тычковъ и пороковъ — отъ всего этого Сошинъ сынъ гарантированъ. Не эти опасности «рабскаго состоянія» ждуть его въ жизни, а напротивъ опасности состоянія барскаго, а изъ этихъ послѣднихъ едва-ли не ближе всего возможность оказаться лишнимъ человѣкомъ. Не изъ тѣхъ лишнихъ людей, которыхъ изобразилъ иѣкогда г. Тургеневъ; нѣтъ, тѣ были и бывшемъ поросли; тѣ въ концѣ-концовъ просто не знали, «на какой манеръ свою сытость разыграть», а теперешніе лишніе люди не знаютъ напротивъ на какой манеръ свой голодъ удовлетворить.

Я уже говорилъ о нарождающемся общественно - психологи

ческомъ процесѣ, производимомъ, какъ и всякій подобный процессъ, двумя силами: духовною — голосомъ совѣсти и матеріальною—голосомъ желудка. О голосѣ совѣсти тоже говорилъ, хотя очень мало, особенно сравнительно съ напряженностью этой силы и ея важностью. Но говорить объ этомъ предметѣ трудно, какъ ни накипѣлъ онъ на душѣ. У меня есть въ запасѣ безъ преувеличенія ужасающіе факты для его характеристики, но приходится держать ихъ до времени подъ спудомъ. Теперь—о голосѣ желудка. Если вы не забыли, я обѣщаль рассказать, какъ мы искали работы, но я могу вамъ предложить нѣчто болѣе любопытное, чѣмъ мои собственныя похождения. Изъ нихъ только такъ, для развлеченія, сообщу слѣдующее комическое происшествіе. Задумали мы вчетверомъ — Соня, Бухарцовъ, Нибушъ и я—открыть маленькую контору для пріема всякаго рода письменныхъ работъ: переписки, переводовъ, составленія компиляцій, съ тѣмъ, чтобы распредѣлять ихъ между собой сообразно силамъ и способностямъ. Напечатали въ газетахъ объявленіе. Составлялъ его, грѣшный человѣкъ, я, и вотъ какая у меня вышла редакція: нуждающіеся въ перепискѣ, переводахъ и т. п. просятъ сообщать письменно свои адреса туда-то. На другой же день явились три адреса. Я пошелъ. По первому адресу надо было идти на уголъ Вознесенскаго и Екатерингофскаго. Уже съ самаго начала меня стало брать нѣкоторое смущеніе, потому что неизвѣстный работодатель оказался живущимъ на второмъ дворѣ, по достаточно скверной, грязной, темной и вонючей лѣстницѣ. Ну, думаю, должно быть предложить переписку копѣекъ по десяти, а то и меньше, за листъ. Но подойдя къ двери и въ особенности дотронувшись до нея (звонка не было), я почувствовалъ потребность провѣрить, туда ли я попалъ. Посмотрѣлъ на бумажку, гдѣ былъ записанъ адресъ—вѣрно. Стучусь. Отворяетъ высокая, худая женщина. — Здѣсь живетъ Николай Ивановичъ Трапезниковъ? — Здѣсь. — Дома? — Кажись дома. — Въ маленькой, узенькой, низкой, совершенно гробообразной комнатѣ, куда я добрался длиннымъ корридормъ, стоялъ столъ, этажерка, два стула и кровать, а на кровати лежалъ

молодой человекъ лѣтъ двадцати, плотный, краснощекій, съ веселыми карими глазами. Онъ всталъ, тщетно стараясь застегнуть на груди свою странную сѣрую венгерку, сильно потертую, съ оборванными красными шнурами—тщетно, потому что соответственной пуговицы не было.

— Николай Ивановичъ Трапезниковъ?

— Такъ точно, что вамъ угодно?

— Я пришелъ узнать, что именно *вамъ* угодно...

— То есть какъ же это?

— Я получилъ вашъ адресъ, по объявленію въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ».

— А! Милости прошу, садитесь... Нѣтъ, нѣтъ, не на этомъ... этотъ—трехногій и на немъ можетъ усидѣть только Пиноя... ха, ха, ха! Такъ вы по объявленію? Да я все могу: и почеркъ у меня хорошій, и три языка знаю, не то, чтобы очень хорошо, говорить не могу, но для переводовъ...

— Позвольте однако... у меня тоже недурной почеркъ, я самъ ищу работы, такъ и объявлялъ...

— Какъ?! да вѣдь вы объявляли...

И т. д. Конецъ разговора сами можете себѣ представить. Трапезниковъ хохоталъ, какъ сумасшедшій, я — тоже. Qui pro quo вышло изъ-за двусмысленной редакціи объявленія. Я понималъ, что и другіе два присланные намъ адреса принадлежать такимъ же «нуждающимся», какъ Трапезниковъ, и не пошелъ ихъ искать, а поторопился составить другое объявленіе: переписываютъ и переводятъ хорошо, скоро и дешево. Но зато по этому объявленію не явился *никто*.

Этотъ забавный эпизодъ можетъ вамъ наглядно показать отношеніе между предложеніемъ и спросомъ на трудъ многочисленнаго петербургскаго «мыслящаго пролетаріата»—отношеніе, просто несообразное. Пылившимся лѣтомъ всѣ, не смотря на восточныя событія, замѣтили множество газетныхъ объявленій въ такомъ родѣ: «По причинѣ лишенія всѣхъ средствъ къ существованію и не предвидя для себя хорошаго исхода, прошу дать мнѣ работу, т. е. дать возможность существовать». По одному

изъ такихъ объявленій сходилъ и я—работинка небольшая на-
клюнулась, которой можно было подѣлиться. Меня конечно не
поразило то, что я увидѣлъ, но только потому, что я всякіе
виды видалъ... Въ литературѣ, сколько я знаю, на эту массу
отчаянныхъ объявленій обратилъ вниманіе только извѣстный
священникъ-публицистъ г. Беллюстинъ. Онъ думаетъ, что все
дѣло въ томъ, что родители обуреваемы какою-то студентобоязнью,
странною и неосновательною боязнью—поручать студентамъ обра-
зованіе и воспитаніе своихъ дѣтей. Онъ думаетъ также, что при
медико-хирургической академіи (почему-то именно только при
ней) должно быть устроено особое бюро изъ академическаго по-
видимому начальства, которое взяло бы на себя посредничество
между работодателями и ищущими работы студентами. Можетъ
быть оно и вѣрно, и хорошо—не знаю, сомнѣваюсь впрочемъ.
Меня другая сторона этой матеріи занимаетъ. Для уясненія ея
позвольте мнѣ привести изъ одной газеты напечатанный тоже
нынѣшнимъ лѣтомъ рассказъ. Онъ очень плохо написанъ, но
дышетъ правдой и, смѣю думать, представляетъ глубокий инте-
ресъ. Я его цѣликомъ выпишу, благо не великъ.

На поденной работѣ.

(Фактъ).

Я—молодой человѣкъ и не имѣю еще никакого опредѣленнаго положенія
въ обществѣ. Притомъ я—пролетарій. Поэтому многіе меня не считаютъ
даже за человѣка. По крайней мѣрѣ родные и знакомые моего отца не-
рѣдко мнѣ говорили: «Другъ мой! выслужись хоть до перваго чина,
ибо кто не имѣетъ чина, тотъ—не человѣкъ». Я—сирота. Отецъ мой,
бдинъ изъ крупныхъ провинціальныхъ чиновниковъ, недавно умеръ, оста-
вивъ мнѣ, своему единственному сыну, 50 рублей деньгами. Съ его смертью
обстановка моей жизни мгновенно измѣнилась. Теперь я могъ су-
ществовать лишь при условіи личнаго труда: посредствомъ знаній прио-
брѣтенныхъ мною въ реальномъ училищѣ. Разсчитывая поступить осенью
въ земледѣльческій институтъ, я послѣ похоронъ отца пріѣхалъ въ
Петербургъ и поселился на дачѣ въ Лѣсномъ, заплативъ за комнату
20 руб. въ лѣто. У меня еще оставалось 25 рублей, да книгъ и вещей руб-
лей на 50. Ясно было, что безъ уроковъ или переписки я не могу прожить

до половины сентября. Поэтому я принялся усердно разыскивать многочисленных знакомых моего отца, прося их дать мнѣ работу. Всѣ эти господа въ стереотипныхъ выраженіяхъ общались мнѣ прискаты занятія; на лицахъ нѣкоторыхъ изъ нихъ я замѣтилъ даже нѣчто въ родѣ сочувствія къ моему положенію, многіе записали мой адресъ, но въ концѣ-концовъ никто не далъ мнѣ работы; а между тѣмъ въ числѣ этихъ особъ были: отставной министръ, нѣсколько важныхъ генераловъ, два директора гимназій, учителя, чиновники, офицеры и наконецъ денежные тузы. Хотя мнѣ и пора бы было убѣдиться, что человѣку въ моемъ положеніи трудно, почти невозможно достать себѣ работу безъ протекціи, родства, кумовства и личнаго знакомства съ сильными міра, однако голодъ—не тетка, и я продолжалъ звонить въ квартиры знакомыхъ покойнаго отца. Теперь разумѣется я больше къ нимъ не пойду, потому что понялъ наконецъ, какіе это люди. Затѣмъ я обѣгалъ очень много присутственныхъ мѣстъ, всевозможныхъ конторъ и т. п. учреждений и—опять напрасно. Что дѣлать? Я заложилъ послѣдній свой сюртукъ и изъ 2 рублей ссуды, что получилъ за него, пожертвовалъ на публикаціи объ урокахъ 1 р. 58 к. Всѣ три публикаціи прошли для меня безслѣдно, можетъ быть потому, что въ нихъ не было выраженій: «даю уроки за ничтожное вознагражденіе», или «ищу всевозможныхъ занятій», или же «предлагаю свои услуги пожилымъ дамамъ за столъ и квартиру». А между тѣмъ изо дня въ день неумолимая нужда все болѣе и болѣе суживала кругъ моихъ жизненныхъ потребностей. Время было торопиться разрѣшеніемъ голоднаго вопроса... И вотъ я надумалъ, въ ожиданіи лучшихъ временъ, прибѣгнуть къ помощи мускульнаго труда. На другой же день я вышелъ изъ своей квартиры въ Лѣсномъ и направился въ Петербургъ искать поденной работы. Переходя Самсоніевскій мостъ, я вспомнилъ, что тутъ, въ угловомъ деревянномъ домѣ, по набережной Малой Невы, если съ моста завернуть палѣво, живетъ мой товарищъ, студентъ-медикъ Петровъ. Я зашелъ къ нему съ намѣреніемъ взять у него хоть немножко денегъ. Петрова не было дома; я сталъ его дожидаться и отъ нечего дѣлать высунулся въ окно, выходившее въ узкій, продолговатый дворъ, поросшій репейникомъ, лопухомъ и крапивой. Взглянувши въ лѣвомъ направленіи, я увидѣлъ часть берега Малой Невы и деревянную барку съ распиленными бревнами. Съ барки на берегъ велъ спускъ изъ четырехъ досокъ, неплотно прилежавшихъ одна къ другой, а отъ спуска по землѣ, мимо окна квартиры Петрова слѣдовалъ непрерывный деревянный путь въ одну доску, скрывавшійся гдѣ-то на дровяномъ дворѣ. Трое рабочихъ занимались разгрузкою барки, безпрестанно прокатывая въ тачкахъ бревно на дровяной дворъ. Едва я успѣлъ все это наблюсти, какъ позади меня раздались скорые шаги, дверь въ комнату растворилась, и ко мнѣ подошелъ Петровъ, съ привѣтливой улыбкой протягивая мнѣ руку.

— Ну что, Семеновъ, къ какомъ положеніи ваши дѣла?

— Да что, Петровъ! Вотъ думаю взяться за поденную работу, а то скоро и ѣсть будетъ нечего.

— Знаете, мнѣ кажется, что вы неспособны къ физическому труду. Притомъ въ такомъ костюмѣ, въ какомъ вы теперь, васъ и не примутъ въ рабочіе.

Я оглянулся на свой костюмъ. На мнѣ были надѣты сапоги съ вентиляціями, таковые же темнозеленые, клѣтчатые штаны, сѣрый жилетъ съ разорванною до воротника спиною и лѣтній пиджакъ, когда-то желтаго цвѣта. Голову мою защищала бѣлая стружковая шляпа съ большими полями.

— Пустяки,—горячился я,—пустяки, чтобы мускульный трудъ мнѣ не былъ подъ силу.. Да что говорить!.. Лучше всего посмотрите въ окно на этихъ мужиковъ. Посмотрите, всѣ они ниже и моложе меня, на взглядъ тощѣ, а видите, какъ свободно везутъ тачки.

Проводивъ рабочихъ глазами, я продолжалъ:

— Что же касается моей одежды, то ее вѣдь въ случаѣ надобности можно замѣнить и другою.

— Ну, попытайтесь!—задумчиво произнесъ студентъ.

— Да мнѣ ничего больше не остается дѣлать.

Выйдя на улицу, я пошелъ навстрѣчу мужику-старикѣ, сходявшему съ барки. Онъ ее сторожилъ и наблюдалъ за работою.

— Отчего у васъ такъ мало работниковъ? спросилъ я.

— Да оттого, батюшка, что къ намъ не приходятъ рабочіе,—отвѣчала добродушно старикъ, слегка шамкая.

— А я думалъ потому, что мало дровъ на баркѣ.

— Какое мало, батюшка, когда еще осталось сажень семдесятъ.

— А вы всякаго принимаете на работу?

— Всякому, батюшка, рады.

— Ну, такъ возьмите меня къ себѣ въ рабочіе.

Старикъ широко ухмыльнулся.

— Тяжелая работа, батюшка, замѣтилъ онъ.

— Э, ничего... вѣдь работаютъ же они (я показалъ рукой), стало быть могу и я.

Старикъ слушалъ меня съ улыбкою, казалось окаменѣвшею на его лицѣ.

Послѣ минутной паузы я продолжалъ:

— А какую плату вы мнѣ дадите?

— Да што они получаютъ, то и вы получите... О платѣ, батюшка, вамъ надо съ ними переговорить.

Отыскивши на дровяномъ дворѣ рабочихъ, я обратился къ нимъ съ предложеніемъ:

*

— Братцы, хочу вмѣстѣ съ вами поработать; согласны ли вы принять меня въ товарищи?

Всѣ три мужика, вмѣсто отвѣта, молча уставились въ меня глазами. Я повторилъ свой вопросъ.

На этотъ разъ одинъ изъ молодыхъ парней отвѣтилъ мнѣ, почесывая затылокъ:

— Что-жъ, ничего... можно.

— А какая плата?—поинтересовался я узнать.

— Да разное, съ сажени плата.

— Рубль выручаете въ день?

— Мы-то? Мы зарабатываемъ и больше рубля въ день, рубля полтора.

— А сколько работаете въ день?

— Мы работаемъ съ четырехъ часовъ утра до семи вечера.

— Гдѣ же у васъ еще тачки? спросилъ я, оглядываясь во всѣ стороны и намѣреваясь сейчасъ же приняться за работу.

— Здѣсь у насъ нѣтъ тачекъ,—отвѣчалъ парень,—тачки у насъ хозяйскія, и мы ихъ сюда привозимъ, когда надо. Завтра можно и для тебя захватить тачку. Только какъ же вдругъ-то,—какъ будто спохватясь, замѣтилъ онъ,—вотъ мы съ тобой договорились ужъ, а не знаемъ, каковъ таковъ ты работникъ... Нѣтъ... ты намъ для примѣру хоть одну тачку сволоки.

— Да, да, да,—подхватили остальные рабочіе;— чтобы мы, значить, видѣли, какъ можешь ты работать.

— Хорошо,—отвѣтилъ я и пошелъ на барку вмѣстѣ съ рабочими, потащившими за собою тачки.—Воображеніе мое заиграло. Я уже видѣлъ въ себѣ работника съ хорошо укрѣпленными мышцами и съ мѣсячнымъ заработкомъ въ 50 р.

Я быстро побѣжалъ на барку. Рабочій, съ которымъ я договаривался, подкатилъ ко мнѣ пустую тачку и сказалъ: такъ и быть, я каждый разъ буду тебѣ свозить тачку на берегъ; твое дѣло—тащить ее по доскамъ во дворъ.

Я принялся за работу. Нагружая тачку бревнами, я чуть было однимъ изъ нихъ не отдалилъ себѣ ноги, два раза ронялъ бревно. Черезъ нѣсколько мннуть тачка была нагружена. Явился рабочій и скатилъ ее съ барки.

— Ну, теперь вези,—сказалъ онъ, обратившись ко мнѣ лицомъ и отходя самъ шага на два въ сторону. Парни пересмѣхнулись, подмигивая на меня.

— Нннууу... ннуу... Трогай! заговорили работники.

Наступила рѣшительная минута. Я молча схватился за рукоятки тачки и сталъ осторожно ее приподнимать. Но прежде еще, чѣмъ я ус-

дѣлъ сдвинуть съ мѣста, она заколебалась, стала накрѣиваться на дѣвѣнскій бокъ и наконецъ, выравнившись изъ моихъ рукъ, опрокинулась съ доски въ траву. Раздался дружный смѣхъ зрителей. Съ ругательствами я брѣлся устанавливать тачку и вновь ее нагружать. Когда, пригнувшись лицомъ къ землѣ и обхвативши руками концы тяжелаго бревна, я взваливалъ его на тачку, отъ сильной натуги у меня чуть не переломился позвоночный столбъ. Опять приподнявъ тачку, я налегъ на нее и вторично опрокинулъ, причемъ повторилась та же сцена смѣха. Одинъ только я не смѣялся; со мною сдѣлался точно столбнякъ... Воцарилось молчаніе.

— Ну, веземъ, что-ли! вдругъ выговорилъ сурово рабочій, на пути котораго я стоялъ—что тутъ стоять-то, али не видали чево!

Рабочіе тронулись, а я... я вернулся въ квартиру Петрова.

— Ну, что?—спросилъ Петровъ.

— Да что!... Фіаско, вотъ что!—злобно сказалъ я.

— Что и требовалось доказать,—спокойно замѣтилъ Петровъ.

Я не отвѣчалъ и задумался. Я думалъ о томъ, что моя надежда, моя послѣдняя надежда на физическій трудъ разбилась въ дребезги, и всего въ какія-нибудь пять минутъ. вмѣстѣ съ тѣмъ я испытывалъ всею своею нервною системою страшныя физическія боли, вслѣдствіе сознанія какъ бы своей непригодности къ условіямъ жизни.

Я увѣренъ, что сумѣю
Людымъ помогать,
И за нихъ не пожалѣю
Жизнь свою отдать.

Такъ я закончилъ когда-то одно изъ своихъ стихотвореній. И вотъ этотъ же самый я, къ силу неотразимой логики положенія, оказываюсь ненужнымъ человѣкомъ на пирѣ жизни. Ужасно! И я вспомнилъ о школѣ, въ которой мы все учимся. Какое право, думалъ я, имѣеть эта школа игнорировать въ дѣлѣ воспитанія физическій трудъ! Какое имѣеть она право дѣлать насъ такими жалкими, такими безпомощными на дорогѣ жизни! И горько стало у меня на душѣ.

Вотъ настоящій нынѣшній лишній человѣкъ, «ненужный», какъ онъ самъ говоритъ. И не думайте пожалуйста, что это—какое-нибудь рѣдкое исключеніе, которое по своей исключительности даже мало занимательно. Напротивъ, совершенно напротивъ. Еще немного, и мы съ вами можетъ быть тоже очутимся «на поденной работѣ», и благо намъ будетъ, если руки наши

окажутся достаточно мускулистыми. Дѣло серьезное, и я не хочу допускать неточности и двусмысленности. Не вѣмъ же обладать геркулесовскимъ сложениемъ; иѣтъ резона всей кучѣ ненужныхъ людей толпиться на дровяномъ дворѣ, но вѣдь на немъ свѣтъ не клиномъ сошелся. Вы видите во всякомъ случаѣ громадную разницу между старымъ и новымъ лишнимъ человѣкомъ. Тотъ, старый, былъ положимъ тоже несчастенъ и разбитъ жизнью, но изъ самаго своего несчастія онъ ухитрялся сдѣлать странно пріятную для себя игрушку: онъ любовался на свои раны, заставлялъ и другихъ любоваться, кокетничалъ. Новому не до кокетства, потому что... потому что онъ голоденъ. Тотъ лгалъ, этотъ—сама правда, голая и неприкрашенная.

Позвольте мнѣ ужъ заодно сдѣлать еще двѣ выписки. Беру почти первую попавшуюся подъ руки книгу о внутреннихъ отношеніяхъ нашего отечества — сборникъ нижегородскаго статистическаго комитета «въ память перваго русскаго статистическаго съѣзда». (Нижній-Новгородъ, 1875). Развертываю статью г. Фогеля «Крѣпостное хозяйство въ Ярославской губерніи» и читаю: «Возможно ли веденіе хозяйства въ Ярославской губерніи? Вотъ вопросъ, который составляетъ существенный интересъ настоящей экономической жизни. Вообще всѣ хозяева губерніи, за весьма рѣдкими исключеніями, того мнѣнія, что веденіе хозяйства съ успѣхомъ—дѣло невысказанное... Людей, которые вѣрятъ въ возможность возрожденія хозяйства, немного; ихъ можно сосчитать по пальцамъ. Но что эти люди могутъ привести въ опроверженіе большинства? Свою вѣру, энергію, трудъ и нѣсколько фактовъ, которые дороги для нихъ, какъ залогъ будущей дѣйствительности, но неимѣющихъ никакой цѣны для большинства, которое придаетъ этимъ фактамъ характеръ случайности. Хозяева съ болѣе умѣренными взглядами говорятъ, что хозяйство не въ убытокъ и можно вести его, но только тогда, когда самъ хозяинъ живетъ въ имѣніи. Оно можетъ прокормить владѣльца, но и только; затѣмъ весь доходъ съ хозяйства уходитъ на содержаніе рабочихъ. Хозяйство, по ихъ мнѣнію, можетъ только окупить текущія издержки, но не въ со-

стоянии дать что-нибудь на свое улучшение. Въ подтвержденіе приводятъ то, что владѣльцы, у которыхъ нѣтъ надѣловъ или особыхъ источниковъ доходовъ, живутъ такъ бѣдно, что даже поѣздка въ уѣздный городъ составляетъ для нихъ чувствительный расходъ. Также указываютъ на то обстоятельство, что хозяйственные постройки настолько плохи, что годны на одно топливо, и держатся потому только, что у хозяевъ нѣтъ средствъ построить новыя... У насъ считаются тѣ хозяйства удовлетворительными, которыя окупаютъ расходы и даютъ владѣльцу сносное содержаніе. Тогда на владѣльца указываютъ, какъ на дѣйствительнаго хозяина и какъ на знатока въ своемъ дѣлѣ. Но что же ему даетъ хозяйство — только одно плохое содержаніе, а трудъ его вовсе не окупается. Большинство же хозяйствъ даютъ чистый убытокъ и ведутъ только по прихоти... Большинство владѣльцевъ радо развязаться съ своими имѣніями, которыя имъ въ тягость, и множество усадебъ ждутъ покупателей, но желающихъ очень мало. Владѣльцы утверждаютъ, что земли не окупаютъ даже поземельныхъ окладовъ».

Развертываю въ томъ же сборникѣ статью г. Пирогова «Очеркъ состоянія земледѣльческой промышленности въ Костромской губерніи», и читаю: «Недостатокъ денежныхъ средствъ, знаній и практической опытности для рациональнаго веденія сельскаго хозяйства, частью неисполнительность рабочихъ и наконецъ высокая цѣнность вольнонаемнаго труда для обработки малопродуктивныхъ полей, заставляютъ многихъ изъ владѣльцевъ оставлять усадьбы, сдавая ихъ въ аренду, или же значительно сокращать запашки; сокращенія эти достигли такихъ размѣровъ, что напримѣръ въ цѣломъ Галичскомъ уѣздѣ, одномъ изъ самыхъ хлѣбородныхъ въ губерніи, существовали въ 1871 году только три владѣльческія усадьбы, имѣнія до 50-ти четвертей ржанаго посѣва; всѣ же прочія хозяйства въ уѣздѣ представляли значительно меньшіе размѣры. Въ Костромскомъ уѣздѣ, по свѣдѣніямъ земской управы, изъ 520 землевладѣльцевъ не болѣе $\frac{1}{6}$ части въ настоящее время правильно ведутъ

свое хозяйство; остальные же или оставили поля безъ обработки или же сдали ихъ въ аренду».

Костромская и Ярославская губерніи конечно не составляютъ исключенія, да и наконецъ кому же неизвѣстно, какъ идетъ у насъ дворянское хозяйство? Я могъ бы сдѣлать сотни цитатъ, не менѣ выразительныхъ, чѣмъ тѣ, которыя привелъ. Слѣдовательно авторъ «На поденной работѣ», сынъ значительнаго провинціального чиновника, могъ бы быть и сыномъ помѣщика. Но точно также онъ могъ бы быть сыномъ писателя, доктора, и дѣло тутъ вовсе не въ студентобоязни г. Беллюстина: число работодателей сокращается, число работниковъ растетъ. Безъ сомнѣнія лазѣйки въ стороны отъ «поденной работы» есть: кое-кто можетъ пристроиться къ государственной службѣ, къ частной, общественной, къ либеральнымъ профессіямъ. Но за всѣмъ тѣмъ все-таки остается громадная масса лишнихъ людей. И куда же спрашивается имъ идти? Прочитайте еще разъ рассказъ «На поденной работѣ», и вы увидите. Авторъ только потому оказался окончательно лишнимъ, что руки у него плохи и ни къ какому ремеслу не привычны.

Чувствую, какъ все это у меня выходитъ бездоказательно и неполно. Очень мнѣ это больно, потому что дѣло важное и всякаго вниманія достойное. Во всякомъ случаѣ, такъ какъ я карты держу по возможности открыто, то вы видите, что есть чрезвычайно сильный, чисто матеріальный факторъ «слянія съ народомъ», котораго многіе никакъ не могутъ понять. Положимъ, что я этотъ факторъ изобразилъ неудовлетворительно, но онъ существуетъ. А тамъ, гдѣ его нѣтъ, является на подмогу факторъ духовный—голосъ совѣсти, въ сущности не менѣ грозный и настойчивый, чѣмъ голосъ желудка. Вычитайте все, что можно вычестъ, останется все-таки довольно круглая сумма и притомъ рѣшительно безъ всякой національной приправы. А вычитаніе то конечно произвести надо. Вотъ напримѣръ г. Евгений Утинъ—чтобы взять какой-нибудь конкретный примѣръ—древняя исторія котораго состоитъ хотя и въ нѣкоторой незаконной связи радикализма съ просвѣщеннымъ либерализмомъ,

но который все-таки былъ изъ нашихъ. Онъ вѣдь такъ отчетливо произносилъ въ одной своей статьѣ (о Рѣшетниковѣ), что надо «возможно ближе подойти къ народу, къ его стремленіямъ и истиннымъ интересамъ». Г. Евгений Утинъ, новѣйшая исторія котораго состоитъ въ ломаніи стульевъ даже не изъ-за Александра Македонскаго, а изъ-за нѣсколькихъ тысячъ рублей... Г. Евгений Утинъ, который въ другой своей статьѣ (объ Островскомъ) написалъ слѣдующія какъ бы пророческія строки: «Я сумѣю поддѣлаться и къ тузамъ; я найду себѣ покровительство — вотъ вы увидите. Глупо ихъ раздражать; имъ надо льстить грубо, безпардонно. Вотъ и весь секретъ успѣха». Такъ говоритъ Глумовъ, и въ этихъ словахъ заключается ключъ къ уразумѣнію всего его характера. Боже мой, какое разстояніе пройдено отъ Жадова до новаго героя! Тамъ на первомъ планѣ стояли принципы, высокія начала честности, правды, слышалось искреннее желаніе быть полезнымъ другимъ, бороться съ ложью, обманомъ; здѣсь напротивъ прежде всего является собственная личность, карьера, на алтарь которой Глумовъ готовъ принести все, что только въ его власти. Это больше не тотъ юноша, который громко возмущается несправедливыми общественными отношеніями: нѣтъ, это—человѣкъ, который боится терять время на смѣхъ надъ людскою глупостью; онъ жаждетъ употребить ее въ свою пользу; надо пользоваться «ихъ слабостями», говоритъ онъ...»

На этотъ сортъ людей, на господъ Евгениевъ Утиныхъ, конечно надо класть извѣстный процентъ. Но во первыхъ ихъ могутъ ошельмовать собственные дѣти (помните Зацѣпу?). А во вторыхъ ихъ вовсе не такъ трудно разгадать, даже въ періодъ ихъ древней исторіи. Они прежде всего чрезвычайно благородны и не скрываютъ этого, какъ видно даже изъ приведенной маленькой тирады. Не помню гдѣ, кажется въ «Запискахъ охотника», одно лицо изображается такъ: «мужчина съ чрезвычайно благороднымъ лицомъ и по всѣмъ признакамъ шулеръ». Шулеръ не шулеръ, а во всякомъ случаѣ очень надежный человѣкъ, проблематическая такъ сказать натура.

Можетъ быть все это благородство есть только *façon de parler*, а въ сущности человѣкъ понимаетъ, что ему кичиться нечѣмъ, а напротивъ каяться надо. Но вѣришь, что за древней исторіей Евгенія Утина должна послѣдовать его новѣйшая исторія, потому что дѣло построенное на одномъ, хотя бы необычайномъ благородствѣ, построено на пескѣ. Никто вѣдь не обязанъ обладать необычайнымъ благородствомъ: хочеть—благородствуетъ, не хочеть—въ карманъ благородство прячетъ. Другое дѣло—когда человѣкъ не можетъ не поступать извѣстнымъ образомъ или по крайней мѣрѣ поступать въ противоположномъ смыслѣ; когда его неустанно грызеть червь недовольства собой, когда ему стыдно благородствовать... Спасители! — сами спасайтесь! Ну, а про матеріальный факторъ и говорить нечего, такъ какъ прочность его, разъ только наличность его признана, для всякаго очевидна.

У меня есть знакомый докторъ, зарабатывающій хорошія деньги и живущій очень хорошо. Онъ учитъ своихъ дѣтей ремесламъ. Я думалъ, что это онъ, какъ докторъ, съ гигиеническими цѣлями. Но на мой вопросъ онъ отвѣтилъ: «мало ли что можетъ случиться?»

Да, мало ли что можетъ случиться?..

VI.

Ахъ, какъ трудно писать для публики, или можетъ быть это съ непривычки, но только все боишься не дописать или переписать. Изъ-за этой именно боязни я было и «закрылъ форточку», пересталъ писать. Изъ-за нея же вотъ опять берусь за перо. Такой ужъ случай вышелъ.

«Московскія Вѣдомости» въ трехъ номерахъ разсуждаютъ объ «Нови» г. Тургенева устами полупочтеннаго г. Н. Щербаня. Мнѣ признаться всѣ разсужденія объ «Нови» надоѣли хуже горькой рѣдьки. Этакая въ самомъ дѣлѣ у людей страсть пустое мѣсто пережевывать! Я и самую «Новь» насилу читалъ, такъ полупочтенныхъ комментаторовъ и Богъ велѣлъ об-

ходить. Да пріятель одинъ показалъ: смотри-ко, что объ тебѣ Щербанъ пишетъ. Я посмотрѣлъ. Разсуждая о «непорочности» Маріанны, онъ прибавляетъ: «Въ февральской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» прошлаго года помѣщены были отрывки изъ автобіографіи нѣкоего прогрессиста, г. Темкина, *разумеется псевдонима*, задавагоса мыслью правдиво описать свою жизнь, не скрывая ни ошибокъ, ни увлеченій, ни нѣкоторыхъ «дряпостей». Г. Темкинъ приводитъ между прочимъ слѣдующее изъ своей студенческой жизни: «мѣсячное мое содержаніе, 25 рублей, немедленно проѣдалось и пропивалось съ Наташей (такъ звали «его дѣвушку») и пріятелями, а остальное время жилось отчасти въ долгъ, отчасти чортъ знаетъ какъ, вообще впроголодь. Въ одну изъ подобныхъ проголодей, Наташа принесла десять огурцовъ, десять печеныхъ яицъ и кусокъ ситнаго хлѣба. Я зналъ *какою цѣною Наташа купила эти огурцы и яйца*, зналъ и ѣлъ и съ пріятелями дѣлился, и не становилось у насъ поперекъ горла; и мы были увѣрены, что изъ насъ выйдутъ гениальные комки нервовъ»... У нихъ (прибавляетъ уже отъ себя г. Щербанъ) въ случаѣ надобности кормятся Наташами, а не то, чтобы блюсти чистоту Маріанны и хлопотать объ огражденіи ихъ непорочности отъ сомнѣній».

Чрезвычайно тонкій и проницательный человѣкъ этотъ господинъ Щербанъ. Узналъ, что «Темкинъ» — псевдонимъ; если спросить: чей? — пальцемъ укажетъ, да и отъ полупочтенныхъ комментаріевъ не откажется. Не хочу впрочемъ притворяться. Г. Щербанъ—совсѣмъ не проницательный и не тонкій человѣкъ. Онъ просто нехорошій человѣкъ и вдобавокъ очень грубый. Онъ долженъ былъ видѣть, какъ больно мнѣ вспоминать эту мерзость, которую я разсказалъ только по чувству правды. Онъ не понималъ ни этой боли, ни этого чувства—какой же онъ тонкій и проницательный человѣкъ? и гдѣ же ему понять тѣ болѣе тонкія боли и болѣе высокія чувства, о которыхъ онъ трактуетъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ»? Онъ—даже не полупочтенный, а совсѣмъ непочтенный человѣкъ. Но мнѣ, сознаюсь, все-таки было обидно прочитать выдержку г. Щербана изъ моихъ безхит-

ростныхъ воспоминаній. Неужели я въ самомъ дѣлѣ до такой степени переписалъ или не дописалъ, что мои слова могутъ быть правомѣрно затканы въ ту гнилую и линючую матерію, которую изготовилъ для «Московскихъ Вѣдомостей» г. Щербань? Заглянулъ въ февральскую книжку «Отечественныхъ Записокъ», прочиталъ: кажется, все ясно, все на ладони, хотя кое-что впрочемъ дописать не мѣшаетъ. Дѣло въ томъ, что непосредственно за строками моего признанія, выписанными г. Щербанемъ, стоитъ слѣдующее: «Это ужъ—верхъ мерзости... Всѣ эти мерзости кончились съ прїѣздомъ Сони» и т. д. Этихъ строкъ г. Щербань не привелъ. Какъ человѣку нехорошему и вдобавокъ грубому, ему хотѣлось представить дѣло такъ, какъ будто я считаю «кормленіе Наташами» если не прекраснымъ, то по крайней мѣрѣ безразличнымъ дѣяніемъ. Даже и не правдоподобно! А между тѣмъ ту же цѣль преслѣдуетъ и другая маленькая передержка г. Щербаня. Въ серединѣ цитаты вышущены слова: «правда, я былъ страшно голоденъ, но вѣдь я зналъ, какую цѣлюю» и т. д. Дѣйствительно тонкій и проницательный человѣкъ (если онъ при этомъ не шулеръ конечно) увидалъ бы, что самый голодь упоминается здѣсь только для того, чтобы показать, что и имъ не оправдывается мерзость. Главная-то впрочемъ передержка г. Щербаня состоитъ въ пропускѣ: не отдѣльныхъ фразъ, а цѣлой мысли, которая кажется ясно была выражена словами: «я бы очень хотѣлъ выяснитъ вамъ чрезвычайно рѣзкую границу между тогдашнимъ (временъ эпизода съ Наташей) и теперешнимъ моимъ образомъ мыслей», а также, само собою разумѣется, образомъ дѣйствій. Эпизодъ съ Наташей есть несомнѣнная мерзость, но ничего «нашего» онъ характеризовать не можетъ. Я былъ «вашъ», непроницательный и грубый г. Щербань, до такой степени очевидно вашъ, что гордился знакомствомъ съ молодымъ писателемъ, котораго я встрѣчалъ въ салонѣ Анны Сергѣевны и который нынѣ, рука объ руку съ г. Щербанемъ, благополучно стоитъ на стражѣ культуры. Я былъ безпутный мальчишка, испорченный сначала барскимъ воспитаніемъ, а потомъ проклятымъ салономъ Анны

Сергѣевны. Я былъ собственно говоря такой же князь Братовичъ, который въ послѣднемъ романѣ князя Мещерскаго «Тайны современнаго Петербурга» продаетъ себя шикарной кокооткѣ Мери Фиджи. Или фигурирующий въ томъ же романѣ штабсъ-ротмистръ Лоскутовъ, который «жилъ на содержаніи у какой-то купчихи и ея же деньгами содержалъ другую женщину». Разница только въ томъ, что я не продавался, а просто вель себя мальчишески - безпутно. Если ужъ г. Щербань дѣлаетъ мнѣ честь и цитируетъ меня, какъ правдиваго и свѣдущаго бытописателя, то для характеристики «нашихъ» отношеній къ женщинамъ ему надлежало бы воспользоваться изображеніемъ любви Нибуша къ Сонѣ, потому что болѣе ничего я изъ этой сферы не представилъ.

Итакъ непроницательный г. Щербань мѣтилъ въ ворону, а попалъ въ корову, мѣтилъ въ какихъ-то «нашихъ», а попалъ въ своихъ. Это все равно, какъ еслибы онъ для характеристики нашихъ отношеній къ родословнымъ, указалъ на тотъ моментъ изъ моихъ воспоминаній, когда я горько плакалъ, узнавъ, что я—не потомокъ князей Темкиныхъ-Ростовскихъ, не «родственникъ Владиміра Святого», а серебрянскій мужикъ. Вотъ бы попалъ-то! И этакій-то непроницательный или недобросовѣстный (одно изъ двухъ непремѣнно) человѣкъ берется разсуждать о послѣднемъ романѣ г. Тургенева... Воображаю, что онъ тамъ написалъ. Мнѣ, признаюсь, омерзительно было заглянуть, да и не много, думаю, я потерялъ.

Во всякомъ случаѣ ошибка или вѣрнѣе недомолвка съ моей стороны была. Тѣ пріятели, которые помогали мнѣ коротать время съ Наташей, не получили у меня никакой обрисовки. Соня, Нибушъ, Бухарцовъ, которыхъ я вамъ уже представилъ, Шива, Бѣдный Музыкантъ и другіе, которыхъ я еще долженъ вамъ представить — все это позднѣйшіе знакомые, неучаствовавшие въ моихъ безобразіяхъ. Для ясности дѣла и для полноты мнѣ бы слѣдовало предъявить коллекцію типовъ иного характера, тѣхъ, съ которыми я бражничалъ до пріѣзда Сони. Тутъ были не безынтересныя фигуры. Одного изъ нихъ я призналъ въ про-

цессѣ червонныхъ валетовъ, другой теперь пишетъ корреспонденціи изъ Петербурга въ одну московскую газету, третій какъ-то доползъ до степеней извѣстныхъ. Все это надо бы предъявить. Но вопервыхъ я къ счастью съ этимъ людомъ возился недолго, а вовторыхъ ей - богу противно. Такъ противно, что хоть вотъ теперь и хотѣлось бы—извините за простонародное выраженіе— утереть постъ г. Щербаню, да просто рука не поднимается. Ну ихъ!

Однако, разъ взялся за перо, писать хочется. Только ужъ отвыкъ какъ-то. Не знаю какъ выйдетъ. Ну, да читатель со стараго и вдобавокъ непритязательнаго знакомаго не взыщеть. Я вѣдь больше для себя пишу: что накопится на душѣ, то и выкладываю въ какомъ придется порядкѣ.

Немудрено, что на меня опять нахлынули воспомнанія и опять стали давить мою измученную душу: я недавно встрѣтилъ дяденьку-генерала и Анну Сергѣевну и всю свиту ея.

Это было въ академіи художествъ на выставкѣ. Я пришелъ смотрѣть картину Семирадскаго. Это—такое громадное полотно, съ такимъ огромнымъ числомъ лицъ и фигуръ, что нужно извѣстное время, чтобы взглядѣться въ картину, подвести хоть приблизительный итогъ массѣ отдѣльныхъ впечатлѣній. Я былъ именно этимъ занятъ, какъ вдругъ недалеко отъ себя услышалъ какіе-то знакомые голоса (передъ картиной толпилось человѣкъ семьдесятъ). Смотрю—Башкинъ. Онъ объясняетъ что-то незнакомой мнѣ дамѣ. Говоритъ онъ тихо и должно быть дѣлаетъ какія-нибудь параллели между тѣмъ, что на картинѣ изображено, и тѣмъ, что очень занимаетъ и его, и молодую даму: дама улыбается и грозитъ ему вѣеромъ. Немного отступя отъ нихъ, сзади—цѣлая группа: Анна Сергѣевна, значительно уже постарѣвшая и даже кажется немного подурмяненная; мой кузень прокуроръ, затянутый въ броню крахмальныхъ воротничковъ и вѣчной идеи правды и справедливости; мой кузень военный, молодцовато опершійся на саблю; еще какія-то дамы, изъ которыхъ одна была особенно нарядна и красива; она составляла

предметъ нарочитой любезности обонхъ кавалеровъ. Вправо отъ нихъ, у самаго окна, сидѣлъ на стулѣ дяденька-генераль, очевидно очень усталый и отъ стоянія на ногахъ, и отъ напряженія глазъ и ушей; онъ дремалъ и что-то сосалъ. Ораторствовалъ мой кузень-прокуроръ. Онъ говорилъ громко, самоуверенно, такъ что всѣ кругомъ прислушивались и поглядывали въ ту сторону. Я хотѣлъ, признаться, шикнуть, да удержался: очень бы ужъ мнѣ неприятно было обратить на себя ихъ вниманіе. Кузень говорилъ (по-французски) сначала объ удивительномъ мастерствѣ рисунка, о ловкомъ сочетаніи красокъ, не производящемъ впечатлѣнія пестроты и проч. Потомъ онъ перешелъ къ экспрессіи. Онъ находилъ, что равнодушіе привычки къ такого рода зрѣлищамъ хорошо передано на лицахъ римлянъ, но что было бы лучше, еслибы художникъ вложилъ хоть въ нѣкоторыя изъ этихъ лицъ побольше звѣрства, кровожадности. «Вѣдь это звѣри,—говорилъ онъ:—звѣрскіе гонители, а не безучастные только зрители гоненія новаго слова, благой вѣсти (*de la bonne nouvelle*; при этомъ кузень мотнулъ головой на правую сторону картины). Надпись на столбахъ гласитъ: *Christianus incendiator urbis generisque humani hostis* (кузень такъ по-латыни и прочиталъ и потомъ уже перевелъ по-французски); это съ точки зрѣнія зрителей — поджигатели, враги государства и всего человѣческаго рода, которыхъ они не могутъ просто созерцать; они ихъ по слѣпотѣ своей ненавидятъ». Кузень видимо щеголялъ своими соображеніями и старался вести бесѣду въ возвышенномъ тонѣ. Ему не удавалось однако: то Анна Сергѣевна задастъ дѣтски-невѣжественный вопросъ и сама расхохочется; то кузень-военный сдѣлаетъ легкомысленное замѣчаніе насчетъ красоты торса обнаженной женщины, которая оперлась на подножіе статуи Химеры. Привычному къ наблюденію человѣку было сразу замѣтно, что оба кузена другъ другомъ не совсѣмъ довольны, что между ними идетъ тайная борьба изъ-за прекрасныхъ глазъ парядной дамы. Кузень-прокуроръ рассчитывалъ взять солидностью и благородствомъ помысловъ, кузень-военный — веселымъ легкомыслиемъ.

Въ этомъ направленіи онъ, поощряемый очевиднымъ предпочтеніемъ, которое дама оказывала веселому легкомыслию, до того дошелъ, что вдругъ самымъ невиннымъ тономъ спросилъ прокурора: «а что, Вольдемаръ, еслибы все это теперь происходило, ты бы вѣдь отличную обвинительную рѣчь сказалъ противъ этихъ христіанъ...»

Не знаю ужъ какіе у нихъ дальше пошли разговоры. Я ихъ больше не слушалъ. Меня запыла веселая мысль военного кузена. Картина Семирадскаго, какъ вамъ извѣстно, раздѣляется на двѣ части. Лѣвая, большая половина полотна, занята старымъ міромъ; тутъ и Неронъ съ Поппеей, и сенаторы, и патрици, и гуляки; все сверкаетъ золотомъ, цвѣтнымъ платьемъ, обнаженнымъ тѣломъ, весельемъ, довольствомъ. На правой сторонѣ стоитъ рядъ высокихъ деревянныхъ столбовъ, обвитыхъ гирляндами, а къ вершинамъ столбовъ привязаны закутанные по горло въ просмолешую солому христіане. Внизу копошатся палачи, приготовляясь поджечь «свѣточи христіанства». Изъ христіанъ видны только двое: старикъ сѣдобородый и молодая дѣвушка, остальные теряются въ перспективѣ. Ну такъ вотъ, смотря на картину подъ непосредственнымъ вліяніемъ остроумныхъ пререканій моихъ кузеновъ, я инстинктивно сталъ прінскивать для нихъ (кузеновъ) мѣсто на картишѣ. И прінскалъ: они не испортили бы лѣвой половины полотна. Затѣмъ мысль стала уже почти машинально работать въ томъ же направленіи, и постепенно вся раззолоченная, цвѣтная, сверкающая часть картины наполнилась для меня живыми, знакомыми лицами. Тутъ я и дяденьку-генерала нашелъ, и Башкина, и Анну Сергѣевну, и нарядную даму, и писателя, благополучно стоящаго на стражѣ культуры, и даже г. Щербаня (котораго я впрочемъ никогда въ глаза не видалъ). Весь этотъ людъ выступалъ изъ рамокъ картины, двигался... Осмотрѣвшись кругомъ, я нашелъ въ толпѣ посѣтителей академической выставки еще нѣсколько подходящихъ типовъ, даже до поразительности. Какъ разъ возлѣ меня стоялъ пожилой, но очень представительной наружности человекъ, который показался мнѣ какъ

двѣ капли воды похожимъ на сенатора, подающаго на картинѣ краснымъ платкомъ знакъ. Въ довершеніе сходства, человѣкъ этотъ держалъ въ ту минуту большой красный фуляръ въ рукахъ. Можетъ быть впрочемъ на мои развипченныя нервы именно этотъ фуляръ такъ подѣйствовалъ, что я и въ лицахъ нашелъ сходство. Вообще теперь, когда я пишу совершенно спокойно, когда я способенъ писать, я можетъ быть не нашелъ бы ни малѣйшаго сходства между лицами картины и лицами зрителей. Но тогда было иначе. Какъ въ сказкѣ говорится: на небѣ солнце и въ теремѣ солнце, на небѣ звѣзды и въ теремѣ звѣзды. На картинѣ Анна Сергѣевна и передъ картиной Анна Сергѣевна, на картинѣ кузешы и передъ картиной кузены, на картинѣ дяденька-генералъ и передъ картиной дяденька-генералъ, точно въ зеркалѣ. Это было такъ живо, такъ наглядно, даже назойливо ясно, что я цѣлый день и, какъ увидите, цѣлую ночь не могъ выбиться изъ-подъ впечатлѣній выставки. Ну а вы можете посмотрѣть на мой рассказъ хоть просто, какъ на матеріалъ для психологическаго или пожалуй психіатрическаго изученія.

Не знаю, можно ли назвать мои тогдашнія впечатлѣнія галлюцинаціей, иллюзіей, вообще какимъ-нибудь ученымъ терминомъ, но знаю, что я не потерялъ способности разсуждать, анализировать. Когда лѣвая половина картины оживилась, самъ собою явился вопросъ: по какому же колоссальному недоразумѣнію кузень-прокуроръ, кузень-военный или вотъ этотъ человѣкъ съ краснымъ фуляромъ въ рукѣ, да и почти всѣ остальные посѣтители выставки, по какому недоразумѣнію они, фотографическое отраженіе лѣвой стороны картины, явились сюда сочувствовать правой сторонѣ? Въ самомъ дѣлѣ это вѣдь колоссальная бессмыслица...

Позвольте мнѣ на минуту оторваться собственно отъ моихъ впечатлѣній. Недоразумѣніе, такимъ страннымъ путемъ открывшееся мнѣ на выставкѣ, есть только одно изъ многихъ. Цѣлая стѣна ихъ опутываетъ отношенія зрителей къ картинѣ Семирад-
михайловскій. т. IV.

скаго. Самыя крикливыя изъ сужденій объ этой картинѣ были вмѣстѣ съ тѣмъ и самыя удивительныя. Крикуны и словесно, и въ печати говорили: слава Семирадекому! своимъ успѣхомъ онъ показалъ, что у насъ возможно еще чистое искусство, чистое отъ «идоловъ злобы дня и гражданской скорби». На эту тему можно много написать и наговорить, лишь стало бы охоты. Охоты было много, а потому и написано и наговорено было не мало. Гѣворено было о «скоропихинскихъ» (бѣдный г. Тургеневъ!) теоріяхъ, припоминались судьбы русскаго искусства, припоминались почему-то «Бурлаки» Рѣпина. Художественный критикъ «Русскаго Вѣстника», г. А., удобенъ въ томъ отношеніи, что нелѣпыя мысли онъ доводитъ до ихъ естественнаго конца, то-есть до окончательной нелѣпости. Такъ онъ поступилъ и въ этотъ разъ. «Позволительно надѣяться, — говоритъ онъ, — что бесплодное, нищенское направленіе, завладѣвшее было въ послѣднія пятнадцать лѣтъ нашими художниками и погубившее столько несомнѣнныхъ дарованій, если не исчезнетъ совершенно, то по крайней мѣрѣ перестанетъ такъ вредно дѣйствовать. Въ лицѣ г. Семирадскаго искусство побѣдоносно выбивается изъ-подъ тяжелаго ига журнальныхъ идей и литературныхъ вліяній и посрамляетъ знаменитое скоропихинское «э! э!», о которомъ остроумно говоритъ г. Тургеневъ въ своемъ новомъ романѣ». И дальше: «Вурлаки (Рѣпина) сильно отзывались стихотвореніями г. Некрасова и явно били на гражданскій смыслъ. Но, помимо этого недостатка, картина отличалась самыми положительными достоинствами... *Группа бурлаковъ выдѣлялась превосходнымъ пятномъ на огромномъ холстѣ...* Громадный поволжскій пейзажъ, необыкновенно трудный по своей пустынности, служилъ превосходнымъ фономъ для этой сбившейся въ кучу толпы».

О скоропихинскихъ теоріяхъ, равно какъ и вообще о вліяніи журнальныхъ, литературныхъ идей, мнѣ неизвѣстно. Изъ романа г. Тургенева я знаю, что какой-то Скоропихинъ проповѣдуетъ презрѣніе къ европейскому искусству и тѣмъ сбиваетъ съ толку нашихъ молодыхъ художниковъ. Это конечно очень глупо, а

если Скоропихинъ дѣйствительно вліяніе имѣеть, такъ въдобавокъ очень прискорбно. Теперь будемъ говорить такъ. Что такое свѣточі христіанства? Звѣрская потѣха безумнаго человѣка. Кто такое этотъ человѣкъ? Звѣрь, тиранъ, безумецъ. Но между прочимъ онъ — художникъ и притомъ совершенно чистый отъ «гражданскаго смысла». Мало того, что онъ развѣзжалъ по своимъ обширнымъ владѣніямъ въ качествѣ пѣвца, музыканта, декламатора и дорожилъ призовыми вѣнками больше, чѣмъ императорской короной. Онъ смотрѣлъ на вещи совершенно такъ же, какъ г. А. Когда его мать Агрипина была по его приказанію убита, онъ осматривалъ, ощупывалъ трупъ и находилъ, что покойница была хорошо сложена. Какъ г. А. цѣнить въ «Бурлакахъ» «превосходное пятно на огромномъ холстѣ» и косится на «гражданскій», нравственный смыслъ картины, такъ и Неронъ видѣлъ въ трупѣ матери только красивое тѣло. Когда ему принесли однажды головы двухъ казненныхъ по его повелѣнію патриціевъ, онъ, совершенно въ тонѣ критики г. А., замѣтилъ, что одинъ покойникъ былъ очень плѣшивъ, а у другого былъ очень длинный носъ. Неронъ былъ любитель своеобразныхъ живыхъ картинъ. Такъ одну христіанку онъ заставилъ изображать Данаю и до смерти засыпалъ ее золотымъ дождемъ: онъ не хотѣлъ знать «гражданскаго смысла» живой картины, топталъ его ногами и любовался только «превосходнымъ пятномъ», «превосходнымъ фономъ». Самые свѣточі христіанства были произведеніемъ чистаго искусства. Неронъ поджегъ Римъ, чтобы полюбоваться огромнымъ огненнымъ пятномъ, и во время пожара декламировалъ описаніе разрушенія Трои. Светоній рассказываетъ, что Неронъ потомъ хотѣлъ и еще разъ поджечь вновь выстроившійся Римъ и на этотъ разъ усилить художественный эффектъ скачками и ревомъ дикихъ звѣрей, выпущенныхъ изъ цирка. Когда Римъ сгорѣлъ, Неронъ пожелалъ доставить себѣ новое эстетическое наслажденіе, обвинилъ въ поджогѣ христіанъ, и заставилъ ихъ горѣть превосходными яркими «пятнами» на превосходномъ фонѣ южнаго неба. А между тѣмъ спросите г. А., онъ, Нерончикъ по своимъ эстетическимъ идеямъ, скажетъ: *насъ жгли!*

Теперь дальше. Что такое эти засмоленные люди на картинах Семирадскаго? Первые христіане, рабы, обездоленные, забытые, изъ которыхъ самые видные были «рыбари», чуть что не бурлаки, да еще римскіе кающіеся дворяне, отрекшіеся отъ стараго міра. Почему же «Бурлаки» такъ претятъ г. А своимъ «гражданскимъ смысломъ», а дальнѣйшее историческое развитіе ихъ сюжета приводитъ его въ восторгъ? Потому что онъ ровно ничего не понимаетъ, потому что онъ, кромѣ «пятенъ», ничего не видитъ, потому что и самъ онъ не больше, какъ «пятно»...

Простите, я немножко разсердился, но право въ этой сѣти недоразумѣній, въ этой путаницѣ трудно оставаться хладнокровнымъ.

Римлянинъ Децій у г. Аполлона Майкова («Два міра») такъ выражается по поводу христіанъ:

Да, если есть душа вселенной,
Есть божество—оно во мнѣ!
И если, чтобъ ему исполнѣ
Раскрыться, нужно непремѣнно,
Чтобъ гибли тысячи тупыхъ
Существъ, несмысленныхъ, слѣпыхъ—
Пусть гибнуть! Такова ихъ доля!
Имъ даже счастье—неволя!
Лишь съ дня, когда онъ въ рабство впалъ,
Для міра рабъ—хоть иѣчто сталъ.

Римскому кающемуся дворянину Марцеллу Децій говоритъ:

Марцеллъ! вѣдь, строя Римъ твой новый,
Пойми, ты губишь Римъ отцовъ,
Созданье дѣлъ ихъ! трудъ вѣковъ!
.
И этотъ Римъ, и это зданье
Ты отдаешь на растерзанье...
Кому же?.. Тѣмъ, кто годеиъ былъ,
Какъ выючный скотъ, въ цѣпяхъ, лишь къ носкѣ
Земли и камня, къ перевозкѣ
Того, что мнѣ-бъ и мулъ свозилъ!
Рабы!.. Марцеллъ, да гдѣ мы? гдѣ мы?
Для нихъ вѣдь камни эти нѣмы!

Что намъ позоръ—имъ не позоръ!
Они (*указывая на статуи*) предъ этими мужами
Не заливались слезами.
Съ стыдомъ не потупляли взоръ!
И вдругъ, безъ всякаго преданья,
Безъ связи съ прошлымъ, какъ стада
Звѣрей, которымъ пропитанье—
Всей жизни цѣль, придуть сюда!
И гдѣ-жъ уада для дикой воли?
Что ихъ удержитъ?... Все падеть!
И пантеонъ, и капитолій
Траввою сорной заростетъ!

По какому же случаю радуется картинѣ Семирадскаго г. А? Вѣдь онъ же—«человѣкъ культуры», онъ такъ рьяно занимается поруганіемъ людей «безъ всякаго преданья, безъ связи съ прошлымъ», онъ Децій (только ростомъ не вышелъ), а Децій, какъ и Неронъ, какъ и вся римская культура, стоитъ въ картинѣ Семирадскаго у позорнаго столба. Или онъ дѣйствительно ровно ничего не понимаетъ? или картина въ самомъ дѣлѣ недостаточно выразительна и можетъ быть сведена къ извѣстному количеству превосходныхъ пятенъ на превосходномъ фонѣ?

Мнѣ трудно объ этомъ судить, потому что картина для меня лично получила совсѣмъ особенный смыслъ. Я въ исключительномъ положеніи. Я ушелъ съ выставки съ головой, обремененной знакомыми, близкими образами, благодаря случайно услышанной остроумной бесѣдѣ кузеновъ. Я подкупленъ. Цѣлый день преслѣдовала меня картина и даже заснуть не давала. А когда я наконецъ заснулъ, она все-таки не дала мнѣ покоя. Во снѣ оживилась и правая сторона картины. По естественной ассоціаціи идей, Башкинъ, кузены, дяденька-генераль, Анна Сергѣевна вызвали, какъ свое дополненіе, сначала Соню, потомъ Нибуша, потомъ другихъ, которыхъ я ужъ давно не видалъ и о которыхъ даже извѣстій не имѣю. Но этимъ образамъ не было мѣста рядомъ съ кузенами и прочими. Если тѣ стояли палѣво, эти естественно должны были помѣститься направо. Не-

смотря на то, что мой сонъ объясняется такимъ образомъ очень просто, по элементарнымъ законамъ психологическаго естества, онъ былъ все-таки страшень...

Мнѣ снилось, что всѣ близкіе мнѣ люди нашли себѣ мѣсто на правой сторонѣ картины Семирадскаго. Вся эта сторона наполнилась дорогими образами... Вотъ Шива, спокойный, холодный, и только напружившіяся на широкомъ лбу жилы выдають усиленную внутреннюю работу. Вотъ Бѣдный Музыкантъ съ разбитыми очками на носу. Онъ что-то говоритъ, но его медлительной, заикающейся рѣчи не слышать за шумомъ пестрой толпы. Вотъ Нибунгъ, яростно, но бессильно рвущійся изъ веревокъ, соломы и цвѣточныхъ гирляндъ. Вотъ Соня, вся ясная, свѣтлая... Она съ одобряющей улыбкой смотритъ на Василису... И та тутъ!..

Да дайте же мнѣ проснуться, вы, силы, наводящія и отгоняющія сонъ, дайте крикнуть: палачи! убійцы! звѣри!...

Я дѣйствительно проснулся съ крикомъ, какъ сообщилъ мнѣ мой теперешній сожитель. Я былъ просто боленъ. Вы понимаете значить, что о картинѣ Семирадскаго мнѣ судить трудно. Но одно замѣчаніе я все-таки хотѣлъ бы сдѣлать. Огромное большинство представителей стараго міра относится къ готовящейся казни равнодушно, нѣкоторые даже отвернулись, хотя сенаторъ съ краснымъ платкомъ уже готовъ подать знакъ, что зрѣлище начинается. Только на немногихъ лицахъ выражается нѣчто иное, нѣчто мягкое и сочувственное. Но странно то, что тутъ нѣтъ пресыщенія, то-есть такого пресыщенія, которое до извѣстной степени сближало бы старыи міръ съ новымъ. Не знаю, какъ бы это пояснѣе выразить. Ну вотъ на примѣръ Неронъ. Еслибы онъ не былъ буквально сумасшедшимъ, то есть психически больнымъ, онъ могъ бы, переиспытавъ всѣ наслажденія, какія старому міру были доступны, увидѣть, что тутъ счастья нѣтъ, что жизнь или должна быть иначе построена, или оборваться. Исторія послѣднихъ временъ Рима знаетъ примѣры такого пресыщенія. Съ философской точки зрѣнія, говорятъ,

очень слабы и несамостоятельны умственные потуги римскихъ стоиковъ, эпикурейцевъ, скептиковъ. Но со стороны житейской, какъ жизненный фактъ, онѣ, я думаю, имѣютъ громадное значеніе. На дѣлѣ нерѣдки были переходы съ лѣвой стороны картины на правую, изъ рядовъ гонителей въ ряды гонимыхъ. Въ картинѣ Семирадскаго этотъ моментъ ничѣмъ не отразился. А самоубійства? Гдѣ они, то есть гдѣ ихъ корни въ старомъ мірѣ, гдѣ эта готовность безъ страха, безъ сожалѣній оборвать нитку жизни? На картинѣ старый міръ счастливъ; положимъ по-скотски счастливъ, но все-таки сплошь счастливъ, а на дѣлѣ было не такъ.

Это я впрочемъ не свою мысль высказываю. Я только прилагаю къ картинѣ Семирадскаго мысль Шивы.

Вотъ уже въ третій разъ вспоминаю я этого человѣка, а вы объ немъ ничего не знаете. Надо васъ познакомить. Довольно замѣчательный человѣкъ былъ. Звали его разумѣется не Шива, а просто Матвѣй Матвѣевичъ Апостоловъ. Шива—это шутовское, пріятельское прозвище. Было у него и другое: Апостоль. Познакомился я съ нимъ вотъ какъ. Тогда существовалъ небольшой студенческой кружокъ, задавшійся цѣлями такъ сказать взаимнаго обученія. Молодые люди собирались въ извѣстные дни, читали вмѣстѣ или кто-нибудь дѣлалъ сообщеніе о вновь вышедшей книгѣ, о журнальной статьѣ, обращившей на себя вниманіе. Шли разговоры о прочитанномъ или выслушанномъ. Мы, то есть Соня, Нибушъ, я и еще два-три человѣка близкихъ пріятелей, знали о существованіи этого кружка, но относились къ нему съ нѣкоторымъ презрѣніемъ, во всякомъ случаѣ не бывали тамъ, хотя насъ зазывали. Устроителемъ и руководителемъ собраній былъ нѣкто профессоръ Кранцъ, человѣкъ очень юркій, очень самолюбивый и очень бездарный. Въ своемъ муравейникѣ онъ пользовался впрочемъ хорошей репутаціей, для поддержанія которой прибѣгалъ къ обыкновеннымъ приемамъ популярничанья: льстилъ, либеральничалъ, участвовалъ во всевозможныхъ благотворительнымъ обществахъ, ораторствовалъ, вообще всячески высовывался. Образцы этой по-

роды вы конечно видали. Самая безнадежная порода. Тѣ крупицы добра, которыя эти люди иногда дѣлають, далеко не выкупають приносимаго ими вреда, а вредъ состоитъ въ томъ, что они распространяють кругомъ себя какіе-то болотные газы, если вы позволите мнѣ такъ выразиться. Имъ непремѣнно пужна толпа, въ самомъ неодобрительномъ смыслѣ слова. Ничего оригинальнаго, выдающагося они около себя не терпятъ: либо гонятъ, либо сами бѣгутъ. Въ предѣлы ихъ вліянія попадаютъ разумѣется люди или совѣтъ еще не установившіеся, или недалекіе, и къ нимъ-то такой человекъ долженъ подлаживаться, у нихъ искать популярности. Ясно, что какіе бы либеральные аллюры онъ ни продѣлывалъ, онъ—непремѣнно рутинеръ, отъ него стоячей водой несетъ. Таковъ именно былъ Кранцъ, обрусѣлый нѣмецъ, худой, длинный, съ длинными волосами и американской бородой, то есть усы выбриты, а борода подстрижена. Мы очень хорошо знали, чего онъ стоитъ (даже и прозвище для него соответственное было: тетеревъ) и очень жалѣли юношей, погруженныхъ имъ въ стоячую воду, но по малому съ ними знакомству ничего поддѣлать не могли. Разъ однако Нибушъ случайно попалъ на одно изъ собраний и на другой день сообщилъ мнѣ, что встрѣтилъ тамъ «башку».

— Это Кранца что ли?

— Какой къ чорту Кранцъ! Кранца не было, а это какой-то Апостоловъ, Апостольскій... такъ что-то. Изъ семинаристовъ должно быть.

— Да откуда же онъ взялся? съ неба что ли свалился?

— Я и самъ спрашивалъ: откуда вы, тетеревята, его взяли? Сами хорошенько не знаютъ. Приѣхалъ недавно изъ провинціи откуда-то. Кто и ввелъ-то его, такъ и то ничего не знаетъ: познакомился говорить въ вагонѣ, на желѣзной дорогѣ. Ну и взбудоражилъ же онъ тетеревятъ—хоть самому тетереву жаловаться. Самъ-то онъ два раза проманкировалъ, а тутъ и подоспѣлъ этотъ Апостольскій. Онъ мнѣ Бухарцова напомнилъ (Бухарцовъ тогда лежалъ уже на Волковомъ кладбищѣ). Маленько не дотянетъ противъ покойника, ну, а башка же все-таки...

— Да чѣмъ же онъ тебя такъ проиялъ?

— Не меня, братъ, я виды видалъ; тетеревать проиялъ. Я тебѣ говорю: Крапцу жаловаться хотятъ, что завелся «духъ отрицанья, духъ сомнѣнья». Злятся, а сладить не могутъ... Чѣмъ онъ ихъ въ прошлый разъ донималъ, не знаю, а тутъ одинъ тетеревеночъ благородно такъ защищалъ протекціонизмъ, другою тоже благородно свободную торговлю отстаивалъ, а семинаристъ-то этотъ имъ: и протекціонизмъ, говорить—грабежъ, и свободная торговля—опять же грабежъ... Потѣха! пойдѣмъ въ слѣдующій разъ, я пойду: хотятъ съ нимъ Крапца сравнить...

Нибушъ былъ человѣкъ увлекающійся, и первымъ показаніемъ его, пока онъ не успѣлъ провѣрить своихъ впечатлѣній, довѣрять не слѣдовало. Но я все-таки заинтересовался и пошелъ. На этотъ разъ собраніе происходило въ квартирѣ самого Крапца, а умственную пищу предоставить долженъ былъ его братъ, студентъ-филологъ, на тему «отрицательное направленіе въ русской литературѣ». Когда мы пришли, народа было уже достаточно—все молодежь. Хозяина впрочемъ еще ждали, онъ былъ въ засѣданіи какого-то дамскаго благотворительнаго комитета, въ которомъ состоялъ секретаремъ. Принималъ гостей его братъ, онъ же—и референтъ, благообразный молодой человѣкъ нѣмецкаго формата. Посреди довольно большой комнаты стоялъ длинный столъ, освѣщенный сверху большою лампой. Кругомъ сидѣли гости, человѣкъ пятнадцать и пили чай. Шелъ смутный говоръ. Поздоровавшись съ двумя тремя знакомыми, Нибушъ указалъ мнѣ на человѣка, одиноко стоявшаго въ углу у печки. Я впрочемъ и безъ указанія обратилъ бы на него вниманіе. Впервыхъ онъ выдѣлялся уже тѣмъ, что стоялъ одинъ; во вторыхъ онъ былъ много старше остальной публики, такъ по крайней мѣрѣ казалось. Это былъ худой, вѣриже сухой человѣкъ средняго роста съ гладко выбритымъ лицомъ и темными, гладко причесанными волосами, въ которыхъ пробивалась порядочная просѣдь. Продолговатое лицо было очень широко у висковъ и очень узко внизу; тонкія губы были плотно сжаты; надъ ними выдѣлялъ впередъ большой сухой носъ; глаза пряталъ

лись за синими очками. Одѣтъ онъ былъ чисто, даже щеголе-
вато, фигуру имѣлъ стройную.

Зачѣмъ этотъ человѣкъ здѣсь? вотъ первое, что мнѣ при-
шло въ голову, до такой степени онъ былъ здѣсь чужой. Ни-
бушъ подошелъ къ нему, какъ къ знакомому, познакомилъ и
меня. Его онъ назвалъ «господиномъ Апостольскимъ».

— «Апостоловъ»,—поправилъ тотъ и быстро, съ неловкой
улыбкой заговорилъ:—меня часто Апостольскимъ называютъ,
привыкли знаете, что наши клерикальныя фамиліи все больше
на *скій* кончаются, на *овъ* дѣйствительно рѣже...

Онъ остановился и, не выкуривъ еще папиросы, сталъ заку-
ривать объ нее новую. Мнѣ показалось, что онъ былъ радъ,
что къ нему подошли, заговорили. Должно быть ему очень не-
ловко было одному торчать, но говорить съ нами собственно
было не о чемъ; мы же совсѣмъ незнакомы были.

— А знаете, Апостоловъ,—сказалъ Нибушъ,—противъ васъ
тутъ комплотъ затѣялъ. Я мелькомъ слышалъ, что тетеревь о
васъ какія-то справки наводилъ... Что вы такъ смотрите? Да!
вы вѣдь тетерева не знаете. Кранцъ, Кранцъ, батюшка, нашъ
сегодняшній амфитрионъ. Опъ, шельма, на всякую пакость спо-
собенъ.

Апостоловъ неприятно улыбнулся. Улыбка вообще къ нему
не шла, точно отъ природы ему было въ ней отказано. Подо-
шелъ одинъ юноша, совсѣмъ еще розовый, съ еле пробиваю-
щимся пушкомъ на щекахъ.

— Что вы, господа, стоите; вотъ стулья,—сказалъ онъ, ловко
ставя передъ нами три стула за разъ. Я понялъ, что это была
любезность Апостолову; только юноша не смѣлъ оказать ея ему
одному. Послышался звонокъ, и сію же минуту торопливо вошелъ
во фракъ и бѣломъ галстухѣ, съ портфелемъ подъ мышкой,
Кранцъ.

— Извините, господа, виновать, задержалъ; я—сейчасъ,
сейчасъ...

Онъ прошелъ въ боковую комнату, откуда скоро вернулся
переодѣтый въ какой-то кургузый пиджачекъ. Дружески поздоро-

вавшись со всѣми, а намъ въ особину сказать: «очень пріятно», Краицъ сѣлъ въ концѣ стола и тотчасъ же приступилъ къ дѣлу.

— Сегодня, господа, началъ онъ:—вашему вниманію предложится одно чрезвычайно важное явленіе въ русской литературѣ. Къ счастью можно сказать, что это явленіе прошло. Однако не безвозвратно прошло. Надо быть насторожѣ. Да вы впрочемъ сами увидите. Я думаю можно начинать: десятый часть.

Референтъ густо покраснѣлъ, откашлялся, расправилъ ладонью свою тетрадку, опять откашлялся и наконецъ началъ: «Отрицательное направленіе въ русской литературѣ». Сначала все шло какъ слѣдуетъ, то-есть какъ слѣдовало ожидать: печальныя заблужденія, неуваженіе къ наукѣ, къ искусству, къ великимъ представителямъ, и проч., и проч. Но вдругъ рефератъ принялъ совершенно неожиданное теченіе. Молодой авторъ заговорилъ о «бурсѣ въ литературѣ». Онъ доказывалъ, что отрицательное направленіе, если не внесено, то упрочено семинаристами. Затѣмъ слѣдовали параллели между тѣмъ, что дѣлали семинаристы въ бурсѣ, и тѣмъ, что они дѣлали въ литературѣ. Въ бурсѣ, читалъ референтъ, они долбили свои учебники и тетрадки, не пытаясь вникать въ смыслъ; въ литературѣ они стали долбить извѣстнаго пошиба иностранныя теоріи, тоже не вникая въ смыслъ, чисто механически. Въ бурсѣ герои Помяловскаго, всѣ эти Тавли, Омеги, Гороблагодатскіе, Чабри «загибали другъ другу салазки», «учиняли вселенскія смази», подчивали «съ пылу горячими» и т. п. Въ литературѣ они занимались тѣмъ же. Таковъ именно характеръ ихъ полемики. Таково же и ихъ отношеніе къ великимъ дѣятелямъ науки, искусства, политики: одинъ загибалъ салазки Маколею, другой Кавуру, третій учинялъ вселенскую смазь всей философіи, четвертый давалъ съ пылу горячихъ самому принципу искусства, пятый накидывался на Тургенева и т. д. Бурса ихъ учила одному—ненависти, отрицанію. Уважать самыя высшія проявленія человѣческаго духа они не могли, какъ иѣчто имъ совершенно чуждое и непонятное. А своею смѣлостью, почерпаемою въ собственной пустотѣ, они увлекли и другихъ.

Довольно долго читалъ на эту тему референтъ, иллюстрируя свое изложеніе эпизодами изъ «Очерковъ бурсы» Помяловскаго съ одной стороны, литературными эпизодами—съ другой. Тутъ были и остроты, и пафосъ, но впечатлѣнія, на которое референтъ рассчитывалъ, не было. Впечатлѣніе было непріятное. Большинство инстинктивно оцѣнило безтактность реферата, очевидно грубо направленного на новаго гостя. Я (и не одинъ я) нѣсколько разъ взглядывалъ на него, стараясь уловить на его лицѣ какое-нибудь движеніе. Онъ сидѣлъ согнувшись и оглаживалъ пальцами правой руки свою бритую бороду, время отъ времени усмѣхаясь. Но вообще—точно будто и не про него писано.

Рефератъ кончился. Вопарилось молчаніе. Его прервалъ старшій Кранцъ.

— Господа, то, что вы выслушали, гораздо важнѣе, чѣмъ можетъ показаться. Литературное направленіе, о которомъ шла рѣчь, похоронила сама жизнь (дѣло было въ концѣ шестидесятыхъ годовъ), но оно можетъ опять возродиться, оно и теперь существуетъ внѣ литературы... Я вотъ напримѣръ имѣю извѣстія изъ семибратовской губерніи, изъ самаго Семибратова... Появился тамъ одинъ этакій разрушитель, въ нѣкоторомъ родѣ Шива. У самого идеаловъ никакихъ—ну, и пошелъ косить направо и налево. Кончилось разными непріятностями, между прочимъ самоубійствомъ одной молодой женщины. (Я невольно почему-то взглянулъ на Апостолова и замѣтилъ, что онъ поблѣднѣлъ и еще плотнѣе сжалъ губы, но рука все такъ же оглаживала подбородокъ... Значить, это дѣло не шуточное. Другой вопросъ—происхожденіе явленія. Тутъ можно спорить. Можетъ быть референтъ не такъ поставилъ вопросъ, не такъ его освѣтилъ, можетъ быть онъ и совсѣмъ ошибается. Будемъ бесѣдовать... Не угодно ли кому-нибудь возражать?

Всѣ молчали.

— Ну, вотъ вы, господинъ Апостольскій, продолжалъ Кранцъ: вамъ семинарскіе порядки лучше извѣстны...

— Вы вообще имѣете обо мнѣ невѣрные свѣдѣнія.—слегка

дрожащимъ голосомъ и подчеркивая *вообще*, отозвался Апостоловъ. — Впервыхъ я не Апостольскій, а Апостоловъ. А вторыхъ... вовторыхъ впрочемъ я въ семинаріи никогда не былъ...

— Но, судя по фамиліи...

— Да, фамилія-то поповская, а въ семинаріи все-таки не былъ...

Опять настало молчаніе, на этотъ разъ ужь совсѣмъ и для всѣхъ неловкое. Очевидно было, что травля не состоится и что Апостоловъ побѣдилъ безъ всякой травли. Молодежь, хотя бы и содержимая въ стоячей водѣ, въ массѣ — всегда молодежь, всегда сохраняетъ добрыя и великодушныя чувства. Всѣмъ было стыдно передъ Апостоловымъ, не говоря уже о сознаніи неудачности реферата. Краицъ своимъ изощреннымъ въ дѣлѣ популярничанья чутьемъ сразу понялъ это.

— Ну что же, господа?—сказалъ онъ:—не вытанцовывается у насъ сегодня бесѣда, да и поздно ужь... Займемся программой слѣдующаго собранія: гдѣ ему быть? что дѣлать будемъ?

Начались совѣщанія. Нибушъ, Апостоловъ и я не принимали въ нихъ участія; у насъ свой разговоръ шелъ.

— Ловко вышло!—говорилъ экспансивный Нибушъ.—А вѣдь это что-то на васъ тетеревъ намекалъ, про семибратовскія-то дѣла, а?

— Да, сплетня,—сухо отвѣчалъ Апостоловъ, такъ сухо, что Нибушъ прикусилъ языкъ.

Въ Апостоловѣ было что-то звѣриное, не звѣрское замѣтьте, а именно звѣриное. Съ ручнымъ медвѣдемъ напимѣръ или съ ипой собакой, кошкой вы можете до поры до времени быть, какъ говорятъ нѣмцы, *ganz gemüthlich*, играть, ласкать, но въ известную минуту звѣрь заставитъ васъ держаться на почтительномъ разстояніи. Такъ и съ Апостоловымъ. Съ нимъ можно было болтать о всякой всячинѣ, болтать весело, за бутылкой вина напимѣръ; онъ могъ рассказывать вамъ о своихъ разнообразныхъ похожденияхъ, выслушивать таковыя же ваши раз-

сказы. Словомъ могло повидимому установиться полное сближеніе на почвѣ маленькихъ житейскихъ дѣлъ. Но въ сущности никакого сближенія не было. Вы чувствовали, что этотъ человѣкъ держитъ себя отъ васъ далеко, что вы ему вовсе не нужны и никогда не будете нужны, что ему ничего не стоитъ сію же минуту прекратить всякія съ вами сношенія. То же самое вы поневолѣ чувствовали, когда шелъ разговоръ о вещахъ серьезныхъ, когда онъ выкладывалъ вамъ повидимому свое задушевное. Его многіе уважали, но едва-ли многіе любили, хотя онъ былъ человѣкъ въ сущности добрый, готовый при случаѣ помочь словомъ и дѣломъ. Очень ужъ въ немъ самомъ мало любви было, то есть того непосредственнаго чувства привязанности къ Ивану, къ Сидору, къ той или другой крови и плоти, которая обыкновенно называется любовью. У большинства людей вѣдь какъ бываетъ? Полюбилъ васъ почему нибудь Иванъ, такъ вы или закрываете глаза на его слабости, или разукрашиваете ихъ, или любите его какъ есть пѣликомъ, со всѣми этими слабостями. Такой любви Апостоловъ совсѣмъ не зналъ (о любви къ женщинамъ теперь не говорю, то—особь статья). Я увѣренъ, что даже въ сокровеннѣйшихъ уголкахъ своей души онъ не зналъ слабости къ «родному человѣку» и безъ пощады рѣзалъ его пожомъ своей рѣдкой аналитической способности. Не только лестью, а и хорошимъ поступкомъ его подкупить было нельзя. Онъ какъ-то вообще людей любилъ, а къ Ивану и къ Сидору могъ питать сожалѣніе, снисхожденіе, уваженіе—все, что хотите, но не любовь. Иванъ, Сидоръ это чувствовали и разумѣется тоже любить его не могли: отъ него холодомъ вѣяло. Но кромѣ того его немногіе и понимать могли. На первый взглядъ онъ представлялъ собою воплощенное безпристрастіе. Любую цѣльную, живую форму бытія, какъ она создалась природой и исторіей, онъ всегда готовъ былъ разложить на логическіе моменты. Онъ могъ это сдѣлать и съ самымъ близкимъ человѣкомъ, съ своимъ единомышленникомъ (хотя вполнѣ единомышленныхъ у него не было), и съ человѣкомъ завѣдомо враждебнымъ. И тамъ, и тутъ онъ подходилъ добро и зло, только въ различныхъ пропорціяхъ. Это-то

и сбивало насъ съ толку. Такъ безстрастно рѣзать правыхъ и лѣвыхъ, такъ тщательно взвѣшивать слабости своихъ и крупиды достоинства какихъ-нибудь негодяевъ — это безпристрастіе казалось намъ слишкомъ утонченнымъ, ненужнымъ и неприятнымъ. Опять таки отъ него холодомъ вѣяло. А между тѣмъ безпристрастіе это вовсе не было тѣмъ, что называется объективизмомъ. Ивана, Сидора, правыхъ, лѣвыхъ Апостоловъ судилъ съ какой-то высшей точки зрѣнія, постоянно съ одной и той же, которая отнюдь не оправдывала безобразій на томъ основаніи, что они фактически существуютъ. Въ этомъ отношеніи онъ былъ даже, если хотите, очень пристрастенъ, потому что систематически гнулъ факты подъ теорію. Такая смѣсь личнаго безпристрастія съ систематическимъ пристрастіемъ тѣмъ болѣе ставила насъ иногда въ тупикъ, что выражалась въ отношеніяхъ не только къ отдѣльнымъ людямъ.

Начать съ мелочей. Иванъ, Сидоръ, какъ бы повидимому близко ни подпускалъ ихъ къ себѣ Апостоловъ, чувствовали, что они ему вовсе ненужны. Онъ и устроился соотвѣтственно. Кошачьей привязанности къ мѣстности, свойственной не одиѣмъ кошкамъ, а и очень многимъ людямъ, онъ совѣмъ не зналъ. Петербургъ, Москва, Семибратовъ, Парижъ—это ему было все равно. Въ Петербургѣ онъ жилъ единственно потому, что имѣлъ хорошіе уроки математики (это была его профессія). Жилъ онъ на Загородномъ проспектѣ въ маленькой квартирѣ, состоявшей изъ одной комнаты и кухни. Прислуги не держалъ: самъ печи топилъ, самъ сапоги чистилъ, самъ обѣдъ готовилъ, когда не обѣдалъ гдѣ-нибудь въ трактирѣ. Дворникъ приносилъ дрова, жена дворника разъ въ недѣлю мыла полы. Человѣкъ онъ былъ не то, что хворый, а слабый, что называется «скрипѣлъ», но когда мнѣ случалось заставить его больнымъ, онъ очевидно тяготился моимъ присутствіемъ. Попросить сдѣлать что необходимо нужно—сходить въ лавку, въ аптеку—и затѣмъ такъ и видно, что ему хочется остаться одному, какъ больному звѣрю въ берлогѣ. Мимоходомъ сказать, онъ былъ женатъ, но съ женою не жилъ.

Теперь о его такъ сказать нравственно-политическихъ взгля-

дахъ. Онъ попробовалъ разъ писать для печати, приготовилъ обширную статью подъ заглавіемъ «Кто мнѣ братъ?» и отдалъ ее въ «Отечественныя Записки». Тамъ ея не приняли. Рукопись у меня сохраняется. По формѣ это нѣчто совсѣмъ несообразное, много даже несообразнѣе тѣхъ «воспоминаній, предсказаній» и проч., которыми я васъ занимаю. Я хоть по крайней мѣрѣ отъ научныхъ и философскихъ разсужденій воздерживаюсь, а тутъ рассказы перемежаются цѣлыми трактатами съ цитатами и математическими формулами. По содержанію статья разбивается на четыре главы.

Глава I. «Братъ Егоръ». Сначала идутъ семейныя воспоминанія въ юмористическомъ тонѣ; о томъ, какъ старшій братъ Егоръ въ дѣтствѣ таскалъ автора за вихры и отнималъ у него пряники и т. п. Затѣмъ тонъ разсказа становится все сумрачнѣе. Надъ головою автора или того человѣка, отъ лица котораго онъ пишетъ, собираются тучи посерьезнѣе волосянокъ и грабежа пряниковъ. Онъ женится. Братъ Егоръ отнимаетъ у него жену, живетъ съ ней, но авторъ этого не подозреваетъ. Потомъ обманъ открывается, идутъ сцены бѣшеной ревности и самобичеванія за нихъ. Эта личная семейная исторія незамѣтно переходитъ во всеобщую исторію и критику семейнаго начала.

Глава II. «Свой братъ кутейникъ». Начинается опять воспоминаніями. Здѣсь мало новаго и оригинальнаго. Вы десятки разъ читали эти описанія жизни городскихъ и сельскихъ причтотъ съ ихъ хлопотами, радостями, огорченіями, взаимными притирательствами и ссорами. Оригинально то, что глава эта завершается историческимъ очеркомъ духовнаго сословія въ Россіи и потомъ трактатомъ о кастахъ и сословіяхъ вообще.

Глава III. «Братъ славянинъ». Разборъ славянофильской доктрины по весьма широкой программѣ, обнимающей цѣлое ученіе о національностяхъ. Национальность разсматривается какъ продуктъ слѣпыхъ силъ природы и исторіи, совокупляющихся въ одно цѣлое вещи, логически противорѣчащія одна другой и матеріально враждебныя. Это подтверждается соображеніями политическими и экономическими.

Глава IV. «Меньшая братія». Эта глава произвела на меня очень сильное впечатлѣніе, и я до сихъ поръ перечитываю ее иногда съ большимъ интересомъ.

Надо вамъ сказать при какихъ обстоятельствахъ передалъ мнѣ свою рукопись Апостоловъ. Однажды я у него, къ большому своему удивленію, встрѣтился съ Якововъ, съ тѣмъ самымъ лакеемъ моего отца, который пробовалъ бѣжать и который, какъ я тогда же, если вы помните, сказалъ, сдѣлался впоследствии медіумомъ. Какимъ образомъ произошла эта встрѣча, въ какомъ видѣ представился мнѣ Яковъ, такъ сильно занимавшій нѣкогда мое воображеніе, объ этомъ расскажу потомъ. Здѣсь довольно сказать, что встрѣча меня порядочно встряхнула. Апостоловъ это оцѣнилъ, очень сочувственно выслушалъ мои изліянія, говорилъ со мной задушевно и наконецъ далъ прочитать «Кто мнѣ братъ?». Я, признаться сказать, многихъ подробностей не понималъ: изложеніе было не особенно ясное. Но меня поразила общій горькій, безотрадный тонъ статьи: брата у Апостолова не оказывалось нигдѣ. Это было тяжело, какъ многопудовая гири, и я невольно старался сбросить ее съ себя. Относительно первой главы это мнѣ удалось, хоть и не безъ натяжки. Я былъ такъ счастливъ своей сестрой Соней, что довольно рѣшительно противопоставилъ этотъ единичный фактъ такому же единичному факту брата Егора. Но съ окончательными, общими выводами главы я справиться не могъ. Главы вторая и третья мнѣ были знакомы, какъ потому, что самъ я былъ давно чуждъ соотвѣтственнымъ увлеченіямъ, такъ и потому, что привыкъ къ манерѣ Апостолова разсѣкать конкретныя формы бытія на ихъ логическіе моменты. Мнѣ не случалось только до тѣхъ поръ встрѣчать такого концентрированного отвѣта на вопросъ, поставленный въ заголовкѣ статьи, а потому и эти главы, хоть въ общемъ для меня и не новыя, имѣли свое значеніе. Но четвертая глава глубоко меня порезила. Въ трехъ первыхъ авторъ все-таки по временамъ шутилъ, острилъ, наконецъ, кромѣ нѣсколькихъ мѣстъ первой главы, гдѣ рассказывалось объ обманѣ жены и брата Егора, изложеніе было очень спокойное. А тутъ

выносишь такое впечатлѣніе, какъ будто въ темную, темную ночь слышишь гдѣ-то въ сторонѣ отчаянные вопли. «Меньшая братія»—это конечно мужикъ, народъ. Какъ конкретную форму бытія, Апостоловъ и его безопадно кромсаетъ пожаръ анализа. Меньшая братія оказывается невѣжественнымъ стадомъ барановъ, которое уже по одному этому не можетъ быть его, Апостола, братіей. Но и ему самому, «старшему брату», достается на орѣхи. Онъ — тупеядецъ, существованіе котораго позорно. Онъ не находитъ брата среди меньшей братіи не только потому, что тамъ мракъ, невѣжество, косность, не только потому, что онъ выше ихъ, а и потому, что онъ ниже ихъ. А ниже ихъ онъ уже по одному тому, что стоитъ надъ ними. Тамъ, при всемъ невѣжествѣ, есть разумный трудъ, польза котораго очевидна и трудящемуся, и другимъ. Здѣсь даже при переполненной знаніемъ головѣ, плѣь труда едва мерцаетъ вдали, да и то это можетъ быть не маякъ, а блудящій огонекъ. Тамъ среди мрака сіяетъ чистая совѣсть. Здѣсь, чѣмъ свѣтлѣе кругомъ, тѣмъ большѣе совѣсть. Тамъ косность, но тамъ и сила. Здѣсь движеніе, но здѣсь и безсиліе. «Старшимъ братомъ не хочу, ровней не могу»—такъ оканчивается рукопись.

Не то, чтобы для меня были новы всѣ эти мысли. Какъ читатель знаетъ, я отчасти и самъ такъ думалъ. Но во мнѣ не было этой подкошенности. Самообольщеніе или разумная вѣра—пусть судить читатель, но мнѣ казалось, что можно быть «ровней», что можно быть даже «старшимъ братомъ», не будучи лицомъромъ, что можно наконецъ быть просто братомъ, не считаясь старшинствомъ и меньшинствомъ. Этой вѣры Апостоловъ во мнѣ и не разбилъ. Но меня поразила его собственная личность, которую я тутъ только узналъ вполнѣ, до ахиллесовой пятки включительно. Шутливое прозвище Шивы, которое осталось за нимъ съ легкой руки Кранца, очевидно не годилось. Нѣтъ, это не Шива, это не то холодное, почти бездушное существо, преданное діалектикѣ, какимъ онъ иногда казался. Онъ—страдалецъ. Но какъ же можно жить, когда ни тутъ, ни

тамъ иѣтъ брата, когда кругомъ чуждо не только то, чего не жаль, а и то, о чемъ скорбишь и плачешь, и стонешь.

Съ такимъ вопросомъ обратился я къ самому Шивѣ, возвращая ему рукопись.

— Живу, хлѣбъ жую, отвѣчалъ онъ.

— Я къ вамъ въ душу не лѣзу, Матвѣй Матвѣичъ: не хотите—не говорите. Я только думалъ, что если вы сами дали мнѣ прочитать, такъ...

— Такъ обязанъ и бесѣдовать о прочитанномъ? Извольте, я вотъ сейчасъ самоваръ поставлю, будемъ чай пить, будемъ и разговоры разговаривать.

Онъ сходилъ въ кухню, вернулся съ самоваромъ и тутъ же, въ комнатѣ, наложилъ въ него изъ топившейся печки углей.

— Ну-съ.—говорилъ онъ, устанавливая трубу на самоварѣ и садясь на корточки лицомъ къ печкѣ, спиной ко мнѣ: — спрашивайте...

— Да я ужъ спросилъ... Еслибъ я такъ думалъ, какъ вы, такъ не сталъ бы напимѣръ къ тетереvyтамъ ходить...

Онъ быстро повернулся ко мнѣ, и мнѣ показалось, что лицо его вдругъ повеселѣло, хотя синія очки и мѣшали видѣть выраженіе глазъ.

— А накинули бы петлю на шею?—спросилъ онъ.—Нѣтъ, зачѣмъ же? Вотъ вы отлично спросили, въ самую точку попали: зачѣмъ я къ тетереvyтамъ хожу? (Я этого вовсе не спрашивалъ). Я и не въ такія мѣста хожу. Тетереvyта — народъ хорошій, Крапца своего они скоро совѣмъ къ чорту пошлютъ. И это благодаря мнѣ. Зачѣмъ же я буду отъ добраго дѣла отказываться?

— Я не то спрашивалъ, Матвѣй Матвѣичъ...

— Знаю, знаю, Григорій Александровичъ, да ужъ очень я обрадовался, что вы въ такую точку попали. Видите ли чтѣ. Ничего я не совралъ въ этой штукѣ, которую вы прочитали. Такъ я думаю, такъ чувствую. Но вѣдь это моя личная исторія, ее никто на своей шкурѣ продѣлывать не обязанъ. Мнѣ скверно и, такъ я понимаю, хорошо быть не можетъ. Однако,

*

знаете: коли привыкнешь жить, такъ сразу отвыкнуть какъ-то трудно, умирать не охота. Вотъ я и придумалъ лазѣйку: худо ли, хорошо ли, языкъ у меня привѣшентъ, болтать я люблю. Дай же пойду трезвоить...

— Я уйду, Матвѣй Матвѣичъ...

— Да иѣтъ, постоитъ, я вѣдь серьезно говорю. Это вѣрно, что въ моемъ положеніи, то-есть, имѣя въ головѣ вотъ эту самую штуку, жить можно только при условіи дѣла, которое очень нравится и которое считаешь очень нужнымъ. Миѣ бы слѣдовало собственно писать, да вотъ таланта про меня не отпущено. Я и разговариваю. Э-э! вскипѣлъ Бульонтъ, потекъ во храмъ, вдругъ перебилъ себя Шива, закрывая самоваръ, изъ-подъ крышки котораго бурливо выбивался и брызгалъ кипятокъ.

— Ну-съ,—продолжалъ онъ, хозяйничая:—дѣло житейское, всякая христіанская душа калачика проситъ и имѣетъ на него полиѣйшее право, да не всегда знаетъ, гдѣ онъ лежитъ. Я-то знаю, да не по желудку онъ миѣ. Породы хотя не дворянской, а желудокъ имѣю совсѣмъ по формѣ, съ изжогами и несвареніями и всѣмъ прочимъ, хоть бы князьямъ Темкинымъ-Ростовскимъ—такъ и то впору. Но опять-таки говорю, это моя личная судьба. Для васъ, для другого, для пятаго, десятаго она не обязательна. Что же миѣ остается дѣлать, когда я вижу кругомъ себя христіанскія души, которыя калачика просятъ? Остается показать имъ, гдѣ калачикъ лежитъ. Я это и дѣлаю... Лимону хотите?

— Я что-то этого не видалъ.

— Чего?

— Да вотъ, чтобы вы показывали, гдѣ калачикъ лежитъ...

— Знаю, что вы не видали, знаю, что вы меня Шивой прозвали—и совершенно напрасно. Случается миѣ и прямо показывать. Правда, что рѣдко. Это дѣло, видите ли, какое. Я вѣдь только отвлеченно понимаю, гдѣ слѣдуетъ брата искать; на дѣлѣ у меня лично его иѣтъ, а значить и словъ соответственныхъ иѣтъ, то-есть словъ живыхъ, убѣдительныхъ. Потому я этотъ пунктъ трогаю неохотно, а если случается, такъ выкла-

дываю ужь все: такъ-молъ и такъ, самъ плохъ, но разумомъ понимаю. Вообще же я поступаю иначе. Когда я вижу христіанскую душу, я слѣжу гдѣ она калачика ищетъ, и затѣмъ, если она его ищетъ въ надлежащемъ мѣстѣ, я отхожу, миѣ тутъ дѣлать нечего, а если не въ надлежащемъ, такъ я доказываю, что оно ненадлежащее. Вотъ и все. Я знаю,—продолжалъ онъ, замѣтно одушевляясь: — я знаю чуть не всѣ закоулки, въ которыхъ люди счастья ищутъ, и знаю, что его тамъ нѣтъ, самъ по этимъ дорожкамъ бѣгалъ. И вотъ всѣ эти закоулки я разрушаю, да, разрушаю; пусть я Шива, разрушаю, но разрушаю такъ, что загоняю людей въ то единственное мѣсто, гдѣ можно дышать, не миѣ конечно, потому что у меня легкія попорчены. Шива!... Что я разрушаю драгоценнаго? Обманы, плюэзи, ложь, бессмыслицу, мерзости... Вѣры въ жизнь я никогда не разбивалъ.

У меня мелькнула мысль.

— Послушайте, Матвѣй Матвѣичъ, не имѣетъ ли ваша работа иногда другихъ результатовъ? Вы говорите, что вѣры въ жизнь никогда не разбивали, а помните намекъ Крапца о самоубійствѣ какой-то женщины?

Апостоловъ нахмурился.

— Ну, такъ что же?

— Я не объ этой именно исторіи говорю, а вообще...

— Гм!.. И вообще, и въ частности это вздоръ, что вы хотѣли сказать. Теперь не хочется, а въ другой разъ когда-нибудь я вамъ расскажу эту исторію. Я тутъ ни на столько не виноватъ. Эта женщина и безъ меня знала, гдѣ калачъ лежитъ, безъ меня и пошла за нимъ. Я былъ съ ней просто знакомъ. Сплетня, однимъ словомъ. А самоубійство ея — простая случайность: сузусась въ воду, не спросясь броду, оборвалась разъ и сейчасъ же — трахъ! Вообще же говоря, самоубійства совѣтъ другіе источники имѣютъ, именно въ закоулкахъ-то этихъ разныхъ. Попробуетъ человѣкъ и того, и пятого, и десятого, повернется и такъ, и этакъ — нѣтъ! все плохо — ну, и конецъ... Согласитесь же сами, что вы хотѣли вздоръ сказать. Если я

людей изъ этихъ закоулковъ гоню — значитъ отъ самоубійства отгоняю, а не то что...

Тутъ Апостоловъ сразу оборвалъ и по обыкновенію такъ, что я немедленно понялъ, что задушевному разговору конецъ, что я для него — совсѣмъ чужой, далекій человѣкъ, который имѣетъ полное право встать, поклониться и уйти, пожалуй предварительно напившись чаю. Я такъ и сдѣлалъ.

Впослѣдствіи вы увидите Апостолова ближе, а въ ожиданіи этого я боюсь, что очень неумѣло нарисовалъ вамъ его портретъ. Я даже знаю, въ чемъ именно состоятъ нѣкоторые недостатки моей убогой живописи. Вамъ вѣроятно Апостоловъ представляется человѣкомъ крайне холоднымъ и рѣзкимъ. Увлечшись, если можно такъ выразиться, отвлеченностью его натуры, я и нарисовалъ его слишкомъ отвлеченно. Рѣзокъ былъ его умъ, складъ его мысли, но не самъ онъ. Холоденъ онъ пожалуй былъ, но не всегда такимъ казался.

Я расскажу случай. Однажды мы съ нимъ купались въ Невѣ, за городомъ, въ открытомъ мѣстѣ, то-есть не въ купальнѣ. Онъ первый загѣзъ въ воду на столько, что она ему хватала по середину груди, а я сидѣлъ еще на берегу на камнѣ и курилъ папиросу. Мы болтали о чемъ-то. Вдругъ Апостоловъ страшно поблѣднѣлъ, вскрикнулъ, задрогалъ ногами, потомъ кинулся къ берегу (онъ не плавалъ), споткнулся, кувыркнулся въ воду, опять вскрикнулъ... Думая, что съ нимъ сдѣлались судороги, я бросился на помощь. Но онъ уже опять стоялъ какъ слѣдуетъ, хотя все еще блѣдный и осматривалъ ступню правой ноги.

— Фу, чортъ! говорилъ онъ, тяжело дыша: ракъ...

Оказалось, что ему просто впился въ ногу потревоженный имъ ракъ. Мы много этому смѣялись, и помню, онъ рассказалъ мнѣ, что разъ на Волгѣ видѣлъ, какъ крестьянскій мальчишка впившемуся ему такимъ же образомъ раку преспокойно отгрызъ зубами преступную клешню и потомъ бросилъ и рака и клешню назадъ въ воду. «Ну, какой-же я ему братъ?» сказалъ въ заключеніе Апостоловъ.

Человѣкъ дѣйствительно довольно холодный, Апостоловъ былъ однако очень нервнѣе, часто раздражался, не могъ равнодушно видѣть, какъ бьютъ животныхъ, а когда мы разъ за компанію затащили его въ театръ (онъ никогда въ театръ не ходилъ) и попали на глупѣйшую, ну просто глупѣйшую мелодраму, я видѣлъ, какъ изъ-подъ его синихъ очковъ текли слезы. Странно, но такъ было. Можетъ быть впрочемъ здѣсь нѣтъ ничего страннаго. Холодность Апостолова состояла главнымъ образомъ въ томъ, что онъ не имѣлъ личныхъ привязанностей и не чувствовалъ потребности въ нихъ. А это не мѣшаетъ ни отзывчивости къ чужимъ страданіямъ, ни тѣмъ паче простой нервозности. Настроеніе его духа мѣнялось очень часто. Болтаетъ бывало весело, да вдругъ съезжится, а то наоборотъ. Онъ бывалъ и очень мягокъ, и застѣчивъ, и—чрезвычайно рѣдко—грубъ. Обо всемъ этомъ я говорю только мимоходомъ, потому что все это было въ Апостоловѣ дѣломъ второстепеннымъ. Такое или иное было его минутное настроеніе, вы во всякомъ случаѣ чувствовали, что онъ вамъ—чужой. Точно также перемѣны настроенія духа ничѣмъ не отзывались на складѣ его мысли, а въ немъ это было главное.

Вамъ можетъ быть думается теже, что онъ очень красно говорилъ. Не было и этого. Онъ даже выдающимся спорщикомъ не былъ, по крайней мѣрѣ не всегда. Иногда па него нападалъ стихъ холодной ироніи: онъ обращался къ противнику съ утонченною вѣжливостью, изъ-подъ которой такъ и брызгало презрѣніе. Это выводило противника изъ себя, а Апостоловъ становился все вѣжливѣе, холоднѣе и презрительнѣе. Въ этомъ родѣ онъ часто бывалъ очень хорошъ, какъ діалектикъ. Но иногда онъ самъ быстро раздражался въ спорѣ, сбивался въ стороны, упускалъ хорошіе аргументы. Впрочемъ, такъ какъ онъ билъ всегда въ одну точку и выработалъ себѣ одинъ общій планъ разсужденій о какомъ бы то ни было явленіи жизни, науки, искусства, то въ концѣ-концовъ побѣда обыкновенно оставалась за нимъ. Споръ вѣдь это такое дѣло, которое въ большинствѣ случаевъ на мѣстѣ ни къ чему не приводитъ: съ чѣмъ

спорящіе пришли, съ тѣмъ и уходятъ. Результаты обнаруживаются уже потомъ. Или одинъ изъ спорящихъ, спокойно перерабатывая въ себѣ аргументы противника, переходитъ на его сторону, или третье лицо, публика, присутствующіе, рѣшаютъ вопросъ о побѣдѣ и пораженіи, становясь на ту или другую сторону. Я знаю очень любопытные примѣры побѣдъ Апостола въ этомъ родѣ, не говоря уже о тѣхъ, которые онъ совершалъ при бесѣдахъ съ глазу на глазъ...

Надѣюсь, что вамъ понятно по крайней мѣрѣ одно, а именно, почему я, размышляя о картинѣ Семирадскаго, вспомнилъ Шиву. Онъ непременно сказалъ бы, что лѣвая половина полотна не полна, недостаточно выразительна и исторически не вѣрна. Весь этотъ блистающій платьемъ и наготою людъ счастливъ, тогда какъ онъ не былъ счастливъ, а развѣ только искалъ счастья по разнымъ «закоулкамъ»: кто въ наживѣ, кто въ наслаженіяхъ любви, кто въ роскоши, кто въ величіи Рима, кто въ красотѣ. Избѣгавъ эти закоулки вдоль и поперекъ, человѣкъ долженъ былъ въ концѣ-концовъ выбирать одно изъ двухъ: или перейти направо, или наложить на себя руки. Такова была мысль, постоянно занимавшая Шиву. Конечно онъ оставлялъ мѣсто и для свиней и ословъ, достаточно грязныхъ и глупыхъ, чтобы довольствоваться спертымъ воздухомъ закоулковъ. Какъ онъ все это обставлялъ, объ этомъ въ другой разъ ужъ.

VII.

- Хотите видѣть спирита, медиума?
 - Не хочу.
 - Отчего?
 - Оттого, что вздоръ.
 - А вы все астрономіей что ли занимаетесь?
 - Какой астрономіей?
 - Да такъ вообще, пустяковъ никогда не дѣлаете?
- Такой разговоръ происходилъ у меня однажды съ Шивой. Онъ

убѣждалъ, я упирался, но въ концѣ-концовъ согласился. Соня и Нибушъ наотрѣзъ отказались. Любопытно, что я нимало не удивился предложенію Шивы, то-есть тому не удивился, что именно онъ, Шива, къ которому повидимому такъ не шло возиться со спиритизмомъ, знакомъ съ медіумомъ и даже устраиваетъ у себя спиритическій сеансъ. Я ужъ привыкъ знать, что онъ видится и водится, Богъ его знаетъ зачѣмъ, съ самыми разнообразными народами. По его словамъ, онъ и самъ въ первый разъ долженъ былъ увидѣть «эти фокусы»; съ медіумомъ познакомился случайно, и только объ немъ и знаетъ, что его зовутъ Капанинъ и что онъ изъ крестьянъ. Последнее дѣйствительно не совсѣмъ обыкновенное обстоятельство его кажется преимущественно интересовало. Надо замѣтить, что теперешній мой рассказъ относится къ тому времени, когда о Бредифѣ еще помина не было и когда спиритическія упражненія, по крайней мѣрѣ у насъ, въ Россіи, были сравнительно очень просты.

Въ назначенный день я отправился въ извѣстную уже вамъ квартиру Апостолова, на Загородномъ Проспектѣ, но опоздалъ и засталъ все общество не только въ сборѣ, а даже за дѣломъ. Отворивъ мнѣ дверь, Апостоловъ сѣлъ къ круглому столу, стоявшему посреди комнаты, вокругъ котораго сидѣло уже нѣсколько чел въкъ. На предложеніе Шивы принять участіе въ манипуляціи я сказалъ, что подожду, и сѣлъ поодаль, у окна. Остальная публика только посмотрѣла на меня молча. Публика была вотъ какая. Впервыхъ двое молодыхъ людей изъ «тетеревятъ», которыхъ я зналъ по наслышкѣ. Это были ничѣмъ не замѣчательные молодые люди, одинъ брюнетъ, другой блондинъ. Оба очевидно конфузились и подбадривали себя той неопредѣленной, двусмысленной улыбкой, которую вы вѣроятно видали у людей, принимающихъ участіе въ дѣлѣ, въ серьезность котораго они не вѣрятъ и которое даже презираютъ. Они сидѣли рядомъ. По правую сторону блондина помѣщался широкоплечій, черноволосый мужчина лѣтъ сорока пяти, съ широкими скулами, узенькими, татарскаго покроя глазами и низкимъ лбомъ, который казался еще ниже, благодаря пересѣкавшему его отъ виска до

виска, немножко наискось, шраму. Онъ носилъ только большіе, рыжевато-черные усы; энергически выдавшійся впередъ подбородокъ былъ выбритъ. Одѣтъ онъ былъ въ черный, доверху застегнутый скюртукъ. Я сразу призналъ въ немъ медіума, потому что все въ немъ было мрачно, таинственно, необычно, даже, признаюсь, какъ-то пошло необычно. Такъ мнѣ по крайней мѣрѣ показалось подъ вліяніемъ моего болѣе чѣмъ скептического отношенія къ спиритизму. Возлѣ медіума сидѣлъ Шива. Затѣмъ нѣсколько знакомый мнѣ художникъ Токмаковъ, съ длинной рыжей бородой и рѣзкими чертами лица. А дальше двое незнакомыхъ—мужчина и женщина. Мужчина былъ высокій молодой человѣкъ, лѣтъ примѣрно двадцати двухъ. Очень худое и точно восковое лицо его чуть-чуть запушилось бородкой, совѣтъмъ свѣтлой, чухонскаго цвѣта. Такіе же у него и волосы были, длинные и рѣдкіе, падавшіе сзади на воротникъ неровными косицами. Несоразмѣрно большіе, свѣтло-сѣрые глаза смотрѣли необыкновенно кротко и въ то же время какъ будто туповато. Молодой человѣкъ носилъ очки, одно изъ стеколъ которыхъ было треснуто поперекъ. Возлѣ него сидѣла дама съ весьма замѣчательнымъ лицомъ. Если хотите, самое лицо было вовсе не замѣчательное: чисто русское, съ неопредѣленными, расплывающимися чертами. Но во первыхъ надъ этимъ лицомъ возвышалась цѣлая корона совершенно сѣдыхъ волосъ, чисто серебряныхъ. Именно корона. Представьте себѣ два толстые жгута, положенные другъ на друга въ видѣ вѣшкови. Вдобавокъ эти серебряные волосы представляли такой контрастъ съ сравнительною молодостью лица дамы, что поневолѣ казалось, будто это что-то постороннее, надѣтое. Поразительны были тоже глаза дамы, или вѣрнѣе взглядъ этихъ сѣрыхъ глазъ, острый, пронзительный. Очень тоже не подходилъ этотъ рѣзкій взглядъ къ мягкимъ, неопредѣленнымъ чертамъ лица дамы. Она не смотрѣла, а точно парой гвоздей приколачивала. Она и на меня такъ взглянула, когда я вошелъ, но тотчасъ же перевела свои гвозди на медіума, и мнѣ казалось, что ему немножко не по себѣ отъ этого упорнаго взгляда. Дамю съ се-

ребряпой короной заканчивался кругъ. Больше никого не было. Все маленькое общество держало руки на краяхъ стола, прикасаясь другъ къ другу большими пальцами и мизинцами. На столѣ лежалъ карандашъ, нѣсколько клочковъ бумаги, колокольчикъ. Всѣ молчали.

Прошло пять минутъ, десять... Мое положеніе было довольно глупое. Оно было бы кромѣ того донельзя тоскливо и скучно, еслибы не фізіономіи медіума и дамы въ серебряной коронѣ, которыя поневолѣ приковывали къ себѣ вниманіе. Глядя на нихъ, я испыталъ ощущеніе всѣмъ безъ сомнѣнія знакомое. Миѣ вдругъ показалось, что когда-то, гдѣ-то я точно также сидѣлъ въ углу, у окна, а посерединѣ комнаты сидѣли вокругъ стола люди и молчали. То-есть не то, чтобы все это такъ отчетливо представлялось, но общій колоритъ минуты какъ будто уже былъ однажды пережитъ. Я не знаю, отчего это такъ бываетъ, да и никто кажется не знаетъ. Знаю только, что ощущеніе это довольно безпокойное и хоть не то, чтобы тяжелое, а все-таки совсѣмъ ненужное. На этотъ разъ я былъ выведенъ изъ-подъ его власти голосомъ дамы въ серебряной коронѣ.

— Ничего вѣрно не будетъ,—насмѣшливо сказала она, вкочивая свои гвозди прямо въ глаза медіума.

Тотъ сумрачно взглянулъ на нее и вдругъ вскрикнулъ. И въ это же время произошла короткая, но истинно безобразная сцена. Послышался какой-то стукъ, всѣ вскочили.

— Вотъ... вотъ... тамъ стояло... говорили, ничего не будетъ... вотъ... говорилъ медіумъ торжествующимъ и прерывающимся отъ волненія голосомъ.

— Къ ногамъ привязано было... осмотрите его ноги, я и не такіе фокусы видала, почти кричала дама въ серебряной коронѣ.

Рыжебородый художникъ громко хохоталъ. Бѣлокурый молодой человѣкъ присѣлъ на корточки и внимательно и спокойно осматривалъ стоявшее возлѣ стола кресло. «Тетеревята» бро-

чились къ ногамъ медіума; тотъ отбивался и бормоталъ какую-то нелѣпицу...

— Господа, что вы дѣлаете? такъ нельзя, — остановилъ сцену Шива. — Господинъ Канавинъ самъ позволить вамъ осмотрѣть его ноги, а если и не позволить, такъ все-таки не годится...

Освобожденный медіумъ быстро направился къ двери.

— Отъ благородныхъ, образованныхъ людей я не думалъ такого... такой неприличности, — сказалъ онъ все тѣмъ же прерывающимся голосомъ, ни къ кому въ особенности не обращаясь и выходя въ переднюю. Онъ сильно поблѣднѣлъ: густые, черные волосы вздрагивали, а шрамъ на лбу точно обновился, посвѣжѣлъ, побагровѣлъ. При этомъ заглухшее-было во мнѣ ощущеніе вторичности всего переживаемаго мною момента какъ будто обострилось: это блѣдное лицо съ багровымъ шрамомъ на лбу казалось такимъ знакомымъ, такимъ близкимъ. Апостоловъ пошелъ проводить медіума, и я слышалъ, какъ онъ извинялся передъ нимъ, объясняя поведеніе своихъ гостей внезапнымъ порывомъ. Однако не удерживалъ. Медіумъ ничего не отвѣчалъ.

Я попросилъ рассказать мнѣ, въ чемъ дѣло, потому что рѣшительно ничего не понималъ. Оказалось слѣдующее. Сзади и немпожко сбоку медіума стояло кресло, на которое навалена была порядочная груда книгъ. Кресло это вдругъ само собой подкатилось къ медіуму, такъ что ударило его одной ручкой въ бокъ. Всѣ присутствующіе это видѣли, кромѣ меня; всѣ ни малѣйше не сомнѣвались, что это — шарлатанство, даже мало искусное. Всѣ опять таки кромѣ меня. Не потому, чтобы я допускалъ возможность самопроизвольнаго движенія кресла. Нѣтъ, я просто былъ совѣтмъ не тѣмъ занятъ. Передо мной все стояло блѣдное лицо съ взъерошенными и вздрагивающими волосами и кровавымъ шрамомъ на лбу. И вдругъ мнѣ стало совершенно, безповоротно ясно, что медіумъ Канавинъ есть никто иной, какъ тотъ самый Яковъ, который нѣкогда забавлялъ меня глотаніемъ горячей пакли, вытаскиваніемъ лентъ изо рта и проч.; который потомъ разбилъ себѣ лобъ, сбѣгая по крутой каменной лѣстницѣ къ рѣкѣ, чтобы утониться; образъ котораго наконецъ, фантасти-

чески сплетаясь съ образомъ брата-мужика, терзаль и ласкаль меня въ моментъ первыхъ проблесковъ моего покаянія. Память быстро пробѣжала по этимъ забытымъ клавишамъ. Только заключительный аккордъ непріятно рѣзалъ ухо. Какъ ни какъ, Яковъ былъ мнѣ дорогъ и по прямымъ воспоминаніямъ, и по тому запасу молодыхъ душевныхъ силъ, который я въ свое время вложилъ въ эти воспоминанія, расцвѣтивъ ихъ и изукрасивъ. И этотъ дорогой для меня человѣкъ—шарлатанъ! Но въ ту же секунду я вспомнилъ наивную вѣру, съ которою фокусникъ Яковъ ходилъ въ полночь въ «старый домъ» для встрѣчи съ чортомъ, глубоко искренній тонъ его разказовъ о превращеніи бѣлой кошки въ кучу денегъ, о «причащеніи адовскому богу», которое совершалъ мой дѣдъ Темкинъ-Лютый и проч. Вспомнилъ и отказался судить Якова за шарлатанство. Какъ все это могло вязаться вмѣстѣ—шарлатанство и вѣра, сознательное фокусничество и искреннее тяготѣніе къ таинственному—этого я даже не попытался разбирать, да и некогда было: гораздо быстрее мелькнули всѣ эти мысли, чѣмъ ходитъ теперь мое перо по бумагѣ. Мнѣ одно нужно было, одного хотѣлось—сейчасъ же увидѣть Якова. Единственно для того, чтобы услышать подтвержденіе своей догадки, я спросилъ Апостолова, какъ зовутъ медіума, но онъ зналъ только фамилію. Ни имени, ни, что въ особенности было прискорбно, адреса его онъ не зналъ. Торопливо пожавъ руку Шивѣ и кивнувъ головой остальнымъ, я, не отвѣчая на разпросы, кинулся велѣдъ за Капавинымъ. Пальто я надѣлъ свое, но шапку захватилъ второпяхъ чужую и только на дворѣ замѣтилъ, что она, такая же бѣлая баранья, какъ моя, была мнѣ чрезмѣрно велика: по самыя уши меня закрыла. Ворочаться было однако некогда. Было часовъ десять. Фонари тускло горѣли въ морозномъ воздухѣ. Снѣгъ скрипѣлъ подъ полозьями саней. Рѣдкіе пѣшеходы старательно завертывали лица въ воротники, башлыки, платки.

— Яковъ! Яковъ!.. Господинъ Капавинъ!—крикнулъ я, выбѣжавъ за ворота и вглядываясь направо и налево.

— Чего орешь на прищептѣ? — осадилъ меня довольно

впрочемъ снисходительно сидѣвшій у воротъ дворникъ. Онъ кутался отъ холода въ полушубокъ.

— Сейчасъ тутъ человекъ вынешь... Куда онъ пошелъ?

— Много тутъ вашего брата шляется! Въ кабакъ пошелъ...

— Въ какой кабакъ?

— Мало-ль кабаковъ... вонъ кабакъ...

Я пошелъ въ кабакъ черезъ улицу. Блокъ на кабацкой двери заскрипѣлъ, со мной ввалили клубы морознаго воздуха. Въ кабакъ было много народа: двое солдатъ, извозчикъ, цѣлая компанія мастеровыхъ. Было дымно отъ табаку и шумно. У самой стойки, за которою бойко хозяйничалъ молодой малый въ ситцевой рубахѣ подъ накинутымъ сверху полушубкомъ, стоялъ спиной къ дверямъ человекъ въ длинной шинели. Молодой малый ловко вывертывалъ для него крючкомъ пробку изъ какой-то посуды. Миѣ показалось, что это долженъ быть Яковъ. Но подойдя къ стойкѣ и заглянувъ ему въ лицо, я увидѣлъ, что ошибся. Молодой малый освѣдомился, чего я «позволю» налить. Я оглядывался.

— Эхъ, хочется барину выпить, да видно денегъ нѣтъ!

— Эй! баринъ! шапка-то у тебя чужая; гдѣ стибрилъ?

Негѣпная слабость заставила меня сконфузиться этихъ остротъ веселой компаніи. Я выпилъ какой-то гадости, налитой миѣ молодымъ малымъ, заплатилъ и ушелъ, провожаемый дальнѣйшими остротами. Сивуха сразу ударила въ голову, но не одурманила, а напротивъ придала бодрость и ясность мысли. Я пошелъ очель скоро, заглядывая въ лица прохожихъ и разсуждая примѣрно такъ: дворникъ подшутилъ надо мной, пославъ въ кабакъ, или ошибся, принявъ другого за того, кого я спрашивалъ; однако зачѣмъ я иду влѣво, къ Владимѣрской? гораздо вѣроятнѣе, что Яковъ пошелъ въ противоположную сторону, можетъ быть онъ даже живетъ гдѣ-нибудь въ Семеновскомъ Полку—непремѣнно такъ; въ небольшой этакой комнатѣ, перегороденной пополамъ ситцевой драпировкой; но какая вообще вѣроятность, что я его нагоню? Глупо; онъ можетъ быть на извозчикѣ поѣхалъ; извозчикъ погналъ шибко, потому—холодно.

да если и пѣшкомъ, такъ ужь теперь далеко ушелъ.—Разсужденіе было вполнѣ логическое, и оставалось только принять его къ руководству, то-есть прекратить несообразное преслѣдованіе Якова и либо домой идти, либо къ Шивѣ вернуться. Я выбралъ послѣднее, разсчитывая все-таки хоть что-нибудь подходящее услышать.

Гости Апостолова еще не все разошлись. Дама въ серебряной коронѣ и высокій бѣлокурый молодой человѣкъ въ разбитыхъ очкахъ были налицо. Они чайничали. На вопросъ, отчего я такъ впезапно убѣжалъ, я разсказалъ, какое значеніе имѣеть для меня медіумъ Яковъ Канавинъ. Разсказалъ горячо и нескладно, отчасти благодаря выпитой въ кабацкѣ гадости, но во всякомъ случаѣ вызвалъ сочувствіе. Даже гвозди дамы въ серебряной коронѣ какъ будто смягчились, хотя сначала она и сдѣлала очень рѣзкое замѣчаніе насчетъ того, что Яковъ — мошенникъ. Бѣлокурый молодой человѣкъ, дѣтски-ласково положивъ мнѣ руку на плечо, тихо, медленно и слегка заикаясь, посоветовалъ сходить въ адресный столъ. Онъ самъ очевидно понималъ всю малоцѣнность своего совѣта и очень скорбѣлъ, что не могъ придумать ничего лучшаго: это можно было, какъ въ книгѣ, прочитать въ его огромныхъ, кроткихъ глазахъ. Шива съ своей стороны обѣщала непремѣнно разыскать Якова и притомъ съ такимъ то же участіемъ, съ такимъ теплымъ чувствомъ, какого я за нимъ и не подозрѣвалъ даже. Ему впрочемъ ничего и не стоило разыскать Якова. Онъ встрѣтился съ нимъ въ одномъ великосвѣтскомъ семействѣ, въ которомъ давалъ уроки, и слѣдовательно всегда могъ навести справки. Онъ сдержалъ свое слово.

Впрочемъ теперь не объ этомъ. Теперь мнѣ хочется разсказать про даму въ серебряной коронѣ, про бѣлокураго молодого человѣка въ разбитыхъ очкахъ, про рыжебородаго художника. Очень достойныя вниманія люди, особливо по нынѣшнему времени, когда васъ съ разныхъ сторонъ увѣряли, увѣряютъ и отчасти даже успѣли увѣрить, что ничего достойнаго вниманія

иѣтъ, а есть какая-то дребедень, жалка и смѣшная, въ которую даже вглядываться не стоитъ. Теперь, когда наши добровольцы уже совершили свои подвиги въ Сербіи, а наши войска еще совершаютъ подвиги въ Европѣ и Азіи, на сушѣ и на водѣ, многіе радуются, что вотъ дескать виѣшній толчокъ насъ разбудилъ, вызвалъ новыя чувства, новыя мысли, новыя стремленія, а то дескать вся Русь спала своимъ непробуднымъ. «Вся Русь»—это слишкомъ сильно сказано. Увѣряю васъ, она не вся спала, и вамъ стоитъ только немного повдумчивѣе осмотрѣться, чтобы увидѣть, что бодрственная жизнь шла и идетъ своимъ чередомъ. Вы ее не замѣчали — тѣмъ хуже для васъ: вы пропустили много любопытнаго, занимательнаго и поучительнаго. Что касается патріотическихъ чувствъ, мыслей, стремлений, то я даже совершенно не понимаю, какъ можно ихъ считать и называть новыми: крымская война и польское возстаніе кажется отъ насъ не за горами. Я впрочемъ ничего не имѣю сказать объ этихъ чувствахъ, мысляхъ и стремленіяхъ. Это—дѣло высше і такъ сказать политики, въ которую я не мѣшаюсь. И заговорилъ-то я объ ней только для того, чтобы сказать, что не объ ней говорить хочу. На всякій случай, чтобы недоразумѣнія какого не вышло. Однако довольно прелюдій. Сами увидите, достойны-ли вниманія личности, съ которыми я васъ хочу познакомить, и, если достойны, то въ какомъ смыслѣ.

Захваченную у Апостола чужую шапку я унесъ съ собой домой: какъ держалъ въ рукахъ, такъ и унесъ, забывшись. На другой день пошелъ отыскивать хозяина. Прежде всего, разумѣется—къ Шивѣ. Онъ объяснилъ мнѣ, что шапка, по всеѣмъ видимостямъ, должна принадлежать Николаю Ивановичу Сицкому, бѣлокурному молодому человѣку въ разбитыхъ очкахъ: что Сицкій этотъ живетъ тамъ-то и тамъ-то, на Выборгской Стронѣ. На вопросъ о томъ, что онъ за человѣкъ, Апостоловъ отвѣчалъ довольно загадочно.

— Знаете пословицу: рѣзвенькій самъ набѣжитъ, а на тихонькаго Богъ нанесетъ. Ну такъ вотъ онъ—изъ тихонькихъ.

Сидкій самъ отворилъ мнѣ дверь. Онъ былъ въ блузѣ, которая, какъ на вѣшалкѣ, висѣла на его длинномъ, нескладномъ туловищѣ. Волосы были перехвачены узенькимъ ремешкомъ поперекъ лба. Въ одной рукѣ онъ держалъ большія портняжныя ножницы. Онъ внимательно и нѣсколько удивленно посмотрѣлъ на меня и потомъ протянулъ:

— А! это—вы!

Долженъ сознаться, что въ тоиѣ этого восклицанія было мало для меня лестнаго. Видно было, что молодой человѣкъ кого-то ждалъ, но только совѣмъ не меня, и что мое появленіе его значительно разочаровало. Я объяснилъ, въ чемъ дѣло.

— Да, да, пойдите ко мнѣ—сказалъ молодой человѣкъ, вводя меня изъ кухни (она же и передняя) въ свою комнату (квартира вся состояла изъ комнатъ отъ жильцовъ).—Да, да, я думаю, вамъ очень неловко было въ моей шапкѣ; у меня очень большая голова...

— Вамъ, я думаю, еще хуже пришлось. Извините, пожалуйста...

— Нѣтъ, что-жь? Мнѣ ничего. Я сверхъ шапки-то, знаете, платкомъ носовымъ повязался. Даже очень хорошо вышло, потому что уши не мерзли.

Напоминаю читателю, что голосъ у Сидкаго былъ очень слабый, говорилъ онъ очень медленно и немножко заикался. Впрочемъ своими голосовыми недостатками онъ нимало не стѣснялся и говорилъ чрезвычайно спокойно: не торопился, не удерживался отъ заиканія, не насиловалъ голоса. Такимъ я его слышалъ не только въ этотъ разъ, а и впоследствии, при самыхъ разнообразныхъ обстановкахъ. Комнату онъ занималъ маленькую, низенькую, сырую и холодную. Единственное окно выходило на маленькій, но пустынный дворъ. У окна стоялъ столъ, на столѣ были аккуратно разложены части распоротаго сюртука или пиджака. Тутъ же лежали наперстокъ, нитки, куски матеріи. Десятка два книгъ красовались на прибитой къ стѣнѣ полкѣ. Кровать, три стула, еще столъ, на которомъ стоялъ самоваръ, чайникъ и два стакана, дополняли меблировку. Все было очень чисто и аккуратно.

— Ну, что же, Апостоловъ еще не узналъ адресъ этого... какъ его? Медиума-то?

— Нѣтъ, гдѣ же? Вчера вечеромъ вѣдь только общалъ...

— Да, да. А это очень интересно, что вы вчера... Звонятъ, кажется?

Сидкій вскочилъ и вышелъ.

— Не ко мнѣ, грустно сказалъ онъ, возвращаясь.—Давайте чай пить.

За чаепитіемъ повторилась та же исторія, то-есть, слышавъ звонокъ, Сидкій вскочилъ, выбѣжалъ въ кухню и вернулся огорченный. Я наконецъ спросилъ, не стѣсняю ли я его, такъ какъ онъ очевидно кого-то ждетъ.

— О нѣтъ. Я бы прямо сказалъ, еслибы вы мѣшали. За что же я васъ буду въ такое положеніе ставить? Напротивъ я вамъ очень, очень радъ. Это правда, что я жду... Но это ничего, увѣрю васъ... Видите ли, сегодня ко мнѣ долженъ придти одинъ мужикъ, долгъ отдать. Только вы не подумайте... Видите ли, какъ дѣло было. Онъ подошелъ ко мнѣ на улицѣ. «Дай, говоритъ, баринъ на два дня двадцать три копѣйки, нехватаетъ на сапожнишки», знаете, валенки. Я ему далъ тридцать пять копѣекъ, двугривенный и пятиалтынный, такая монета случилась. Онъ мой адресъ взялъ, сегодня вотъ придетъ. Придетъ вѣдь, я думаю, а?

— Право не знаю. Вѣришь, что не придетъ. Много вѣдь такихъ-то на улицѣ займы берутъ. Какой ужъ тутъ заемъ!

— Ну нѣтъ, онъ вѣдь общалъ, самъ общалъ. Онъ бы могъ просто попросить, а то говорить: непременно, говорить, принесу.

Видно было, что Сидкій самъ нетвердо вѣрилъ въ исполненіе обѣщанія прохожаго мужика и только очень хотѣлъ вѣрить. Мнѣ тоже хотѣлось, чтобы мужикъ пришелъ, больше изъ сочувствія къ этому большеголовому, большеглазому, кроткому существу. Я сомнѣвался однако. Сомнѣвался и былъ посрамленъ, потому что послѣ слѣдующаго звонка Сидкій ввелъ въ комнату небольшого, невзрачнаго и молодого еще мужика.

— Ну вотъ, ну вотъ, пришелъ, спасибо,—говорилъ Сицкій, нелѣпо хватая мужика за плечи, точно собираясь поднять его на воздухъ.

— Тебѣ спасибо, Миколай Иванычъ, степенно возражалъ тотъ. Онъ приставилъ къ стѣнѣ бывшую у него въ рукахъ пилу, свалилъ тутъ же съ плечъ мѣшокъ, досталъ изъ-за пазухи кошель и торжественно поднесъ Сицкому на лѣвой ладони двугривенный и пятялтынный. Потомъ сталъ опять накидывать мѣшокъ на плечо.

— Чего-жь ты? Какъ тебя звать-то?

— Семень Петровъ.

— Чего-жь ты собираешься, Семень Петровичъ? Садись, гость будешь, чайку попьемъ.

— Нельзя, Миколай Иванычъ, на Микольскій надо, и то позамѣшкался, парня одного поджидалъ. Часовъ одиннадцать, поди есть?

— Есть. Ну, въ другой разъ заходи.

— На этомъ опять же спасибо. Прощенья просимъ.

— Такъ зайдешь? Ежели что по портняжной части понадобится, такъ тащи. Починка ли какая, или что — штаны такіе сошью, что любо два.

— Ай мастеришь?

— Мастерю.

— Я думалъ, ты по ученой, по книжной значить части.

— И этотъ грѣхъ есть. Книжки захочешь почитать — найдемъ.

— Не знаю я грамотѣ-то.

— Выучу.

Мужикъ засмѣялся и окончательно распростился.

Сицкій какимъ-то задумчивымъ гоголемъ ходилъ по комнатѣ, широко разставляя длинныя ноги и побрякивая въ рукѣ только что полученными двугривеннымъ и пятялтыннымъ.

— Ну, вотъ какъ вы ошиблись! сказалъ онъ, останавливаясь передо мной и счастливо улыбаясь, больше глазами, чѣмъ губами.

— А вы развѣ такъ ужъ увѣрены были, что онъ придетъ?

— Нѣтъ, и я не былъ увѣренъ. Только все-таки такого полного, настоящаго невѣрія у меня не было. Конечно тутъ могло разное выйти, могъ онъ и не придти. Это—какъ въ лотереѣ: больше вѣроятности, что не выиграешь; ну, а можетъ, и счастливый билетъ выкинется. Только тутъ наоборотъ.

— То-есть, тутъ больше вѣроятности, что мужикъ пришелъ бы? (Сицкій утвердительно мотнулъ головой). И вы настолько знаете народъ, чтобы говорить такъ рѣшительно?

— Какъ вамъ сказать? Народъ я знаю мало, да и кто-жь его знаетъ не мало? Вглядывался... но больше такъ, теоретически, думалъ больше, много думалъ...

— Мало вѣдь этого во всякомъ случаѣ.

— О да, я знаю, что все это надо дополнить, провѣрить, надо много самому видѣть. Я именно теперь къ этому готовлюсь.

— Гм... Развѣ большія приготовления нужны?

Сицкій изумленно посмотрѣлъ на меня, потомъ спиходительно улыбнулся, сѣлъ рядомъ и положилъ мнѣ руку на плечо—любимый его жестъ въ разговорѣ.

— Огромныя, Темкинъ, оч-чень, оч-чень большія. Нужно во первыхъ знаніе, не грошовое какое-нибудь, а очень точное и полное, потому что народъ въ этомъ отношеніи чрезвычайно требователенъ, гораздо требовательнѣе нашего брата... Вотъ вы улыбаетесь; оно съ перваго-то раза—какъ будто и въ самомъ дѣлѣ вздоръ, а вы подумайте хорошенько, такъ и увидите, что не вздоръ. Нашъ братъ больше для куска хлѣба учится, для диплома тамъ, для экзамена. И такъ это укоренилось, что малый мальчишка и тотъ ужъ имѣетъ въ виду. А если мужикъ что узнать хочетъ, такъ потому, что душа знанія проситъ. Ну, читать, писать, считать, это—для домашняго обихода, а что сверхъ этого—для души. Значитъ тутъ требованіе иное. Возьмите опять вотъ что. У насъ все вопросы: женскій вопросъ, восточный вопросъ, вопросъ о происхожденіи человѣка, о свободѣ воли. Мужикъ не можетъ такъ хронически въ вопроситель-

номъ видѣ стоять. У него или пѣть вопросовъ, или они сейчасъ же разрѣшеніе получаютъ, потому ему ясность, точность, опредѣленность нужна. Мы вотъ вчера съ вами подъ столъ лезли, чорта искали, котораго вашъ другъ Яковъ показать хотѣлъ, а мужикъ чорта очень хорошо знаетъ: у него, говоритъ, заячья лапа. Вотъ до какой точности, до какой подробности...

Я размѣялся.

— Конечно тутъ нелѣпостей много,—спокойно продолжалъ Сидкій: —я вамъ только о тѣхъ требованіяхъ говорю, которыя народъ знанію ставитъ. Если вы сумѣете вопросъ о чортѣ разработать совершенно по своему вкусу, ну сообразно тамъ наукѣ, но чтобы было такъ же полно, подробно, отчетливо, какъ теперешнее представленіе мужика о чортѣ, мужикъ пойметъ и оцѣнитъ. А въ колебательномъ видѣ: либо дождикъ, либо снѣгъ, либо будетъ, либо пѣть—этого лучше и не несите народу, слушать не станетъ и всякое къ вамъ уваженіе потеряетъ. Или еще... Вы гдѣ учились?

Я сказалъ.

— Ну, вотъ возьмемъ какую-нибудь вамъ знакомую науку—ну химию что ли. Вамъ интересно знать, что древніе насчитывали четыре стихіи, четыре простыя тѣла, что понятіе это съ теченіемъ времени измѣнялось такъ-то и такъ-то и прочее. Нашего брата даже всегда тянетъ непремѣнно такъ начать: прежде полагали такъ-то, потомъ иначе, потомъ еще иначе, а нынѣ полагаютъ разно—одни такъ, другіе иначе. Вы очень ученѣйшій будете человѣкъ, если будете знать все это, то-есть весь рядъ ошибокъ и заблужденій мысли. И это разумѣется очень важно, но мужику даромъ не нужно. Какъ кто думалъ, это для него не интересно, а интересно, какъ самому думать. Опять-таки, чтобы ясно, полно...

— Послушайте, Сидкій, вы вотъ сейчасъ про Якова говорили. Такъ, вѣдь онъ—тоже мужикъ, народъ...

— Ну, какой же онъ мужикъ? Лакеемъ, вы говорите, былъ, фокусами занимался... Нѣтъ! А впрочемъ не знаю. Очень интересный во всякомъ случаѣ человѣкъ, и вы меня съ нимъ

пожалуйста познакомьте, когда разыщете. Очень, очень интересно...

Сицкій задумался. Я съ нѣкоторымъ изумленіемъ смотрѣлъ на него, даже, долженъ откровенно признаться, съ нѣкоторою мелкою досадою. Забѣгая впередъ, скажу, что мы его впоследствии прозвали «бѣднымъ музыкантомъ». Прозвище тѣмъ болѣе повидимому нелѣпое, что Сицкій ни на какомъ инструментѣ не игралъ. Такъ ужъ вышло. Во время одного любопытнѣйшаго похождения Сицкаго (я его въ другой разъ разскажу) Нибушъ смотрѣлъ, смотрѣлъ на него, да и говоритъ: «эхъ, бѣдный ты музыкантъ!» И такъ эта кличка и пристала къ нему, точно пластырь. Нелѣпо и въ то же время удивительно похоже, удивительно кстати, такъ что даже изумляться надо было, что онъ такъ долго безъ этой клички ходилъ. «Бѣдный музыкантъ» значить, можете сами судить, впечатлѣніе чего-то жалостнаго, беспомощнаго. Такое впечатлѣніе Сицкій произвелъ на меня съ перваго же раза на неудавшемся спиритическомъ сеансѣ у Апостолова. И вдругъ этотъ «бѣдный музыкантъ», который вдобавокъ моложе меня годами, говоритъ со мной, какъ учитель. Такъ и по формѣ выходило, и по сущности, потому что я долженъ былъ признать нѣкоторую для меня новость соображеній Сицкаго. Недостатки его рѣчи придавали ей даже какую-то особенную силу: тихо, медленно, съ заиканіемъ, но совершенно покойно, увѣренно. Видно было, что онъ въ самомъ дѣлѣ, «много думалъ» о предметѣ разговора, пришелъ къ непререкаемымъ для него результатамъ и даже не можетъ себя представить маломальски резонныхъ возраженій. А мнѣ, какъ на грѣхъ, ни одно не приходило въ голову.

— Значить вы отвергаете пользу исторіи мысли? спросилъ я, самъ чувствуя, что говорю неподходящее.

— Совсѣмъ нѣтъ, совсѣмъ даже напротивъ. Вы меня не поняли. Для васъ исторія мысли любопытна, даже необходима, потому что уясняетъ дѣло. Вы должны знать и ее, и самые важные изъ современныхъ взглядовъ на предметъ и, уже переработавши все это такъ, чтобы имѣть опредѣленное, неколеблю-

щееся понятіе, можете предложить результатъ, замѣтите, *результатъ* мужику. А процессъ развитія мысли весь при васъ останется. Когда-нибудь и имъ мужикъ заинтересуется, ну а теперь просто спроса иѣтъ. Въ нѣкоторыхъ сферахъ онъ есть и теперь. Напримѣръ исторія религіозныхъ вѣрованій, на сколько я понимаю, можетъ заинтересовать мужика...

— Позвольте однако, Сицкій; вѣдь мы начали съ того, что вы готовитесь къ познанію, такъ сказать, народа. А между тѣмъ вы вопервыхъ такъ говорите, какъ будто знаете его и теперь ужъ вдоль и поперекъ. А вовторыхъ...

— Я составилъ себѣ понятіе, — перебилъ Сицкій: — если увижу, что оно неполно или вздорно, такъ дополню или брошу...

— А вовторыхъ, — продолжалъ я: — узнать народъ и учить его, это — двѣ разныя вещи. И я все-таки думаю, что для того, чтобы узнать его, особенныхъ приготовленій не требуется. Это всякій можетъ при добромъ желаніи.

— Напрасно вы такъ думаете. Съ чего это мужикъ станетъ ради вашего добраго желанія душу передъ вами раскрывать? Вы должны его уваженіе пріобрѣсти, представиться ему прежде всего дѣльнымъ, стоящимъ человѣкомъ...

— Прежде всего! Замѣтите, вы все это еще «вопервыхъ» говорите. Вопервыхъ — знаніе. Ну хорошо. Значитъ есть и вовторыхъ?

— Есть и вовторыхъ, и третьихъ. Вовторыхъ какой-нибудь физическій трудъ, мастерство, что-нибудь, вообще кака-я-нибудь умѣлость. Неумѣлость народъ только юридивымъ да блаженнымъ прощаетъ. А третьихъ — подвиговъ...

— Какой такой подвигъ?

— Какой подвигъ — это вы можете изъ исторіи узнать...

— Не вѣмъ же однако быть героями, — замѣтилъ я съ раздраженіемъ. — Простымъ-то смертнымъ, нашему брату, куда дѣваться?

— Для простыхъ дѣлъ нужны простые люди, для героическихъ — герои.

— И вы изъ героевъ конечно?

— Я попробую,—просто сказалъ Сидкій, даже не останавлывая своей прогулки задумчиваго гоголя.

Это было уже слишкомъ! Онъ попробуетъ! Онъ сказалъ это такимъ тономъ, какимъ бы вы сказали: я попробую переставить стулъ, или: я попробую ирйтись по Невскому. Эта, какъ мнѣ казалось, бездонная пропасть самолюбія просто выводила меня изъ себя. Милый «бѣдный музыкантъ»! Ты попробовалъ, за тобой иѣтъ недоимокъ, ты совершилъ свой подвигъ. Прости же мнѣ ту мелкую, дрянную, завистливую досаду, съ которою я выслушалъ твое «я попробую»... Досада моя была тѣмъ сильнѣе, что съ нею начинало уже борьбу чувство уваженія, которое невольно закрадывалось въ душу при видѣ этого безмятежнаго спокойствія. Чѣмъ-нибудь да приобрѣтено же оно, есть же за нимъ сила.

— Будьте посписходительнѣе, господинъ Сидкій,—сказалъ я.—Ну хорошо; ну вы герой... будущій. Честь вамъ и слава, опять-таки въ будущемъ. Но у васъ все такъ взвѣшено и смѣрено, что можетъ быть вы и мнѣ не откажетесь подать совѣтъ.

Я иронизировалъ глупо, грубо, но иронизировалъ. Онъ не обратилъ однако никакого вниманія, да, какъ теперь припоминаю, и вообще не понималъ ироніи.

— Ахъ я буду очень радъ, если сумѣю. Только вѣдь я васъ совѣмъ не знаю,—отвѣчалъ онъ, какъ ни въ чемъ не бывало.—Это отъ очень разныхъ личныхъ обстоятельствъ зависитъ. Я и про себя не знаю. Силъ не хватитъ — ну что-жь дѣлать? Шить, кроить умѣю, грамотѣ знаю—жить все-таки можно, на что-нибудь пригожусь. Главное надо тщательно свои силы, какъ вы говорите, взвѣсить и смѣрить, а тамъ ужъ и выбирать. Главное, не за свое дѣло не братья...

— Гм... Какъ бы однако вотъ чего не вышло: иной пожалуй душно взвѣситъ, да въ герои и полѣзетъ, знаете, какъ у Гоголя «выше своей сферы», а иной изъ трусости откажется отъ дѣла, которое можетъ дѣлать...

— Да, злоупотребленія всегда дѣло возможное. Я про честныхъ людей говорю, вотъ какъ я, вы...

— Покорнѣйше васъ благодарю!

Сицкій недоумѣваяще посмотрѣлъ на меня съ секунду и потомъ продолжалъ, отказываясь повидимому проникнуть въ смыслъ моей иронической благодарности:

— Трусость! Трусость—несчастіе. Состояніе нервовъ, которое до извѣстной степени можно конечно преодолѣть, по которому надо тоже взять во вниманіе при оцѣнкѣ своихъ силъ. Если человѣкъ добросовѣстно работалъ надъ собой и все-таки не могъ преодолѣть, такъ пусть онъ такъ прямо и говоритъ: того-то и того-то я выносить не могу. Кто-жъ его попрекнетъ за это? Одинъ можетъ десять пудовъ поднять, другой — три. Только чтобы была дѣйствительно добросовѣстная работа надъ собой и добросовѣстная оцѣнка...

Въ комнату вошла старая женщина въ сарафанѣ, съ метлой въ одной рукѣ и съ тряпкой въ другой.

— Что-жъ, голубь, идти тебѣ пора, прибираться пришла,—сказала она очень громко, какъ говорятъ глухіе, и наклонила ухо въ сторону Сицкаго, очевидно привычная къ его слабому голосу.

— Пора, пора, бабушка, сейчасъ уйдемъ.

— А пинжакъ-отъ Ванюшкинъ готовъ аль нѣтъ?

— Экъ ты, бабушка, захотѣла! Видишь, только еще распоролъ.

— Ну ладно, ладно, я такъ...

Мы вышли вмѣстѣ и прямо отъ воротъ повернули въ разныя стороны.

Само собою напрашивается сравненіе Сицкаго съ Апостоловымъ. Я очень завидую обоимъ, завидую теперь ужъ конечно безъ всякой подмѣсы дряннаго, полузлостнаго чувства, а напротивъ съ глубочайшимъ уваженіемъ къ умѣнью взвѣсить свои силы и распорядиться ими. Вы можете разнo смотрѣть на ихъ мнѣнія и на нихъ самихъ, но вы должны признать за ними великое счастье полной сознательности ихъ личной жизни. Я не выдаю ихъ за непогрѣшимыхъ папъ, даже не пытаюсь убѣдить

васть въ справедливости ихъ мнѣній, хотя думаю, что въ общемъ и тотъ и другой въ своемъ родѣ правы. Возможны для нихъ конечно разнаго рода уклоненія и ошибки. Насколько я могу судить по нѣкоторымъ отрывочнымъ разговорамъ Апостолова, ихъ было у него въ прошломъ даже довольно много. Но въ концѣ-концовъ оба стоятъ на совершенно опредѣленной дорогѣ, имѣя при себѣ багажъ, строго соразмѣренный съ ихъ силами и способностями. У Сицкаго эта соразмѣрность была даже какою-то *idée fixe*. Онъ очень часто возвращался къ ней въ разговорахъ и строилъ на ней цѣлую утопю. Достигнувъ вѣрной самоопѣнки (она была безусловно вѣрна, какъ покажетъ его дальнѣйшая исторія), Сицкій думалъ, что и всякій на это способенъ. Этимъ именно путемъ, полагалъ онъ, должны исчезнуть мелочныя самолюбія, становящіяся поперекъ дороги всякому общему дѣлу. Съ его точки зрѣнія не было никакаго позора въ какомъ-нибудь природномъ недостаткѣ, если только человѣкъ пытался съ нимъ бороться. Въ этомъ направленіи онъ шелъ до послѣднихъ предѣловъ. Я помню его уморительно-смѣшную бесѣду съ однимъ пріятелемъ. Пріятель этотъ бралъ на себя непосильную для него роль. Сицкій отговаривалъ его, доказывая между прочимъ, что роль эта требуетъ ума, а онъ, пріятель, не уменъ. Пріятель былъ совсѣмъ иного о себѣ мнѣнія и потому сердился. Но Сицкій былъ невозмутимъ. По обыкновенію словоохотно, пространно, медлительно и заикаясь, онъ дѣлалъ опредѣленія ума и глупости и подгонялъ подъ эти опредѣленія личность претендента. Это былъ впрочемъ единственный извѣстный мнѣ случай, что Сицкій такъ грубо (хотя у него и это какъ-то не грубо вышло) вмѣшался въ чужое личное дѣло. Онъ былъ инстинктивный врагъ всякой кружковой и личной тираніи. Роль товарищей, хоть будь они семи пядей во лбу, ограничивалась для него посредственнымъ содѣйствіемъ уясненію субъектомъ его жизненной задачи. Окончательный, рѣшающій голосъ долженъ былъ принадлежать самому субъекту, такъ что если онъ сказалъ: я это могу сдѣлать, или: я этого не могу сдѣлать—говорить ничего не оставалось. Съ самимъ Сицкимъ былъ

разъ на моимъ глазахъ такой случай. Въ довольно большомъ обществѣ ему была предложена одна очень щекотливая обязанность. Онъ отказался. Кто-то сзади крикнулъ: «подлецъ!» Это было до такой степени дико, до такой степени несообразно съ чистотой души Бѣднаго Музыканта, что всѣ оторопѣли. Сицкій широко раскрылъ свои и безъ того огромные глаза. Онъ кажется только удивлялся. Водворилось молчаніе, прерванное басомъ Нибуша: «тотъ подлецъ, кто Сицкаго подлецомъ назвалъ!» Къ Сицкому протискался одинъ молодой человѣкъ, горбоносый, бородатый брюнетъ Манвеловъ, и, протягивая ему руку и краснѣя, какъ ракъ, сказалъ съ нерусскимъ акцентомъ: «я—подлецъ... я говорилъ... ошпбка». Сицкій внимательно посмотрѣлъ на него, потомъ кивнулъ головой, притянулъ его къ себѣ, посадилъ рядомъ и положилъ ему руку на плечо. Бесѣда пошла своимъ чередомъ. Манвеловъ сидѣлъ, не поднимая глазъ и стараясь не певелиться, чтобы не тревожить руки Бѣднаго Музыканта...

Въ той массѣ всяческихъ колебаній, волненій, сомнѣній, запутанностей, среди которой намъ приходится жить, люди съ строго обдуманною, твердо намѣченною задачей жизни составляютъ сравнительно большую рѣдкость (я не о тѣхъ разумѣется говорю, кто твердо намѣтилъ 'какойнибудь жирный кусокъ'). Оттого такіе люди нѣсколько давятъ окружающихъ, слишкомъ ужъ импонируютъ имъ. Свалить эту тяжесть можетъ только очень короткое съ ними знакомство, большая близость отношеній. Апостоловъ напริมѣръ, съ которымъ подобная близость была немыслима, почти всегда производилъ въ окружающихъ непріятное ощущеніе тяжести. Съ Сицкимъ ничего такого не было. Апостоловъ всегда держалъ кое-что про себя и только очень рѣдко позволялъ заглядывать себѣ въ душу поглубже. Сицкій напротивъ съ перваго же раза былъ весь на ладони. Вы видѣли, что въ первое же наше свиданіе я узналъ его святая святыхъ безъ всякихъ съ моей стороны разспросовъ и вообще усилий. Апостолова чуждались и, если по совѣсти говорить, не любили. Съ Сицкимъ же всякій чувствовалъ себя легко, и всѣ, кромѣ надменныхъ дураковъ, его очень любили. Апостоловъ

былъ холодный и просто добрый чловѣкъ, готовый при случаѣ оказать услугу. Сицкій былъ какое-то ходячее самопожертвованіе. Онъ предавался ему со страстью. Когда я вамъ расскажу хоть то его похождение, которое подало поводъ прозвищу «бѣдный музыкантъ», вы увидите, до какихъ даже маловѣроятныхъ вещей могъ онъ въ этомъ направленіи доходить.

Во всякомъ случаѣ знакомство и извѣстная короткость Шивы и Бѣднаго Музыканта очень естественны. Въ сущности они съ перваго же взгляда оказывались одного поля ягодами. Такъ даже по виѣнности. Но присутствіе на вечерѣ у Апостолова дамы въ серебряной коронѣ меня нѣсколько удивило. Я еще больше удивился, когда узналъ, что она—вдова статскаго совѣтника и мать двухъ дѣтей. А между тѣмъ эта статская совѣтница во многихъ отношеніяхъ была гораздо родственнѣе Апостолову, чѣмъ Сицкій и всѣ мы.

Исторію ея я знаю отчасти отъ Шивы, отчасти отъ нея самой, отчасти изъ другихъ источниковъ. Кое-что видѣлъ самъ. Звали ее Марья Львовна Бѣлозерская. Мужъ ея былъ не совсѣмъ обыкновенный статскій совѣтникъ. Но разныя его необыкновенности къ дѣлу не идутъ, и я скажу только (въ интересахъ нижеприведеннаго), что, прослуживъ двадцать лѣтъ въ одномъ вѣдомствѣ, славящемся своею хлѣбностью, онъ оставилъ семью нищею. Сама Марья Львовна была за то совершенно обыкновенная статская совѣтница, впрочемъ простая, неглупая и добрая женщина. Жили они тихо, смиренно, благополучно, вообще хорошо. Однажды мужъ поздно засидѣлся за работой. Жена, поджидая его, прилегла, какъ была одѣта, въ спальнѣ и задремала. Вдругъ слышитъ въ кабинетѣ стукъ, точно что упало. Окликнула мужа—молчитъ, въ другой разъ—молчитъ. Встала вдова (она уже была вдовой въ эту минуту), пошла въ кабинетъ и увидѣла, что мужъ лежитъ навзничъ на полу, раскинувъ руки. Ему дурно конечно; надо его вспрыснуть водой, намочить голову одеколономъ, дать понюхать нашатырнаго спирта, послать за докторомъ. Все это исполняетъ вдова, но задолго до при-

хода доктора убѣждается, что мужъ умеръ. Теперь представьте вы себѣ женщину, привычную къ тихой, смиренной, благополучной жизни, остающуюся ночью наединѣ съ трупомъ любимаго мужа. (Дѣти спятъ, и хорошо еще, что спятъ; кухарки не оказалось дома, нянька ушла за докторомъ). Сомнѣній нѣтъ: это—трупъ, она—вдова, дѣти—сироты, тихая, спокойная жизнь надломлена въ одно мгновеніе нелѣпою случайностью, называемою апоплексическимъ ударомъ. Очень обыкновенный случай вообще, очень необыкновенный въ жизни вдовы. Что тутъ передумано, что перечувствовано—это вы ужъ постарайтесь сами себѣ представить. Я рассказывать не стану, потому что не сумѣю, да и не особенно жалѣю объ этомъ. Но за то тѣмъ сильнѣе жалѣю, что не могу вамъ въ яркихъ образахъ и картинахъ рассказать рядъ послѣдующихъ обыкновенностей: будочники, протоколъ, судебный приставъ, обмывальщица, гробовщикъ, читальщица псалтыря, священники, факельщики. Никто кажется не изображалъ въ литературѣ обыкновенной обстановки смерти во всѣхъ ея подробностяхъ. У насъ есть нѣсколько превосходныхъ, высокохудожественныхъ описаній смертнаго часа, но всѣ они мало касаются того ряда мелкихъ обстоятельствъ, которыми смертный часъ осыпанъ, какъ крупный брильянтъ мелкими розами. Это очень жаль, потому что и въ розахъ отражается и передливается свѣтъ, и онѣ способствуютъ общей красотѣ всей драгоценности. Я конечно не мечтаю восполнить этотъ пробѣлъ въ литературѣ. Миѣ жаль только, что я не умѣю рассказать вамъ, какъ эти розы украсили серебряной короной голову вдовы статскаго совѣтника и превратили ея глаза въ острые гвозди.

Все складывалось какъ пельзя лучше. Будочники немедленно узнаютъ о событіи и являются. Убитая горемъ, почти обезумѣвшая отъ неожиданности вдова проситъ ихъ поднять трупъ и положить его на кровать. Будочники оказываются чрезвычайно любезными и милыми людьми, успокаиваютъ вдову, просятъ ее «не убиваться», но, такъ какъ они вмѣстѣ съ тѣмъ—прекрасные будочники, строгіе блюстители порядка и исполнители

своего долга, то они отказываются прикоснуться къ трупѣ до прихода начальства. И вдова смотритъ на помертвѣлое лицо статскаго совѣтника, на его раскинувшіяся руки, на его распростертое на полу туловище. Является начальство. Оно тоже очень любезно, очень внимательно, но, по долгу службы, не можетъ поднять трупъ, пока не написана будетъ послѣдняя строчка протокола. И дорогой трупъ все валяется, какъ падаль. Обмывальщица и гробовщикъ конечно не заставляютъ себя ждать. На счастье, они—тоже прекрасные люди и желаютъ имѣть по возможности точный и подробный заказъ, чтобы потомъ не вышло какихъ-нибудь недоразумѣній, пререканій, непріятностей. Какъ добросовѣстный человѣкъ, гробовщикъ освѣдомляется сколько орденовъ было у покойника и сколько слѣдовательно понадобится подушекъ. Вдова не понимаетъ. «Да, были ордена,—думаетъ она: — Андрюша ждалъ Анны на шею... какіе ордена?... чего этому человѣку нужно?» — Гробовщикъ видитъ, что тутъ ничего не подѣлаешь, и рѣшается отложить второстепенный вопросъ о количествѣ подушекъ подъ ордена до завтра. Но ему необходимо нужно знать, съ балдахиномъ или безъ балдахина будетъ катафалкъ. Такъ какъ вдова и со стороны балдахина оказывается недостаточно понятливою, то онъ, будучи не только добросовѣстнымъ, но и чрезвычайно доброжелательнымъ и уважительнымъ человѣкомъ, даетъ совѣтъ, чтобы съ балдахиномъ: потому покойникъ носилъ чинъ немалый, не титулярный какой-нибудь, и до превосходительства уже недалеко было! Священникъ. Почтенный старичокъ съ ласковымъ взглядомъ. Онъ привыкъ утѣшать неутѣшенныхъ и знаетъ слова утѣшенія. Онъ совѣтуетъ молиться и радоваться, что статскій совѣтникъ умеръ до вознесенъева дня, вслѣдствіе чего панихиды будутъ начинаться и оканчиваться радостною пѣснью «Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ». Но ему нужно однако знать, съ діакономъ или безъ діакона будутъ служить панихиды, а также насчетъ сорокоуста. Вдова безсознательно отвѣчаетъ неудачу: съ діакономъ. Священникъ одобряетъ и находитъ, что статскій совѣтникъ долженъ быть почтенъ нѣкоторою пышностью, хотя

и соразмѣрною со средствами статской совѣщницы. Діаконъ. Онъ тоже знаетъ слова утѣшенія. А дѣти теребятъ положенный на столъ трупъ новопреставленнаго боярина Андрея и кричатъ: «папа, вставай!» И щемитъ сердце вдовы, и кружится ея голова. «Отецъ-діаконъ,—говоритъ она съ отчаяніемъ:—какъ могу я теперь молиться?!» — «Это точно, — простодушно отвѣчаетъ отецъ-діаконъ:—это точно, Марья Львовна; говоримъ мы эти слова утѣшенія, а сами знаемъ, что вамъ теперь не до того». — Вдова благодарно смотритъ на отца-діакона: его простодушныя слова именно своимъ простодушіемъ и неформенностью проливаютъ каплю бальзама въ измученную душу. Но одна капля бальзама въ измученной душѣ гораздо даже меньше, чѣмъ капля воды въ морѣ... Судебный приставъ. Достойный молодой человѣкъ, вполне изящный и современный. Онъ вынужденъ безпокоить вдову описью и опечатаніемъ имущества. Серебряный портсигаръ и золотыя часы съ цѣлочкой онъ не беретъ во вниманіе. «Я не видалъ этого,—говоритъ онъ, любезно улыбаясь:—спрячьте, все-таки пригодится». Онъ опишетъ только мебель и, главное, капиталы. Но капиталовъ оказывается только четыре билета внутреннихъ съ выигрышами займовъ. — Какъ же это?—недоумѣваетъ достойный молодой человѣкъ:—статскій совѣтникъ—двадцать лѣтъ служилъ и въ такомъ вѣдомствѣ...

А вдова все думаетъ, чѣмъ она виновата. «Господи,—думаетъ она:—чѣмъ я провинилась, за что я такъ страшно наказана? и чѣмъ дѣти-то виноваты?» А когда къ ней пристають съ орденами, балдахинами, статскимъ совѣтникомъ, она думаетъ: «да чѣмъ же я виновата, что онъ былъ статскій совѣтникъ?!» Весь порядокъ, весь строй ея жизни, съ которымъ она такъ срослась, что почти не замѣчала его, получаетъ новое освѣщеніе и возмущаетъ ее. Все, что ей было близко, дорого, свято, мило, все, чѣмъ она гордилась и что почитала, все поочередно протыкаетъ ножомъ ея сердце. И нехорошо становится въ этомъ истыканномъ сердцѣ. Такъ нехорошо, что когда новопреставленнаго боярина Андрея опустили въ могилу, на головѣ Марьи Львовны уже высилась серебряная корона, а глаза начали отта-

чиваться въ гвоздяныя острія. Они отточились совѣмъ, когда по прошествіи нѣкотораго времени вдова получила способность спокойно оглянуться на тѣ мелкія розы, которыя окружали крупный брильянтъ смерти статскаго совѣтника. Ей между прочимъ пришелъ въ голову вопросъ: каково тѣмъ вдовамъ, которымъ выпадаютъ на долю будочки нелюбезныя, начальство неласковое, читальщики псалтыря нетрезвые, судебныя пристава неизящныя?

Марья Львовна уѣхала въ Петербургъ, впервыхъ потому, что ей было очень тяжело на мѣстѣ, а вовторыхъ потому, что надѣялась тамъ вѣрнѣе найти кусокъ хлѣба. Она жила уроками и переводами и устроилась въ родѣ Апостолова: прислуги не держала, сама готовила обѣдъ и мыла полы и въ то же время учила дочь (сына она пристроила въ учебное заведеніе). Какъ ея на все это хватало—я рѣшительно не понимаю.

О рыжебородомъ художникѣ въ другой разъ. Притомъ же онъ—совѣмъ особъ статья.



BADAN LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
ul. Nowy Świat 77
Tel. 20 60-63

F

24.150/4